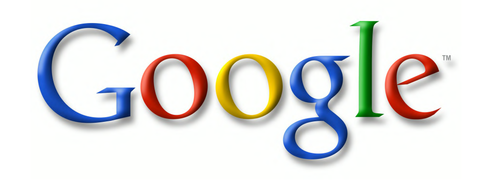
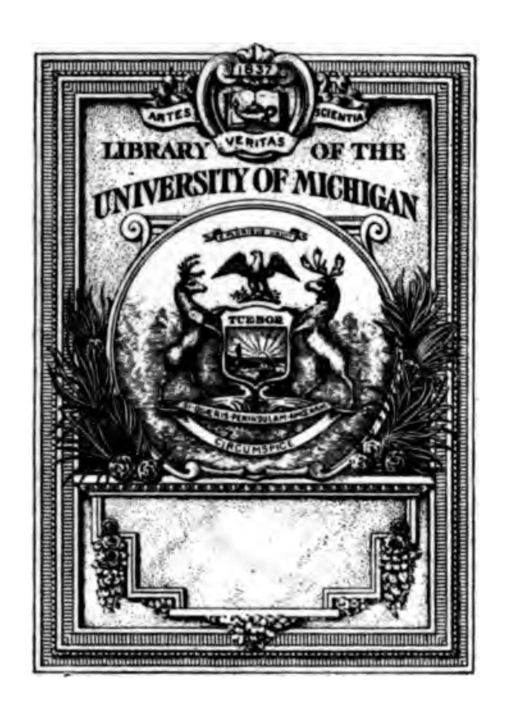
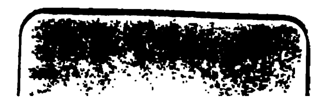
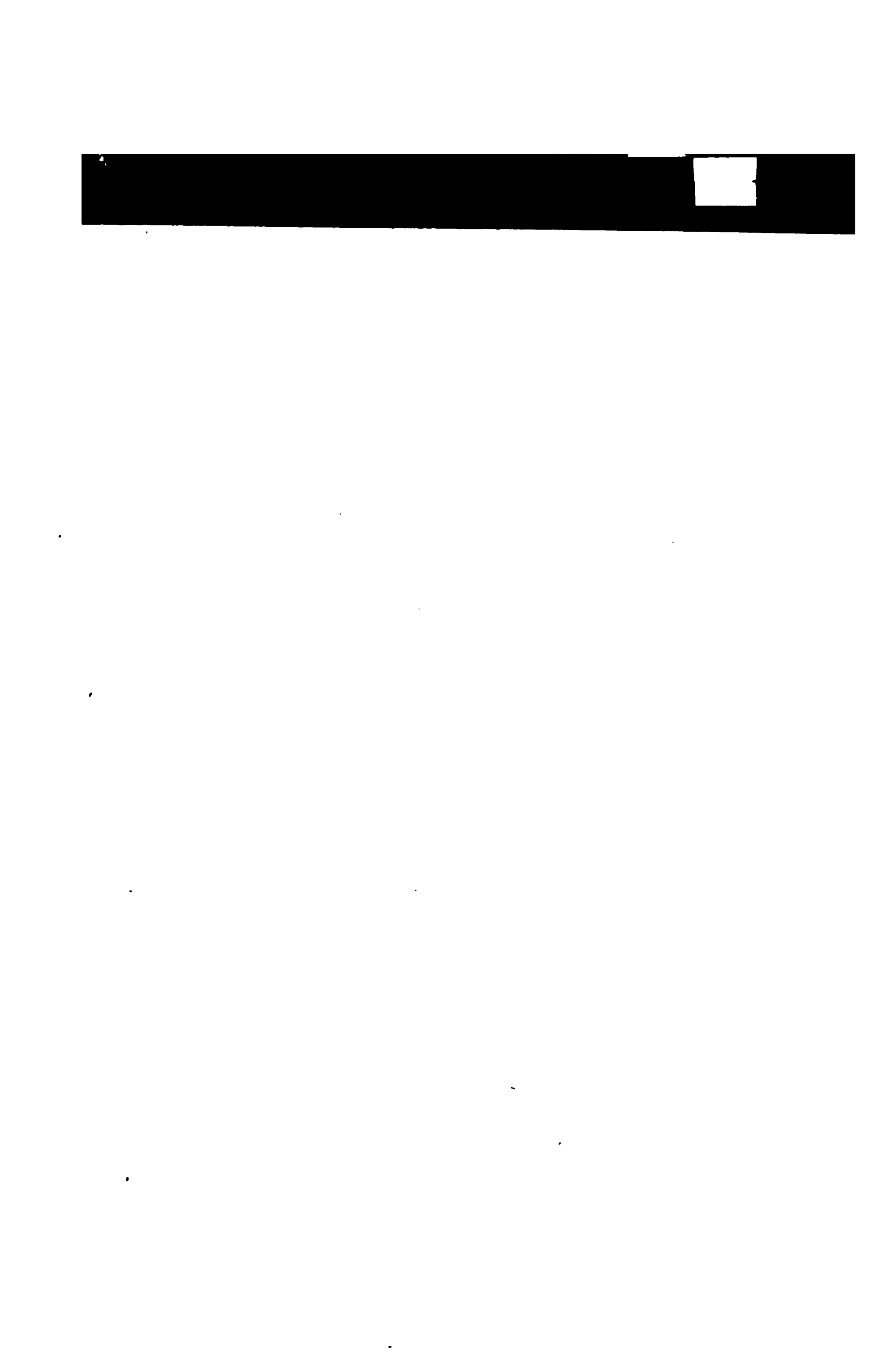

Google

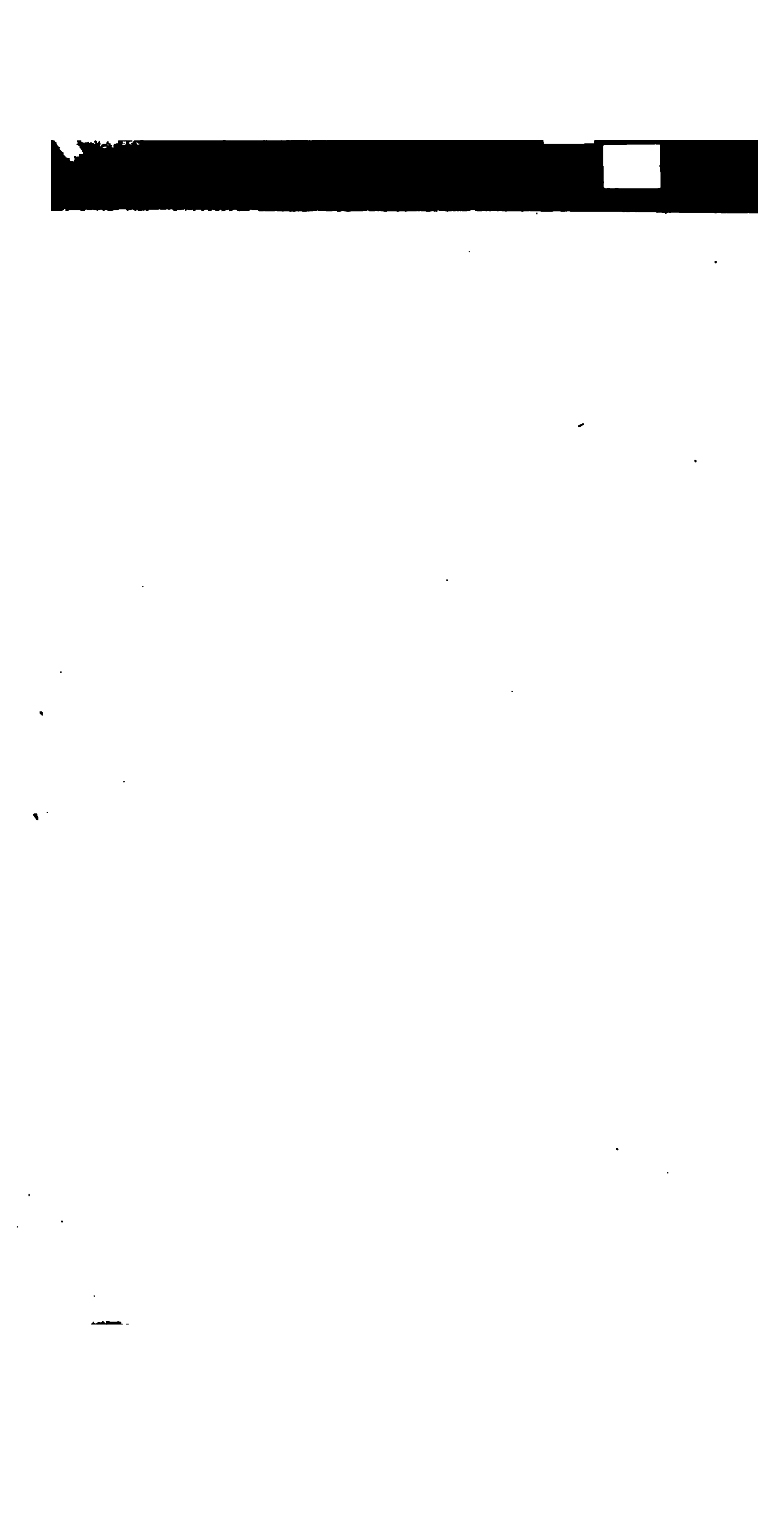



1837
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
CIRCUMSPICE





[redacted]



[redacted]

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

М. Горькій.

ТОМЪ ПЯТЫЙ.

РАЗСКАЗЫ.

СОДЕРЖАНІЕ:

ВТОРОЕ изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“.

Тридцать первая тысяча.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1903.

Типографія И. Н. Клобукова, Пряжка № 1—3.



Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

М. Горькій.

ТОМЪ ПЯТЫЙ.

РАЗСКАЗЫ.

СОДЕРЖАНІЕ:

ВТОРОЕ изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“.

Тридцать первая тысяча.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1903.



Изданія товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

Списокъ отъ 20 декабря 1902 г.	Цѣна.	
М. Горькій. Разсказы. Томъ I.	1 р.	— к.
М. Горькій. Разсказы. Томъ II.	1 »	— »
М. Горькій. Разсказы. Томъ III.	1 »	— »
М. Горькій. Разсказы. Томъ IV.	1 »	— »
М. Горькій. Разсказы. Томъ V.	1 »	— »
М. Горькій. Мѣщане. Драм. эскизъ въ 4 актахъ.	— »	60 »
М. Горькій. На днѣ. Картины. 4 акта.	— »	60 »
Л. Андреевъ. Разсказы. Томъ I.	1 »	— »
Скиталецъ. Разсказы. Томъ I.	1 »	— »
Е. Чириковъ. Разсказы. Томъ I.	1 »	— »
Е. Чириковъ. Разсказы. Томъ II.	1 »	— »
Е. Чириковъ. Разсказы. Томъ III.	1 »	— »
Е. Чириковъ. Пьесы	— »	60 »
Ив. Бунинъ. Томъ I. Разсказы.	1 »	— »
Ив. Бунинъ. Томъ II. Стихотворенія	1 »	— »
Н. Телешовъ. Разсказы Томъ I.	1 »	— »
А. Серафимовичъ. Разсказы. Том I.	1 »	— »
А. Купринъ. Разсказы. Томъ I.	1 »	— »
С. Юшкевичъ. Разсказы. Томъ I.	1 »	— »
Гусевъ-Оренбургскій. Разсказы. Томъ I. *Печатается*	»	— »
Эсхилъ. Скованный Прометей	— »	50 »
Софоклъ. Эдипъ-царь.	— »	40 »
Софоклъ. Эдипъ въ Колонѣ	»	40 »
Софоклъ. Антигона	— »	40 »
Эврипидъ. Медея	— »	40 »
Эврипидъ. Ипполитъ	— »	40 »
Эсхилъ, Софоклъ и Эврипидъ. Трагедіи. Роскошно-иллюстр. изд. *Выйдетъ въ январѣ 1903 г.*	— »	— »
Платонъ. Пиръ. *Съ иллюстраціями*	— »	60 »
Байронъ. Манфредъ. *Печатается.*	— »	— »
Байронъ. Каинъ. *Печатается.*	— »	»
Леопарди. Разговоры. *Печатается.*	— »	— »
Леопарди. Мысли. *Печатается.*	— »	— »
Шелли. Полное собраніе сочиненій въ 3 томахъ. Томъ I	2 »	— »
Лонгфелло. Пѣснь о Гайаватѣ. Роскошно-илл. изд.	2 »	— »
Э. Золя. Углекопы. Изд. *второе*	1 »	— »
Эркманъ-Шатріанъ. Гаспаръ Фиксъ.	— »	65 »
П. Милюковъ. Изъ исторіи русской интеллигенціи.	1 »	50 »
Н. Рубакинъ. Этюды о русской читающей публикѣ. Изд. 2-е *печатается*	—	— »
Никольскій. Лѣтнія поѣздки натуралиста	2 »	— »
Клейнъ. Астрономическіе вечера. Изд. *третье*	2 »	— »
Клейнъ. Прошлое, настоящее и будущее вселенной. Изд. *второе*	1 »	50 »
Юнгъ. Солнце. Изд. *второе*	1 »	50 »
Тиндаль. Звукъ. Изд. *второе.*	1 »	50 »
Григорьевъ. Краткій курсъ химіи. Изд. *второе*	— »	80 »
Клейнъ. Чудеса земного шара. *Печатается*	— »	— »
Боммели. Исторія земли. *Печатается*	»	— »
Гетчинсонъ. Вымершія чудовища	1 »	20 »
Гетчинсонъ. Животныя прошлыхъ геологич. эпохъ. *Печатается.*	— »	»
Джэмсъ. Психологія. Изд. *четвертое.*	1 »	50 »
Штёрингъ Психопатологія въ примѣненіи къ психологіи. *Печатается*	—	— »
Вундтъ. Введеніе въ философію. *Печатается*		— »
Куно Фишеръ. Исторія новой философіи. Томъ IV: Кантъ	4 »	— »

ТРОЕ.

[redacted]

Товарищу моему Владиміру Поссе
съ уваженіемъ посвящаю.

М. Горькій.

ТРОЕ.

I.

Среди лѣсовъ Керженца разсѣяно много одинокихъ могилъ; въ нихъ тлѣютъ кости старцевъ, людей древняго благочестія, и объ одномъ изъ такихъ старцевъ,— Антипѣ, — въ деревняхъ на Керженцѣ разсказываютъ.

Суровый характеромъ, богатый мужикъ Антипа Луневъ, доживъ во грѣхѣ мірскомъ до пятидесяти лѣтъ, задумался крѣпко, затосковалъ душой и, бросивъ семью, ушелъ въ лѣса. Тамъ, на краю крутого оврага, онъ срубилъ себѣ келью и жилъ въ ней восемь лѣтъ кряду и зиму, и лѣто, не допуская къ себѣ никого: ни знакомыхъ, ни родныхъ своихъ. Порою люди, заблудясь въ лѣсу, случайно выходили къ его кельѣ и видѣли Антипу: онъ молился, стоя на колѣняхъ у порога ея. Былъ онъ страшный: изсохъ въ постѣ и молитвѣ и весь, какъ звѣрь, обросъ волосами. Завидѣвъ человѣка, онъ поднимался на ноги и, молча, кланялся ему до земли. Если его спрашивали, какъ выйти изъ лѣса, онъ безъ словъ указывалъ рукою дорогу, еще кланялся человѣку до земли и, уходя въ свою келью, запирался въ ней. За восемь лѣтъ его видѣли часто, но никто никогда не слыхалъ его голоса. Жена и дѣти приходили къ нему; онъ принималъ отъ нихъ пищу и одежду и, какъ всѣмъ людямъ, кланялся имъ земно, но какъ всѣмъ людямъ, и имъ во время подвижничества своего ни слова не сказалъ.

[redacted]

2

Умеръ онъ въ годъ, когда разоряли скиты, и смерть его была такова:

Пріѣхалъ въ лѣсъ исправникъ съ командой, и увидали они, что стоитъ Антипа среди кельи на колѣняхъ и безмолвно молится.

— Ты!—крикнулъ ему исправникъ.—Уходи! Ломать будемъ твое логовище!..—Но Антипа не слышалъ его голоса. И сколько ни кричалъ исправникъ — ни слова не отвѣтилъ ему старецъ. Тогда исправникъ приказалъ вытащить Антипу изъ кельи. Но люди, видя старца, который, не замѣчая ихъ, все молился истово и неустанно, смутились предъ твердостью его души и не послушали исправника. Тогда исправникъ приказалъ имъ ломать келью, и осторожно, боясь ударить молящагося, они молча стали разбирать крышу.

Стучали надъ головой Антипы топоры, трещали доски и падали на землю, гулкое эхо ударовъ понеслось по лѣсу, заметались вокругъ кельи птицы, встревоженныя шумомъ, задрожала листва на деревьяхъ. А старецъ все молился, какъ бы не видя и не слыша ничего... Начали раскатывать вѣнцы кельи, а хозяинъ ея все стоялъ неподвижно на колѣняхъ. И лишь когда откатили въ сторону послѣднія бревна и самъ исправникъ, подойдя къ старцу, взялъ его за волосы, Антипа, вскинувъ очи въ небо, тихо сказалъ Богу:

— Господи милостливый... Прости ихъ.

И, упавъ навзничь, умеръ.

Когда это случилось, старшему сыну Антипы, Якову, было двадцать три года, а младшему, Терентію,—восемнадцать лѣтъ. Красавецъ и силачъ Яковъ, еще будучи подросткомъ, пріобрѣлъ въ селѣ прозвище Безшабашнаго, а ко времени смерти отца онъ былъ уже первый кутила и буянъ во всей округѣ. На него всѣ жаловались,—мать, староста, сосѣди: его сажали въ холодную, пороли розгами, били и просто такъ, безъ суда, но все это не укрощало широкой натуры Якова и все тѣснѣе

становилось ему жить въ деревнѣ, среди раскольниковъ, людей хозяйственныхъ, какъ кроты, суровыхъ ко всякимъ новшествамъ и упорно охранявшихъ завѣты древняго благочестія. Яковъ курилъ табакъ, пилъ водку, одѣвался въ нѣмецкое платье, на молитвы и радѣнія не ходилъ, а когда степенные люди увѣщевали его, напоминая ему объ отцѣ, онъ насмѣшливо отзывался:

— Погодите, старички почтенные,—всему мѣра есть. Нагрѣшу вдоволь — покаюсь и я. А теперь—рано еще. Батюшкой меня не корите, — онъ пять десятковъ лѣтъ грѣшилъ, а каялся всего восемь... На мнѣ грѣхъ — какъ на птенцѣ пухъ, а вотъ выростетъ грѣха, какъ на воронѣ пера, тогда, значитъ, молодцу пришла каяться пора...

— Еретикъ!—говорили про Якова Лунева въ селѣ и ненавидѣли, и боялись его. Года черезъ два послѣ смерти отца Яковъ женился. Онъ подъ корень подорвалъ разгульной жизнью крѣпкое, тридцатилѣтнимъ трудомъ сколоченное хозяйство отца, и уже никто въ родномъ селѣ не хотѣлъ выдать ему дѣвушку въ жены. Гдѣ-то въ дальней деревнѣ онъ взялъ красавицу-сироту, а для того, чтобъ сыграть свадьбу, продалъ отцовъ пчельникъ и пару лошадей. Его братъ Терентій, робкій и молчаливый горбунъ съ длинными руками, не мѣшалъ ему жить; мать хворая лежала на печи и оттуда говорила ему зловѣщимъ, хриплымъ голосомъ:

— Окаянный!.. Пожалѣй свою душеньку!.. Опомнись!..

— Не безпокойтесь, маменька! — отвѣчалъ Яковъ.— Отецъ за меня передъ Богомъ заступится...

Сначала, почти цѣлый годъ, Яковъ жилъ съ женою мирно и тихо, даже началъ было работать, а потомъ опять закутилъ и, на цѣлые мѣсяца исчезая изъ дома, возвращался къ женѣ избитый, оборванный, голодный... Умерла мать Якова: на поминкахъ по ней пьяный Яковъ изувѣчилъ старосту, давняго своего врага, и за это

... разбойникомъ, а Т
колдуномъ. Терентій молчалъ въ
насмѣшки, Яковъ же открыто гроз

— Ладно! Погодите!.. Я вамъ по

Ему было около сорока лѣтъ, к
чился пожаръ; онъ былъ обвиненъ
сланъ въ Сибирь.

На рукахъ Терентія осталась же
шаяся въ умѣ во время пожара, и
сятилѣтній мальчикъ, крѣпкій, чер
лѣтамъ серьезный. Когда этотъ ма
на улицѣ, ребятишки гонялись за
него камнями, а большіе, видя его,

— У, деймоненокъ! Каторжное
сдохнуть!..

Неспособный къ работѣ, Терентій
валъ дегтемъ, нитками, иглами и в
огонь, истребившій половину дерев
избу Луневыхъ, и весь товаръ Терен
пожара у Луневыхъ осталась только
три рубля денегъ—и больше ничего.
ревнѣ нельзя и нечѣмъ жить. Т...

оглядывался назадъ своими большущими черными глазами. Лошадь шла шагомъ, телѣгу славно потряхивало, и скоро Илья, зарывшись въ сѣно, уснулъ крѣпкимъ сномъ ребенка...

Проснулся онъ среди ночи отъ какого-то жуткаго и страннаго звука, похожаго на волчій вой. Ночь была свѣтлая, телѣга стояла у опушки лѣса, около нея ходила лошадь и, фыркая, щипала траву, покрытую росой. Большая сосна съ опаленной вершиной выдвинулась далеко въ поле и стояла одинокая, точно ее выгнали изъ лѣса. Зоркіе глаза мальчика безпокойно искали дядю, а въ тишинѣ ночи отчетливо звучали глухіе и рѣдкіе удары копытъ лошади по землѣ, тяжелыми вздохами расносилось ея фырканье и уныло плавалъ непонятный дрожащій звукъ, пугая Илью.

— Дя-дя!—тихо позвалъ онъ.

— Ась?—торопливо отозвался Терентій, и вой вдругъ замеръ.

— Ты гдѣ?

— Тутъ... спи, знай...

Тогда Илья увидалъ, что дядя, черный и похожій на пень, вывороченный изъ земли, сидитъ у опушки лѣса на холмѣ.

— Я боюсь,—сказалъ мальчикъ.

— Ну, чего тамъ? Чего бояться?.. Одни мы...

— Кто-то воитъ...

— Приснилось тебѣ...—тихо сказалъ горбунъ.

— Ей-Богу воитъ...

— Ну... волкъ это... Онъ—далеко... Ты спи...

Но Ильѣ уже не спалось. Было жутко отъ тишины, а въ ушахъ у него все дрожалъ этотъ жалобный звукъ. Онъ пристально оглядѣлъ мѣстность и увидалъ, что дядя смотритъ туда, гдѣ надъ горой, далеко среди лѣса, стоитъ пятиглавая бѣлая церковь, а надъ нею ярко сіяетъ большая, круглая луна. Илья узналъ, что это ромодановская церковь, и что въ двухъ верстахъ

отъ нея, ближе сюда, къ нему и дядѣ, среди лѣса, надъ оврагомъ, стоитъ ихъ деревня—Китежная.

— Не далеко мы уѣхали,—сказалъ онъ задумчиво.

— Что?—спросилъ дядя.

— Дальше бы уѣхать, говорю... Еще придетъ ктонибудь оттуда...

Илья непріязненно кивнулъ головой по направленію къ своей деревнѣ.

— Уѣдемъ... погоди...—молвилъ дядя.

И снова стало тихо. Илья свернулся въ комокъ, облокотясь на передокъ телѣги, и тоже сталъ смотрѣть туда, куда дядя смотрѣлъ. Деревню было не видно въ густой, черной тьмѣ лѣса, но ему казалось, что онъ видитъ всю ее, со всѣми избами и людьми, и со старой ветлой у колодца среди улицы. У корней ветлы лежитъ отецъ его, связанный веревкой, въ изорванной рубахѣ: руки у него прикручены за спину, голая грудь выпятилась впередъ, а голова какъ будто приросла къ стволу ветлы. Лежитъ онъ неподвижно, какъ убитый, и страшными глазами смотритъ на мужиковъ, стоящихъ у старостиной избы. Ихъ много, всѣ они злые, кричатъ, ругаются. Отъ этого воспоминанія мальчику сдѣлалось скучно и у него начало щипать въ горлѣ. Онъ почувствовалъ, что заплачетъ сейчасъ отъ скуки и ночной свѣжести, но ему не хотѣлось тревожить дядю, и онъ сдерживался, все плотнѣе сжимая свое маленькое тѣльце...

Вдругъ снова въ воздухѣ раздался тихій вой. Сначала кто-то тяжко вздохнулъ, всхлипнулъ и потомъ нестерпимо-жалобно заныль:

— О-о-у-о-о!..

Мальчикъ вздрогнулъ отъ страха и замеръ. А звукъ все дрожалъ и росъ въ своей силѣ.

— Дядя! Это ты воешь?..—крикнулъ Илья.

Терентій не отвѣтилъ и не пошевелился. Тогда мальчикъ спрыгнулъ съ телѣги, подбѣжалъ къ дядѣ, упалъ

ему на ноги, вцѣпился въ нихъ и тоже зарыдалъ. Сквозь рыданія онъ слышалъ голосъ дяди:

— Выжили... насъ... Го-спо-ди! Куда пойдемъ... а?

А мальчикъ, захлебываясь слезами, говорилъ:

— Погоди... я вотъ выросту большой... я имъ задамъ!.. да...

Наплакавшись, онъ сталъ дремать. Тогда дядя взялъ его на руки, снесъ въ телѣгу, а самъ опять ушелъ прочь и снова завылъ протяжно, жалобно...

Помнилъ Илья, какъ онъ пріѣхалъ въ городъ. Проснулся онъ однажды рано утромъ и увидалъ передъ собою рѣку, широкую, мутную, а за нею, на высокой горѣ, кучу домовъ съ красными и зелеными крышами и высокія, густыя деревья между домами. Дома поднимались по горѣ густою, красивой толпой все выше, а на самомъ гребнѣ горы они вытянулись въ ровную линію и гордо смотрѣли оттуда черезъ рѣку. Золотые кресты и главы церквей поднимались надъ ихъ крышами, уходя глубоко въ небо. Только-что взошло солнце; косые его лучи отражались въ окнахъ домовъ, и весь городъ горѣлъ яркими красками, сіялъ золотомъ.

— Вотъ такъ а-яй! — тихо воскликнулъ мальчикъ, широко раскрытыми глазами глядя на чудесную картину, и надолго замеръ въ молчаливомъ восхищеніи передъ нею. Потомъ въ душѣ его родилась безпокойная мысль, гдѣ будетъ жить онъ, маленькій, черноволосый и вихрастый мальчикъ въ худыхъ пестрядиныхъ штанишкахъ, и его горбатый, неуклюжій дядя? Пустятъ-ли ихъ туда, въ этотъ чистый, богатый, блестящій золотомъ, огромный городъ? Ему подумалось, что ихъ телѣга именно потому и стоитъ здѣсь, на берегу рѣки, что въ городъ не пускаютъ людей бѣдныхъ, оборванныхъ и некрасивыхъ. И должно быть дядя пошелъ просить, чтобы пустили.

Илья съ тревогой въ сердцѣ сталъ искать глазами дядю. И впереди, и сзади ихъ телѣги стояло еще много возовъ; на однихъ торчали деревянныя стойки съ молокомъ, на другихъ корзины съ птицей, огурцы, лукъ, лукошки съ ягодами, мѣшки съ картофелемъ. На возахъ и около нихъ сидѣли и стояли мужики и бабы, и это были совсѣмъ особенные люди. Говорили они громко, отчетливо, а одѣты были не въ синюю пестрядину, а все въ пестрые ситцы и ярко-красный кумачъ. Почти у всѣхъ на ногахъ были сапоги, и хотя около нихъ расхаживалъ кто-то съ саблей на боку, — урядникъ или становой,—но они не только не боялись его, а даже и не кланялись ему. И это очень нравилось Ильѣ. Сидя на телѣгѣ, онъ осматривалъ ярко освѣщенную солнцемъ живую картину и мечталъ о времени, когда и онъ тоже надѣнетъ сапоги и кумачную рубаху. Вдали, среди мужиковъ, появился дядя Терентій. Онъ шелъ, крѣпко упираясь ногами въ глубокій песокъ, высоко поднявъ голову; лицо у него было веселое, и еще издали онъ улыбался Ильѣ, протянувъ къ нему руку и что-то показывая.

— Господь за насъ, Илюха! Значитъ — не горюй! Дядю-то Петруху сразу нашелъ я... На-ка вотъ, погрызи пока что!..

И онъ далъ Ильѣ баранку.

Мальчикъ почти съ благоговѣніемъ взялъ ее, сунулъ за пазуху и безпокойно спросилъ:

— Не пускаютъ въ городъ-то?

— Сейчасъ пустятъ... Вотъ придетъ паромъ и поѣдемъ.

— И мы?

— А какъ же? И мы поѣдемъ... Тутъ намъ не жить...

— Ухъ! А я думалъ — насъ не пустятъ... А тамъ гдѣ мы будемъ жить-то?

— Это ужъ неизвѣстно... Господь укажетъ...

— Вонъ бы въ томъ большомъ-то, красномъ...

— Чудашка! Это казарма!.. Тамъ солдаты живутъ...

— Ну инъ вонъ въ томъ... в-онъ въ этомъ!

— Ишь ты! Высоко намъ до него!..

— Ничего!—увѣренно сказалъ Илья.—Долѣземъ!..

— Э-эхъ ты!—вздохнулъ дядя Терентій и снова куда-то ушелъ.

Жить имъ пришлось на краю города, около базарной площади, въ огромномъ сѣромъ домѣ. Со всѣхъ сторонъ къ его стѣнамъ прилипли разныя пристройки, однѣ поновѣе, другія такія же сѣро-грязныя и старыя, какъ самъ онъ. Окна и двери въ этомъ домѣ были кривыя, и все въ немъ скрипѣло. Пристройки, заборъ, ворота,—все наваливалось другъ на друга, объединяясь въ большую кучу полугнилого дерева, поросшаго зеленоватымъ мохомъ. Стекла въ окнахъ были тусклы отъ старости, нѣсколько бревенъ въ фасадѣ выпятились впередъ, и отъ этого домъ былъ похожъ на своего хозяина, который держалъ въ немъ трактиръ. Хозяинъ тоже былъ старый и сѣрый; глаза на его дряхломъ лицѣ были похожи на стекла въ окнахъ дома; онъ ходилъ, тяжело опираясь на толстую палку; ему, должно быть, тяжело было носить свой огромный животъ, и онъ тоже всегда скрипѣлъ.

Первое время, прожитое въ этомъ домѣ, всюду Илья лазилъ и все осматривалъ въ немъ. Домъ понравился ему и поразилъ его своей удивительной ёмкостью. Онъ былъ до того тѣсно набитъ людьми, что Ильѣ казалось—людей въ этомъ домѣ больше, чѣмъ во всей деревнѣ Китежной. И шумно въ немъ, какъ на базарѣ. Въ обоихъ этажахъ помѣщался трактиръ, всегда полный народа, на чердакахъ жили какія-то пьяныя бабы, и одна изъ нихъ, по прозвищу Матица, черная, огромная, басовитая, пугала мальчика своими сердитыми и темными глазами. Въ подвалѣ жилъ сапожникъ Перфишка съ больной, безногою женой и дочкой лѣтъ семи, тряпичникъ дѣдушка Еремѣй, нищая старуха,

иногда въ кузницѣ являлась Са
шая, полная женщина, русоволоса
зами. Она всегда накрывала голов
и было странно видѣть эту бѣлу
дырѣ кузницы. Она почти всегда
стымъ смѣхомъ, а Савелъ вторил
молотомъ билъ. Но чаще онъ въ с
рычалъ. Говорили, что онъ очень .
гуляетъ...

Въ каждой щели дома сидѣлъ ч
до поздней ночи домъ сотрясался
точно въ немъ, какъ въ старомъ р
то кипѣло и варилось. Вечерами в
изъ своихъ щелей на дворъ и на л
дома; сапожникъ Перфишка игр
Савелъ мычалъ пѣсни, а Матица, е
пивши, пѣла что-то особенное, очен
непонятными словами, пѣла и всег
плакала.

Гдѣ-нибудь въ углу на дворѣ о
мѣя собирались всѣ жившіе въ л
усѣвшись въ ...

ремъ государствіи уродился фармазонъ-еретикъ отъ невѣдомыхъ родителей, за грѣхи сыномъ наказанныхъ Богомъ Господомъ Всевидящимъ"...

Длинная, сѣдая борода дѣдушки Еремѣя вздрагивала и тряслась, когда онъ открывалъ свой черный беззубый ротъ, тряслась и голова, а по морщинамъ щекъ одна за другой все катились слезы.

„А и дерзокъ былъ сей сынъ-еретикъ: во Христа-Бога не вѣровалъ, не любилъ Матери Божіей, мимо церкви шелъ—не кланялся, отца, матери не слушался"...

Ребятишки слушали тонкій дрожащій голосъ старика и, молча, смотрѣли въ его лицо.

Всѣхъ внимательнѣе слушалъ и смотрѣлъ русый Яшка, сынъ буфетчика Петрухи. Это былъ мальчикъ тощій, остроносый, съ большой головой на тонкой шеѣ. Когда онъ бѣжалъ, его голова такъ болталась отъ плеча къ плечу, точно готова была оторваться. Глаза у него были тоже большіе и какіе-то безпокойные. Они всегда пугливо скользили по всѣмъ предметамъ, точно боясь остановиться на чемъ-либо, а остановившись, странно выкатывались, таращились и придавали лицу Якова какое-то овечье выраженіе. Онъ выдѣлялся изъ всей кучи ребятъ своимъ тонкимъ безкровнымъ лицомъ и чистой, крѣпкой одеждой. Илья сразу подружился съ нимъ и въ первый же день знакомства Яковъ таинственнымъ голосомъ спросилъ новаго товарища:

— У васъ въ деревнѣ колдуновъ много?

— Есть,—отвѣтилъ Илья.—И колдуньи тоже есть... У насъ шаберъ колдунъ былъ.

— Рыжій?—шопотомъ освѣдомился Яковъ.

— Сѣдой... они всѣ сѣдые...

— Сѣдые такъ ничего. Сѣдые добрые... А вотъ которые рыжіе—ухъ ты! Тѣ кровь пьютъ...

Они сидѣли въ лучшемъ, самомъ уютномъ углу двора, за кучей мусора подъ бузиной и липой. Сюда можно было попасть черезъ узкую щель между сараемъ и

... дни передъ глазами П
комъ и шумомъ что-то большу
ляло, оглушало его. Сначала он
то поглупѣлъ въ кипучей сутол
въ трактирѣ около стола, на кот
потный и мокрый, мылъ посуду,
люди приходятъ, пьютъ, ѣдятъ, к
рутся, поютъ пѣсни. Потные они,
чи табачнаго дыма плаваютъ вокр
дыму они возятся, какъ полоумны

— Эй-эй!—говорилъ ему дядя,
и неустанно звеня стаканами.—Ты
на дворъ! А то хозяинъ увидитъ—

— Вотъ такъ а-яй!—мысленно п
любимое восклицаніе и, ошеломле
тирной жизни, уходилъ на дворъ.
стучалъ молотомъ и ругался съ
подвала на волю рвалась весела
Перфишки, сверху сыпались руган
бабъ. Пашка Зубастый, Савеловъ
хомъ на палкѣ и кричалъ сердиты

— Тпру, дьяволъ!

— Ну ужъ!.. что сдѣлаешь? Потерпи!.. пройдетъ!

— Я вотъ пойду, да такъ его вздую!—сквозь слезы пообѣщалъ Илья.

— Не моги!—строго молвилъ дядя.—Никакъ этого нельзя!..

— А онъ что?

— То онъ!.. Онъ, видишь ты... тутошній... свой... А ты—чужой...

Илья продолжалъ угрожать Пашкѣ, но дядя вдругъ разсердился и закричалъ на него, что съ нимъ бывало рѣдко. Тогда Илья смутно почувствовалъ, что ему нельзя равняться съ „тутошними" ребятишками, и, затаивъ въ себѣ непріязнь къ Пашкѣ, еще больше сдружился съ Яковомъ.

Яковъ велъ себя степенно: онъ никогда ни съ кѣмъ не дрался, даже кричалъ рѣдко. И онъ почти не игралъ, но всегда любилъ говорить о томъ, въ какія игры играютъ дѣти во дворахъ у богатыхъ людей и въ городскомъ саду. Изъ всѣхъ дѣтей на дворѣ, кромѣ Ильи, Яковъ дружился только съ семилѣтней Машкой, дочерью сапожника Перфишки. Это была чумазая дѣвчоночка, тоненькая и хрупкая; ея маленькая головка, осыпанная черными кудрями, съ утра до вечера торчала на дворѣ. Ея мать тоже всегда сидѣла у двери въ подвалъ. Высокая, съ большой косой на спинѣ, она постоянно шила, низко согнувшись надъ работой, а когда поднимала голову, чтобы посмотрѣть на дочь, Илья видѣлъ ея лицо. Оно было толстое, синее, неподвижное, какъ у покойника. И черные, добрые глаза на этомъ лицѣ тоже были неподвижны. Она никогда ни съ кѣмъ не разговаривала и даже дочь свою подзывала къ себѣ знаками, лишь иногда, очень рѣдко, вскрикивая хриплымъ, задушеннымъ голосомъ:

— Маша!

Сначала Ильѣ что-то нравилось въ этой женщинѣ, но когда онъ узналъ, что она уже третій годъ не

…трудно было говорить: она

— Не обижай... милый!..

И, взглянувъ въ лицо Ильи
она отпустила его отъ себя. Съ э
съ Яковомъ сталъ внимательно у
сапожника, стараясь оберечь ее о
ностей жизни. Онъ не могъ не
стороны большого человѣка, пот
большіе люди только приказывали
били маленькихъ. Извозчикъ Мака
шлепалъ ребятишекъ по лицу мо
они подходили близко къ нему въ
мылъ пролетку. Савелъ сердился и
дывалъ въ его кузницу не по дѣлу
и бросалъ въ дѣтей угольными м
швырялъ, чѣмъ попало, во всякаго,
предъ его окномъ и закрывалъ е
били и просто такъ, отъ скуки ил
шутить съ дѣтьми. Только дѣдушк

Вскорѣ Ильѣ стало казаться, что
лучше жить, чѣмъ въ городѣ. Въ
лять, гдѣ хочешь, а здѣсь ...

новилось скучно жить около этого сѣраго, тяжелаго дома съ тусклыми окнами.

Однажды за обѣдомъ дядя Терентій сказалъ племяннику, тяжело вздыхая:

— Осень идетъ, Илюха... Н-да! Подвернетъ она намъ съ тобой гайки-то!.. тугонько подвернетъ!.. О Господи!..

Онъ задумался и долго молчалъ, уныло глядя въ чашку со щами. Задумался и мальчикъ. Обѣдали они на томъ же столѣ, на которомъ горбунъ мылъ посуду. Въ трактирѣ гудѣлъ страшный шумъ.

— Петруха, вонъ, говоритъ, чтобы тебя вмѣстѣ съ его Яшуткой въ училище отдать. Эхе-хе! Надо, я понимаю... Безъ грамоты здѣсь, какъ безъ глазъ!.. пропадешь! Да вѣдь одѣть, обуть надо тебя для училища!.. А отъ пяти рублей въ мѣсяцъ на одежу не разгонишься!.. О Господи! На Тебя надежда!..

Отъ вздоховъ дяди и отъ грустнаго его лица у Ильи защемило сердце, и онъ тихо предложилъ:

— Давай, уйдемъ отсюда!..

— Ку-уда-а?—протяжно и уныло спросилъ горбунъ.— Куда мы уйти можемъ?..

— А въ лѣсъ!?—сказалъ Илья и вдругъ воодушевился.

— Дѣдушка, ты говорилъ, сколько годовъ въ лѣсу жилъ одинъ! А насъ — двое! Лыки бы драли!.. Лисъ, бѣлокъ били бы... какъ Корней Кривой... Ты бы ружье завелъ... а я—силки... Птицу буду ловить разную... Ей-Богу! Ягоды тамъ, грибы... Уйдемъ?..

Дядя поглядѣлъ на него ласковыми глазами и съ улыбкой спросилъ:

— А волки? А медвѣди?

— Съ ружьемъ-то ежели? — горячо воскликнулъ Илья.—Да я, когда большой выросту, я звѣрей не побоюся!.. Я ихъ руками душить стану!.. Я и теперь ужъ никого не боюсь! А здѣсь—тоже!—житье-то тугое! Я хоть и маленькій, да вижу вѣдь... Здѣсь, вонъ, боль-

. ... все было извѣстно ему
стола дяди и сквозь дрёму слуш
съ дѣдушкой Еремѣемъ, которы
попить чайку. Тряпичникъ очен
буномъ и, возвращаясь съ работ
пить чай рядомъ со столомъ Те

— Ничего-о!—слышалъ Илья
мѣя.—Ты—знай себѣ, на Бога упо
мысли про себя—Богъ! Онъ! Ты
Него... потому сказано въ писані
рабъ ты Божій. И все твое —
худое—все Ему! Онъ разберетъ,
дитъ, Онъ Батюшка все-е видитъ
свѣтлый день твой, скажетъ Онъ
небесный! иди облегчи житье Тер
Моему... И дойдетъ въ тѣ поры д
до-ой-де-етъ!

— Я, дѣдушка, уповаю на Го
могу я?—тихо говорилъ Терентій
можетъ!

— Онъ-то? Онъ никогда, я те
не покинетъ зря ...

буфетчика Петрухи, когда онъ сердился, — дѣдъ сказалъ Терентію:

— На снаряженье Илюшки въ училище я тебѣ дамъ!.. рублей съ пять... Поскребусь и наберу... Взаймы дамъ... Богатъ будешь—отдашь...

— Дѣдушка!—тихо воскликнулъ Терентій.

— Стой, молчи! А покамѣсть ты его, мальчишку-то, дай-ка мнѣ,—нечего тутъ ему дѣлать!.. А мнѣ замѣсто процента онъ и послужитъ... Тряпку подниметъ, кость подастъ... Все мнѣ, старику, спины не гнуть...

— Ахъ ты!.. Господь тебѣ!.. — вскричалъ горбунъ звенящимъ голосомъ.

— Господь—мнѣ, я—тебѣ, ты—ему, а онъ—опять Господу, такъ оно у насъ колесомъ и завертится... И никто никому не долженъ будетъ... Хе-хе-хе-хе! Мила-й! Э-эхъ, братъ ты мой! Жилъ я, жилъ, глядѣлъ, глядѣлъ—ничего, окромя Бога, не вижу. Все Его, все Ему, все отъ Него, все для Него!..

Илья заснулъ подъ эти тихія рѣчи. А на другой день рано утромъ дѣдъ Еремѣй разбудилъ его и весело сказалъ:

— Айда гулять, Илюшка! Ну-ка живенько! Протирай глядѣлки-то!

Хорошо зажилъ Илья подъ ласковой рукой дѣдушки Еремѣя. Каждый день рано утромъ дѣдъ будилъ мальчика, и оба они вплоть до поздняго вечера ходили по городу, собирая тряпки, кости, рваную бумагу, обломки желѣза, куски кожи. Великъ былъ этотъ городъ и много любопытнаго было въ немъ, такъ-что первое время Илья плохо помогалъ дѣду, а все только разглядывалъ людей и дома, удивлялся всему и обо всемъ разспрашивалъ старика... Еремѣй былъ словоохотливъ. Низко наклонивъ голову и глядя въ землю, онъ ходилъ со двора на дворъ и, постукивая палкой съ желѣзнымъ концомъ, утиралъ слезы съ лица рукавомъ своихъ лох-

— А трудятся для этого, работа
работаютъ, и ночь и все деньги коп.
накопятъ много—выстроятъ себѣ ,
дей, посуду разную и всякое тако
вое все! И наймутъ, значитъ, пр
ковъ и разныхъ, тамъ, людей, что(
а сами отдыхаютъ—живутъ. Ну, то
жился человѣкъ честнымъ трудом
которые отъ грѣха богатѣютъ. Про
ворятъ люди, будто онъ душу погу
еще былъ. Можетъ, это отъ зависти
и правда. Злой онъ, Пчелинъ-то, и
пугливой... Все бѣгаетъ глазъ, все
жетъ, и врутъ про Пчелина... Быва
богатѣетъ сразу... Просто такъ... Уд
него взглянула... Эхъ—одинъ Богъ
а мы всѣ ничего не знаемъ!.. Люди
мена Божіи... сѣмена, душа, люди
Господь на землѣ—растите! а Я по
насущный будетъ изъ васъ... Так
вотъ — Сабанѣевъ домъ, Митрія I
Пчелина богаче. И ...

говорилъ беззлобно, просто. Все, что онъ разсказывалъ, выходило у него какимъ-то чистымъ, точно каждую исторію онъ омывалъ неизсякаемыми слезами своими.

Мальчикъ внимательно слушалъ его, поглядывая на огромные дома, и порой говорилъ:

— Хоть бы глазомъ однимъ въ нутро-то взглянуть!..

— Увидишь! Погоди! Знай, учись да трудись: выростешь—все увидишь! Можетъ, и самъ разбогатѣешь... Живи, знай... Охо-хо-о! Вотъ я жилъ-жилъ, глядѣлъ-глядѣлъ... глаза-то себѣ и испортилъ... Вотъ онѣ, слезы-то, текутъ да текутъ у меня... и оттого сталъ я тощо̀й да хилый... Истекъ, значитъ, слезой-то... и кровь моя высохла...

Пріятно было Ильѣ слушать увѣренныя и любовныя рѣчи старика о Богѣ, и подъ ихъ ласковые звуки въ сердцѣ мальчика рождалось бодрое и крѣпкое чувство надежды на что-то хорошее, радостное, что ожидало его впереди. Онъ повеселѣлъ и сталъ больше ребенкомъ, чѣмъ былъ первое время жизни въ городѣ.

Онъ съ увлеченіемъ началъ помогать старику рыться въ мусорѣ. Было очень интересно раскапывать палкой кучи разнаго хлама, а особенно пріятно было Ильѣ видѣть радость старика, когда въ мусорѣ находилось что-нибудь особенное. Однажды Илья отрылъ въ помойной ямѣ большую серебряную ложку, и дѣдъ купилъ ему за это полфунта мятныхъ пряниковъ. Потомъ онъ откопалъ маленькій, покрытый зеленой плѣсенью, кошелекъ, а въ немъ оказалось больше рубля денегъ. Порой попадались ножи, вилки, гайки, изломанныя мѣдныя вещи, хорошія жестянки изъ-подъ ваксы и маринованной рыбы, а какъ-то разъ въ оврагѣ, гдѣ сваливался мусоръ со всего города, Илья отрылъ совершенно цѣлый, тяжелый мѣдный подсвѣчникъ. За каждую изъ такихъ цѣнныхъ находокъ дѣдъ покупалъ Ильѣ гостинцевъ.

Находя какую-нибудь диковинку, Илья радостно кричалъ:

— Дѣдушка, гляди-ка, гляди! Вотъ такъ -а-яй!

А дѣдъ, суетливо и безпокойно оглядываясь, увѣщевалъ его:

— Да ты не кричи! Не кричи ты!.. ахъ, Господи!..

Онъ всегда пугался, когда находили необыкновенныя вещи, и, быстро выхватывая ихъ изъ рукъ мальчика, пряталъ въ свой огромный мѣшокъ.

— Вотъ такъ поймалъ я рыбину! — хвалился Илья, оживленный удачей.

— Молчи, знай, помалкивай!.. Младенецъ ты милый,—ласково говорилъ старикъ, а слезы все текли и текли изъ его болящихъ красныхъ глазъ.

— Гляди, дѣдушка, костища-то какая—во! — снова кричалъ Илья.

Кости и тряпки не безпокоили дѣда; онъ бралъ ихъ изъ рукъ мальчика, очищалъ щепочкой грязь съ нихъ и совалъ въ мѣшокъ спокойно. Дѣдъ сшилъ Ильѣ небольшой мѣшокъ, далъ палку съ желѣзнымъ концомъ, и мальчикъ гордился этими вещами. Въ свой мѣшокъ онъ собиралъ разныя коробочки, поломанныя игрушки, красивые черепки, и ему нравилось чувствовать всѣ эти вещи у себя за спиной и слышать, какъ онѣ постукиваютъ тамъ. Собирать все это научилъ его дѣдъ Еремѣй.

— А ты собирай эти штучки и тащи ихъ домой. Принесешь, ребятишекъ обдѣлишь, радость имъ дашь. А хорошо это—радость людямъ дать, любитъ это Господь... Эхъ, сынъ ты мой милый!.. Всѣ-то люди радости хотятъ, а радости на свѣтѣ ма-ало-мало! Такъ-то ли мало, что иной человѣкъ живетъ—живетъ, и никогда ея не встрѣтитъ, никогда!..

Городскія свалки нравились Ильѣ больше, чѣмъ хожденіе по дворамъ. На свалкахъ не было никого, кромѣ двухъ,—трехъ стариковъ такихъ же, какъ Ере-

мѣй, и также рывшихся въ мусорѣ, и здѣсь не нужно было оглядываться по сторонамъ, ожидая дворника съ метлой въ рукахъ, который придетъ и начнетъ браниться нехорошими словами, прогонитъ, да еще иной разъ и ударитъ.

Каждый день Еремѣй, порывшись въ свалкахъ часа два, говорилъ мальчику:

— Будетъ, Илюша, будетъ, милый!.. посидимъ-ка, отдохнемъ давай, поѣдимъ малость!..

Онъ вынималъ изъ-за пазухи ломоть хлѣба, крестясь, разламывалъ его, и они ѣли, а поѣвши отдыхали съ полчаса, лежа на краю оврага. Оврагъ выходилъ устьемъ на рѣку, и ее видно было имъ. Широкая, серебристо-синяя, она тихо катила мимо оврага свои волны, и, глядя на нее, Ильѣ хотѣлось куда-то плыть по ней. За рѣкою развертывались пустынные зеленые луга, стоги сѣна стояли на нихъ сѣрыми башнями и далеко на краю земли въ синее небо упиралась темная зубчатая стѣна лѣса. Было въ лугахъ тихо, ласково и чувствовалось, что воздухъ тамъ чистый, прозрачный и сладко-пахучій... А здѣсь было душно отъ запаха прѣющаго мусора; запахъ этотъ давилъ грудь, щипалъ въ носу, и отъ этого у Ильи, какъ у дѣда, тоже слезы изъ глазъ потекли...

Лежа на спинѣ, мальчикъ смотрѣлъ въ небо и не видѣлъ конца высотѣ его. Грусть и дрёма овладѣвали имъ, какіе-то неясные, огромные образы зарождались въ его воображеніи. Казалось ему, что въ небѣ, неуловимо глазу, плаваетъ кто-то огромный, прозрачно-свѣтлый, ласково-грѣющій, добрый и строгій, и что онъ, мальчикъ, вмѣстѣ съ дѣдомъ и всею землей, поднимается къ нему туда, въ бездонную высь, въ ея голубое сіянье, въ чистоту и свѣтъ ея... И сердце его сладко замирало въ чувствѣ тихой, покойной радости.

Вечеромъ, возвращаясь домой, Илья входилъ на дворъ съ важнымъ и недоступнымъ видомъ человѣка,

который хорошо поработалъ, желаетъ отдохнуть и совсѣмъ не имѣетъ времени заниматься пустяками, какъ всѣ другіе мальчишки и дѣвчонки. Всѣмъ дѣтямъ на дворѣ онъ внушалъ почтеніе къ себѣ своей солидной осанкой и мѣшкомъ за плечами, въ которомъ всегда ужъ лежали разныя интересныя штуки...

Дѣдъ, улыбаясь ребятишкамъ, говорилъ имъ какую-нибудь шутку.

— Вотъ и пришли Лазари, весь городъ облазили, вездѣ напроказили!.. Илька! Иди, помой рожу да приходи въ трактиръ чай пить!..

Илья вразвалку шелъ къ себѣ въ подвалъ, а ребятишки гурьбой слѣдовали за нимъ, осторожно ощупывая содержимое его мѣшка. Только Пашка дерзко, загораживая дорогу Ильѣ, говорилъ:

— Эй, ветошникъ! Ну-ка, кажи, что принесъ...

— Погодишь! — говорилъ Илья сурово. — Напьюсь чаю, покажу...

Въ трактирѣ его встрѣчалъ дядя, ласково улыбаясь.

— Пришелъ работничекъ? Ахъ ты, сердяга!.. усталъ?

Ильѣ было пріятно слышать, что его называютъ работникомъ, а слышалъ это онъ не отъ дяди только. Однажды Пашка что-то созорничалъ; Савелъ поймалъ его, ущемилъ въ колѣни Пашкину голову и, нахлестывая его веревкой, приговаривалъ:

— Не озоруй, шельма, не озоруй! На вотъ тебѣ, на! на! Другіе ребята въ твои годы сами себѣ хлѣбъ добываютъ, а ты только жрешь да одежу дерешь!..

Пашка визжалъ на весь дворъ и дрягалъ ногами, а веревка все шлепалась объ его спину. Илья со страннымъ удовольствіемъ слушалъ болѣзненные и злые крики своего врага, но слова кузнеца наполнили его сознаніемъ своего превосходства надъ Пашкой, и тогда ему стало жаль мальчика.

— Дядя Савелъ, брось!—вдругъ закричалъ онъ.— Дядя Савелъ!

Кузнецъ ударилъ сына еще разъ и, взглянувъ на Илью, сказалъ сердито:

— А ты—цыцъ! Заступникъ!.. Вотъ я те дамъ!..— Потомъ онъ отшвырнулъ сына въ сторону и ушелъ въ кузницу. Пашка всталъ на ноги и, спотыкаясь, какъ слѣпой, пошелъ въ темный уголъ двора. Илья отправился за нимъ, полный жалости къ нему. Придя въ уголъ, Пашка всталъ на колѣни, уперся лбомъ въ заборъ и, гладя руками поясницу, началъ выть еще громче. Ильѣ захотѣлось сказать что-нибудь ласковое избитому врагу, но онъ только спросилъ Пашку:

— Больно?

— У-уйди!—крикнулъ тотъ.

Этотъ злой крикъ обидѣлъ Илью, и онъ поучительно заговорилъ:

— Вотъ ты самъ всѣхъ колотишь, вотъ и...

Но раньше, чѣмъ договорилъ онъ, Пашка бросился на него и сшибъ его съ ногъ. Илья тоже освирѣпѣлъ, вцѣпился въ него, и оба они комомъ покатились по землѣ. Пашка кусался и царапался, а Илья, схвативъ его за волосы, колотилъ о землю его голову до поры, пока Пашка не закричалъ:

— Пусти-и!

— То-то!—сказалъ Илья, вставая на ноги, гордый своей побѣдой. — Видалъ? Я сильнѣе-то! Значитъ, ты меня не задирай теперь, а то я и еще побью тебя!..

Онъ отошелъ прочь, отирая рукавомъ рубахи въ кровь расцарапанное лицо. Среди двора стоялъ кузнецъ, мрачно нахмуривъ брови. Илья, увидѣвъ его, вздрогнулъ отъ страха и остановился, увѣренный, что сейчасъ кузнецъ изобьетъ его за сына. Но тотъ повелъ плечами и сказалъ:

— Ну, чего уставилъ буркалы на меня? Не видалъ раньше? Иди, куда идешь!..

А вечеромъ, поймавъ Илью за воротами, Савелъ ле-

гонько щелкнулъ его пальцемъ въ темя и, сумрачно улыбнувшись, спросилъ:

— Какъ дѣлишки, мусорщикъ? а?

Илья радостно хихикнулъ, — онъ былъ счастливъ. Сердитый кузнецъ, самый сильный мужикъ на дворѣ, котораго всѣ боялись и уважали, шутитъ съ нимъ. Кузнецъ схватилъ его желѣзными пальцами за плечо и добавилъ ему еще радости:

— Ого-о! — сказалъ онъ. — Да ты — крѣпкій мальчишка! Не скоро износишься, нѣтъ, парень!.. Ну, расти!.. Выростешь—я тебя въ кузню возьму!..

Илья охватилъ у колѣна огромную ногу кузнеца и крѣпко прижался къ ней грудью. Должно быть, Савелъ ощутилъ трепетъ маленькаго сердца, задыхавшагося отъ его грубой ласки: онъ положилъ на голову Ильи свою тяжелую руку, помолчалъ немножко и густо молвилъ:

— Э-э-хъ, сирота!.. ну-ка, пусти-ка!..

Сіяющій и веселый принялся Илья въ этотъ вечеръ за обычное свое занятіе—раздачу собранныхъ за день диковинокъ. Дѣти уже давно ждали его. Они усѣлись вокругъ Ильи на землю и жадными глазами глядѣли на грязный мѣшокъ. Илья доставалъ изъ мѣшка лоскутки ситца, деревяннаго солдатика, полинявшаго отъ невзгодъ, коробку изъ-подъ ваксы, помадную банку, чайную чашку безъ ручки и съ выбитымъ краемъ.

— Это мнѣ, мнѣ, мнѣ! — раздавались завистливые крики, и маленькія, грязныя ручонки тянулись со всѣхъ сторонъ къ рѣдкостнымъ вещамъ.

— Погоди! Не хватай!—командовалъ Илья.—Развѣ игра будетъ, коли вы все сразу растащите? Ну, открываю лавочку! Продаю кусокъ ситцу... Самый лучшій ситецъ! Цѣна—полтина!.. Машка, покупай!

— Купила,—отвѣчалъ Яковъ за сапожникову дочь и, доставая изъ кармана заранѣе приготовленный черепокъ, совалъ его въ руку торговцу. Но Илья не бралъ.

— Ну, какая это игра? А ты торгуйся, чо-ортъ! Никогда ты не торгуешься!.. Развѣ такъ бываетъ?

— Я забылъ!—оправдывался Яковъ. И начинался упорный торгъ; продавецъ и покупатели увлекались имъ, а въ это время Пашка ловко похищалъ изъ кучи то, что ему правилось, убѣгалъ прочь и, приплясывая, дразнилъ ихъ:

— А я укралъ! А я укралъ! Розини вы! Дураки, черти!

Сначала онъ такими поступками приводилъ всѣхъ въ изступленіе: маленькіе кричали и плакали, а Яковъ и Илья бѣгали по двору за воромъ, и почти никогда не могли схватить его. Потомъ къ его выходкамъ привыкли, уже не ждали отъ него ничего хорошаго, единодушно не взлюбили его и не играли съ нимъ. Пашка жилъ въ сторонѣ и усердно старался дѣлать всѣмъ что-нибудь непріятное. А большеголовый Яковъ возился, какъ нянька, съ курчавой дочерью сапожника. Она принимала его заботы о ней, какъ должное, и хотя звала его Яшечка, но частенько царапала и била. Дружба съ Ильей крѣпла у него, и онъ постоянно разсказывалъ товарищу какіе-то странные сны.

— Будто у меня множество денегъ и все рубли, агромадный мѣшокъ. И вотъ я тащу его по лѣсу. Вдругъ—разбойники идутъ. Съ ножами, страшные! Я—бѣжать! И вдругъ, будто, въ мѣшкѣ-то затрепыхалось что-то... Какъ я его брошу! А изъ него птицы разныя ф-р-р!.. Чижи, синицы, щеглята—видимо-невидимо! Подхватили онѣ меня и понесли, понесли высоко-высоко!

Онъ прерывалъ разсказъ, глаза его выкатывались, лицо принимало овечье выраженіе...

— Ну?—поощрялъ его Илья, нетерпѣливо ожидая конца.

— Такъ я совсѣмъ и улетѣлъ!..—задумчиво доканчивалъ Яковъ.

...... ты гдѣ? Иди-к

Илья послушно шелъ за ст
на свое ложе—большой куль,
спалось ему на этомъ кулѣ, хо
шичникомъ, но скоро промельки
кая жизнь.

Дѣдушка Еремѣй сдержалъ
пилъ Ильѣ сапоги, большое тяж
вотъ мальчика отдали въ школу
любопытствомъ и страхомъ, а
унылый, со слезами на глазахъ: ма
спутника дѣдушки Еремѣя и хо

— Тряпичникъ! Вонючій! Вон

Иные щипали его, другіе пока
подошелъ къ нему, потянулъ в
гримасой отскочилъ, громко крик

— Вотъ такъ вонько пахнетъ!

— Что они дразнятся?—съ не
спрашивалъ онъ дядю.—Али это
бирать?

— Ничего-о!—гляд...

— Терпи, знай! Онъ зачтетъ!.. Онъ-то? Милый? Кромѣ Его—никого!

Старикъ говорилъ о Богѣ съ такой радостью, съ такой вѣрой въ Его справедливость, точно зналъ всѣ мысли Бога и проникъ во всѣ Его намѣренія. И слова Еремѣя на время гасили обиду въ сердцѣ мальчика, но на другой же день она вспыхивала еще сильнѣе. Илья уже привыкъ считать себя величиной, работникомъ: съ нимъ даже кузнецъ Савелъ говорилъ благосклонно, а школьники смѣялись надъ нимъ и дразнили его. Онъ не могъ помириться съ этимъ: обидныя и горькія впечатлѣнія школы съ каждымъ днемъ все увеличивались, все глубже врѣзывались въ память его сердца. Посѣщеніе школы стало для него тяжелой и непріятной обязанностью. Держался онъ въ ней одиноко, нелюдимо. Онъ сразу обратилъ на себя вниманіе учителя своей понятливостью; учитель сталъ ставить его въ примѣръ другимъ, а это еще болѣе обостряло отношеніе мальчиковъ къ нему. Сидя на первой партѣ, онъ всегда чувствовалъ у себя за спиной враговъ, а они, постоянно имѣя его предъ своими глазами, тонко и ловко подмѣчали въ немъ все, надъ чѣмъ можно было посмѣяться, и смѣялись. Яковъ учился въ этой же школѣ и тоже былъ на худомъ счету у товарищей; они прозвали его „Бараномъ“. Разсѣянный и неспособный, онъ постоянно подвергался наказаніямъ, но относился къ нимъ равнодушно. Казалось, онъ вообще плохо замѣчалъ то, что творилось вокругъ него, живя какой-то особенной жизнью и въ школѣ, и дома. У него были свои думы, и онъ почти каждый день вызывалъ у Ильи удивленіе непонятными вопросами. То онъ сосредоточенно, прищуривая глаза, спрашивалъ:

— Илька! Это отчего бываетъ,—глаза у людей маленькіе, а видятъ все!... Цѣлый городъ видятъ. Вотъ—всю улицу... Какъ она убирается большая такая?

Спачала Илья задумывался надъ этими странными

рѣчами, но потомъ онѣ стали мѣшать ему, отводя мысли куда-то въ сторону отъ тѣхъ событій, которыя задѣвали его. А такихъ событій было много, и мальчикъ уже научился тонко подмѣчать ихъ.

Однажды онъ пришелъ изъ школы домой и, нехорошо оскаливъ зубы, сказалъ дѣду Еремѣю:

— Учитель-то?! Гы-ы!.. Тоже понятливый!.. Вчера лавошника Малафѣева сынъ стекло разбилъ въ окошкѣ, такъ онъ его только пожурилъ легонько, а стекло-то сегодня на свои деньги вставилъ...

— Видишь, какой добрый человѣкъ!—съ умиленіемъ сказалъ Еремѣй.

— Добрый, да-а! А какъ Ванька Ключаревъ разбилъ стекло, такъ онъ его безъ обѣда оставилъ, да потомъ Ванькина отца позвалъ и говоритъ: подай на стекло сорокъ копѣекъ!.. А отецъ Ваньку выпоролъ!.. Ишь какіе!

— А ты этого не замѣчай себѣ, Илюша! — посовѣтовалъ ему дѣдъ, безпокойно мигая глазами.—Ты такъ гляди, будто не твое дѣло. Неправду разбирать—Богу принадлежитъ, а не намъ! Мы не можемъ. Мы неправду всегда видимъ, а правды найти не умѣемъ. А Онъ ужъ все свѣситъ!.. Онъ всему мѣру и вѣсъ знаетъ!.. Я вотъ, видишь, жилъ-жилъ, глядѣлъ-глядѣлъ, — столько неправды видѣлъ — сосчитать невозможно! А правды не видалъ!.. Восьмой десятокъ мнѣ пошелъ, однако... И не можетъ того быть, чтобы за такое большое время не было правды около меня на землѣ-то... А я не видалъ... не знаю ее...

— Ну-у! — недовѣрчиво сказалъ Илья. — Тутъ чего знать-то? Коли съ одного сорокъ, такъ и съ другого сорокъ: вотъ и правда!..

Старикъ не согласился съ этимъ. Онъ еще много говорилъ о слѣпотѣ людей и о томъ, что не могутъ они правильно судить другъ друга, а только Божій судъ справедливъ. Илья слушалъ его внимательно, но

все угрюмѣе становилось его лицо и глаза все темнѣли.

— Когда Богъ судить-то будетъ?—вдругъ спросилъ онъ дѣда.

— Не вѣдомо это!.. Ударитъ часъ, снизойдетъ Онъ со облакъ судити живыхъ и мертвыхъ... а когда? — Не вѣдомо... Ты вотъ что, пойдемъ-ка со мной ко всенощной въ субботу...

— Пойдемъ!..

— Ну, вотъ!..

И въ субботу Илья стоялъ со старикомъ на церковной паперти, рядомъ съ нищими, между двухъ дверей. Когда отворялась наружная дверь, Илью обдавало морознымъ воздухомъ съ улицы, у него зябли ноги, и онъ тихонько топалъ ими по каменному полу. А сквозь стекла двери въ церковь онъ видѣлъ, какъ огни свѣчей, сливаясь въ красивые узоры изъ трепетно живыхъ точекъ золота, освѣщали сверкающій металлъ ризъ, черныя головы людей, лики иконъ, красивую рѣзьбу иконостаса.

Люди въ церкви казались болѣе добрыми и смирными, чѣмъ были на улицѣ. Они были и красивѣе въ золотомъ блескѣ, освѣщавшемъ ихъ темныя, молчаливо и смирно стоящія фигуры. Когда дверь изъ церкви растворялась, на паперть вылетала душистая отъ ладана, теплая, звучная волна пѣнія; она ласково обливала мальчика, и онъ съ наслажденіемъ вдыхалъ ее въ себя. Ему было хорошо стоять тутъ, около дѣдушки Еремѣя, шептавшаго молитвы. Онъ слушалъ, какъ по храму носились красивые звуки, и съ нетерпѣніемъ ожидалъ, когда отворится дверь и они хлынутъ на него, громкіе, радостные, и пахнутъ въ лицо его душистымъ тепломъ. Онъ зналъ, что на клиросѣ поетъ Гришка Бубновъ, одинъ изъ самыхъ злыхъ насмѣшниковъ въ школѣ, и Ѳедька Долгановъ, силачъ и драчунъ. Но теперь онъ не чувствовалъ ни обиды на нихъ, ни злобы

... въ понедѣльникъ
школы такой же, какимъ и прежд
мый и обиженный.

Во всякой толпѣ есть человѣк
въ ней, и не всегда для этого нуж
хуже ея. Можно возбудить въ не
себѣ и не обладая выдающимся ум
носомъ: она выбираетъ себѣ человѣ
водствуясь только желаніемъ забав
случаѣ выборъ палъ на Илью Лун
со временемъ примирился бы съ не
но какъ разъ въ этотъ моментъ въ
изошли событія, которыя подавили
чатлѣніями, сдѣлали школу оконча
ной для него, въ то же время прип
мелочами и затушевали его воспом

Началось съ того, что однажды,
вмѣстѣ съ Яковомъ, Илья увидалъ
воротъ.

— Гляди! — сказалъ онъ товарищ
дерутся?.. Бѣжимъ!

Они стремглавъ бросились впер

затылокъ у нея былъ въ крови и какомъ-то тѣстѣ, а снѣгъ вокругъ головы былъ густо красенъ отъ крови. Около нея валялся смятый бѣлый платокъ и большія кузнечныя клещи. Въ дверяхъ кузни, скорчившись, сидѣлъ Савелъ и смотрѣлъ на руки женщины. Онѣ были вытянуты впередъ, кисти ихъ глубоко вцѣпились въ снѣгъ и голова лежала между ними такъ, точно женщина эта хотѣла уползти, спрятаться. Брови у кузнеца были сурово нахмурены, лицо осунулось: было видно, что онъ сжалъ зубы: скулы торчали двумя большими шишками. Правой рукой онъ упирался въ косякъ двери; черные пальцы его шевелились, какъ когти у кошки, и кромѣ пальцевъ, все въ кузнецѣ было неподвижно.

Люди молча смотрѣли на него; лица у всѣхъ были важныя, строгія, и хотя на дворѣ было шумно и суетно, здѣсь, около кузницы,—ни шума, ни движенія... Вотъ изъ толпы тяжело вылѣзъ дѣдушка Еремѣй, растрепанный, потный; онъ дрожащей рукой протянулъ кузнецу ковшъ воды и сказалъ:

— На-ко... испей-ко...

— Не воды ему, разбойнику, а петлю на шею,—сказалъ кто-то вполголоса. Савелъ взялъ ковшъ лѣвой рукою и пилъ долго, долго. А когда выпилъ всю воду, то посмотрѣлъ въ пустой ковшъ и заговорилъ глухимъ своимъ голосомъ:

— Я ее упреждалъ... Перестань, стерво! Говорилъ—гляди, убью! Прощалъ ей... сколько разовъ прощалъ... Не вникла... Ну, и вотъ!.. Пашка-то... Сирота теперь... Дѣдушка... Погляди за нимъ... Тебя вотъ Богъ любитъ... Погляди...

— И-и-эхъ-ты-ы! — печально сказалъ дѣдъ и потрогалъ кузнеца за плечо дрожащей рукой своей, а кто-то изъ толпы опять замѣтилъ:

— Ишь, злодѣй!.. Про Бога говоритъ тоже!..

Тогда кузнецъ вскинулъ на людей страшными глазами и вдругъ звѣремъ заревѣлъ:

— Чего надо? Прочь всѣ!

Крикъ его какъ плетью ударилъ толпу. Она глухо заворчала и отхлынула прочь. Кузнецъ поднялся на ноги, шагнулъ къ мертвой женщинѣ, но тотчасъ же повернулся назадъ и — огромный, прямой — ушелъ въ кузню. Всѣ видѣли, что, войдя туда, онъ сѣлъ на наковальню, схватилъ руками голову, точно она вдругъ нестерпимо заболѣла у него, и началъ качаться впередъ и назадъ. Ильѣ стало жалко кузнеца; онъ ушелъ прочь отъ кузницы и какъ во снѣ сталъ ходить по двору отъ одной кучки людей къ другой, слушая разговоры, но ничего не понимая.

Явилась полиція и начала гонять людей по двору, а потомъ кузнеца забрали и повели.

— Прощайте... прощай, дѣдушка!—крикнулъ Савелъ, выходя изъ воротъ.

— Прощай, Савелъ Иванычъ, прощай, милый! — торопливо и тонко крикнулъ Еремѣй, порываясь за нимъ.

И, кромѣ старика, никто не простился съ кузнецомъ...

Стоя на дворѣ маленькими кучками, люди разговаривали, сумрачно поглядывая туда, гдѣ лежало тѣло убитой, покрытое рогожей. Въ дверяхъ кузни, на мѣстѣ, гдѣ сидѣлъ Савелій, теперь помѣстился будочникъ съ трубкой въ зубахъ. Онъ курилъ, сплевывалъ слюну и, мутными глазами глядя на дѣда Еремѣя, слушалъ его рѣчь.

— Развѣ онъ убилъ?—таинственно и тихо говорилъ старикъ.—Черная сила это, она это! Человѣкъ человѣка не можетъ убить... Человѣкъ—добро, онъ Богоносецъ... Не онъ убиваетъ, неправда это, люди добрые!

Еремѣй прикладывалъ руки къ своей груди, отмахивая ими что-то отъ себя, кашлялъ и продолжалъ объяснять людямъ тайну событія.

— Давно ему черный нашептывалъ въ мысли-то: убей, дескать!

— Давно, говоришь? — важно освѣдомился полицейскій.

— Давно-о! Твоя, дескать, она. А это неправда... Лошадь—моя... Собака—моя... а жена—Богова!.. Она—человѣкъ!.. Она всѣ труды-тягости отъ Господа приняла въ раю и несетъ купно съ нами, мужиками... А черный-то все и гвоздитъ: убей, твоя!.. Ему надо, чтобы человѣкъ противъ Бога шелъ... Онъ самъ противъ Бога идетъ и въ человѣкѣ помощника ищетъ...

— Однако, клещами-то ее не чортъ двинулъ, а кузнецъ,—сказалъ полицейскій и сплюнулъ.

— А кто ему внушилъ?—вскричалъ дѣдъ.—Ты разгляди, кто внушилъ?

— Погоди! — сказалъ полицейскій. — Онъ кто тебѣ, кузнецъ этотъ? Сынъ?

— Нѣтъ, гдѣ тамъ!..

— Погоди! Родня онъ тебѣ?

— Нѣ-ѣтъ. Нѣтъ у меня родни...

— Постой! Такъ чего же ты безпокоишься?

— Я-то? А, Господи...

— Я тебѣ вотъ что скажу, — строго молвилъ полицейскій:—все это ты отъ старости лопочешь... И — пошелъ прочь!

Будочникъ выпустилъ изъ угла губъ густую струю дыма и отвернулся отъ старика. Но Еремѣй взмахнулъ руками и вновь заговорилъ быстро, визгливо.

Илья, блѣдный, съ расширенными глазами, отошелъ отъ кузницы и остановился у группы людей, въ которой стояли извозчикъ Макаръ, Перфишка, Матица и другія женщины съ чердака.

— Она, милые, еще до свадьбы погуливала!—говорила одна изъ женщинъ. — Я это знаю! Еще, можетъ, Пашка-то не кузнеца сынъ, а учителя изъ гимназіи, что у лавошника Малафѣева жилъ... пилъ-то все...

— Это что застрѣлился который? — спросилъ Перфишка.

— Вотъ, вотъ!.. Она съ нимъ и начала...

— Однако, за все за это не того...—степенно говорилъ Макаръ.—Этакъ-то больно ужъ просто... Онъ свою бабу пристукнетъ, я свою.

— Подбирать не успѣютъ!—сказалъ веселый сапожникъ Перфишка.—У меня вонъ тоже жена ни къ чему не служитъ, однако, я терплю...

— Терпишь ты, чортъ!—угрюмо сказала Матица.

А безногая жена Перфишки тоже вылѣзла на дворъ и, вся закутавшись въ какія-то лохмотья, сидѣла на своемъ мѣстѣ у входа въ подвалъ. Руки ея неподвижно лежали на колѣняхъ; она подняла голову и смотрѣла черными глазами на небо. Губы ея были плотно сжаты, концы ихъ спустились книзу. Илья тоже сталъ смотрѣть то въ глаза женщины, то въ глубину неба, и ему подумалось, что, можетъ быть, Перфишкина жена видитъ Бога и, молча, проситъ его о чемъ-то.

Вскорѣ всѣ ребятишки тоже собрались въ тѣсную кучку у входа въ подвалъ. Зябко кутаясь въ свои одежки, они сидѣли на ступеняхъ лѣстницы и, подавленные жуткимъ любопытствомъ, слушали разсказъ Савелова сына. Лицо у Пашки осунулось, а его лукавые глаза глядѣли на всѣхъ безпокойно и растерянно. Но онъ чувствовалъ себя героемъ: никогда еще люди не обращали на него столько вниманія, какъ сегодня. Разсказывая въ десятый разъ одно и то же, онъ говорилъ какъ бы нехотя, равнодушно:

— Какъ ушла она третьяго дня, такъ еще тогда отецъ зубами заскрипѣлъ и съ той поры такъ и былъ злющій, рычитъ. Меня то и дѣло за волосья деретъ... Я ужъ вижу—ого! И вотъ она пришла. А квартира-то заперта была—мы въ кузнѣ были. Я стоялъ у мѣховъ. Вотъ вижу, она подошла, встала въ двери и говоритъ: дай-ко ключъ! А отецъ-то взялъ клещи и пошелъ на нее... Идетъ это онъ тихо такъ, будто крадется... Я даже глаза зажмурилъ—страшно! Хотѣлъ ей крикнуть: бѣги,

мамка! Не крикнулъ... Открылъ глаза, а онъ все идетъ еще! Глазищи горятъ! Тутъ она пятиться начала... А потомъ обернулась задомъ къ нему, видно, бѣжать хотѣла...

Лицо у Пашки дрогнуло, все его худое, угловатое тѣло задергалось. Глубокимъ вздохомъ онъ глотнулъ много воздуха и выдохнулъ его протяжно, сказавъ:

— Тутъ онъ ее клещами ка-акъ брякнетъ!

Неподвижно сидѣвшія дѣти зашевелились.

— Она взмахнула руками и упала... какъ въ воду мырнула...

Онъ замолчалъ, взялъ въ руки какую-то щепочку, внимательно осмотрѣлъ ее и бросилъ ее куда-то черезъ головы дѣтей. Они всѣ тоже сидѣли молча и неподвижно, какъ будто ждали отъ него чего-то еще. Но онъ молчалъ, низко наклонивъ голову.

— Совсѣмъ убилъ? — спросила Маша тонкимъ дрожащимъ голосомъ.

— Дура!—не поднявъ головы, сказалъ Пашка.

Яковъ обнялъ дѣвочку и подвинулъ ее ближе къ себѣ, а Илья подвинулся къ Пашкѣ, тихо спросивъ его:

— Тебѣ ее жалко?

— А что тебѣ за дѣло?—сердито отозвался Пашка.

Всѣ сразу и молча взглянули на него.

— Вотъ она все гуляла, — раздался звонкій голосъ Маши, но Яковъ торопливо и безпокойно перебилъ ея рѣчь:

— Загуляешь!.. Вонъ онъ какой былъ, кузнецъ-то!.. Черный всегда, страшный, урчитъ!.. А она веселая была, какъ Перфишка... И было ей скучно... съ кузнецомъ...

Пашка взглянулъ на него и заговорилъ угрюмо, солидно, какъ большой:

— Я ей говорилъ: смотри, мамка! Онъ тебя убьетъ!.. Не слушала... Бывало, только проситъ, чтобъ ему не сказывалъ ничего... Гостинцы за это покупала. А фетьфебель все пятаки мнѣ дарилъ. Я ему принесу записку,

а онъ мнѣ сейчасъ пятакъ дастъ... Онъ—добрый!.. Силачъ такой... Усищи у него...

— А сабля есть?—спросила Маша.

— Еще какая!—отвѣтилъ Пашка и съ гордостью прибавилъ:—Я ее разъ вынималъ изъ ноженъ, — чижолая, дьяволъ!

Яковъ задумчиво сказалъ:

— Вотъ и ты теперь сирота... какъ Илюшка...

— Какъ бы не такъ,—недовольно отозвался сирота.— Ты думаешь, я тоже въ тряпичники пойду? Наплевалъ я!

— Я не про то...

— Я теперь, что хочу, то и дѣлаю!..—поднявъ голову и сердито сверкая глазами, говорилъ Пашка гордымъ голосомъ.—Я не сирота... а просто... одинъ буду жить. Вотъ отецъ-то не хотѣлъ меня въ училище отдать, а теперь его въ острогъ посадятъ... А я пойду въ училище, да и выучусь... еще получше вашего!

— А гдѣ одежу возьмешь? — спросилъ его Илья, усмѣхаясь съ торжествомъ.—Въ училище дранаго-то не больно еще примутъ!.. Что?

— Одежу? А я... кузницу продамъ!

Всѣ взглянули на Пашку съ уваженіемъ, а Илья почувствовалъ себя побѣжденнымъ. Пашка замѣтилъ впечатлѣніе и понесся еще выше.

— Я еще лошадь себѣ куплю... живую, всамдѣлишную лошадь! И буду ѣздить въ училище верхомъ!..

Ему такъ понравилась эта мысль, что онъ даже улыбнулся, хотя улыбка была какая-то пугливая,—мелькнувъ на губахъ, она тотчасъ же исчезла.

— Бить тебя ужъ никто теперь не будетъ,—вдругъ сказала Маша Пашкѣ, глядя на него съ завистью.

— Найдутся охотники!—увѣренно возразилъ Илья.

Пашка взглянулъ на него и, ухарски сплюнувъ въ сторону, спросилъ:

— Ты, что ли? Сунься-ка!

Снова вмѣшался Яковъ.

— А какъ чудно, братцы!.. былъ человѣкъ и ходилъ, говорилъ и все... какъ всѣ, — живой былъ, а ударили клещами по головѣ—его и нѣтъ!..

Ребятишки, всѣ трое, внимательно посмотрѣли на Якова, а у него глаза полѣзли на лобъ и остановились, смѣшно выпученные.

— Да-а!—сказалъ Илья.—Я тоже думаю про это...

— Говорятъ—умеръ,—тихо и таинственно продолжалъ Яковъ,—а что такое умеръ?

— Душа улетѣла,—сумрачно пояснилъ Пашка.

— На небо, — добавила Маша и, прижавшись къ Якову, взглянула на небо. Тамъ уже загорались звѣзды; одна изъ нихъ, — большая, яркая и не мерцающая,—была ближе всѣхъ къ землѣ и смотрѣла на нее холоднымъ, неподвижнымъ окомъ. За Машей подняли головы кверху и трое мальчиковъ. Пашка взглянулъ и тотчасъ же убѣжалъ куда-то. Илья смотрѣлъ долго, пристально, со страхомъ въ глазахъ и въ одну точку, а большіе глаза Якова блуждали въ синевѣ небесъ такъ, точно онъ искалъ тамъ чего-то.

— Яшка!—окликнулъ его товарищъ, опуская голову.

— А?

— Я вотъ все думаю...—голосъ Ильи оборвался.

— Про что?—тоже тихонько спросилъ Яковъ.

— Про всѣхъ...

— Ну?

— Какъ они... Не ладно какъ-то... Убили человѣка... всѣ суетятся, бѣгаютъ... говорятъ разное... А никто не заплакалъ... никто не пожалѣлъ...

— Да-а... Еремѣй плакалъ...

— Онъ всегда ужъ... А Пашка-то какой? Ровно сказку разсказывалъ...

— Онъ форситъ... Ему жаль, да онъ насъ стыдится плакать-то... А вотъ теперь побѣжалъ и, чай, такъ то-ли реветъ... держись только!

Они посидѣли нѣсколько минутъ молча, плотно прижавшись другъ къ другу.

Маша уснула на колѣняхъ Якова, а лицо ея такъ и осталось обращеннымъ къ небу.

— А страшно тебѣ?—уже шепотомъ спросилъ Яковъ.

— Страшно,—также отвѣтилъ Илья.

— Теперь душа ея ходить будетъ тутъ...

— Да-а... Машка-то спитъ...

— Надо стащить ее домой... А и шевелиться-то боязно...

— Идемъ вмѣстѣ.

Яковъ положилъ голову спящей дѣвочки на плечо себѣ, охватилъ руками ея тонкое тѣльце и съ усиліемъ поднялся на ноги, шепотомъ говоря:

— Погоди, Илья, я впередъ пойду...

Онъ пошелъ, покачиваясь подъ тяжестью ноши, а Илья шелъ сзади, почти упираясь носомъ въ затылокъ товарища. И ему чудилось, что кто-то невидимый идетъ за нимъ, дышитъ холодомъ въ его шею и вотъ-вотъ схватитъ его. Онъ толкнулъ товарища въ спину и чуть слышно шепнулъ ему:

— Иди скорѣе!..

Вслѣдъ за этимъ событіемъ началъ прихварывать дѣдушка Еремѣй. Онъ все рѣже выходилъ собирать тряпки, а оставался дома и скучно бродилъ по двору или лежалъ у себя, въ своей темной конурѣ. Приближалась весна, и во дни, когда на ясномъ небѣ ласково сіяло теплое солнце, старикъ сидѣлъ гдѣ-нибудь на припекѣ, озабоченно высчитывая что-то на пальцахъ и беззвучно шевеля губами. Сказки дѣтямъ онъ сталъ разсказывать рѣже и хуже. Заговоритъ и вдругъ закашляется. Въ груди у него что-то хрипѣло, точно просилось на волю.

— Будетъ ужъ тебѣ!—увѣщевала его Маша, любившая сказки больше всѣхъ.

— По... г-годи!..—задыхаясь, говорилъ старикъ.—Погоди, сейчасъ... отступитъ...

Но кашель не отступалъ, а еще сильнѣе трясъ иссохшее тѣло старика. Иногда ребятишки такъ и расходились, не дождавшись конца сказки, и когда они уходили, дѣдъ смотрѣлъ на нихъ какъ-то особенно жалобно.

Илья замѣтилъ, что болѣзнь дѣда очень безпокоитъ буфетчика Петруху и дядю Терентія. Петруха по нѣскольку разъ въ день появлялся на черномъ крыльцѣ трактира, и, отыскавъ веселыми, сѣрыми глазами старика, спрашивалъ его:

— Какъ дѣлишки, дѣдка? Полегче, что-ли?

Коренастый, въ розовой ситцевой рубахѣ, онъ ходилъ, засунувъ руки въ карманы широкихъ суконныхъ штановъ, заправленныхъ въ блестящіе сапоги съ мелкимъ наборомъ. Въ карманахъ у него всегда побрякивали деньги. Его круглая голова уже начинала лысѣть со лба, но на ней еще много было кудрявыхъ русыхъ волосъ, и онъ всегда молодецки встряхивалъ ими. Илья не любилъ его и раньше, но теперь это чувство все росло у мальчика. Онъ зналъ, что Петруха не любитъ дѣда Еремѣя. Однажды онъ слышалъ, какъ буфетчикъ училъ дядю Терентія:

— Ты, Тереха, надзирай за нимъ! Онъ — скаредъ!.. У него, чай, въ подушкѣ-то, поди, накоплено не мало. Не зѣвай! Ему, старому кроту, вѣку не много осталось; ты съ нимъ въ дружбѣ, а у него—ни души родной!.. Сообрази, красавецъ!..

Вечера дѣдушка Еремѣй попрежнему проводилъ въ трактирѣ около Терентія, разговаривая съ горбуномъ о Богѣ, правдѣ и дѣлахъ человѣческихъ. Горбунъ, живя въ городѣ, сталъ еще уродливѣе. Онъ какъ бы вымокъ въ своей работѣ; глаза у него стали тусклые, пугливые, тѣло точно растаяло въ трактирной жарѣ. Грязная рубашка постоянно всползала на горбъ, обнажая пояс-

ницу. Разговаривая съ кѣмъ-нибудь, Терентій все время держалъ руки за спиной и оправлялъ рубашку быстрымъ движеніемъ рукъ, — казалось, что онъ прячетъ что-то въ свой огромный горбъ.

Когда дѣдушка Еремѣй сидѣлъ на дворѣ, Терентій тоже выходилъ на крыльцо и смотрѣлъ на него, прищуривая глаза и прислоняя ладонь ко лбу. Желтая бороденка на его остромъ лицѣ вздрагивала, когда онъ спрашивалъ слабымъ и виноватымъ голосомъ:

— Дѣдушка Ерема! Не надо-ли чего?

— Спасибо!.. Не надо... ничего ужъ не надо...— отвѣчалъ старикъ.

Горбунъ медленно повертывался на тонкихъ ногахъ и уходилъ. А старику съ каждымъ днемъ становилось все хуже.

— Видно, ужъ не оправиться мнѣ, — сказалъ онъ однажды Ильѣ, сидѣвшему рядомъ съ нимъ. — Видно, время ужъ помирать! Только...

Еремѣй подозрительно оглянулся вокругъ и шепотомъ продолжалъ:

— Рано, Илюша! Дѣла я моего не сдѣлалъ!.. Не успѣлъ! Деньги-то... копилъ я деньги, семнадцать годовъ копилъ... На церковь накопить думалъ... Думалъ въ деревнѣ своей храмъ Божій построить... Нужно это... охъ, нужно людямъ Божіи храмы имѣть. Одно убѣжище намъ—у Бога... Мало накопилъ я... не хватитъ... И тѣ, что есть, куда дѣвать—не знаю... Господи, научи!.. А ужъ воронье летаетъ, каркаетъ, чуетъ кусъ!.. Илюша, ты знай: деньги у меня есть... Не говори никому, а знай!..

Илья выслушалъ рѣчь старика, почувствовалъ себя носителемъ большой и важной тайны и понялъ, кто это воронье, о которомъ со страхомъ и скорбью говорилъ старикъ.

А черезъ нѣсколько дней, придя изъ школы и раздѣваясь въ своемъ углу, Илья услыхалъ въ конуркѣ

[redacted]

дѣдушки Еремѣя странные звуки. Кто-то бормоталъ, всхлипывалъ и хрипѣлъ, точно его душили. Порой раздавалось ясно выдѣлявшееся шипѣніе:

— Кш... кшш... про-очь!..

Мальчикъ боязливо толкнулся въ дверь къ дѣду,— она была заперта. Тогда онъ дрожащимъ голосомъ крикнулъ:

— Дѣдушка!

А изъ-за двери раздался въ отвѣтъ ему торопливый, задыхающійся шепотъ:

— Кшш!.. Господи... помилуй... помилуй... помилуй...—И вдругъ стало тихо. Илья отскочилъ отъ двери, не зная, что дѣлать, но тотчасъ же прислонилъ лицо къ щели въ переборкѣ и замеръ на мѣстѣ, весь вздрагивая. Въ крошечной комнатѣ старика стояла мутная мгла. Свѣтъ едва проникалъ туда сквозь грязное, маленькое окно. Было слышно, какъ въ стекла бьютъ брызги весенней капели и въ яму предъ окномъ течетъ со двора вода. Илья присмотрѣлся и увидалъ, что старикъ лежитъ на своей постели вверхъ грудью и молча размахиваетъ руками.

— Дѣдушка!—тоскливо окрикнулъ мальчикъ.

Старикъ вздрогнулъ, приподнялъ голову и громко забормоталъ:

— Кш... Петруха... гляди, Бо-огъ! Это Ему!.. это на храмъ Ему... Кш... Вбронъ ты... Господи... Твое... Тво-ое!.. Сохрани... Спаси... помилуй... помилуй, помилуй...

Илья дрожалъ отъ ужаса, но не могъ уйти. И онъ видѣлъ, какъ безсильно мотавшаяся въ воздухѣ, черная и сухая рука Еремѣя грозила кому-то невидимому крючковатымъ пальцемъ.

— Гляди... Богово!.. не моги!..

А потомъ дѣдъ весь подобрался, съежился и — вдругъ сѣлъ на своемъ ложѣ. Бѣлая борода его трепетала, какъ крыло летящаго голубя. Онъ протянулъ

руки впередъ и, сильно толкнувъ ими кого-то, свалился на полъ.

Илья взвизгнулъ и бросился вонъ. А въ ушахъ у него шипѣло, преслѣдуя его:

— Кш... кш...

Мальчикъ вбѣжалъ въ трактиръ и, задыхаясь, крикнулъ:

— Дядя! померъ...

Терентій охнулъ, затопалъ ногами на одномъ мѣстѣ и сталъ судорожно оправлять рубаху, глядя на Петруху, стоявшаго за буфетомъ.

— Дядя, иди скорѣе!..

— Ну, что-жъ ты?—строго сказалъ Петруха.—Иди! Царство небесное! Хорошій былъ старичокъ, между прочимъ... Пойду и я... погляжу... Илья, ты побудь здѣсь... понадобится что, прибѣги за мной,—слышишь? Яковъ, постой за буфетомъ... Я скоро приду...

Петруха пошелъ вонъ изъ трактира, не торопясь, громко стукая каблуками, и оба мальчика слышали, какъ за дверями онъ снова сказалъ горбуну:

— Иди, иди... дурья голова...

Илья былъ сильно испуганъ всѣмъ, что онъ видѣлъ и слышалъ, но этотъ испугъ не мѣшалъ ему замѣчать все, что творилось вокругъ.

— Ты видѣлъ, какъ онъ помиралъ? — спросилъ Яковъ изъ-за стойки.

Илья посмотрѣлъ на него и отвѣтилъ вопросомъ же:

— А зачѣмъ они пошли туда?..

— Смотрѣть!.. ты же ихъ позвалъ!..

Илья промолчалъ. Потомъ онъ крѣпко закрылъ глаза и заговорилъ:

— Ну, и страшно!.. Какъ онъ его толкалъ!..

— Кого?—любопытно вытянувъ голову, спросилъ Яковъ.

— Чорта!—отвѣтилъ Илья, подумавъ.

— Ты видѣлъ?

— А?

— Ты чорта видѣлъ?—подбѣгая къ нему, тихо крикнулъ Яковъ. Но товарищъ его опять закрылъ глаза и не отвѣчалъ.

— Испугался?—дергая его за рукавъ, спрашивалъ Яковъ.

— Погоди!—вдругъ таинственно сказалъ Илья.—Я... выбѣгу я... на минуту... ладно? А ты отцу не говори,—ладно?

— Ладно! А потомъ бѣги сюда...

Подгоняемый своей догадкой, Илья бѣгомъ бросился изъ трактира и черезъ нѣсколько секундъ былъ уже въ подвалѣ. Осторожно, безшумно, какъ мышенокъ, онъ подкрался къ щели въ перегородкѣ и вновь прильнулъ къ ней. Дѣдъ былъ еще живъ,—онъ хрипѣлъ... Но Илья не видѣлъ его: тѣло умирающаго старика валялось на полу у ногъ двухъ живыхъ черныхъ фигуръ.

Во мглѣ онѣ обѣ сливались въ одну большую, уродливую. Потомъ Илья разглядѣлъ, что его дядя, стоя на колѣняхъ у ложа старика, держитъ подушку и торопливо зашиваетъ ее. Былъ ясно слышенъ шорохъ нитки, продергиваемой сквозь матерію. Петруха стоялъ сзади Терентія, наклонясь надъ нимъ. Вотъ онъ встряхнулъ волосами и укоризненно зашепталъ:

— Скорѣе... уродъ... Говорилъ я тебѣ—держи на готовѣ иглу съ ниткой... Такъ нѣтъ... вздѣвать пришлось... Эхъ ты, тюря! Хорошенько-то не умѣлъ поглядѣть... Но, между прочимъ, Богъ съ нимъ! Будетъ и того!.. Слышишь? Да ты приди въ себя, чучело!

Спокойный шепотъ Петрухи, клокочащіе вздохи умирающаго, шорохъ нитки и жалобный звукъ воды, стекавшей въ яму предъ окномъ,—всѣ эти звуки сливались въ глухой шумъ, отъ котораго въ сознаніи мальчика все помутилось. Онъ тихо откачнулся отъ стѣны и пошелъ вонъ изъ подвала. Большое черное

пятно вертѣлось, какъ колесо, передъ его глазами и шипѣло, отъ этого у Ильи кружилась голова и было ему тошно. Идя по лѣстницѣ въ трактиръ, онъ крѣпко цѣплялся руками за перила и съ усиліемъ поднималъ ноги, а дойдя до двери, онъ всталъ въ ней и тихо заплакалъ. Предъ нимъ вертѣлся Яковъ и что-то говорилъ ему. Потомъ его толкнули въ спину и раздался голосъ Перфишки:

— Кто—кого? Чѣмъ—почему? Н-но? Померъ? Ахъ... ч-чортъ!..—И вновь сильно толкнувъ Илью, сапожникъ бросился внизъ по лѣстницѣ такъ, что она затрещала подъ ударами его ногъ. Но внизу лѣстницы онъ громко и жалобно вскричалъ:

— Э-эхма-а!

Илья слышалъ, что вверхъ по лѣстницѣ идетъ дядя съ Петрухой, и ему не хотѣлось плакать при нихъ, но онъ не могъ сдержать своихъ слезъ.

— Яковъ!—крикнулъ Петруха,—сбѣгай-ка за Михѣемъ-булочникомъ!.. Скажи: ветошникъ, молъ, представился ко Господу...—живо!

— Ахъ ты!..—воскликнулъ Перфишка.—Такъ вы были ужъ тамъ? мм...

Терентій прошелъ мимо племянника, не взглянувъ на него. А Петруха положилъ руку на плечо Ильи и сказалъ:

— Плачешь? Плачь,—это хорошо... Значитъ, ты паренекъ благодарный и содѣянное тебѣ добро можешь понимать. Старикъ былъ тебѣ ба-альшимъ благодѣтелемъ!..

Онъ помолчалъ и, потомъ легонько отведя Илью въ сторону, добавилъ:

— Но, между прочимъ, въ дверяхъ ты не стой...

Илья вытеръ лицо рукавомъ рубахи и посмотрѣлъ на всѣхъ. Петруха уже стоялъ за буфетомъ и встряхивалъ кудрями. Предъ нимъ стоялъ Перфишка и, глядя на него, лукаво ухмылялся. Но лицо у него, не-

смотря на улыбку, было такое, какъ будто онъ только-что проигралъ въ орлянку послѣдній свой пятакъ.

— Ну-съ, чего тебѣ, Перфилъ?—поводя бровями, строго спросилъ Петруха.

— Мнѣ?.. Мм... могарыча не будетъ?—вдругъ сказалъ Перфишка.

— По какому такому случаю?—медленно спросилъ буфетчикъ.

— Эхъ-ма!—вскричалъ сапожникъ, притопнувъ ногой по полу.—И ротъ широкъ, да не мнѣ пирогъ! Такъ тому и быть! Одно слово—желаю здравствовать вамъ, Петръ Якимычъ!

— Что такое? Что ты мелешь?—уже съ миролюбивой улыбкой спросилъ Петруха.

— Такъ это я... отъ простоты ума и сердца!

— Стало быть, поднести тебѣ стаканчикъ,—къ этому ты клонилъ? Хе-хе-хе!

— Ха, ха, ха!—раскатился по трактиру веселый смѣхъ сапожника.

Илья качнулъ головой, какъ бы стряхивая съ нея что-то, и вышелъ вонъ.

Въ эту ночь онъ легъ спать поздно и не у себя въ коморкѣ, а въ трактирѣ подъ столомъ, на которомъ Терентій мылъ посуду. Горбунъ уложилъ племянника, а самъ началъ вытирать столы. На стойкѣ горѣла лампа, освѣщая бока пузатыхъ чайниковъ и бутылки въ шкафу. А въ трактирѣ было темно, въ окна смотрѣла черная ночь, стучалъ мелкій дождь, тихо шуршалъ вѣтеръ... Терентій, похожій на огромнаго ежа, двигалъ столами и все вздыхалъ. Когда онъ подходилъ близко къ лампѣ, отъ него на полъ ложилась густая тѣнь,—Ильѣ казалось, что это ползетъ душа дѣдушки Еремѣя и хрипитъ на дядю.

— Кш... кшш...

Мальчику было холодно и страшно. Его душила сырость,—была суббота, полъ только-что вымыли, отъ

него пахло гнилью. Ему хотѣлось попросить, чтобы дядя скорѣе легъ подъ столъ, рядомъ съ нимъ, но тяжелое, нехорошее чувство мѣшало ему говорить съ дядей. Воображеніе рисовало сутулую фигуру дѣда Еремѣя съ его бѣлой бородой, и въ памяти звучалъ ласковый скрипучій голосъ:

— Сынокъ, сынокъ! Господь мѣру знаетъ... Ничего-о!..

— Ложился бы ты ужъ!.. — не вытерпѣвъ, сказалъ Илья жалобнымъ голосомъ.

Горбунъ вздрогнулъ и замеръ. Потомъ тихо, робко спросилъ:

— А? Кто это?

— Я; ложился бы, говорю...

— Сейчасъ! Сейчасъ, сейчасъ!..—торопливо заговорилъ горбунъ и завертѣлся около столовъ быстро, какъ волчокъ. Илья понялъ, что дядѣ тоже страшно, и съ чувствомъ удовольствія подумалъ про себя:

„Такъ тебѣ и надо!..“

Дробно стучалъ дождь, гдѣ-то раздавались глухіе удары. Огонь въ лампѣ вздрагивалъ, а чайники и бутылки молча ухмылялись. Илья закрылся съ головой дядинымъ полушубкомъ и лежалъ, затаивъ дыханіе. Но вотъ около него что-то завозилось. Онъ весь похолодѣлъ, высунулъ голову и увидалъ, что Терентій стоитъ на колѣняхъ, наклонивъ голову, такъ-что подбородокъ его упирался въ грудь, и шепчетъ:

— Господи, батюшка... Господи!

Этотъ шепотъ былъ похожъ на хрипъ дѣда Еремѣя. Тьма въ комнатѣ какъ бы двигалась и полъ качался вмѣстѣ съ ней, а въ трубахъ вылъ вѣтеръ.

— У-у-у-у!..

— Не молись,—звонко крикнулъ Илья.

— Охъ, что ты это?—вполголоса сказалъ горбунъ.— Спи, Христа ради!

— Не молись!—настойчиво повторилъ мальчикъ.

— Н-ну... не буду...

Темнота и сырость все тяжелѣе давили Илью, ему трудно было дышать, а внутри его клокоталъ страхъ, жалость къ дѣду, злое чувство къ дядѣ. Онъ завозился на полу, сѣлъ и застоналъ.

— Что ты? Что!..—испуганно шепталъ дядя, хватая его руками. А Илья отталкивалъ его и со слезами въ голосѣ, съ тоской и ужасомъ говорилъ:

— Господи! Хоть бы спрятаться куда-нибудь... отъ всего... Господи!

Слезы перехватили ему голосъ. Онъ съ усиліемъ глотнулъ гнилого воздуха и зарыдалъ, ткнувшись лицомъ въ полъ...

Сильно измѣнился характеръ Ильи послѣ этихъ событій. Раньше онъ держался въ сторонѣ только отъ учениковъ своей школы, не умѣя примириться съ ихъ отношеніемъ къ нему, не находя въ себѣ желанія уступать имъ и сближаться съ ними. Но дома онъ былъ общителенъ и довѣрчивъ со всѣми, вниманіе взрослыхъ доставляло ему удовольствіе. А теперь онъ сталъ держаться одиноко и не по лѣтамъ серьезно. Выраженіе его лица стало сухимъ, губы плотно сжались, онъ зорко присматривался ко взрослымъ и съ подстрекающимъ выраженіемъ въ глазахъ вслушивался въ ихъ рѣчи. Его тяготило воспоминаніе о томъ, что онъ видѣлъ въ день смерти дѣда Еремѣя, ему казалось, что и онъ вмѣстѣ съ Петрухой и дядей тоже виноватъ предъ старикомъ. Можетъ быть, дѣдъ, умирая и видя, какъ его грабятъ, подумалъ, что это онъ, Илья, сказалъ Петрухѣ про деньги. Эта мысль родилась въ Ильѣ какъ-то вдругъ, незамѣтно для него и наполнила душу мальчика смятеніемъ, скорбной тяжестью. Онъ носилъ ее въ себѣ, и она еще болѣе возбуждала въ немъ подозрительное чувство ко всѣмъ людямъ. И когда онъ замѣчалъ за ними что-нибудь нехорошее, ему станови-

лось легче отъ этого, какъ будто вина его предъ дѣдомъ уменьшалась. А нехорошаго въ людяхъ онъ видѣлъ много. Всѣ во дворѣ называли буфетчика Петруху пріемщикомъ краденаго, мошенникомъ, но въ глаза всѣ ласкались къ нему, уважительно раскланивались и называли Петромъ Якимычемъ. Бабу Матицу всѣ звали браннымъ словомъ; когда она напивалась пьяная, ее толкали, били; однажды она, выпивши, сѣла подъ окно кухни, а поваръ облилъ ее помоями... И всѣ постоянно пользовались ея услугами, никогда ничѣмъ не вознаграждая ее, кромѣ ругани и побоевъ. Перфишка приглашалъ ее мыть свою больную жену, Петруха заставлялъ безплатно убирать трактиръ передъ праздниками, Терентію она шила рубахи. Она ко всѣмъ шла, все дѣлала безропотно и хорошо, она любила ухаживать за больными, любила водиться съ дѣтьми...

Илья видѣлъ, что самый работящій человѣкъ во дворѣ — сапожникъ Перфишка — живетъ у всѣхъ на смѣху, и что всѣ замѣчаютъ его лишь тогда, когда онъ пьяный, съ гармоникой въ рукахъ сидитъ въ трактирѣ или пляется по двору, наигрывая и распѣвая веселыя, смѣшныя пѣсенки. Но никто не хотѣлъ видѣть, какъ осторожно этотъ Перфишка вытаскивалъ на крыльцо свою безногую жену, какъ онъ укладывалъ спать свою дочку, осыпая ее поцѣлуями и строя для ея потѣхи смѣшныя рожи. И никто не смотрѣлъ на сапожника, когда онъ, смѣясь и шутя, училъ Машу варить обѣдъ и убирать комнату, а потомъ садился работать и шилъ до поздней ночи, согнувшись въ три погибели надъ худымъ и грязнымъ сапогомъ.

Когда кузнеца увели въ острогъ, никто не позаботился объ его сынѣ, кромѣ сапожника. Онъ тотчасъ же взялъ Пашку къ себѣ, и уже Пашка давно сучилъ ему дратву, мелъ комнату, бѣгалъ за водой и въ лавочку за хлѣбомъ, квасомъ, лукомъ. Всѣ видѣли сапожника

пьянымъ въ праздники, но никто не слыхалъ, какъ на другой день, трезвый, онъ разговаривалъ съ женой:

— Ты меня, Дуня, прости! Вѣдь я пью не потому, что потерянный пьяница, а съ устатку. Цѣлую недѣлю работаешь... скушно! Ну, и хватишь!..

— Да развѣ я виню? О Господи! Жалѣю я тебя!..— хриплымъ голосомъ говорила жена, и въ горлѣ у нея что-то переливалось.—Развѣ, думаешь, я твоихъ трудовъ не вижу? Камнемъ Господь положилъ меня на шею тебѣ. Умереть бы!.. Освободить бы мнѣ тебя!..

— Не моги такъ говорить! Я не люблю этихъ твоихъ рѣчей. Я тебя обижаю, не ты меня!.. Но я это не потому, что злой, а потому, что ослабъ. Вотъ, однажды, переѣдемъ на другую улицу, и начнется все другое... окна, двери... все! Окна на улицу будутъ. Вырѣжемъ изъ бумаги сапогъ и на стекла наклеимъ. Вывѣска! И повалитъ къ намъ нар-родъ! За-акипитъ дѣло!.. э-эхъ-ты! Дуй, бей, давай углей! Шибко живемъ, деньги куемъ!

Илья зналъ до мелочей жизнь Перфишки, видѣлъ, что онъ бьется, какъ рыба объ ледъ, и уважалъ его за то, что онъ всегда со всѣми шутилъ, всегда смѣялся и великолѣпно игралъ на гармоніи.

А Петруха сидѣлъ за буфетомъ, игралъ въ шашки со знакомыми, да съ утра до вечера пилъ чай и ругалъ половыхъ. Вскорѣ послѣ смерти Еремѣя онъ сталъ пріучать Терентія къ торговлѣ за буфетомъ, а самъ все только расхаживалъ по двору да посвистывалъ, разглядывая домъ со всѣхъ сторонъ и даже стукая въ стѣны кулаками.

И много другого замѣчалъ Илья, но все это было нехорошее, скучное, все толкало его въ сторону отъ людей. Иногда впечатлѣнія и мысли, скопляясь въ немъ, вызывали настойчивое желаніе поговорить съ кѣмъ-нибудь. Но говорить съ дядей не хотѣлось: послѣ смерти Еремѣя между Ильей и дядей выросло

— Скушно стало!.. Кабы живъ бы
ма—сказки бы разсказывалъ намъ; н
сказокъ! Хорошія сказки онъ зналъ!..

— Онъ все зналъ,—сумрачно гово

Однажды Яковъ таинственно сказа

— Хочешь—я покажу тебѣ одну

— Хочу!..

— Только сперва побожись, что
жешь!..

— Ей-Богу, не скажу!..

— Будь я анафема, проклятъ, ска

Илья повторилъ клятву, и тогда Я
въ уголъ двора, къ старой липѣ. Та
ствола искусно прикрѣпленный къ не
и подъ нею въ деревѣ открылось бо
Это было дупло, расширенное ножомъ
ное внутри разноцвѣтными тряпочкам
свинцомъ отъ чая, кусочками фоль
этой дыры стоялъ маленькій, литой
зокъ, а предъ нимъ былъ укрѣпленъ
свѣчи.

— А какъ увидятъ огонь-то? Выпоретъ тогда отецъ тебя!..

— Ночью—кто увидитъ? Ночью всѣ спятъ; на землѣ совсѣмъ тихо... Я — маленькій: днемъ мою молитву Богу не слышно... А ночью-то ужъ будетъ слышно!.. Будетъ?

— Не знаю!.. Можетъ, услышитъ!..—задумчиво сказалъ Илья, глядя на большеглазое блѣдное лицо товарища.

— А ты со мной будешь молиться? — спросилъ Яковъ.

— А ты о чемъ хочешь молиться? — въ то же время спросилъ Илья. И оба они улыбнулись другъ другу.

— Я о томъ,—сказалъ Илья,—чтобы умнымъ быть мнѣ.. и еще, чтобы у меня все было, чего захочу!.. а ты?

— И я тоже...

Но, подумавъ, Яковъ объяснилъ:

— Я просто такъ хотѣлъ... безо всего... Просто бы молился и все тутъ!.. А ужъ Онъ какъ хочетъ!.. что дастъ... Но коли ты такъ хочешь, и я тоже такъ буду!..

— Ладно,—сказалъ Илья.

Они тутъ же уговорились начать молиться въ эту же ночь, и оба легли спать съ твердымъ намѣреніемъ проснуться среди ночи. Но не проснулись ни въ эту, ни въ слѣдующую, и проспали много ночей. А потомъ у Ильи явились новыя впечатлѣнія и совершенно уже заслонили собою часовню.

На той же липѣ, въ которой Яковъ устроилъ часовню, — Пашка вѣшалъ западни на чижей и синицъ. Ему жилось тяжело, онъ похудѣлъ, осунулся и глаза его бѣгали по сторонамъ, какъ у хищнаго звѣрька. Бѣгать по двору ему было уже некогда: онъ цѣлые дни работалъ у Перфишки, и только по праздникамъ, когда сапожникъ былъ пьянъ, товарищи видѣли его. Пашка

пожникъ ходилъ по двору и ра
ваясь:

— Подмастерье-то мой! Сбѣжал
понравилась ему кожаная наука!..

День былъ дождливый. Илья п
паннаго Перфишку, на сѣрое, уг
стало жалко озорника-товарища. О
навѣсомъ сарая, прижавшись къ
на домъ. Ильѣ казалось, что домъ
точно уходитъ въ землю подъ тяже
рыя ребра выпячивались все болѣе,
накопленная въ его внутренностяхъ
распирала домъ и онъ уже не могъ
сквозь пропитанный несчастьями, вс
сывая пьяные крики, пьяныя, горы
танный, избитый ударами ногъ по д
домъ не могъ больше жить и медл
печально глядя на свѣтъ Божій т
оконъ.

— Эх-ма!—сказалъ сапожникъ.—
кошко, и разсыплются грибы по сыр

два кряду озабоченно щупалъ и ковырялъ эту кучу стараго дерева. Потомъ привезли кирпича, досокъ, обставили домъ лѣсами, и мѣсяца три кряду онъ стоналъ и вздрагивалъ подъ ударами топоровъ. Его пилили, рубили, вколачивали въ него гвозди, съ трескомъ и пылью выламывали изъ него гнилыя ребра, вставляли новыя и, наконецъ, увеличивъ его въ ширину пристройкой, обшили весь тесомъ. Приземистый, широкій, онъ теперь стоялъ на землѣ прямо и прочно, точно пустилъ глубоко въ нее новые корни. На его фасадѣ, подъ самой крышей, Петруха повѣсилъ большую вывѣску, и на ней золотомъ по синему полю было написано:

„Веселое убѣжище друзей П. Я. Филимонова“.

— А внутри онъ все-таки гнилой! — сказалъ Перфишка однажды.

Илья слышалъ это и сочувственно улыбнулся. И ему перестроенный домъ казался обманомъ. Онъ вспомнилъ о Пашкѣ, который жилъ гдѣ-то въ другомъ мѣстѣ и видѣлъ все другое. Илья, какъ и сапожникъ, тоже мечталъ о другихъ окнахъ, дверяхъ, людяхъ... Теперь въ домѣ стало еще хуже, чѣмъ было раньше. Старую липу срубили, укромный уголокъ около нея исчезъ, занятый постройкой. Исчезли и другія любимыя мѣста, гдѣ, бывало, бесѣдовали ребятишки. Только на мѣстѣ кузницы, за огромной кучей щепъ и гнилушекъ, образовался уютный уголъ, но тамъ было страшно сидѣть,— все чудилось, что подъ этой кучей лежитъ Савелова жена съ разбитой головой.

Петруха отвелъ дядѣ Терентію новое помѣщеніе— маленькую комнатку, рядомъ съ трактирной залой. Въ эту комнатку сквозь досчатую тонкую переборку, заклеенную зелеными обоями, проникали всѣ звуки изъ трактира и запахъ водки, и табачный дымъ. Въ ней было чисто, сухо, но хуже, чѣмъ въ подвалѣ. Окно ея упиралось въ сѣрую стѣну сарая; она загораживала

. . . . ., точно лая.
изъ-за стойки глазами вѣрной со
зяйское добро. Ильѣ онъ купилъ
точку, сапоги, пальто и картузъ,
дѣлъ эти вещи, ему вспомнился
Онъ почти не разговаривалъ съ
нулась однообразно, медленно. Вс
налъ о деревнѣ; теперь ему особен
тамъ лучше жить: тамъ тише, по
минались густые лѣса Керженца, ра
объ отшельникѣ Антипѣ, а мысль
другую—о Пашкѣ. Гдѣ онъ? Може
жалъ въ лѣсъ, вырылъ тамъ пеще
Гудитъ въ лѣсу вьюга, воютъ вол
сладко слышать. А зимой, въ хор
все блеститъ серебромъ и бываетъ
ничего не слыхать, кромѣ того, ка
подъ ногой, и если стоять непод
шишь только одно свое сердце.

А вотъ въ городѣ всегда шум
ночь полна звуковъ. Поютъ пѣсни
стонутъ, ѣздятъ извозчики, и отъ
и телѣгъ вздрагиваютъ стекла въ
озорничаютъ мальчишки . . .

Однажды утромъ, когда Илья собрался въ школу, Перфишка пришелъ въ трактиръ растрепанный, не выспавшійся и молча всталъ у буфета, глядя на Терентія. Лѣвый глазъ у него все вздрагивалъ и прищуривался, а нижняя губа смѣшно отвисла. Дядя Терентій взглянулъ на него, улыбнулся и налилъ сапожнику стаканчикъ за три копѣйки, обычную Перфишкину порцію утромъ. Перфишка взялъ стаканъ дрожащей рукой, опрокинулъ его въ ротъ, но не крякнулъ, не выругался и даже не закусилъ. Онъ снова уставился на буфетчика странно вздрагивающимъ лѣвымъ глазомъ, а правый былъ тусклъ, неподвиженъ и какъ будто не видалъ ничего.

— Что это у васъ съ глазомъ-то?—спросилъ Терентій.

Перфишка потеръ глазъ рукой, поглядѣлъ на руку и вдругъ громко и внятно объяснилъ:

— Супруга наша Авдотья Петровна скончалась...

— Н-ну-у?—протянулъ дядя Терентій и, взглянувъ на образъ, перекрестился.

— Царствіе ей небесное!

— А? — спросилъ Перфишка, упорно разглядывая лицо Терентія.

— Говорю: царствіе ей небесное!

— Да-съ... Померли!..—сказалъ сапожникъ. Потомъ онъ круто повернулся и ушелъ.

— Чудакъ! — сокрушенно качая головой, проговорилъ Терентій. И Ильѣ сапожникъ тоже показался чудакомъ... Идя въ школу, онъ на минутку зашелъ въ подвалъ посмотрѣть на покойницу. Тамъ было темно и тѣсно. Пришли бабы сверху и, собравшись кучей въ углу, гдѣ стояла постель, вполголоса разговаривали. Матица примѣривала Машѣ какое-то платьишко и спрашивала:

— Подъ мышками рѣжетъ?

А Маша растопырила руки и тянула капризнымъ голосомъ:

... по перф
моніи и удалымъ голосомъ поетъ.

«Эхъ ты, моя милая,
Мое сердце вынула.
Зачѣмъ сердце вынула,
Д'куды его кинула?»

— Ихъ—ты!.. Выгнали меня ба
вонъ, извергъ неестественный! М
ная... Я не сержусь... я терпѣ
бей!.. только дай мнѣ пожить не
луйста! Эхма! Братья! Всѣмъ пожи
чемъ штука! У всѣхъ душа одина
что у Якова!..

«Кто тамъ рыдаетъ?
Чего ожидаетъ?
Молчи, не тужи,
Сухи корочки гложи!»

Рожа у Перфишки была отча
смотрѣлъ на него съ отвращеніем
подумалось, что Богъ жестоко нак
такое поведеніе въ день смерти ...

Илья и раньше уже замѣчалъ, что съ нѣкотораго времени Яковъ очень измѣнился. Онъ почти не выходилъ гулять на дворъ, а все сидѣлъ дома и даже какъ бы нарочно избѣгалъ встрѣчи съ Ильей. Сначала Илья подумалъ, что Яковъ началъ завидовать его успѣхамъ въ школѣ и, сидя дома, учитъ уроки. Но оказалось, что и учиться-то онъ сталъ еще хуже; учитель постоянно ругалъ его за разсѣянность и непониманіе самыхъ простыхъ вещей. Отношеніе Якова къ Перфишкѣ не удивило Илью: Яковъ всегда почти не обращалъ вниманія на жизнь въ домѣ, но Ильѣ захотѣлось узнать, что такое творится съ товарищемъ, и онъ спросилъ его:

— Ты что какой сталъ? Не хочешь, что ли, дружиться со мной?

— Я не хочу? Что ты врешь?—удивленно воскликнулъ Яковъ и вдругъ быстро заговорилъ:

— Слушай, ты... иди домой... Иди, я сейчасъ тоже приду... Что я тебѣ покажу!

Онъ сорвался съ мѣста и убѣжалъ, а Илья, заинтересованный, пошелъ въ свою комнату. Яковъ скоро прибѣжалъ. Онъ заперъ за собой дверь и, подойдя къ окну, вынулъ изъ-за пазухи какую-то красную книжку.

— Иди сюда! — тихо и важно сказалъ онъ, усѣвшись на постель дяди Терентія и указывая Ильѣ мѣсто рядомъ съ собою. Потомъ онъ развернулъ книжку, положилъ ее на колѣни, согнулся надъ нею и, водя пальцемъ по сѣрой страницѣ, началъ читать:

„И вотъ... вдали храбрый рыцарь увидалъ гору... высотою до небесъ, а въ серединѣ ея желѣзную дверь. Огнемъ отваги запылало... его мужественное сердце, онъ наклонилъ копье и съ громкимъ крикомъ помчался впередъ, приш...поривъ коня, и со всей своей могучей силой ударилъ въ ворота. Тогда раздался страшный громъ... желѣзо воротъ разлетѣлось въ куски... и въ

то же время изъ горы хлынуло пламя и дымъ, и раздался громовой голосъ... отъ котораго сотряслась земля и съ горы посыпались камни къ ногамъ рыцарева коня. „Ага! ты явился... дерзкій безумецъ!.. Я и смерть давно ждали тебя!..“ Ослѣпленный дымомъ рыцарь“...

— Кто это? — спросилъ Илья удивленно, вслушиваясь въ дрожащій отъ волненія голосъ товарища.

— А? — откликнулся Яковъ, поднявъ отъ книги блѣдное лицо.

— Кто это—рыцарь?

— Это такой... верхомъ на конѣ... съ копьемъ... Рауль Безстрашный... у него драконъ невѣсту утащилъ... Прекрасная Луиза... да—ты слушай, чортъ...—нетерпѣливо крикнулъ Яковъ.

— Валяй, валяй!.. Погоди,—а драконъ кто?

— Змѣя съ крыльями... и съ ногами... когтищи у нея желѣзныя... Три головы... и всѣ дышатъ огнемъ—понимаешь?

— Здо-орово!—сказалъ Илья, широко открывъ глаза.— Эдакъ-то онъ этому... за-адастъ!..

— Да ну тебя!..

Плотно прижавшись другъ къ другу, мальчики съ трепетомъ любопытства и странной, согрѣвающей душу радостью входили въ новый, волшебный міръ, гдѣ огромныя, злыя чудовища погибали подъ могучими ударами храбрыхъ рыцарей, гдѣ все было величественно, красиво и чудесно и не было ничего похожаго на эту сѣрую, скучную жизнь. Не было пьяныхъ маленькихъ людей, одѣтыхъ во рваную одежду, а вмѣсто полугнилыхъ деревянныхъ домовъ стояли дворцы, сверкая золотомъ, и неприступные замки изъ желѣза возвышались до небесъ. Они входили въ роскошную страну чудесныхъ вымысловъ, а за спинами у нихъ играла гармоника и разудалый сапожникъ Перфишка отчетливо выговаривалъ частушку:

«Меня послѣ смерти
Не утащатъ черти.
Я живой того добьюсь,
Какъ до чертиковъ напьюсь»!

— Такъ-ли, братья! Наяривай! зажаривай! Богъ веселыхъ любитъ!

Гармоника захлебывалась звуками, торопясь догнать звонкій голосъ сапожника, а онъ вперегонку съ ней отчеканивалъ плясовой мотивъ:

«И не пищи, что смолоду
Н-натерпѣлся холоду,
Сдохнешь—въ адъ попадешь,
А тамъ будетъ жарко»!

Каждый куплетъ пѣсни вызывалъ ревъ одобреній и взрывы хохота. Звуки гармоники сливались со звономъ посуды, глухіе удары ногъ по полу, трескъ отодвигаемыхъ стульевъ,—всѣ звуки переплетались въ одинъ, подобный вою зимней вьюги въ лѣсу.

А въ маленькой конурѣ, отдѣленной отъ этой бури звуковъ тонкими досками, два мальчика согнулись надъ книгой, и одинъ изъ нихъ тихо шепталъ:

„Тогда рыцарь стиснулъ чудовище въ своихъ желѣзныхъ объятіяхъ, и оно громоподобно заревѣло отъ боли и ужаса“...

Послѣ книги о рыцарѣ и драконѣ явился „Гуакъ или непреоборимая вѣрность“, „Исторія о храбромъ принцѣ Францылѣ Венеціанѣ и прекрасной королевнѣ Ренцивенѣ“, и впечатлѣнія дѣйствительности уступили въ душѣ Ильи мѣсто рыцарямъ и дамамъ. Товарищи по очереди крали изъ выручки двугривенные, и недостатка въ книгахъ у нихъ не было. Они ознакомились съ похожденіями „Яшки Смертенскаго“, восхищались „Япанчой, татарскимъ наѣздникомъ“ и все дальше уходили отъ суровой и неприглядной жизни въ область,

гдѣ люди всегда разрушали злыя ковы судьбы и всегда достигали счастья. Долго жили они такъ, и за все это время память Ильи отмѣтила лишь одно событіе.

Однажды Перфишку вызвали зачѣмъ-то въ полицію. Онъ ушелъ встревоженный, а воротился веселый и привелъ съ собой Пашку Грачева, крѣпко держа его за руку. Пашка былъ такой же остроглазый, только страшно похудѣлъ, пожелтѣлъ, да лицо у него стало менѣе задорнымъ. Сапожникъ притащилъ его въ трактиръ и тамъ разсказывалъ, судорожно подмигивая глазомъ:

— А вотъ вамъ, люди добрые, самъ Павлуха Грачевъ! Только-что прибылъ изъ города Пензы по этапу... Вотъ какой народъ нарождается,—не сидя на печи, счастья дожидается, а какъ только на заднія лапы встаетъ—самъ искать счастья идетъ!

Пашка стоялъ рядомъ съ нимъ, засунувъ одну руку въ карманъ драныхъ штановъ, а другую все пытался выдернуть изъ руки сапожника, искоса, угрюмо поглядывая на него. Кто-то посовѣтовалъ сапожнику выпороть Пашку, но Перфишка серьезно возразилъ:

— Зачѣмъ? Пускай его ходитъ, авось, счастье найдетъ.

— А вѣдь онъ, поди-ка, голодный!—догадался Терентій и, протянувъ мальчику кусокъ хлѣба, сказалъ ему:

— Пашка, на!

Мальчикъ, не торопясь, взялъ хлѣбъ и пошелъ вонъ изъ трактира.

— Фі-ю-ю!—свистнулъ сапожникъ вслѣдъ ему.— Опять пошелъ! До свиданія, нѣжное созданіе!

Илья, наблюдавшій эту сцену изъ двери своей комнаты, поманилъ Пашку къ себѣ, но прежде, чѣмъ войти къ нему, Пашка на секунду остановился, а войдя, подозрительно оглядѣлъ комнату и кратко, сурово спросилъ:

— Что надо?
— Здравствуй!..
— Ну, здравствуй!..
— Садись!..
— А зачѣмъ?
— Такъ!.. поговоримъ!..

Илью смущали отрывчатые, сердитые вопросы Грачева и его сиповатый, грубый голосъ. Ему хотѣлось разспросить Пашку, гдѣ онъ былъ все лѣто, что видѣлъ. Но Пашка усѣлся на стулъ и съ рѣшительнымъ видомъ, кусая хлѣбъ, самъ началъ разспрашивать:

— Кончилъ учиться-то?
— Весной кончу!
— А я ужъ выучился!..
— Н-ну?—недовѣрчиво воскликнулъ Илья.
— А что? У меня живо!
— А гдѣ ты учился?
— Въ острогѣ, у арестантовъ!..

Илья подошелъ ближе къ нему и, съ уваженіемъ глядя на его худое лицо, спросилъ:

— Долго ты сидѣлъ? Страшно тамъ?

— Ничего не страшно!.. А сидѣлъ... мѣсяца четыре... Я вѣдь во многихъ острогахъ былъ... въ разныхъ городахъ... Я, братъ, къ господамъ прилипъ тамъ... И барыни были тоже... настоящіе господа! На разныхъ языкахъ говорятъ и все знаютъ... Я имъ камеру убиралъ! Веселые, черти, даромъ, что арестанты!..

— Разбойники?

— Самые настоящіе воры, — съ гордостью выговорилъ Пашка. Илья мигнулъ глазами и почувствовалъ еще больше уваженія къ Пашкѣ.

— Русскіе они?—спросилъ онъ.

— Нѣкоторые жиды... Первый сортъ народъ!.. Они, братъ, ого-го, какіе! Грабили всѣхъ, какъ слѣдуетъ!... Ну, ихъ поймали да въ Сибирь!

— Какъ же ты выучился?

...да оба они на-перебой др...
стали называть прочитанныя кни...
со вздохомъ сказалъ:

— Да-а, вы, черти, больше про...
васъ лучше. А я все стихи... Тамъ...
всякихъ, но хорошія-то только въ...

Пришелъ Яковъ, удивленно ви...
смѣялся.

— Овца!—встрѣтилъ его Пашка...

— Такъ!.. Ты гдѣ былъ?

— Тебѣ туда не дойти!..

— Знаешь,—сказалъ Илья товар...
книжки читалъ...

— О? — воскликнулъ Яковъ и...
рилъ съ Пашкой болѣе дружески...
лись рядомъ, и между ними заго...
быстрый и удивительно интересный...

— Я такія штуки видалъ — разс...
гордостью и воодушевленно говори...
разъ не жралъ двое сутокъ... совсѣм...
ночевалъ... одинъ.

— Боязно?—спросилъ Яковъ...

пристально глядя въ одну точку,—нахмуренный, важный,—скороговоркой сказалъ:

«По улицѣ люди идутъ,
Всѣ они одѣты и сыты,
А попроси у нихъ поѣсть,
Такъ они скажутъ—поди ты
Прочь!..»

Онъ кончилъ, взглянулъ на мальчиковъ и тихо опустилъ голову. Съ минуту длилось неловкое молчаніе. Потомъ Илья осторожно спросилъ:

— Это развѣ стихи?

— А ты не слышишь?—сердито крикнулъ Пашка.— Сказано: сыты—поди ты,—значитъ, стихи...

— Конечно, стихи!—торопливо воскликнулъ Яковъ.— Ты всегда придираешься, Илья!

— Я и еще сочинилъ,—оживленно обратился Пашка къ Якову и тотчасъ же быстро выпалилъ:

«Тучи—сѣры, а земля—сыра,
Вотъ приходитъ осенняя пора,
А у меня ни кола, ни двора,
И вся одежа—на дырѣ дыра!..»

— О-г-го-о! — протянулъ Яковъ, широко раскрывъ глаза.

— Вотъ это ужъ прямо стихи! — въ тонъ ему подтвердилъ Илья.

Лицо Пашки вспыхнуло слабымъ румянцемъ, и глаза его такъ сощурились, точно въ нихъ откуда-то дымъ попалъ.

— Я и длинные стихи буду сочинять!—похвалялся онъ.—Это вѣдь не больно трудно! Идешь и видишь— лѣсъ—лѣса, небо—небеса!.. А то поле—воля!.. Само собой выходитъ въ стихи!..

— А теперь-то что ты будешь дѣлать? — спросилъ его Илья.

вечеръ ребятишки собирались
было тише и лучше, чѣмъ въ к
финка рѣдко бывалъ дома — о
можно было пропить, и теперь хо
по чужимъ мастерскимъ, а если
дѣлъ въ трактирѣ. Онъ ходилъ
всегда подъ-мышкой у него торч
кая гармонія. Она какъ бы срос
онъ вложилъ въ нее частицу сво
они стали похожи другъ на дру
угловатые, полные задорныхъ п
мастеровщина въ городѣ знала Пер
щимаго творца разудалыхъ и смѣш
плясовыхъ пѣсенокъ и приговоро
былъ желаннымъ гостемъ въ каждо
любили его за то, что тяжелую, с
чаго люда онъ скрашивалъ своим
ными, шутливыми разсказами о ра

Когда ему удавалось заработать
онъ половину отдавалъ своей доче
чивались его заботы о ней. Она бы
своей судьбы. Она очень выросл
спустились до плечъ, темные

вала чистое платье и садилась за столъ къ окну чинить что-нибудь изъ своей одежи.

Къ ней часто приходила Матица, принося съ собой булку, чай, сахаръ, а однажды она даже подарила Машѣ голубое платье. Маша вела себя съ этой женщиной, какъ взрослый человѣкъ и хозяйка дома; она ставила маленькій жестяной самоваръ, угощала Матицу чаемъ, и, попивая горячій, вкусный чай, онѣ говорили о разныхъ дѣлахъ и ругали Перфишку. Матица ругалась съ увлеченіемъ, Маша вторила ей тонкимъ голосомъ, но безъ злобы, а какъ бы только изъ вѣжливости и по долгу хозяйки. Во всемъ, что она говорила про отца, всегда звучало снисхожденіе къ нему.

— А чтобъ въ него печенки зсохлись!—гудѣла Матица, свирѣпо поводя бровями.—Что-жъ? Забылъ онъ, пьянчуга, что въ него дитя малое осталось? Гадкà его морда, чтобъ здохъ, якъ песъ!

— Онъ вѣдь знаетъ, что я ужъ большая и все сама могу...—говорила Маша.

— Боже мой, Боже мой!—тяжело вздыхала Матица.— Что же это творится на свѣтѣ бѣломъ? Что будетъ съ дѣвочкой? Вотъ и у меня была дѣвочка, какъ ты!.. Осталась она тамъ, дома... у городѣ Хороли... И это такъ далеко — городъ Хоролъ, что если-бъ меня и пустили туда, такъ не нашла бы я до него дороги... Вотъ такъ-то бываетъ съ человѣкомъ!.. живетъ онъ, живетъ на землѣ и забываетъ, гдѣ его родина...

Машѣ нравилось слушать густой голосъ этой женщины съ большимъ лицомъ и глазами, какъ у коровы. И хотя отъ Матицы всегда пахло водкой—это не мѣшало Машѣ влѣзать на колѣни къ бабѣ, крѣпко прижимаясь къ ея большой, бугромъ выступавшей впередъ груди, и цѣловать ее въ толстыя губы красиво очерченнаго рта. Матица приходила по утрамъ, а вечеромъ у Маши собирались ребятишки. Они играли въ карты,—въ дураки, въ мельники, въ свои козыри,—но

отъ покупки книгъ. Онъ привыкъ
выходило у него какъ-то незамѣ
лась къ его заботамъ, какъ къ
ственному, и тоже не замѣчала н

— Яша!—говорила она,—углей

— Ладно!

И черезъ нѣкоторое время онъ
угли, или давалъ семишникъ, гов

— Ступай, купи!.. Украсть нел

Илья тоже привыкъ къ этимъ
всѣ на дворѣ какъ-то не замѣчали
самъ, по порученію товарища, кр
кухни или буфета и тащилъ въ
нику. Ему нравилась смуглая и то
же сирота, какъ самъ онъ, а особ
что она умѣетъ жить одна и все д
шая. Онъ любилъ видѣть, какъ о
стоянно старался смѣшить Машу.
валось ему,—Илья сердился и драз

— Черномазая чумичка!

Она прищуривала глаза и говор

— Скуластый чортъ!

А затѣмъ прибавилъ еще одно грязное слово, значеніе котораго уже было извѣстно ему. Яковъ былъ тутъ же. Сначала онъ засмѣялся, но увидавъ, что лицо его подруги исказилось отъ обиды, а на глазахъ ея блестятъ слезы, онъ замолчалъ и поблѣднѣлъ. И вдругъ вскочилъ со стула, бросился на Илью, ударилъ его въ носъ и, схвативъ его за волосы, повалилъ на полъ. Все это произошло такъ быстро, что Илья даже защититься не успѣлъ. А когда онъ, ослѣпленный болью и обидой, всталъ съ пола и, наклонивъ голову, быкомъ пошелъ на Якова, говоря ему:

— Н-ну, держись! Я тебя...

Онъ увидалъ, что Яковъ жалобно плачетъ, облокотясь на столъ, а Маша стоитъ около него и говоритъ тоже со слезами въ голосѣ:

— Не дружись съ нимъ. Онъ поганый... Онъ злющій! Они всѣ злые... у него отецъ въ каторгѣ... а дядя горбатый!.. У него тоже горбъ выростетъ! Пакостникъ ты! — смѣло наступая на Илью, кричала она. — Дрянь паршивая!.. тряпичная твоя душа! Ну-ка иди? Иди-ка? Какъ я тебѣ рожу-то расцарапаю! Ну-ка сунься!?

Илья не сунулся. Ему стало нехорошо при видѣ плачущаго Якова, котораго онъ не хотѣлъ обижать, и было стыдно драться съ дѣвчонкой. А она стала бы драться, ужъ это онъ видѣлъ. Онъ ушелъ изъ подвала, не сказавъ ни слова, и долго ходилъ по двору, нося въ себѣ тяжелое, нехорошее чувство. Потомъ, подойдя къ окну Перфишкиной квартиры, онъ осторожно заглянулъ въ нее сверху внизъ. Яковъ съ подругой уже снова играли въ карты. Маша, закрывъ половину лица вѣеромъ картъ, должно быть, смѣялась, а Яковъ смотрѣлъ въ свои карты и нерѣшительно трогалъ рукой то одну, то другую. Ильѣ стало грустно. Онъ походилъ по двору еще немного и смѣло пошелъ въ подвалъ.

— Примите меня! — сказалъ онъ, подходя къ столу.

Сердце у него билось, а лицо горѣло и глаза были опущены. Яковъ и Маша молчали.

— Я не буду эдакъ ругаться!.. ей-Богу, не буду! — сказалъ Илья, взглянувъ на нихъ.

— Ну, ужъ садись... эхъ ты!—сказала Маша.

А Яковъ строго добавилъ:

— Дурачина! Не маленькій ужъ... Понимай, что говоришь...

— А какъ ты меня? — съ упрекомъ сказалъ Илья Якову.

— За дѣло! Не лайся...—резоннымъ тономъ сказала ему Маша.

— Ну, ладно! Я вѣдь не сержусь... я виноватъ-то...— сознался Илья и смущенно улыбнулся Якову.—И ты не сердись—ладно?

— Ладно! Держи карты...

— Дикій чортъ!—сказала Маша, и этимъ все закончилось.

Черезъ минуту Илья, нахмуривъ брови, погрузился въ игру. Онъ всегда садился такъ, чтобы ему можно было ходить къ Машѣ: ему страшно нравилось, когда она проигрывала, и во все время игры Илья упорно заботился объ этомъ. Но дѣвочка играла ловко, и чаще всего проигрывалъ Яковъ.

— Эхъ ты, лупоглазый!—съ ласковымъ сожалѣніемъ говорила Маша,—опять дуракъ.

— Ну ихъ къ лѣшему, карты эти! Надоѣло! Давайте снова „Камчадалку" читать!

Они доставали растрепанную и испачканную книжку и читали о страданіяхъ влюбленной и несчастной „Камчадалки".

Когда Пашка Грачевъ присмотрѣлся къ этой жизни, онъ сказалъ тономъ бывалаго человѣка:

— А вы, черти, здорово живете!

Потомъ онъ поглядѣлъ на Якова и Машу и съ усмѣшкой, но серьезно добавилъ:

— Такъ и живите! А потомъ ты, Яковъ, возьми замужъ Машку-то... вотъ!

— Дуракъ!..—смѣясь, сказала Маша, и всѣ четверо захохотали.

Когда прочитывали книжку или уставали читать, Пашка разсказывалъ о своихъ приключеніяхъ, и его разсказы были интересны не менѣе книгъ.

— Какъ уразумѣлъ я, братцы, что нѣтъ мнѣ ходу безъ пачпорта,—началъ я хитрить. Увижу будочника—иду скоро, будто кто послалъ меня куда, а то такъ держусь около какого-нибудь мужика, будто онъ хозяинъ мой или тамъ отецъ, или кто... Будочникъ поглядитъ и ничего,—не хватаетъ... Въ деревняхъ хорошо, тамъ будочниковъ совсѣмъ нѣтъ: одни старики да старухи и ребятишки, а мужики въ полѣ. Спросятъ—кто такой? Нищій... Чей? Безъ роду... Откуда? Изъ города. Вотъ и все! Поятъ, кормятъ хорошо. Идешь это... идешь, какъ хочется: хоть бѣгомъ лупи, хоть на брюхѣ ползи... Поле вездѣ, лѣсъ... жаворонки поютъ... такъ бы къ нимъ и полетѣлъ! Коли сытъ — ничего не хочется, такъ бы все и шелъ до самаго до края свѣта. Все равно, какъ будто кто тащитъ тебя впередъ... какъ малаго ребенка мать несетъ. А то и голодалъ я—фью-ю! Бывало, кишки трещали—вотъ до чего брюхо высыхало! Хоть землю жри! Въ башкѣ мутилось... Зато какъ добьешься хлѣбца, да воткнешь въ него зубы-то — ы-ыхъ! День и ночь ѣлъ-бы. Хорошо было!.. А все-таки какъ въ тюрьму попалъ — обрадовался... Сначала испугался, а ужъ потомъ радостно стало! Очень я будочниковъ боялся. Думаю, схватятъ меня да ка-акъ начнутъ пороть—и запорютъ! А онъ меня легонько... подошелъ сзади да за шиворотъ—цапъ! Я у магазина на часы смотрѣлъ... Множество часовъ — золотые и разные. Цапъ! Я какъ зареву! А онъ меня ласково: кто ты, да откуда? Ну, я и сказалъ, — все равно они узнали бы: они все знаютъ... Ну, онъ меня въ полицію... Тамъ разные господа... Куда

идешь? Странствую... Хохочутъ... Потомъ въ тюрьму... Тамъ тоже всѣ хохочутъ. А потомъ господа эти меня къ себѣ приспособили... Вотъ черти были! Ого-го!

О господахъ онъ говорилъ больше междометіями,— очевидно, они очень поразили его воображеніе, но ихъ фигуры какъ-то расплылись въ памяти и смѣшались въ одно большое, мутное пятно. Проживъ у сапожника около мѣсяца, Пашка снова исчезъ куда-то. Потомъ Перфишка узналъ, что онъ поступилъ въ типографію и живетъ гдѣ-то далеко въ городѣ. Услышавъ объ этомъ, Илья съ завистью вздохнулъ и сказалъ Якову:

— А мы съ тобой, видно, такъ тутъ и прокиснемъ...

Первое время послѣ исчезновенія Пашки Ильѣ чего-то не хватало, но вскорѣ онъ снова попалъ въ колею чудеснаго и чуждаго жизни. Снова началось чтеніе книжекъ, и душа Ильи погрузилась въ сладкое состояніе полудремоты.

Пробужденіе было грубо и неожиданно — однажды утромъ дядя разбудилъ его, говоря:

— Умойся почище, да скорѣе...

— Куда?—сонно спросилъ Илья.

— На мѣсто! Слава Богу! Нашлось!.. Въ рыбной лавкѣ будешь служить.

У Ильи сжалось сердце отъ какого-то непріятнаго предчувствія. Желаніе уйти изъ этого дома, гдѣ онъ все зналъ и ко всему привыкъ, вдругъ исчезло, а эта комната, которую онъ не любилъ, теперь показалась ему такой чистой, свѣтлой. Сидя на кровати, онъ смотрѣлъ въ полъ и ему не хотѣлось одѣваться... Пришелъ Яковъ, хмурый и нечесаный, склонилъ голову къ лѣвому плечу и, вскользь взглянувъ на товарища, сказалъ:

— Иди скорѣе, отецъ ждетъ... Ты приходить сюда будешь?

— Буду...

— То-то... Къ Манькѣ зайди проститься.

— Чай, я не навсегда ухожу,—сердито молвилъ Илья.

Но Манька сама пришла. Она встала у дверей и, поглядѣвъ на Илью, грустно сказала:

— Вотъ тебѣ и прощай!

Илья съ сердцемъ рванулъ курточку, которую надѣвалъ, и выругался. Манька и Яковъ, оба въ разъ, глубоко вздохнули.

— Такъ приходи же!—сказалъ Яковъ.

— Да ла-адно!—сурово отвѣтилъ Илья.

— Ишь зафорсилъ, приказчикъ!..—замѣтила Маша.

— Эхъ ты... ду-ура!—тихо и съ укоромъ отвѣтилъ ей Илья.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ шелъ по улицѣ съ Петрухой, парадно одѣтымъ въ длинный сюртукъ и скрипучіе сапоги, и буфетчикъ внушительно говорилъ ему:

— Веду я тебя служить человѣку почтенному, всему городу извѣстному, Кирилу Иванычу Строганому... Онъ за доброту свою и благодѣянія медали получалъ — не токмо что! И состоитъ онъ гласнымъ въ думѣ, а можетъ, будетъ избранъ даже и въ градскіе головы. Служи ему вѣрой и правдой, а онъ тебя, между прочимъ, въ люди произведетъ... Ты парнишка сурьезный, не баловникъ... А для него оказать человѣку благодѣяніе — все равно, что—плюнуть...

Илья слушалъ и пытался представить себѣ купца Строганаго. Ему почему-то стало казаться, что купецъ этотъ долженъ быть похожъ на дѣдушку Еремѣя,—такой же тощій, добрый и пріятный. Но когда онъ пришелъ въ лавку, тамъ за конторкой стоялъ высокій мужикъ съ огромнымъ животомъ. На головѣ у него не было ни волоса, но лицо отъ глазъ до шеи заросло густой, рыжей бородой. Брови тоже были густыя и рыжія, а подъ ними сердито бѣгали маленькіе, зеленоватые глазки.

— Кланяйся! — шепнулъ Петруха Ильѣ, указывая глазами на рыжаго мужика. Илья разочарованно опустилъ голову.

— Какъ зовутъ?—загудѣлъ въ лавкѣ густой басъ.

— Ильей,—отвѣтилъ Петруха.

— Ну, Илья, гляди у меня въ оба, а зри—въ три! Теперь у тебя, кромѣ хозяина, никого нѣтъ! Ни родныхъ, ни знакомыхъ—понялъ? Я тебѣ мать и отецъ,—а больше отъ меня никакихъ рѣчей не будетъ...

Илья исподлобья осматривалъ лавку. Въ корзинахъ со льдомъ лежали огромные сомы и осетры, на полкахъ полѣницами были сложены сушеные судаки, сазаны и всюду блестѣли жестяныя коробки. Густой запахъ тузлука стоялъ въ воздухѣ, и въ лавкѣ было душно, тѣсно. На полу въ большихъ чанахъ тихо и безшумно плавала живая рыба — стерляди, налимы, окуни, язи. Но одна небольшая щука дерзко металась въ водѣ, толкала другихъ рыбъ и сильными ударами хвоста разбрызгивала воду на полъ. Ильѣ стало жалко ее.

Одинъ изъ приказчиковъ—маленькій, толстый, съ круглыми глазами и крючковатымъ носомъ, очень похожій на филина—заставилъ Илью выбирать изъ чана уснувшую рыбу. Мальчикъ засучилъ рукава и началъ хватать рыбъ, какъ попало.

— За башки бери, дубина!—вполголоса сказалъ приказчикъ. Иногда Илья по ошибкѣ хваталъ живую неподвижно стоявшую рыбу; она выскальзывала изъ его пальцевъ и, судорожно извиваясь, тыкалась головой въ стѣны чана.

— Возись живѣе!—командовалъ приказчикъ.

Но Илья укололъ себѣ палецъ костью плавника и, сунувъ его въ ротъ, сталъ сосать.

— Вынь палецъ!—басомъ крикнулъ хозяинъ.

Потомъ мальчику дали большой, тяжелый топоръ, велѣли ему слѣзть въ подвалъ и разбивать тамъ ледъ такъ, чтобы онъ улегся ровно. Осколки льда прыгали

ему въ лицо, попадали за воротъ, въ подвалѣ было холодно и темно, топоръ, при неосторожномъ размахѣ, задѣвалъ за потолокъ. Черезъ нѣсколько минутъ Илья, весь мокрый, вылѣзъ изъ подвала и заявилъ хозяину:

— Я разбилъ тамъ какую-то банку...

Хозяинъ внимательно поглядѣлъ на него и молвилъ:

— На первый разъ прощаю. За то прощаю, что — самъ сказалъ... За второй разъ нарву уши...

И завертѣлся Илья незамѣтно и однообразно, какъ винтикъ въ большой и шумной машинѣ. Онъ вставалъ въ пять часовъ утра, чистилъ обувь хозяина, его семьи и приказчиковъ, потомъ шелъ въ лавку, мелъ ее, мылъ столы и вѣсы. Являлись покупатели,—онъ подавалъ товаръ, выносилъ покупки, потомъ шелъ домой за обѣдомъ. Послѣ обѣда дѣлать было нечего, и если его не посылали куда-нибудь, онъ стоялъ у дверей лавки, смотрѣлъ на суету базара и думалъ о томъ, какъ много на свѣтѣ людей, и какъ много ѣдятъ они рыбы, мяса, овощей. Однажды онъ спросилъ приказчика, похожаго на филина:

— Михаилъ Игнатьичъ!

— Ну-съ?

— А что будутъ люди ѣсть, когда выловятъ всю рыбу и изрѣжутъ весь скотъ?

— Дуракъ!—отвѣтилъ ему приказчикъ.

Другой разъ онъ взялъ газету съ прилавка и, стоя у двери, сталъ читать ее. Но приказчикъ вырвалъ газету изъ его рукъ, щелкнулъ его пальцемъ по носу и угрожающе спросилъ:

— Кто тебѣ позволилъ, а? Оселъ...

Этотъ приказчикъ не понравился Ильѣ. Говоря съ хозяиномъ, онъ почти ко всякому слову прибавлялъ почтительный свистящій звукъ, а за глаза называлъ купца Строганаго мошенникомъ, ханжей и рыжимъ чортомъ. По субботамъ и передъ праздниками хозяинъ

уѣзжалъ изъ лавки ко всенощной, а къ приказчику приходила его жена или сестра, и онъ отправлялъ съ ними домой кулекъ рыбы, икры, консервовъ. Любилъ приказчикъ издѣваться надъ нищими, среди которыхъ было много стариковъ, напоминавшихъ Ильѣ о дѣдушкѣ Еремѣѣ. Когда къ дверямъ лавки подходилъ какой-нибудь старикъ и, кланяясь, тихо просилъ милостыню, приказчикъ бралъ за голову маленькую рыбку и совалъ ее въ руку нищаго хвостомъ—такъ, чтобъ кости плавниковъ вонзились въ мякоть ладони просящаго. И когда нищій, вздрагивая отъ боли, отдергивалъ руку, приказчикъ насмѣшливо и сердито кричалъ:

— Не хочешь? Мало? Пшелъ прочь...

А однажды старуха-нищая взяла тихонько сушенаго судака и спрятала его въ своихъ лохмотьяхъ; а приказчикъ видѣлъ это; и вотъ онъ схватилъ старуху за воротъ, отнялъ украденную рыбу, а потомъ нагнулъ голову старухи и правой рукой, снизу вверхъ, ударилъ ее по лицу. Она не охнула и не сказала ни слова, а, наклонивъ голову, молча пошла прочь, и Илья видѣлъ, какъ изъ ея разбитаго носа, въ два ручья, текла темная кровь.

— Получила?—крикнулъ приказчикъ вслѣдъ ей.

И, обращаясь къ другому приказчику, Карпу, сказалъ:

— Ненавижу я нищихъ!.. Дармоѣды! Ходятъ, просятъ и—сыты! И хорошо живутъ... Братія Христова, говорятъ про нихъ. А я кто Христу? Чужой? Я всю жизнь верчусь, какъ червь на солнцѣ, а нѣтъ мнѣ ни покоя, ни уваженія...

Другой приказчикъ, Карпъ, былъ человѣкъ богомольный, разговаривалъ онъ только о храмахъ, пѣвчихъ, архіерейской службѣ и каждую субботу онъ безпокоился, что опоздаетъ ко всенощной. Еще его интересовали фокусы, и каждый разъ, когда въ городѣ появлялся какой-нибудь „магъ и чародѣй“, Карпъ непре-

мѣнно шелъ смотрѣть на него... Былъ онъ высокъ, худъ и очень ловокъ; когда въ лавкѣ скоплялось много покупателей, онъ извивался среди нихъ, какъ змѣя, всѣмъ улыбаясь, со всѣми разговаривая, и все поглядывалъ на большую фигуру хозяина, точно хвастаясь предъ нимъ своимъ умѣньемъ дѣлать дѣло. Къ Ильѣ онъ относился пренебрежительно и насмѣшливо, и мальчикъ тоже не взлюбилъ его. Но хозяинъ нравился Ильѣ. Съ утра до вечера купецъ стоялъ за конторкой, открывалъ ящикъ и швырялъ въ него деньги. Илья видѣлъ, что онъ дѣлалъ это равнодушно, безъ жадности, и мальчику почему-то было пріятно видѣть это. Пріятно было и то, что хозяинъ разговаривалъ съ нимъ чаще и ласковѣе, чѣмъ съ приказчиками. Въ тихое время, когда покупателей не было, купецъ иногда обращался къ Ильѣ, понуро стоявшему у двери:

— Эй, Илья, дремлешь?

— Нѣтъ...

— То-то... А чего ты сурьезный всегда?

— Не знаю...

— Скушно, что-ли?

— Да-а...

— Ну, ладно, поскучай! И я скучалъ, было время... Съ девяти до тридцати двухъ лѣтъ скучалъ я по чужимъ людямъ... А теперь—двадцать третій годъ гляжу, какъ другіе скучаютъ...

И онъ покачивалъ головой, какъ бы договаривая:

— Ничего не подѣлаешь больше-то!

Послѣ двухъ, трехъ такихъ разговоровъ Илью сталъ занимать вопросъ: зачѣмъ этотъ богатый, почетный человѣкъ торчитъ цѣлый день въ грязной лавкѣ и дышитъ кислымъ, ѣдкимъ запахомъ соленой рыбы, когда у него есть такой большой, чистый домъ? Это былъ странный домъ: въ немъ все было строго и тихо, все совершалось въ незыблемомъ порядкѣ. И было въ немъ тѣсно, хотя въ обоихъ этажахъ, кромѣ хозяина,

хозяйки и трехъ дочерей, жили только кухарка, она же и горничная, и дворникъ, онъ же и кучеръ. Всѣ въ домѣ говорили не полнымъ голосомъ, а проходя по огромному, чистому двору, жались къ сторонкѣ, точно боясь выйти на широкое, открытое пространство. Сравнивая этотъ спокойный, солидный домъ съ домомъ Петрухи, Илья неожиданно пришелъ къ мысли, что въ домѣ Петрухи лучше жить, хотя тамъ и бѣдно, и шумно, и грязно. И мальчику страшно захотѣлось спросить купца: зачѣмъ онъ безпокоитъ себя, живя весь день на базарѣ, въ шумѣ и суетѣ, а не дома, гдѣ тихо и смирно?

Однажды, когда Карпъ ушелъ куда-то, а Михаилъ отбиралъ въ подвалѣ попорченную рыбу для богадѣльни, хозяинъ заговорилъ съ Ильей, а мальчикъ вдругъ и торопливо сказалъ ему:

— Вамъ бы, Кирилъ Ивановичъ, пора ужъ бросить торговлю-то... Вы уже вѣдь богатый... Дома у васъ хорошо, а здѣсь вонь... и скука...

Строганый, облокотясь о конторку, зорко смотрѣлъ на него, рыжія брови у купца вздрагивали.

— Ну?—спросилъ онъ, когда Илья замолчалъ.—Все сказалъ?

— Все... — смущенно, съ испугомъ въ сердцѣ, отозвался Илья.

— Подь-ка сюда!

Илья подошелъ. Тогда купецъ взялъ его за подбородокъ, поднялъ его голову кверху и, прищуренными глазами глядя въ лицо ему, спросилъ:

— Это тебя научили говорить такъ, или ты самъ выдумалъ?

— Ей-Богу, самъ.

— Н-да... Коли самъ такъ... ладно... Ну, скажу я тебѣ вотъ что... больше ты со мной, хозяиномъ твоимъ—понимаешь?—хозяиномъ!—говорить такъ не смѣй! Запомни! Пошелъ на свое мѣсто...

А когда пришелъ Карпъ, хозяинъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, заговорилъ, обращаясь къ приказчику, но искоса и замѣтно для Ильи поглядывая на него:

— Человѣкъ всю жизнь долженъ какое-нибудь дѣло дѣлать—всю жизнь!.. Дуракъ тотъ, кто этого не понимаетъ. Какъ можно зря жить, ничего не дѣлая? Никакого смыслу нѣтъ въ человѣкѣ, который къ дѣлу своему не приверженъ...

— Совершенно справедливо, Кирилъ Ивановичъ! — отозвался приказчикъ и внимательно повелъ глазами по лавкѣ, какъ бы отыскивая въ ней какое-нибудь дѣло для себя. Илья взглянулъ на хозяина и задумался. Все скучнѣе жилось ему среди этихъ людей. Дни тянулись одинъ за другимъ, какъ длинныя сѣрыя нити, разматываясь съ какого-то невидимаго огромнаго клубка, и мальчику стало казаться, что ужъ конца не будетъ этимъ днямъ, всю жизнь свою онъ простоитъ у дверей, слушая базарный шумъ. Но его мысль, возбужденная ранѣе пережитыми впечатлѣніями и прочитанными книжками, не поддавалась умиротворяющему вліянію однообразія этой жизни и тихо, но неустанно работала. Душа мальчика воспринимала впечатлѣнія, они тлѣли въ ней и отъ этого тлѣнія голова его постепенно отягощалась туманомъ сужденій о всемъ, что происходило предъ его глазами. Порой ему — молчаливому и серьезному—становилось такъ скучно смотрѣть на людей, что хотѣлось закрыть глаза и уйти куда-нибудь далеко—дальше, чѣмъ Пашка Грачевъ ходилъ, — уйти и ужъ не возвращаться сюда, въ эту сѣрую скуку и непонятную людскую суету.

Въ праздники его посылали въ церковь. И онъ возвращался оттуда всегда съ такимъ чувствомъ, какъ будто сердце его омыли въ храмѣ душистою, теплою влагой. Къ дядѣ за полгода службы его отпускали два раза. Тамъ все шло по-прежнему. Горбунъ худѣлъ, а Петруха посвистывалъ все громче, и лицо у него изъ

розоваго становилось краснымъ. Яковъ жаловался, что отецъ притѣсняетъ его.

— Все журитъ: дѣло, говоритъ, дѣлай... Я, говоритъ, книжника не хочу... Но ежели мнѣ противно за стойкой торчать? Шумъ, гамъ, вой, ревъ... самого себя не слышно!.. Я говорю: отдай меня въ приказчики, въ лавку, гдѣ иконами торгуютъ... Покупателя тамъ бываетъ мало, а иконы я люблю...

Глаза у Якова грустно мигали, кожа на лбу отчего-то пожелтѣла и свѣтилась, какъ лысина на головѣ его отца.

— Книжки-то читаете?—спросилъ Илья.

— А какъ же? Только и радости вижу... Пока читаешь, словно въ другомъ городѣ живешь... а кончишь— какъ съ колокольни упалъ...

Илья посмотрѣлъ на него и сказалъ:

— Какой ты старый сталъ... А Машутка гдѣ?

— Въ богадѣльню пошла за милостыней. Теперь я ей не много помогаю: отецъ-то слѣдитъ... А Перфишка все хвораетъ... Такъ Манька-то начала въ богадѣльню ходить... щей тамъ даютъ ей и всего... Матица помогаетъ еще... Сильно бьется Маша...

— Тоже и у васъ скушно,—задумчиво сказалъ Илья.

— А тебѣ очень скушно?

— Смерть!.. У васъ хоть книжки... а у насъ во всемъ домѣ одинъ „Новѣйшій фокусникъ и чародѣй" у приказчика въ сундукѣ лежитъ, да и того я не добьюсь почитать... не даетъ, жуликъ.

— Плохо, видно, зажили мы, Яковъ...

— Плохо, братъ...

Они поговорили еще немного и простились, оба грустные и задумчивые.

Прошло еще нѣсколько недѣль такой жизни, и вдругъ судьба сурово, но все же милостиво улыбнулась Ильѣ. Однажды утромъ, во время оживленной торговли, хозяинъ, стоя за конторкой, вдругъ быстро началъ пе-

ребирать все на ней. Лобъ его покраснѣлъ, густо налившись кровью, и на шеѣ туго вздулись жилы.

— Илья!—крикнулъ онъ.—Погляди-ка на полу... не лежитъ ли гдѣ десятирублевка...

Илья взглянулъ на купца, потомъ быстрымъ взглядомъ окинулъ полъ и спокойно сказалъ:

— Нѣтъ...

— Я те говорю — погляди, какъ слѣдуетъ... — рявкнулъ хозяинъ густымъ басомъ.

— Да я глядѣлъ...

— Мм... хорошо же, упрямая шельма! — пригрозилъ ему хозяинъ.

А когда покупатели ушли, онъ позвалъ Илью, схватилъ крѣпкими и толстыми пальцами его ухо и началъ рвать изъ стороны въ сторону, приговаривая рычащимъ голосомъ:

— Велятъ глядѣть,—гляди, велятъ глядѣть—гляди...

Илья уперся обѣими руками въ брюхо хозяина, сильно оттолкнулся, вырвалъ ухо изъ его пальцевъ и злымъ голосомъ, съ дрожью обиды во всемъ тѣлѣ, громко закричалъ:

— Что вы деретесь? Деньги Михаилъ Игнатьичъ утащилъ... да! Онѣ у него въ лѣвомъ карманѣ, въ жилеткѣ...

Совиное лицо приказчика изумленно вытянулось, дрогнуло, и вдругъ, размахнувшись правой рукой, онъ ударилъ Илью по головѣ. Мальчикъ упалъ со стономъ и, заливаясь слезами, techпоползъ по полу въ уголъ лавки. Какъ сквозь сонъ онъ слышалъ звѣриный ревъ хозяина:

— Стой! Куда? Подай деньги...

— Онъ вретъ-съ... — раздавался тонкій голосъ приказчика.

— Поди сюда...

— Ей-Богу-съ...

— Гирей кину въ башку!

— Кирилъ Иванычъ... Мои это-съ... Р-разрази меня...

— Молчать!..

И стало тихо. Хозяинъ ушелъ въ свою комнату, оттуда донеслось громкое щелканье косточекъ на счетахъ. Илья, держась за голову руками, сидѣлъ на полу и съ ненавистью смотрѣлъ на приказчика, который стоялъ въ другомъ углу лавки и тоже смотрѣлъ на мальчика нехорошими глазами.

— Что, сволочь, здорово̀ я тебя двинулъ? — тихо спросилъ онъ, оскаливъ зубы.

Илья дернулъ плечами и промолчалъ.

— А сейчасъ я тебѣ еще дамъ... памятку!

Приказчикъ, не торопясь, пошелъ на мальчика, уставивъ въ лицо его свои круглые, злые глаза. Но Илья всталъ на ноги, твердымъ движеніемъ взялъ съ прилавка длинный и тонкій ножъ и сказалъ:

— Иди!

Тогда приказчикъ остановился, неподвижными глазами измѣряя коренастую крѣпкую фигурку съ ножомъ въ рукѣ, остановился и презрительно протянулъ:

— А, ка-аторжное отродье...

— Ну, иди, иди!—повторилъ мальчикъ, шагнувъ навстрѣчу ему. Предъ глазами Ильи все вздрагивало и кружилось, а въ груди своей онъ ощущалъ большую силу, смѣло толкавшую его впередъ.

— Брось ножъ!—раздался голосъ хозяина.

Илья вздрогнулъ, взглянувъ на рыжую бороду и налитое кровью лицо, но не тронулся съ мѣста.

— Положи, говорю, ножъ! — тише сказалъ хозяинъ.

Илья, плавая въ какомъ-то мутномъ туманѣ, положилъ ножъ на прилавокъ, громко всхлипнулъ и снова сѣлъ на полъ. Голова у него кружилась и болѣла, ухо саднило, онъ задыхался отъ огромной тяжести, выросшей въ его груди. Она затрудняла біеніе сердца, медленно поднималась къ горлу и мѣшала ему говорить. Голосъ хозяина донесся до него откуда-то издали:

— Получи расчетъ, Мишка...

— Позвольте-съ...

— Вонъ! А то полицію позову...

— Хорошо-съ! Я—уйду... Но и за этимъ мальчикомъ вы поглядывайте... Онъ съ ножичкомъ... хе-хе! У него папенька-то въ каторгѣ-съ... хе-хе!

— Вонъ!

И снова въ лавкѣ стало тихо. Илья оглянулся отъ непріятнаго ощущенія: ему показалось, что по лицу его что-то ползаетъ. Онъ провелъ рукой по щекѣ, отеръ слезы и увидалъ, что изъ-за конторки на него смотритъ хозяинъ острымъ, царапающимъ взглядомъ. Тогда онъ всталъ и пошелъ нетвердымъ шагомъ къ двери, на свое мѣсто.

— Стой, погоди!—сказалъ хозяинъ.—Могъ ты ударить его ножомъ?

— Ударилъ-бы!—тихо, но твердо отвѣтилъ мальчикъ.

— Та-акъ... У тебя отецъ за что въ каторгу ушелъ—убилъ?

— Поджогъ...

— И то хорошо...

Пришелъ Карпъ, смиренно сѣлъ у двери на табуретку и сталъ смотрѣть на улицу.

— Карпушка!—съ усмѣшкой глядя на него сказалъ хозяинъ.—Михаила-то я прогналъ...

— Воля ваша, Кирилъ Ивановичъ!

— Воровать сталъ, а?

— А-я-яй!—тихонько и съ испугомъ воскликнулъ Карпъ.—Да неужто? А-а?

Рыжая борода хозяина вздрогнула отъ усмѣшки, и онъ расхохотался, покачиваясь за конторкой.

— Хо-хо-хо! Ахъ, Карпушка... фокусникъ ты у меня... смиренная душа...

Потомъ онъ вдругъ пересталъ смѣяться, глубоко вздохнулъ и задумчиво, сурово сказалъ:

— Эхъ люди, люди! Человѣки... Всѣ-то вы жить

хотите, всѣмъ-то жрать надо, да чтобы каждому получше, повкуснѣе...

Онъ кивнулъ головой и замолчалъ.

— Н-ну, Илья, — послѣ долгаго и внушительнаго молчанія заговорилъ купецъ, — давай побесѣдуемъ... Перво-на-перво скажи-ка мнѣ — замѣчалъ ты раньше, что Михайло воруетъ?

— Замѣчалъ...

— А что же ты мнѣ не сказалъ про это?

— Такъ...—подумавъ, отвѣтилъ Илья.

— Боялся его, что-ли?

— Нѣтъ, не боялся...

— Та-акъ... Что же ты мнѣ не сказалъ: хозяинъ, молъ, грабятъ тебя...

— Не знаю... не хотѣлось...

— М-м... Значитъ, теперь ты мнѣ со зла сказалъ...

— Да,—твердо отвѣтилъ Илья.

— Ишь-ты... какой! — воскликнулъ хозяинъ. Потомъ онъ долго гладилъ свою рыжую бороду, не говоря ни слова и серьезно разглядывая Илью.

— Ну, а самъ ты, Илья, воровалъ?

— Нѣтъ...

— Вѣрю... Ты—не воровалъ... Ну-съ, а Карпъ, вотъ этотъ самый Карпъ, онъ какъ,—воруетъ?

— Воруетъ!—какъ эхо, повторилъ мальчикъ.

Карпъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на него, мигнулъ глазами и спокойно отворотился въ сторону. Хозяинъ угрюмо сдвинулъ брови и снова началъ гладить бороду. Илья чувствовалъ, что происходитъ что-то странное, и напряженно ждалъ конца. Въ пахучемъ воздухѣ лавки жужжали мухи, былъ слышенъ тихій плескъ воды въ чанѣ съ живой рыбой.

— Карпушка! — окрикнулъ купецъ приказчика, неподвижно и со вниманіемъ смотрѣвшаго на улицу.

— Чего изволите?—откликнулся Карпъ, быстро под-

ходя къ хозяину и глядя въ лицо ему своими вѣжливо-ласковыми глазами.

— Слышалъ ты, что про тебя сказано?—съ усмѣшкой спросилъ Строганый.

— Слышалъ...

— Ну, и что же?

— Ничего...—пожавъ плечами, сказалъ Карпъ.

— Т. е. какъ же—ничего?

— Очень просто, Кирилъ Ивановичъ. Я, Кирилъ Ивановичъ, имѣю свое достоинство, будучи человѣкомъ, уважающимъ себя, и потому на мальчика мнѣ не подобаетъ обижаться. Какъ сами изволите видѣть, мальчикъ откровенно глупъ, не имѣетъ никакихъ понятій... и я могу его дерзость совершенно простить...

— Погоди! Ты мнѣ зубовъ не заговаривай! — ты скажи—правду онъ говорилъ?

— Что такое правда, Кирилъ Ивановичъ? — тихо воскликнулъ Карпъ, снова пожимая плечами, и склонилъ голову на бокъ.—Всякъ по-своему ее разумѣетъ... И, конечно, ежели вамъ угодно—то вы его слова примете за правду... воля ваша..

Карпъ вздохнулъ и обиженно развелъ руками.

— Н-да, на все здѣсь воля моя... — согласился хозяинъ.—Такъ по-твоему мальчонка-то глупъ?

— Совершенно глупъ, — съ глубокой увѣренностью сказалъ Карпъ.

— Ну, это ты, пожалуй, и врешь...—неопредѣленно сказалъ Строганый и вдругъ захохоталъ.

— Нѣтъ, какъ это онъ ляпнулъ прямо въ зенки тебѣ... хо-хо! Воруетъ Карпъ? Воруетъ! Хо-хо-хо!

Илья отошелъ къ двери и всталъ тамъ, слушая этотъ разговоръ, а когда хозяинъ засмѣялся, онъ почувствовалъ, что въ сердцѣ его вспыхнула мстительная радость, съ торжествомъ на лицѣ взглянулъ на Карпа и съ благодарностью — на хозяина. Карпъ при-

слушался къ хозяйскому смѣху и тоже выпустилъ изъ горла сухонькій и осторожный смѣшокъ:

— Хе, хе, хе!..

Но Строганый, услыхавъ эти жиденькіе звуки, сурово скомандовалъ:

— Запирай лавку!..

Когда Илья шелъ домой, Карпъ, потрясая головою, говорилъ ему:

— Дуракъ ты, дуракъ. Ну, сообрази, зачѣмъ затѣялъ ты канитель эту? Развѣ такъ предъ хозяевами выслуживаются на первое мѣсто? Дубина! Ты думаешь, онъ не зналъ, что мы съ Мишкой воровали? Да онъ самъ съ того жизнь начиналъ... хе, хе! Что онъ Мишку прогналъ—за это я обязанъ по всей моей совѣсти сказать тебѣ спасибо! А что ты про меня сказалъ — это тебѣ не простится никогда... заранѣе говорю! Это, называется—глупая дерзость! При мнѣ и про меня—эдакое слово сказать. Нѣ-ѣтъ! Я тебѣ его припомню... Оно указываетъ, что ты меня не уважаешь...

Илья молча слушалъ эту рѣчь, но плохо понималъ ее. По его разумѣнію, Карпъ долженъ былъ сердиться на него не такъ: онъ былъ увѣренъ, что приказчикъ дорогой поколотитъ его, и даже боялся идти домой... Но вмѣсто злобы въ словахъ Карпа звучала только насмѣшка, и даже угрозы его не пугали Илью. Вечеромъ хозяинъ позвалъ Илью къ себѣ, на верхъ.

— Ага! Ну-ка, поди-ка!—проводилъ его Карпъ зловѣщимъ восклицаніемъ.

Войдя на верхъ, Илья остановился у двери большой комнаты, среди которой, подъ тяжелой лампой, опускавшейся съ потолка, стоялъ круглый столъ съ огромнымъ самоваромъ на немъ. Вокругъ стола сидѣлъ хозяинъ съ женой и дочерями—всѣ три дѣвочки были какъ разъ на голову ниже одна другой, волосы у всѣхъ были рыжіе, и бѣлая кожа на ихъ длинныхъ лицахъ была густо усѣяна веснушками. Когда Илья вошелъ,

онѣ плотно придвинулись одна къ другой и со страхомъ уставились на него тремя парами голубыхъ глазъ.

— Вотъ онъ!—сказалъ хозяинъ.

— Скажите, пожалуйста, какой!—опасливо воскликнула хозяйка и такъ посмотрѣла на Илью, точно раньше она никогда не видала его. Строганый усмѣхнулся, погладилъ бороду, постучалъ пальцами по столу и внушительно заговорилъ:

— Позвалъ я тебя, Илья, затѣмъ, чтобы сказать тебѣ—ты мнѣ больше не нуженъ, стало быть, собирай свою хурду-мурду и уходи...

Илья вздрогнулъ, удивленно раскрылъ ротъ и, повернувшись, пошелъ вонъ изъ комнаты.

— Стой!—сказалъ купецъ, протянувъ къ нему руку, и, стукнувъ по столу ладонью, повторилъ тономъ ниже:

— Стой!

Затѣмъ онъ поднялъ палецъ кверху и солидно, медленно заговорилъ снова:

— Позвалъ я тебя не за однимъ этимъ... Нѣтъ... Поучить тебя надо... Надо объяснить тебѣ, почему ты сталъ мнѣ вреденъ. Никакого худа ты мнѣ не сдѣлалъ... паренекъ ты грамотный... и не лѣнивый... честный и здоровый... н-да! Все это твои козыри. Но и съ этими козырями ты мнѣ не нуженъ... такъ сказать, не ко двору... Почему,—вопросъ?.. н-да...

Илья понималъ, что его хвалятъ и гонятъ вонъ. Это не объединялось въ его головѣ, вызывало въ немъ двойственное чувство удовольствія и обиды, ему казалось, что хозяинъ самъ не понимаетъ того, что онъ дѣлаетъ... А лицо Строганаго, словно подтверждая догадку мальчика, было напряжено какой-то мыслью, которую купцу, должно быть, не удавалось поймать и заключить въ слова. Тогда мальчикъ шагнулъ впередъ и смирно, съ почтеніемъ въ голосѣ, спросилъ;

— Это вы меня за то прогоняете, что я—съ ножомъ давеча?..

— А, батюшки!—испуганно воскликнула хозяйка.— Какой дерзкій! Ахъ, Господи!..

— Вотъ!—сказалъ хозяинъ съ удовольствіемъ, улыбаясь Ильѣ и тыкая пальцемъ по направленію къ нему.— Ты—дерзокъ! Именно такъ! Ты—дерзокъ... А служащій мальчикъ долженъ быть смиренъ... смиренномудръ, какъ сказано въ писаніи... Онъ живетъ на всемъ хозяйскомъ... У него пища хозяйская, и умъ хозяйскій, и честность тоже... А у тебя свое... И оттого ты дерзокъ... Ты, напримѣръ, въ глаза человѣку лѣпишь—воръ! Это не хорошо, это дерзко... Ты, ежели честный, мнѣ скажи объ этомъ человѣкѣ, но — тихонько скажи... Я ужъ самъ опредѣлю все... я — хозяинъ!.. А ты вслухъ — воръ... Нѣтъ, ты погоди... Коли изъ троихъ одинъ честенъ—это для меня ничего не значитъ... Тутъ особый счетъ надобенъ... Если же одинъ честенъ, а девять подлецы, никто не выигрываетъ... Но человѣкъ пропадаетъ. А ежели семеро честныхъ на трехъ подлецовъ — твоя взяла... Понялъ? Которыхъ больше, тѣ и правы... А ежели одинъ — что въ немъ? Вотъ какъ о честности разсуждать надо...

Строганый отеръ ладонью потъ со лба и продолжалъ:

— Опять же—хватаешь ты ножикъ...

— О Господи Исусе!—съ ужасомъ воскликнула хозяйка, а дѣвочки еще плотнѣе прислонились одна къ другой.

— Сказано—взявши ножъ, отъ него и погибнешь... Н-да... Вотъ почему ты мнѣ совсѣмъ лишній... Такъ-то... На вотъ тебѣ полтинку и — иди... Уходи... Помни — ты мнѣ ничего худого, я тебѣ тоже... Даже — вотъ, на! Дарю полтинникъ... И разговоръ велъ я съ тобой, мальчишкой, серьезный, какъ надо быть и... все такое... Можетъ, мнѣ даже жалко тебя... но неподходящій ты! Коли чека не по оси,—такъ ее до ѣзды надо бросить... Ну, иди...

— Прощайте!—сказалъ Илья. Рѣчь хозяина онъ выслушалъ внимательно и понялъ ее просто — купецъ прогонялъ его потому, что не могъ прогнать Карпа, боясь остаться безъ приказчика. Отъ этого Ильѣ стало легко и радостно. И хозяинъ показался ему особеннымъ какимъ-то—простымъ, милымъ.

— Держи деньги!

— Прощайте! — повторилъ Илья, крѣпко сжавъ въ рукѣ серебряныя монетки.—Покорно благодарю!

— Не на чемъ!—отвѣтилъ Строганый, кивнувъ ему головой.

— А-я-яй! Ни слезинки не выронилъ... — донесся вслѣдъ Ильѣ укоризненный возгласъ хозяйки.

Когда Илья, съ узломъ на спинѣ, вышелъ изъ крѣпкихъ воротъ купеческаго дома, ему показалось, что онъ идетъ издалека, изъ сѣрой и пустой страны, о которой онъ читалъ въ одной книжкѣ, и гдѣ не было ничего, ни людей, ни деревьевъ, только одни камни, а среди нихъ жилъ старый, добрый волшебникъ, ласково указывавшій дорогу всѣмъ, кто попадалъ въ эту страну.

Былъ вечеръ яснаго дня весны. Заходило солнце, на стеклахъ оконъ пылалъ красный огонь. Это напомнило мальчику тотъ день, когда онъ впервые увидалъ городъ съ берега рѣки. Тяжесть узла съ пожитками давила ему спину, — онъ замедлилъ шаги. По тротуару шли люди, задѣвая его ношу, съ трескомъ и грохотомъ ѣхали экипажи; въ косыхъ лучахъ солнца носилась пыль, было шумно, суетливо, весело. Въ памяти мальчика вставало все то, что онъ пережилъ въ городѣ за эти годы. Онъ чувствовалъ себя взрослымъ человѣкомъ, сердце его билось гордо и смѣло, и въ ушахъ его звучали слова купца:

— Ты мальчикъ грамотный, не глупый, здоровый, не лѣнивый... Это твои козыри...

Илья снова ускорилъ шаги, чувствуя въ себѣ крѣп-

кую, ясную радость и улыбаясь при мысли, что завтра ужъ не надо идти въ рыбную лавку...

Возвратясь въ домъ Петрухи Филимонова, Илья съ гордостью убѣдился, что онъ дѣйствительно очень выросъ за время службы въ рыбной лавкѣ. Всѣ въ домѣ относились къ нему со вниманіемъ и лестнымъ любопытствомъ. Перфишка подалъ ему руку.

— Приказчику — почтеніе! Что, братъ, отслужилъ? Слышалъ я о твоихъ подвигахъ — ха, ха! Они, братъ, любятъ, когда языкъ имъ пятки лижетъ, а не когда онъ правду рѣжетъ...

Маша, увидавъ его, радостно вскричала:

— О-го-о! Какой ты большой сталъ!

Яковъ тоже обрадовался.

— Ну вотъ, и опять вмѣстѣ будемъ жить... А у меня книжка есть „Альбигойцы" — ну, исторія, я тебѣ скажу. Есть тамъ одинъ—Симонъ Монфоръ... вотъ такъ чудище!—И Яковъ торопливо, сбивчиво началъ разсказывать содержаніе книжки. А Илья, глядя на него, съ удовольствіемъ подумалъ, что его большеголовый товарищъ остался такимъ же, каковъ былъ. Въ поведеніи Ильи у Строганаго Яковъ не увидалъ ничего особеннаго. Онъ выслушалъ разсказъ товарища и просто сказалъ ему:

— Такъ и надо было...

И такое отношеніе Якова показалось Ильѣ немножко обиднымъ.

Самъ Петруха, выслушавъ разсказъ Ильи о происшествіи въ лавкѣ, видимо былъ удивленъ поведеніемъ Ильи и не скрылъ этого, одобрительно сказавъ:

— Ловко ты ихъ поддѣлъ, ловко, братъ! Ну, а Кириллъ Ивановичу, конечно, нельзя мѣнять Карпа на тебя. Карпъ дѣло знаетъ, цѣна ему высокая. А тебѣ съ нимъ послѣ такого случая нельзя было бы жить...

Ты по правдѣ хочешь, въ открытую пошелъ... Потому онъ тебя и перевѣсилъ...

Но, однако, на другой день дядя Терентій тихонько сказалъ племяннику:

— Ты съ Петрухой-то не тово... не очень разговаривай... Осторожненько... Онъ тебя не взлюбилъ... ругаетъ... Ишь, говоритъ, какой правдолюбъ! А отчего правдолюбъ? Оттого, что еще глупъ! Н-да... вонъ онъ какъ...

Илья выслушалъ слова дядя и засмѣялся.

— А вчера онъ меня восхваливалъ, — ловко, гововилъ. Вотъ и всѣ люди такъ: въ глаза хвалятъ, а за глаза хаятъ...

Но отношеніе Петрухи не умѣрило въ Ильѣ его повышенной самооцѣнки. Онъ ясно чувствовалъ себя героемъ, онъ понималъ, что велъ себя у купца хорошо, лучше, чѣмъ велъ бы себя другой въ такихъ обстоятельствахъ.

Мѣсяца черезъ два, послѣ тщетныхъ поисковъ новаго мѣста, у Ильи съ дядей завязался такой разговоръ:

— Да-а... — уныло тянулъ горбунъ. — Нѣту мѣстовъ для тебя... Вездѣ говорятъ—великъ... Какъ же будемъ жить, милачокъ? а? Какъ же?

А Илья солидно и убѣдительно говорилъ:

— Мнѣ пятнадцать лѣтъ... я парень грамотный, не глупый... А ежели я дерзкій, такъ меня и съ другого мѣста прогонятъ... все равно! Кому нужно дерзкаго-то?

— Что же дѣлать будемъ? а? — опасливо спрашивалъ Терентій, сидя на своей постели и крѣпко упираясь въ нее руками.

— Вотъ что: закажи ты мнѣ ящикъ и купи товару. Мыловъ, духовъ, иголокъ, книжекъ... всякой всячины... И буду я ходить да торговать отъ себя...

— Что-то я не понимаю этого, Илюша, — у меня трактиръ въ головѣ... шумитъ!.. Тукъ, тукъ, тукъ... Всегда... Что-то мнѣ слабо думаться стало... И въ глазахъ, и въ душѣ все одно... все это самое...

Въ глазахъ горбуна дѣйствительно застыло какое-то напряженное выраженіе, точно онъ всегда что-то считалъ и не могъ сосчитать.

— Да ты попробуй! Ты пусти меня...—упрашивалъ его Илья, увлеченный своею мыслью, сулившей ему свободу.

— Ну, Господь съ тобой! Попробуемъ инъ...

— Вотъ! Увидишь, что будетъ,—радостно вскричалъ Илья.

— Эхъ! —глубоко вздохнулъ Терентій и съ тоской заговорилъ:

— Росъ бы ты поскорѣе! Будь-ка ты побольше — охо-хо! Ушелъ бы я... А то какъ якорь ты мнѣ... изъ-за тебя стою я въ гниломъ озерѣ этомъ... и пропадаю! Ушелъ бы я ко святымъ угодникамъ... Сказалъ бы имъ: угодники Божіи! Милостивцы и заступники! Согрѣшилъ я, окаянный! Тяжело мнѣ... избавьте! Заступитесь предъ Отцомъ моимъ!

И горбунъ вдругъ беззвучно заплакалъ. Илья понялъ, о какомъ грѣхѣ говоритъ дядя, и самъ вспомнилъ этотъ грѣхъ. Сердце у него вздрогнуло. Ему было жалко дядю и, видя, что все обильнѣе льются слезы изъ робкихъ глазъ горбуна, онъ проговорилъ:

— Ну, не плачь ужъ... Погоди, вотъ я расторгуюсь, и пойдешь... Онъ замолчалъ, подумалъ и утѣшительно добавилъ:

— Ничего, простятъ...

— Простятъ ли?—тихо спросилъ Терентій. А мальчикъ снова, и уже съ увѣренностью, повторилъ:

— Простятъ!.. Не то прощаютъ... я вѣдь знаю!..

И вотъ Илья началъ торговать. Съ утра до вечера онъ ходилъ по улицамъ города съ ящикомъ на груди, прищуривая черные глаза, и, поднявъ носъ кверху, съ достоинствомъ поглядывалъ на людей. Нахлобучивъ картузъ глубоко на голову, онъ выгибалъ кадыкъ и кричалъ молодымъ, ломкимъ голосомъ:

— Мыло! Вакса! Помада! Шпильки, булавки! Нитки, иголки!

Пестрой и шумной волной лилась жизнь вокругъ него, онъ плылъ въ этой волнѣ свободно и легко, чувствуя себя такимъ же человѣкомъ, какъ и всѣ. Онъ толкался на базарахъ, заходилъ въ трактиры, важно спрашивалъ себѣ пару чая и пилъ его съ бѣлымъ хлѣбомъ долго, солидно, какъ человѣкъ, знающій себѣ цѣну. Жизнь казалась ему простой, легкой, пріятной. Его мечты принимали тоже простыя и ясныя формы: онъ представлялъ себя чрезъ нѣсколько лѣтъ хозяиномъ маленькой, чистенькой лавочки, гдѣ-нибудь на хорошей, не очень шумной улицѣ города, а въ лавкѣ у него — легкій и чистый галантерейный товаръ, который не пачкаетъ и не портитъ одежи. И самъ онъ тоже чистый, здоровый, красивый. Всѣ въ улицѣ уважаютъ его, а дѣвушки смотрятъ ласковыми глазами. Вечеромъ, закрывъ лавку, онъ сидитъ въ чистой и свѣтлой комнатѣ рядомъ съ ней, пьетъ чай и читаетъ книжку. Чистота во всемъ казалась ему необходимымъ, главнымъ условіемъ порядочной жизни. Такъ мечталось ему, когда торговля шла успѣшно и никто не обижалъ его грубымъ обращеніемъ, ибо съ той поры, какъ онъ понялъ себя самостоятельнымъ человѣкомъ, онъ сталъ очень чутокъ и обидчивъ.

Но когда ему не удавалось ничего продать, и онъ, усталый, сидѣлъ въ трактирѣ или гдѣ-нибудь на улицѣ, ему вспоминались грубые окрики и толчки полицейскихъ, подозрительное и обидное отношеніе покупателей, ругательства и насмѣшки конкуррентовъ, такихъ же разносчиковъ, какъ онъ,—тогда въ немъ смутно шевелилось большое, безпокойное чувство. Его глаза раскрывались шире, смотрѣли глубже въ жизнь, а память, богатая впечатлѣніями, подкладывала ихъ одно за другимъ въ механизмъ его разсудка. Онъ ясно видѣлъ, что всѣ люди идутъ къ одной съ нимъ цѣли,

[redacted]

ищутъ той же спокойной, сытой и чистой жизни, какой хочется и ему. И никто изъ людей не стѣсняется оттолкнуть со своей дороги другого, если онъ мѣшаетъ ему; всѣ жадны, всѣ безжалостны и даже часто обижаютъ другъ друга, не имѣя въ этомъ надобности и безъ всякой пользы для себя, а какъ бы только ради одного удовольствія обидѣть человѣка. Иногда оскорбляютъ со смѣхомъ и рѣдко кто-нибудь жалѣетъ обиженнаго...

Отъ этихъ думъ торговля казалась ему скучнымъ дѣломъ, мечта о чистой, маленькой лавочкѣ какъ будто таяла въ немъ, онъ чувствовалъ въ груди своей пустоту, а въ тѣлѣ вялость и лѣнь. Ему казалось, что онъ никогда не выторгуетъ столько денегъ, сколько нужно для того, чтобъ открыть лавочку, и до старости будетъ шляться по пыльнымъ и жаркимъ улицамъ съ ящикомъ на груди, съ болью въ плечахъ и спинѣ отъ ремня. Но удача въ торговлѣ вновь возбуждала его бодрость и оживляла мечту. Какъ-то разъ на одной изъ бойкихъ улицъ города Илья увидалъ Пашку Грачева. Сынъ кузнеца шелъ по тротуару безпечной походкой гуляющаго человѣка, руки его были засунуты въ карманы дырявыхъ штановъ, на плечахъ болталась не по росту длинная и широкая синяя блуза, тоже рваная и грязная, и большіе опорки при каждомъ его шагѣ звучно щелкали каблуками по камню панели. Картузъ со сломаннымъ козырькомъ былъ молодецки сдвинутъ на лѣвое ухо, половину головы свободно пекло солнце, а рожу и шею Пашки покрывалъ густой налетъ какой-то масляннистой грязи. Онъ еще издали узналъ Илью, весело кивнулъ ему головой, но не ускорилъ шага навстрѣчу ему.

— Здравствуй!—сказалъ Илья.—Какимъ ты фертомъ...

Пашка крѣпко стиснулъ его руку и, не выпуская ея, засмѣялся. Его зубы и глаза блестѣли подъ маской грязи ясно и весело.

— Какъ живешь?

— Живемъ, какъ можемъ, есть пища — гложемъ, нѣтъ—попищимъ, да такъ и ляжемъ... ха, ха! А я вѣдь радъ, что тебя встрѣтилъ, чортъ те дери!

— Ты что никогда не придешь? — спросилъ Илья, улыбаясь. Ему тоже было пріятно видѣть стараго товарища такимъ веселымъ и чумазымъ. Онъ поглядѣлъ на Пашкины опорки, потомъ на свои новые сапоги, цѣною въ девять рублей, и самодовольно улыбнулся.

— А я почемъ знаю, гдѣ ты живешь... — сказалъ Грачевъ.

— Все тамъ, у Филимонова...

— Ну-у? А Яшка говорилъ, что ты гдѣ-то рыбой торгуешь...

Тогда Илья съ гордостью разсказалъ Пашкѣ о своей службѣ у Строганаго и о томъ, какъ онъ живетъ теперь.

— Ай, да наши — чуваши! — одобрительно воскликнулъ Грачевъ. — А я тоже... изъ типографіи прогнали за озорство, такъ я къ живописцу поступилъ краски тереть и всякое тамъ... Да, чортъ ее, на сырую вывѣску и сѣлъ однажды... ну, начали они меня пороть! Вотъ пороли черти! И хозяинъ, и хозяйка, и мастеръ... прямо того и жди, что помрутъ съ устатка... Потомъ прогнали... Теперь я у водопроводчика живу... Шесть цѣлковыхъ въ мѣсяцъ... Ходилъ вотъ обѣдать, а теперь опять на работу иду...

— Не торопишься.

— А песъ съ ней! Развѣ всю ее когда передѣлаешь? Надо будетъ зайти къ вамъ...

— Приходи!—дружески сказалъ Илья.

— Книжки-то читаете?

— Какъ же! А ты?

— И я клюю помалу...

— А стихи сочиняешь?..

— И стихи...

Пашка снова весело захохоталъ.

-- Приходи, а? Стихи тащи...

— Право, приду... Водочки принесу...

-- Пьешь развѣ?

– Хлещемъ... Однако, прощай...

— Прощай!—сказалъ Илья.

Онъ пошелъ своей дорогой, думая о Пашкѣ. Ему казалось страннымъ, что этотъ оборванный паренекъ не выказалъ никакой зависти къ его крѣпкимъ сапогамъ, чистой одеждѣ и даже какъ бы не замѣтилъ этого. А когда Илья разсказалъ о своей самостоятельной жизни, Пашка только обрадовался. И Илья съ непонятной ему тревогой въ душѣ подумалъ: неужели Грачевъ не хочетъ того, чего всѣ хотятъ? Чего можно хотѣть еще, кромѣ чистой, спокойной, независимой жизни?

Особенно ясно чувствовалъ въ себѣ Илья грусть и тревогу послѣ посѣщенія церкви. Онъ рѣдко пропускалъ церковныя службы, съ удовольствіемъ посѣщая и обѣдни, и всенощныя. Онъ не молился, а просто стоялъ гдѣ-нибудь въ углу и, ни о чемъ не думая, смотрѣлъ на людей, слушалъ пѣніе. Люди стояли неподвижно, молча, и было въ ихъ молчаніи что-то единодушное, какъ будто каждый человѣкъ упорно думалъ о томъ же, о чемъ думали и всѣ другіе. Волны пѣнія носились по храму вмѣстѣ съ облаками ладана, и порой Ильѣ казалось, что и онъ вмѣстѣ со звуками поднимается вверхъ, плаваетъ съ ними въ теплой и ласковой пустотѣ и теряетъ себя въ ней. Въ торжественномъ и важномъ настроеніи, которое, наполняя храмъ, миротворно вѣяло на душу, было что-то совершенно чуждое суетѣ жизни, непримиримое съ ея стремленіями. Сначала въ душѣ Ильи это впечатлѣніе укладывалось отдѣльно отъ другихъ обычныхъ впечатлѣній его дня, не смѣшивалось съ ними и не безпокоило его. Но потомъ онъ замѣтилъ, что въ сердцѣ его живетъ нѣчто, всегда наблюдающее

за нимъ. Оно пугливо скрывается гдѣ-то въ немъ и безмолвно въ суетѣ жизни, но когда онъ приходитъ въ церковь, оно тихо растетъ въ груди его и вызываетъ въ ней что-то особенное, тревожное, противорѣчивое его мечтамъ о чистой жизни. Въ эти моменты ему всегда вспоминались разсказы объ отшельникѣ Антипѣ и любовныя рѣчи тряпичника о Богѣ.

„Господь все видитъ, всему мѣру знаетъ! Кромѣ Его—никого!“

Илья приходилъ домой полный смутнаго безпокойства, чувствуя, что его мечта о будущемъ выцвѣла и слиняла, и что въ немъ же самомъ есть кто-то, не желающій открыть галантерейную лавочку. Но жизнь брала свое, и скоро этотъ кто-то опять скрывался въ глубь души...

Разговаривая съ Яковомъ обо всемъ, Илья, однако, не говорилъ ему о своемъ раздвоеніи. Онъ и самъ думалъ о немъ только по необходимости, никогда своей волей не останавливая мысли на этомъ непонятномъ ему чувствѣ.

Вечера онъ проводилъ очень пріятно. Возвращаясь изъ города, онъ шелъ въ подвалъ къ Машѣ и хозяйскимъ тономъ спрашивалъ:

— Машутка! какъ у насъ насчетъ самоварчика?

А самоварчикъ уже былъ готовъ и стоялъ на столѣ, курлыкая и посвистывая. Илья всегда приносилъ съ собой чего-нибудь вкуснаго: баранокъ, мятныхъ пряниковъ, медовой коврижки, а иногда и варенья паточнаго,—и Маша любила поить его чаемъ. Дѣвочка тоже начала зарабатывать деньги: Матица научила ее дѣлать изъ бумаги цвѣты, и Машѣ нравилось составлять изъ тонкихъ, весело шуршавшихъ бумажекъ яркія розы. Иногда она зарабатывала до гривенника въ день. Ея отецъ заболѣлъ тифомъ, слишкомъ два мѣсяца пролежалъ въ больницѣ и пришелъ оттуда сухой, тонкій, съ прекрасными, тонкими кудрями на головѣ. Онъ сбрилъ

свою растрепанную, безшабашную бороденку и, несмотря на желтыя, ввалившіяся щеки, казался помолодѣвшимъ лѣтъ на пять. По-прежнему онъ работалъ у чужихъ людей и даже ночевать являлся домой рѣдко, предоставивъ квартиру въ полное распоряженіе дочери. Она чинила ему одежду и тоже стала звать отца, какъ всѣ,—Перфишкой. Сапожникъ забавлялся ея отношеніемъ къ нему и даже какъ бы чувствовалъ уваженіе къ своей кудрявой дѣвочкѣ, умѣвшей хохотать такъ же великолѣпно и весело, какъ самъ онъ.

Вечернее чаепитіе у Маши вошло въ привычку Ильи и Якова. Ребята усаживались за столъ и пили долго, много, обливаясь пòтомъ и разговаривая обо всемъ, что задѣвало ихъ. Илья разсказывалъ о томъ, что видѣлъ въ городѣ, Яковъ, читавшій цѣлыми днями,—о книгахъ, о скандалахъ въ трактирѣ, жаловался на отца, а иногда—и все чаще—начиналъ плести языкомъ что-то такое, что и Ильѣ, и Машѣ казалось и несуразнымъ, и непонятнымъ. Маша, съ утра до вечера сидѣвшая въ своей комнатѣ, работая и распѣвая пѣсни, слушала разговоръ парней, сама говорила мало и смѣялась, когда было надъ чѣмъ. Чай былъ необыкновенно вкусенъ, а самоваръ, весь покрытый окисями, имѣлъ славную старческую рожу, ласково-хитрую. Почти всегда, когда ребята только-что входили во вкусъ чаепитія, самоваръ съ добродушнымъ ехидствомъ начиналъ гудѣть, ворчать, и въ немъ не оказывалось воды. Маша хватала его и тащила доливать; каждый вечеръ ей приходилось дѣлать это по нѣсколько разъ.

Если всходила луна, то и ея лучъ попадалъ въ компанію дѣтей—сегодня такой же, какъ и вчера,—всегда пятномъ одной и той же формы.

Въ этой маленькой ямкѣ, стиснутой полугнилыми стѣнами и накрытой тяжелымъ, низкимъ потолкомъ, всегда чувствовался недостатокъ воздуха, свѣта, воды, хлѣба, сахару и многаго другого, но въ ней было ве-

село и каждый вечеръ рождалось много хорошихъ чувствъ и наивныхъ, юныхъ мыслей.

Иногда при чаепитіи присутствовалъ Перфишка. Обыкновенно онъ помѣщался въ темномъ углу комнаты на подмосткахъ около коренастой, осѣвшей въ землю печи или влѣзалъ на печь, свѣшивалъ оттуда голову, и въ сумракѣ блестѣли его бѣлые, мелкіе зубы. Дочь подавала ему большую кружку чаю, кусокъ сахару и хлѣба; онъ принималъ и, посмѣиваясь, говорилъ:

— Покорнѣйше благодарю, Марья Перфильевна. Чувствительно растрясенъ вашей добротой...

Иногда онъ со вздохомъ зависти восклицалъ:

— А хорошо вы живете, ребята, чтобъ васъ дождемъ размочило! Пріятно! Совсѣмъ, какъ люди.

И потомъ, улыбаясь и вздыхая, разсказывалъ:

— Житье-то? Все улучшается! Все пріятнѣе жить человѣку годъ отъ года. Я въ ваши года, бывало, только со шпандыремъ бесѣды велъ. Начнетъ это онъ меня по спинѣ гладить, а я отъ удовольствія вою, что есть мочи. Перестанетъ онъ—спина обидится, надуется и ноетъ, по миломъ другѣ тоскуетъ. Ну, онъ долго себя ждать не заставлялъ,—чувствительный былъ шпандырь! Да! Только всего и удовольствія видѣлъ я, ей-Богу! Вотъ вы теперь выростете большіе и будете все это вспоминать... разговоры, случаи разные и всю вашу пріятную жизнь. А я вотъ выросъ, — тридцать-шестой годъ мнѣ,—а вспомнить нечего! Ни одной искры! Совсѣмъ нечего вспомнить. Вродѣ какъ бы слѣпъ и глухъ былъ я въ ваши годы. Только и помню, что во рту у меня всегда зубы щелкали съ голоду да холоду, на рожѣ синяки росли... а ужъ какъ у меня кости, уши, волосы цѣлы остались—этого я не могу понять. Не били меня, милаго, только печкой, а объ печку — сдѣлайте ваше одолженіе! — сколько угодно! Н-да, старались, учили, какъ веревочку сучили... А хоть меня и били, и кожу съ меня лупили, и кровь сосали, и на полъ

бросали—русскій человѣкъ живучъ! Хоть толки его въ ступѣ — онъ все на свое мѣсто вступитъ! Ха-арошій, крѣпкій человѣкъ... Вотъ я: меня и мололи, и въ щепы кололи, а я живу себѣ кукушкой, порхаю по трактирамъ, доволенъ всѣмъ міромъ! Богъ меня любитъ... Разъ взглянулъ на меня, засмѣялся, ахъ, говоритъ,— такой-сякой! И махнулъ на меня рукой...

Молодежь слушала складныя рѣчи сапожника и смѣялась. И Илья смѣялся, но въ то же время звуки пѣвучаго голоса Перфишки будили въ немъ всегда одну и ту же навязчивую и неотступную мысль. Однажды онъ попытался выяснить ее себѣ и съ недовѣрчивой усмѣшкой спросилъ сапожника:

— Такъ, Перфиша, будто ты ничего и не хочешь?

— Кто говоритъ? Мнѣ, примѣрно, всегда выпить хочется...

— Нѣтъ, ты правду скажи; вѣдь хочется чего-нибудь?—настойчиво спросилъ Илья.

— Вправду? Н-ну, тогда... тогда гармонію бы... Ха-арошую бы гармонію желалъ я имѣть... Цѣлковыхъ, эдакъ, въ двадцать... пять! С-с-с! Тогда бы я сыгралъ вамъ!..

Онъ замолчалъ и тихо, съ удовольствіемъ, засмѣялся, но тотчасъ же умолкъ, что-то сообразилъ и уже съ полнымъ убѣжденіемъ сказалъ Ильѣ:

— Н-нѣтъ, братъ, и гармонія тоже ни къ чему мнѣ... Во-первыхъ — дорогую я обязательно пропью, — р-разъ! Во-вторыхъ—а вдругъ она объявитъ себя хуже моей?— Два! Вѣдь теперь у меня какая гармонія? Ей нѣтъ цѣны! Въ ней—душа моя квартируетъ! Она меня понимаетъ: я только подумаю палецъ на ладъ поставить, а она ужъ поетъ! У меня, дядя, гармонія рѣдкостная,— она, можетъ, всего одна такая-то и живетъ на свѣтѣ... Гармонія—какъ жена... У меня вотъ жена тоже была— ангелъ, а не человѣкъ! И ежели мнѣ теперь жениться,—какъ можно? Другую такую, какъ была, — не най-

дешь... Къ новой-то женѣ — обязательно старую мѣрку прикинешь, а она окажется уже... и будетъ отъ того и мнѣ, и ей хуже! Вотъ оно какъ... Эхъ, братъ, не то вѣдь хорошо, что хорошо, а то, что любо!

Съ похвалами сапожника своей гармоніи Илья соглашался. Перфишкинъ инструментъ своей чуткостью и звучностью у всѣхъ вызывалъ единодушное удивленіе. Но Илья не могъ повѣрить тому, что у сапожника нѣтъ никакихъ желаній. Предъ Луневымъ вставалъ ясный и опредѣленный вопросъ: неужели можно всю жизнь жить въ грязи, ходить въ отрепьяхъ, пить водку и, умѣя играть на гармоніи, не желать уже ничего иного, лучшаго? Эта мысль позволяла ему относиться къ Перфишкѣ, какъ къ блаженненькому, но въ то же время онъ всегда съ интересомъ и недовѣріемъ присматривался къ безпечному человѣку и чувствовалъ, что сапожникъ по душѣ своей лучше всѣхъ людей въ этомъ домѣ, хоть онъ и пьяница, и никчёмный...

Иногда молодежь подходила къ тѣмъ огромнымъ и глубокимъ вопросамъ, которые, раскрываясь предъ человѣкомъ, какъ бездонныя пропасти, властно влекутъ его пытливый умъ и сердце въ свою таинственную тьму. Эти вопросы возбуждалъ Яковъ. У него образовалась странная привычка: онъ сталъ ко всему прижиматься, точно чувствовалъ себя нетвердымъ на ногахъ. Сидя, онъ или опирался плечомъ на ближайшій предметъ, или крѣпко клалъ на него руку. Идя по улицѣ быстрымъ, но неровнымъ шагомъ, онъ зачѣмъ-то дотрогивался рукою до тумбъ, точно считалъ ихъ, или тыкалъ ею въ заборы, какъ бы пробуя ихъ устойчивость. За чаемъ у Маши онъ сидѣлъ подъ окномъ, прижимаясь спиною къ стѣнѣ, и длинные пальцы его рукъ всегда цѣплялись за стулъ или за край стола. Склонивъ на бокъ свою большую голову, покрытую гладкими и мягкими волосами цвѣта сырого мочала, онъ поглядывалъ на собесѣдниковъ, и голубые глаза

на его блѣдномъ лицѣ все время то прищуривались, то широко открывались. Попрежнему онъ любилъ разсказывать свои сны и никогда не могъ изложить содержаніе прочитанной имъ книжки, не прибавивъ отъ себя чего-то страннаго и непонятнаго. Илья уличалъ его въ этомъ, но Яковъ не смущался и просто говорилъ:

— Такъ, какъ я разсказывалъ, — лучше. Вѣдь это только священное писаніе нельзя толковать, какъ хочется, а простыя книжки можно. Людьми писано, и я— человѣкъ. Я могу поправить, если не нравится мнѣ... Нѣтъ, ты мнѣ вотъ что скажи: когда ты спишь, гдѣ душа?

— А я почему знаю?—отвѣчалъ Илья, не любившій такихъ вопросовъ, ибо они вызывали въ немъ какую-то непріятную смуту.

— Я думаю, это вѣрно, что она улетаетъ,—объявилъ Яковъ.

— Конечно, улетаетъ, — съ увѣренностью говорила Маша.

— А ты почему знаешь?—строго спрашивалъ Илья.

— Такъ... думаю...

— Улетаетъ,—задумчиво улыбаясь, говорилъ Яковъ. —Ей тоже отдохнуть надо... Оттого и сны...

Илья не зналъ, что сказать на это безобидное замѣчаніе, и молчалъ, хотя всегда чувствовалъ въ себѣ сильное желаніе возражать товарищу. И всѣ молчали нѣкоторое время, иногда нѣсколько минутъ. Въ темной ямѣ становилось какъ будто еще темнѣе. Коптила лампа, пахло углями изъ самовара, долеталъ глухой, странный шумъ: гудѣлъ и вылъ трактиръ, тамъ, наверху. И снова раздавался тихій голосъ Якова:

— Шумятъ люди... работаютъ и все такое. Говорится—живутъ. Потомъ—хлопъ! Человѣкъ умеръ... Что это значитъ? Ты, Илья, какъ думаешь, а?

— Ничего не значитъ... Пришла старость, надо умирать...

— Нѣтъ... Умираютъ и молодые, и дѣти... Умираютъ здоровые.

— Значитъ, не здоровы, коли умираютъ...

— А зачѣмъ живутъ всѣ?

— Повезъ! — насмѣшливо восклицалъ Илья, чувствуя въ себѣ силу отвѣтить на такой вопросъ. — Затѣмъ и живутъ, чтобы жить. Работаютъ, добиваются удачи. Всякій хочетъ хорошо жить, ищетъ случая въ люди выйти. Всѣ ищутъ случаевъ такихъ, чтобы разбогатѣть да жить чисто...

— Такъ это—бѣдные. А богатые? У нихъ все есть... Имъ чего искать?

— Ну, голова! Богатые! Коли ихъ не будетъ — на кого бѣднымъ работать?

Яковъ подумалъ и спросилъ:

— Значитъ, всѣ для работы живутъ, по-твоему?

— Ну да... т. е. не совсѣмъ всѣ... Одни— работаютъ, а другіе просто такъ. Они ужъ наработали, накопили денегъ... и живутъ.

— А зачѣмъ?

— Да чортъ! Хочется имъ, или нѣтъ? Вѣдь тебѣ жить хочется?—кричалъ Илья, сердясь на товарища. Но ему было бы трудно отвѣтить, за что онъ сердится: за то ли, что Яковъ спрашиваетъ о такихъ вещахъ, или за то, что онъ плохо спрашиваетъ? Онъ ощущалъ, что вопросы Якова что-то задѣваютъ въ немъ, но не могутъ поднять, а только будятъ досадное чувство.

— Вѣдь ты самъ-то—ты зачѣмъ живешь, ну?—кричалъ онъ товарищу.

— Вотъ я и не знаю! — покорно говорилъ Яковъ. — Я бы и умеръ... Страшно... а все-таки—любопытно...

И вдругъ онъ начиналъ говорить голосомъ ласковымъ и упрекающимъ:

— Ты вотъ сердишься, а напрасно. Ты подумай: люди живутъ для работы, а работа для нихъ... а они? Выходитъ колесо... вертится, вертится, а все на одномъ

мѣстѣ. И непонятно, зачѣмъ? И гдѣ Богъ? Вѣдь вотъ она ось-то гдѣ—Богъ! Сказано Имъ Адаму и Евѣ: плодитесь, множитесь и населяйте землю—а зачѣмъ?

И, наклоняясь къ товарищу, Яковъ тихимъ, таинственнымъ шепотомъ, съ испугомъ въ голубыхъ глазахъ сказалъ:

— Знаешь что? Было и это сказано, сказано было—зачѣмъ? А кто-нибудь ограбилъ Бога... укралъ и спряталъ объясненіе-то... И это сатана! Кто другой?—сатана! Оттого никто и не знаетъ—зачѣмъ?

Илья слушалъ безсвязную рѣчь товарища, чувствовалъ, какъ она захватываетъ его душу, и молчалъ.

А Яковъ говорилъ все торопливѣе и все тише, глаза у него выкатывались, на блѣдномъ лицѣ дрожалъ ужасъ и рѣшительно ничего нельзя было понять въ его словахъ.

— Чего Богъ отъ тебя хочетъ—ты знаешь? Ага?!—вдругъ выдѣлялось изъ потока произносимыхъ имъ словъ торжествующее восклицаніе. И опять изъ его устъ сыпались тихія, безсвязныя слова. Маша смотрѣла на своего друга и покровителя, удивленно раскрывъ ротъ. Илья сердито хмурилъ брови. Ему было обидно не понимать. Онъ считалъ себя умнѣе Якова, но Яковъ всегда поражалъ его своей удивительной памятью и умѣньемъ говорить о разныхъ премудростяхъ. Уставши слушать и молчать, чувствуя, что у него въ головѣ выросъ тяжелый туманъ, онъ, наконецъ, сердито прерывалъ оратора:

— Ну те къ чорту! Что ты мелешь? Зачитался ты, вотъ что... и самъ ничего не понимаешь...

— Да я же про то и говорю, что ничего не понимаю!—съ удивленіемъ и досадой восклицалъ Яковъ.

— Такъ прямо и говори: не понимаю! А то завелъ волынку и лопочешь, какъ сумасшедшій... А я его слушай!

— Нѣтъ, ты погоди!—не отставалъ Яковъ.—Вѣдь ни-

чего и нельзя понять... Примѣрно... вотъ тебѣ лампа. Огонь. Откуда онъ? Вдругъ есть, вдругъ нѣтъ! Чиркнулъ спичку—горитъ... Стало быть — онъ всегда есть... Въ воздухѣ, что ли, летаетъ онъ невидимо?

Илью снова захватилъ этотъ вопросъ. Пренебрежительное выраженіе сползло съ его лица, онъ посмотрѣлъ на лампу и сказалъ:

— Кабы въ воздухѣ онъ былъ — тепло всегда было бы, а спичку и на морозѣ зажжешь... Значитъ, не въ воздухѣ...

— А гдѣ?—съ надеждой глядя на товарища, спросилъ Яковъ.

— Въ спичкѣ,—подала голосъ Маша. Но въ разговорахъ товарищей о премудростяхъ бытія голосъ дѣвочки всегда пропадалъ безъ отвѣта. Она уже привыкла къ этому и не обижалась.

— Гдѣ?—вновь съ раздраженіемъ кричалъ Илья.— А я не знаю. И знать не хочу! Знаю, что руку въ него нельзя совать, а грѣться около него можно. Вотъ и все.

— Ишь ты какой!—воодушевленно и негодуя говорилъ Яковъ. — Знать не хочу! Эдакъ-то и я скажу, и всякій дуракъ... Нѣтъ, ты объясни — откуда огонь? О хлѣбѣ я не спрошу, тутъ все видно: изъ зерна—зерно, изъ зерна—мука, изъ муки—тѣсто и—готово! А какъ человѣкъ родится?

Илья съ удивленіемъ и завистью смотрѣлъ на большую голову товарища. Иногда, чувствуя себя забитымъ его вопросами, онъ вскакивалъ съ мѣста и произносилъ суровыя, карающія рѣчи. Плотный и широкій, онъ почему-то всегда въ этихъ случаяхъ отходилъ къ печкѣ, опирался на нее плечами и, взмахивая курчавой головой, говорилъ, твердо отчеканивая слова:

— Мутишь ты меня. Несуразный ты человѣкъ, вотъ что! И все это у тебя отъ бездѣлья въ голову лѣзетъ. Что твое житье? Стоять за буфетомъ—не велика важность. Ты и простоишь всю жизнь столбомъ. А вотъ

Яковъ слушалъ его и молчалъ,
и крѣпко держась за что-нибудь
губы беззвучно шевелились, глаза

А когда Илья, кончивъ говори
столъ, Яковъ опять начиналъ фил

— Говорятъ, есть книга, — науч
въ ней все объяснено... какъ и
Вотъ бы найти книгу такую да про
читать такую? Навѣрно, страшно э

Маша во время ихъ разговора
стола на свою постель и оттуда см
зами то на одного, то на другого.
нала позѣвывать, покачиваться, пок
ливалась на подушку.

— Ну, спать пора,—говорилъ И

— Айда! Погоди только... вотъ
да огонь погашу.

Но видя, что Илья уже протяну
отворять дверь, Яковъ торопливо
силъ:

— Да погоди-и! Я боюсь одинъ.

— Эх...!

черезъ окно на полъ ласково опускался голубой лучъ луны.

Однажды въ праздникъ Луневъ пришелъ домой блѣдный, со стиснутыми зубами и, не раздѣваясь, свалился на постель. Въ груди у него неподвижнымъ и холоднымъ комомъ лежала злоба, тупая боль въ шеѣ не позволяла двигать головой, и казалось ему, что все его тѣло ноетъ отъ нанесенной обиды.

Утромъ этого дня полицейскій, за кусокъ яичнаго мыла и дюжину крючковъ, разрѣшилъ ему стоять съ товаромъ около цирка, въ которомъ давалось дневное представленіе, и Илья свободно расположился у входа въ циркъ. Но пришелъ помощникъ частнаго пристава, ударилъ его по шеѣ, пнулъ ногой козлы, на которыхъ стоялъ ящикъ,—товаръ разсыпался по землѣ, нѣсколько вещей попортилось, упавъ въ грязь, иныя пропали. Подбирая съ земли товаръ, Илья сказалъ помощнику:

— Это незаконно, ваше благородіе...

— Ка-акъ?.. — расправивъ рыжіе усы, спросилъ обидчикъ.

— Драться нельзя...

— Да? Мигуновъ! Отведи его въ часть! — спокойно приказалъ помощникъ.

И тотъ же полицейскій, который позволилъ Ильѣ стоять у цирка, отвелъ его въ часть, гдѣ Луневъ и просидѣлъ до вечера.

Столкновенія съ полиціей бывали у Лунева и раньше, но въ части онъ сидѣлъ еще впервые и первый разъ онъ ощущалъ въ себѣ такъ много обиды и злобы.

Лежа на кровати въ своей комнатѣ, онъ закрылъ глаза и весь сосредоточился на ощущеніи мучительно тоскливой тяжести въ груди. За стѣной въ трактирѣ колыхался шумъ и гулъ, точно быстрые и мутные ручьи текли съ горы въ туманный день осени. Гремѣло желѣзо подносовъ, дребезжала посуда, отдѣльные

Другой голосъ, басовой и звук
звуковъ, подпѣвалъ первому негр

«А-ахъ измыкалъ я-а... сво-ою

Потомъ оба голоса слились въ
грустно-красиваго звука и на нѣ
крыли весь шумъ своей жалобой:

«Не-е въ жить-ѣ-бытьѣ-ѣ богач
«Да во прокля-атомъ одино-очес

Кто-то закричалъ такъ, точно
деревянное, высохшее, съ трещина
— Вр-решь! Сказано: „яко собл
пѣнія моего, и азъ тя соблюду въ г
— Самъ врешь,—отчетливо и гор
гой,—потому тамъ же сказано: „по
не студенъ еси, ниже горящъ—има
устъ моихъ...“ вотъ! Что взялъ?..
Раздался громкій хохотъ и за
визгливая дробь:
— А я ее—по личику, а я ее—
ухо ей по ...

— Нѣтъ, я буду горячиться! Это подобаетъ человѣку, подобаетъ!

— „Азъ люблю, обличаю и наказую“... забылъ?.. И еще: „не суди, да не судимъ будеши“... Опять же — Давида-царя слова—забылъ?

Илья долго слушалъ споръ, пѣсню, хохотъ, но все это падало куда-то мимо него и не будило въ немъ мысли. Предъ нимъ во тьмѣ плавало худое, горбоносое лицо помощника частнаго пристава, на лицѣ этомъ блестѣли зеленоватые, злые глаза и двигались рыжіе усы. Онъ смотрѣлъ на это лицо и все крѣпче стискивалъ зубы. Но пѣсня за стѣной росла, пѣвцы воодушевлялись, ихъ голоса звучали все смѣлѣй и громче, теплые, жалобные звуки нашли дорогу въ грудь Ильи и коснулись тамъ ледяного кома злобы и обиды.

«Изоше-олъ я, д-обрый молодецъ...»—

пѣлъ высокій голосъ.

«Эхъ со устья до-о вершинушки...»—

вторилъ ему товарищъ. И опять оба голоса слились въ одну жалобу:

«Всю сиби-ирскую сто-оронушку,
«Да, все искалъ домой до-оро-женьку...»

Илья вздохнулъ и сталъ прислушиваться къ этимъ грустнымъ словамъ. Въ густомъ шумѣ трактира они блестѣли, какъ маленькія звѣзды въ небѣ среди облаковъ. Облака плывутъ быстро и звѣзды то вспыхиваютъ, то исчезаютъ...

«Ой изжевалъ языкъ я съ го-олоду,
«Да изболѣли ко-ости съ хо-олоду...»—

выразительно говорила пѣсня.

— Валяй, соловушки!—ласково крикнулъ кто-то...

Басъ сильно и густо запѣлъ:

«Ты какъ ноша мнѣ чу-гун-на-

Память Ильи зачѣмъ-то вызвал
разъ дѣда Еремѣя. Старикъ, говор
вой и со слезами на щекахъ:

— Глядѣлъ, я, глядѣлъ, а прав

Илья подумалъ, что вотъ дѣдуш
любилъ, а самъ потихоньку копил
Терентій Бога боится, но деньги у
всегда какъ-то двоятся сами въ се
нихъ какъ бы вѣсы, и сердце ихъ, к
наклоняется то въ одну, то въ друг
шивая тяжести хорошаго и плохого.

— Ага-а!—рявкнулъ кто-то въ т
за тѣмъ что-то упало, съ такой си
полъ, что даже кровать подъ Ильей

— Стой!.. Ба-атюшки...

— Держи его... а-а!

— Кра-у-улъ...

Шумъ сразу

Онъ поворотился на постели, закинулъ руки подъ голову и вновь отдалъ себя во власть думамъ.

„...А должно быть великъ грѣхъ совершилъ дѣдъ Антипа, если восемь лѣтъ кряду молча отмаливалъ его... И люди все простили ему, говорили о немъ съ уваженіемъ, называли праведнымъ... Но дѣтей его погубили. Одного загнали въ Сибирь, другого выжили изъ деревни...“

„Тутъ особый счетъ надобенъ! — вспомнились Ильѣ внушительныя слова купца Строганаго.—Ежели одинъ честенъ, а девять — подлецы, никто не выигрываетъ, а человѣкъ пропадетъ... Которыхъ больше, тѣ и правы...“

Илья усмѣхнулся. Въ груди его холодно и змѣей зашевелилось злое чувство къ людямъ. А память все выдвигала предъ нимъ знакомые образы. Большая, неуклюжая Матица валялась въ грязи среди двора и стонала:

— Ма-атинко!.. Ма-атинко ридна! Коли-бъ ты мини ба-ачила!

Пьяненькій Перфишка стоялъ около нея, покачиваясь на ногахъ, и укоризненно говорилъ:

— Нажралась! С-свинья...

А съ крыльца смотрѣлъ на нихъ Петруха, здоровый, румяный, презрительно улыбавшійся...

Илья разсматривалъ все это, и сердце его сжималось, становилось все черствѣе, тверже...

Скандалъ въ трактирѣ кончился. Три голоса — два женскихъ и мужской — пытались запѣть пѣсню, — она не удалась имъ. Кто-то принесъ гармонію, поигралъ на ней немного и нехорошо, потомъ замолкъ. Около стѣны, у которой стояла кровать Ильи, двое людей говорили вполголоса и часто раздавались тяжелые вздохи. Илья прислушался къ нимъ съ какимъ-то враждебнымъ чувствомъ.

— Живешь эдакъ-то вотъ... работаешь... тянешь всѣ свои жилы... а толку ни зерна... Всѣ люди, какъ люди,

— Эхе-хе! Что и говорить...

— А на неправедный трудъ
лости, ни ловкости. Такъ что—и с
да зубовъ у жабы нѣтъ...

— О Господи, Батюшка...

Илья тоже невольно вздохнул
голосъ Перфишки, покрывая весь
Сапожникъ пѣвучей скороговоркой

„И — эхъ лей, кубышка, полива
лѣй, кубышка, хозяйскаго добришк
демъ бабъ любить, будемъ по міру
ниткѣ—бѣдному петля! А отъ той
на своихъ жилахъ удавишься...“

Раздался веселый хохотъ и кри
томъ, у стѣны, снова загудѣлъ тихі

— Я вотъ съ малыхъ лѣтъ ра
сорокъ стукнетъ. А и хлѣба не всег
день съ клещами, да не всякъ со ш
Дѣти воютъ, жена ноетъ... не гляд
разъ не стерпишь, развинтишь вс
ляешь. Очухаешься—глядь, за врем
гулятъ...

возился на кровати и нарочно съ силой стукнулъ локтемъ въ стѣну. Тогда голоса умолкли.

Но Илья уже не могъ лежать, охваченный тоскливымъ безпокойствомъ. Онъ всталъ, вышелъ на дворъ и остановился на крыльцѣ, полный желанія уйти куда-нибудь и не зная, куда идти? Было уже поздно; Маша спала; Яковъ угорѣлъ и лежалъ у себя дома, куда Илья не любилъ ходить, потому что Петруха всегда при видѣ его непріятно двигалъ бровями. Дулъ холодный вѣтеръ осени. Густая, почти черная тьма наполняла дворъ и неба не было видно. Всѣ постройки на дворѣ казались большими кусками сгущенной вѣтромъ тьмы. Въ сыромъ воздухѣ носились какіе-то звуки, что-то хлопало, шелестѣло, былъ слышенъ тихій, странный шопотъ, напоминавшій людскія жалобы на жизнь. Вѣтеръ бросался на грудь Ильи, крѣпко дулъ ему въ лицо, дышалъ сырымъ холодомъ за воротъ... Илья вздрагивалъ, но не уходилъ, думая о томъ, что такъ жить совсѣмъ нельзя, нельзя! Надо уйти куда-нибудь отъ всей этой грязной суеты и склоки, надо жить одному, чисто, тихо...

— Это кто стоитъ?—вдругъ раздался глухой голосъ.

— Я... А кто говоритъ?

— Я... Матица...

— А ты гдѣ тутъ?

— На дровахъ сижу...

— Чего?

— Такъ...

И оба замолчали...

— А сегодня мати моей година,—сообщила Матица изъ тьмы.

— Давно померла? — спросилъ Илья, чтобы сказать что-нибудь.

— Давно-о... лѣтъ съ пятнадцать... А то больше... А твоя мати жива?

— Нѣтъ... тоже померла... Тебѣ который же годъ?

Матица помолчала и отвѣтила со свистомъ:

... ... отворилъ дверь тра
вырвалась стая громкихъ звук
ихъ и разсѣялъ во тьмѣ.

— Ты чего тутъ стоишь?—(

— Такъ... скушно стало...

— Какъ я... Тамъ у меня, і

Илья услыхалъ тяжелый в
сказала ему:

— Пойдемъ ко мнѣ?

Илья взглянулъ по направл
равнодушно отвѣтилъ:

— Пойдемъ...

По лѣстницѣ на чердакъ Мат
Она становила на ступеньки сн
потомъ, густо вздыхая, медлен
лѣвую. Илья шелъ за нею без
дленно, точно тяжелая скука мѣ
вверхъ такъ же, какъ боль Мат

Комната женщины была узк
локъ ея дѣйствительно имѣлъ
Около двери помѣщалась печк
опираясь въ печку ...

[redacted]

— Святая Анна...—почтительно и тихо сказала Матица.

— А тебя какъ зовутъ?

— Тоже Анна... не зналъ?

— Нѣтъ...

— Никто не знаетъ, — сказала Матица, тяжело усаживаясь на кровать. Илья смотрѣлъ на нее, но не чувствовалъ желанія говорить. Женщина тоже молчала. Такъ, молча, они сидѣли долго, минуты три и каждый изъ нихъ точно не замѣчалъ присутствія другого. Наконецъ, женщина спросила:

— Ну, что же мы будемъ дѣлать?

— А я не знаю...—отвѣтилъ Илья съ недоумѣніемъ.

— Ну, еще бы! — недовѣрчиво усмѣхаясь, воскликнула женщина.

— Такъ что-жъ?

— А ты угости меня. Купи пару пива... Нѣтъ, вотъ что—купи ты мнѣ ѣсть!.. Ничего не надо, а только ѣсть...

Голосъ у нея перехватило, она кашлянула и виновато продолжала:

— Видишь ли... Какъ заболѣла нога, то не стало у меня дохода... Не выхожу, потому что... А все ужъ прожила... Еще бы—пятый день сижу вотъ такъ... Вчера ужъ и не ѣла почти... а сегодня такъ просто совсѣмъ не ѣла... ей-Богу, правда!

Тутъ только Илья вспомнилъ, что вѣдь Матица — гулящая. Онъ пристально взглянулъ въ ея большое лицо и увидалъ, что черные глаза ея немножко улыбаются, а губы такъ шевелятся, точно она сосетъ что-то невидимое... Въ немъ вспыхнуло ощущеніе какой-то неловкости предъ нею и особеннаго смутнаго интереса къ ней.

— Сейчасъ я тебѣ принесу... и пива принесу...

Онъ быстро всталъ, торопливо сбѣжалъ по лѣстницѣ въ сѣни трактира и остановился предъ дверью въ

кухню. Ему вдругъ не захотѣлось возвращаться на чердакъ. Но это нежеланіе блеснуло въ скучной тьмѣ его души, какъ искра, и тотчасъ же угасло. Онъ вошелъ въ кухню, купилъ у повара на гривенникъ обрѣзковъ варенаго мяса, кусковъ хлѣба и еще остатковъ чего-то съѣдобнаго. Поваръ сложилъ все это въ засаленное рѣшето. Илья взялъ его въ обѣ руки, какъ блюдо, и, выйдя въ сѣни, снова остановился, озабоченный мыслью о томъ, какъ достать пива. Самому купить въ буфетѣ нельзя—Терентій спросилъ бы, зачѣмъ это ему надо. Тогда онъ вызвалъ изъ кухни посудника и попросилъ его купить. Посудникъ сбѣгалъ въ буфетъ, пришелъ, молча ткнулъ ему бутылки и схватился за ручку двери въ кухню.

— Постой!—сказалъ Илья.—Это не мнѣ... Это - товарищъ пришелъ... такъ ему.

— Что?—спросилъ посудникъ.

— Товарища я угощаю...

— Ага... ну, такъ что?

Илья почувствовалъ, что лгать было не нужно, и ему стало неловко. На верхъ онъ шелъ не торопясь, чутко прислушиваясь ко всему, точно ожидая, что кто-то позоветъ его, остановитъ. Но кромѣ шума вѣтра, ничего не было слышно, никто не остановилъ юношу, и онъ внесъ на чердакъ къ женщинѣ вполнѣ ясное ему, похотливое, хотя еще робкое, чувство.

Матица, поставивъ рѣшето себѣ на колѣни, молча вытаскивала изъ него большими пальцами сѣрые куски пищи, клала ихъ въ широко-открытый ротъ и громко чавкала. Зубы у нея были крупные, острые. И передъ тѣмъ, какъ дать имъ кусокъ, она внимательно оглядывала его со всѣхъ сторонъ, точно искала въ немъ наиболѣе вкусныя мѣстечки.

Илья упорно смотрѣлъ на женщину и думалъ о томъ, какъ онъ обниметъ ее, станетъ цѣловать, и боялся, что онъ не сумѣетъ сдѣлать этого, а она насмѣется

надъ нимъ. Отъ этой мысли его бросало въ жаръ и холодъ.

На крышѣ шуршалъ вѣтеръ. Залетая черезъ слуховыя окна на чердакъ, онъ торкался въ дверь комнаты и каждый разъ, когда дверь сотрясалась, Илья вздрагивалъ, ожидая, что вотъ сейчасъ войдетъ кто-то и застанетъ его тутъ...

— Я запру дверь?—сказалъ онъ.

Матица молча кивнула головой. Потомъ она составила рѣшето на лежанку, перекрестилась на образъ святой Анны и сказала:

— Слава Тебѣ, Святый,—вотъ и сытая стала баба! Ой, немного же надо человѣку!

Илья промолчалъ. Женщина поглядѣла на него, вздохнула и сказала еще:

— А кто много хочетъ, съ того много и спросятъ...

— Кто спроситъ?—отозвался Илья.

— А Богъ? Развѣ-жъ ты того не знаешь?

Илья снова не отвѣтилъ ей. Имя Божіе въ ея устахъ породило въ немъ острое, но неясное, неуловимое словомъ, чувство и оно противорѣчило его желанію обнять эту женщину. Матица уперлась руками въ постель, приподняла свое большое тѣло и подвинула его къ стѣнѣ. Потомъ она заговорила равнодушно, какимъ-то деревяннымъ голосомъ:

— Ѣла я и все думала про Перфишкину дочку... Давно я о ней думаю... Живетъ она съ вами—тобой да Яковомъ... не будетъ ей отъ того добра, думаю я... Испортите вы дѣвчонку раньше время, и пойдетъ она тогда моей дорогой... А моя дорога, она—поганая и проклятая... и не ходятъ по ней бабы и дѣвки, а, какъ черви ползутъ...

Она помолчала и заговорила снова, разглядывая свои руки, лежавшія на колѣняхъ у нея:

— Скоро уже дѣвочка взростетъ. Я спрашивала которыхъ знакомыхъ кухарокъ и другихъ бабъ—нѣтъ ли

...ть себѣ дѣвочку... и порт
хорошо ей... а все же противн
и лучше бы ужъ безъ этого
голодной, да чистой, чѣмъ...

Она закашлялась, точно по
словомъ, и съ усиліемъ на лиц
душнымъ голосомъ докончила:

— Чѣмъ и поганой, и голод

Вѣтеръ все леталъ по черда
въ дверь. По желѣзу крыши ст
на волѣ, во тьмѣ за окномъ нос

— И-и-и...

Равнодушный голосъ женщин
подвижная фигура не позволял
виться и внушить юношѣ храбр
выраженія его желанія. Матица
его все дальше, онъ замѣчалъ э
тивъ нея...

— Боже, Боже мой!—тихоньк
женщина.—Святая Мати!..

Илья сердито двинулся на ст
лосомъ заговор...

— Ой! — безпокойно воскликнула женщина. — Что это? Кто же будетъ о Богѣ помнить, какъ не грѣшные? Кто иной?

— Ужъ я тамъ не знаю,—молвилъ Илья, чувствуя въ себѣ приливъ неукротимаго желанія обидѣть эту женщину и всѣхъ другихъ людей.—Знаю, что не вамъ о Немъ говорить, да! Не вамъ! Вы Имъ только другъ отъ друга прикрываетесь... я вѣдь вижу. Не маленькій... вижу я. Всѣ поютъ, всѣ жалуются... а зачѣмъ пакостничаютъ? А зачѣмъ другъ друга обманываютъ, грабятъ... и жадничаютъ о кускѣ? Ага? Согрѣшитъ, да и за уголъ! Господи, помилуй!.. Понимаю я... обманщики, черти! И сами себя, и Бога обманываете, а тоже...

Матица смотрѣла на него молча, открывъ ротъ и вытянувъ шею, а въ глазахъ ея было тупое удивленіе. Илья подошелъ къ двери, рѣзкимъ движеніемъ сорвалъ крючокъ и вышелъ вонъ, сильно хлопнувъ дверью. Онъ чувствовалъ, что жестоко обидѣлъ Матицу, и это было пріятно ему, отъ этого и на сердцѣ стало легче и въ головѣ яснѣй. Спускаясь съ лѣстницы твердыми шагами, онъ свисталъ сквозь зубы, а злоба все подсказывала ему обидныя и крѣпкія, камнямъ подобныя, слова. Казалось ему, что всѣ эти слова раскалены огнемъ, освѣщаютъ тьму внутри его и въ то же время показываютъ ему дорогу въ сторону отъ людей. И уже онъ говорилъ свои слова не одной Матицѣ, а и дядѣ Терентію, Петрухѣ, купцу Строганому—всѣмъ людямъ:

„Такъ-то вотъ!—выйдя на дворъ, думалъ онъ.—Нечего съ вами церемониться... сволочь!..“

По двору леталъ вѣтеръ и вылъ, и гудѣлъ. Что-то хлопало, наполняя воздухъ дробными звуками, похожими на холодный, жесткій смѣхъ...

Вскорѣ послѣ посѣщенія Матицы Илья началъ ходить къ женщинамъ. Первый разъ это случилось такъ: однажды вечеромъ онъ шелъ домой, а какая-то женщина и сказала ему:

— Ладно!—сказалъ Илья.—І

И вплоть до квартиры женщи
Вотъ и все...

Но знакомство съ женщинѣ
большимъ расходамъ и все чащ
что его торговля—пустая трата
не дастъ она ему возможности у
Одно время онъ хотѣлъ, по прим
чиковъ, заняться лотереей и обма
всѣ разносчики. Но, подумавъ, о
мелкой и хлопотливой. Пришлс
городовыхъ или заискивать у ни
это было противно Ильѣ. Онъ лю
въ глаза прямо и смѣло и чув
вольствіе отъ того, что всегда
опрятнѣе другихъ разносчиковъ,
жульничалъ, какъ всѣ. Ходилъ
торопясь, степенно, его скуластое
серьезно; разговаривая, онъ прищ
глаза, говорилъ не много и о
мечталъ о томъ, какъ хорошо бы

[redacted]

Какъ-то разъ, сидя съ Яковомъ у себя въ комнаткѣ, онъ сказалъ:

— А все-таки жулику на свѣтѣ лучше, чѣмъ честному человѣку...

Лицо Якова напряглось, глаза прищурились и онъ сказалъ тѣмъ пониженнымъ и таинственнымъ голосомъ, которымъ всегда говорилъ о мудрыхъ вопросахъ:

— Позапрошлый разъ въ трактирѣ дядя твой чай пилъ съ какимъ-то старичкомъ... начетчикомъ, должно быть. И тотъ старичокъ говорилъ, будто въ Библіи сказано: „покойны дома у грабителей и безопасны у раздражающихъ Бога, которые какъ бы Бога носятъ на рукахъ своихъ...“

— А не врешь ты? — спросилъ Илья, внимательно прослушавъ товарища.

— Не мои это слова...—разводя руками и какъ бы нащупывая что-то въ воздухѣ, продолжалъ Яковъ.—Не вѣрю и я, что это въ Библіи сказано... можетъ, онъ самъ выдумалъ, старичишко-то...—Переспросилъ я его и разъ, и два... повторяетъ вѣрно... въ одно слово... А слова-то, пожалуй, правильныя... Поглядѣть надо въ Библію...

И, наклоняясь къ Ильѣ, Яковъ тихо сказалъ:

— Взять, къ примѣру, отца моего... Покоенъ! А Бога раздражаетъ...

— Еще какъ!—воскликнулъ Илья.

— Въ гласные его выбрали, отца-то...

Яковъ опустилъ голову, тяжело вздохнулъ и добавилъ:

— Надо бы, чтобы каждое человѣческое дѣло передъ совѣстью кругло было, какъ яичко, а тутъ... эхъ! Тошно мнѣ... Ничего не понимаю... Сноровки къ жизни у меня нѣту, приверженности къ трактиру я не чувствую... А отецъ—все долбитъ... Будетъ, говоритъ, тебѣ шематонить, возьмись, дескать, за умъ... дѣло дѣлай... Какое? Торгую я за буфетомъ, когда Терентія нѣтъ...

...... будешь... потомъ
Иду по улицѣ, въ магазинахъ ви
часы и все такое... Вижу—думаю
не носить... мнѣ такихъ часовъ
мнѣ—хочется... И прежде всего
уважали... Чѣмъ я хуже другихъ
я? А жулики предо мной кича
гласные выбираютъ! Они дома
Почему жулику счастье, а мнѣ нѣ
хорошаго... настоящаго!

Яковъ поглядѣлъ на товарища
внятно сказалъ:

— Не дай Богъ тебѣ удачи!

— Что? Почему?—вскричалъ И
среди комнаты и возбужденно гля

— Жаденъ ты... ничѣмъ тебя н
яснилъ тотъ.

Илья засмѣялся сухо и со злоб

— Не успокоишь? Ты скажи-ка
онъ далъ мнѣ хоть половину тѣхъ
душки Еремѣя вмѣстѣ съ моимъ дя
я и успокоюсь... да! Жаденъ...

но остановился и взглянулъ на Илью. Лицо у него было блѣдное, губы плотно сжаты и весь онъ какъ-то размякъ, точно его раздавила нѣкая тяжесть...

— Ну... ничего, погоди,—виноватымъ голосомъ говорилъ Илья, осторожно отводя его отъ двери и снова усаживая на стулъ.—Ты не сердись на меня... что тамъ? Правда, вѣдь...

— Я знаю,—сказалъ Яковъ.

— Знаешь?

— Да...

— Кто сказалъ?

— Всѣ говорятъ...

— Н-да-а... Но вѣдь и говорятъ—тоже жулики!

Яковъ взглянулъ на него жалобными глазами и вздохнулъ.

— Не вѣрилъ я... думалъ, со зла говорятъ, изъ зависти. Потомъ—сталъ вѣрить... А коли и ты теперь сказалъ—значитъ...

Онъ махнулъ рукой, отвернулся отъ товарища и замеръ неподвижно, крѣпко упираясь руками въ сидѣнье стула и опустивъ голову на грудь. Илья отошелъ отъ него, сѣлъ на кровать въ такой же позѣ, какъ и Яковъ, и молчалъ, не зная, что сказать въ утѣшеніе другу.

За стѣной кричали, ревѣли, звенѣла посуда, и пьяный женскій голосъ тонко выводилъ:

„Ми-ине-е не спи-ится и не лежится-а,

И со-онъ ми-ня-а не бере-етъ...“

— Вотъ тутъ и живи, — вполголоса сказалъ Яковъ.

— Да-а,—отозвался Илья въ тонъ ему.—Я, братъ, понимаю... не хорошо тебѣ. Одно утѣшенье—всѣ таковы, какъ поглядишь... Всѣмъ одна цѣна...

— Ты ужъ вѣрно про то знаешь?—робко спросилъ Яковъ, не глядя на товарища.

— Я? Видѣлъ... Помнишь, убѣжалъ я? Видѣлъ въ

щель, какъ они подушку зашивали... а старикъ хрипѣлъ еще...

Яковъ повелъ плечами и не сказалъ ни слова. Они долго сидѣли молча, оба въ одинаковыхъ позахъ, одинъ на постели, другой на стулѣ. Потомъ Яковъ всталъ и пошелъ къ двери, сказавъ Ильѣ:

— Прощай...

— Прощай, братъ... Ты не того... не очень грусти... что подѣлаешь?

-- Я ничего...—отозвался Яковъ, отворяя дверь.

Илья проводилъ его глазами и тяжело свалился на постель. Ему было жалко Якова, и въ немъ снова вскипѣла злоба на дядю, и Петруху, на всѣхъ людей. Онъ видѣлъ, что среди нихъ нельзя жить такому слабому человѣку, какъ Яковъ, а Яковъ былъ хорошій человѣкъ, добрый, тихій, чистый. Илья думалъ о людяхъ, а память его подсказывала ему разные случаи, рисовавшіе людей злыми, жестокими, лживыми. Онъ много зналъ такихъ случаевъ, и ему легко было забрызгивать людей желчью и грязью своихъ воспоминаній. И чѣмъ чернѣе становились они предъ нимъ, тѣмъ тяжелѣе было ему дышать отъ страннаго чувства, въ которомъ была и тоска о чемъ-то, и злорадство, и страхъ отъ сознанія своего одиночества въ этой черной печальной жизни, что крутилась вокругъ него бѣшенымъ вихремъ...

Когда, наконецъ, у него не стало больше терпѣнія лежать одиноко въ маленькой комнаткѣ, сквозь доски стѣнъ которой просачивались мутные и пахучіе звуки изъ трактира, онъ всталъ и пошелъ гулять. Долго въ эту ночь онъ ходилъ одинъ по улицамъ города, нося съ собой неотвязную и несложную, тяжелую думу свою. Ходилъ онъ одинъ во тьмѣ и думалъ, что за нимъ точно слѣдитъ кто-то, врагъ ему, и неощутимо толкаетъ его все туда, гдѣ хуже, гдѣ скучнѣе, показываетъ ему только такое, отъ чего душа болитъ тоской

и въ сердцѣ зарождается злоба. Вѣдь есть же на свѣтѣ хорошее,—хорошіе люди и случаи, и веселье? Почему онъ не видитъ ихъ, а всюду сталкивается только съ дурнымъ и скучнымъ? Кто направляетъ его всегда на темное, грязное и злое въ жизни?

Онъ шелъ во власти этихъ думъ полемъ около каменной ограды загороднаго монастыря и смотрѣлъ впередъ себя. На встрѣчу ему изъ темной дали тяжело и медленно двигались тучи. Кое-гдѣ во тьмѣ надъ его головой, среди тучъ, проблескивали голубыя пятна небесъ и на нихъ тихо сверкали маленькія звѣзды. Въ тишину ночи изрѣдка вливался пѣвучій мѣдный звукъ сторожевого колокола монастырской церкви, и это было единственное движеніе въ мертвой тишинѣ, обнимавшей землю. Даже изъ темной массы городскихъ зданій, сзади Ильи, не долетало до поля шума жизни, хотя еще было не поздно. Ночь была морозная; Илья шелъ и спотыкался о мерзлую грязь. Жуткое ощущеніе одиночества и боязнь, рожденная думами, остановили его. Онъ прислонился спиной къ холодному камню монастырской ограды, упорно думая, кто водитъ его по жизни, кто это толкаетъ на него все дурное ея, все тяжкое?

— Ты это, Господи?—вспыхнулъ въ душѣ Ильи яркій вопросъ.

Холодный ужасъ дрожью пробѣжалъ по тѣлу его, и, охваченный предчувствіемъ чего-то страшнаго, онъ оторвался отъ стѣны и торопливыми шагами, все чаще спотыкаясь о грязь, пошелъ въ городъ, боясь оглянуться назадъ, плотно прижимая руки свои къ тѣлу.

. . . .

Черезъ нѣсколько дней послѣ этого Илья встрѣтилъ Пашку Грачева. Былъ вечеръ; въ воздухѣ лѣниво кружились мелкія снѣжинки, сверкая въ огняхъ фонарей. Не смотря на холодъ, Павелъ былъ одѣтъ только въ бумазейную рубаху, безъ пояса. Шелъ онъ медленно,

опустивъ голову на грудь, засунувъ руки въ карманы, согнувши спину, точно искалъ чего-то на своей дорогѣ. Когда Илья поровнялся съ нимъ и окликнулъ его, онъ поднялъ голову, взглянулъ въ лицо Ильи и равнодушно молвилъ:

— А! Это ты.

— Какъ живешь?—спросилъ Илья, идя рядомъ съ нимъ.

— Надо бы хуже, да нельзя... Ты какъ?

— Н-ничего...

— Тоже, видно, не сладко...

Помолчали, идя рядомъ и касаясь одинъ другого локтями.

— Что къ намъ не придешь? Зову, зову...—сказалъ Илья.

— Все, братъ, некогда... Свободнаго-то время не больно намъ много отпущено, самъ знаешь...

— Нашлось бы, коли захотѣлъ...—съ упрекомъ сказалъ Илья.

— А ты не сердись... Меня зовешь, а самъ ни разу и не спросилъ, гдѣ я живу, не то, чтобы придти ко мнѣ...

— А вѣдь вѣрно!—воскликнулъ Илья съ улыбкой.— Поди вотъ!

Павелъ взглянулъ на него и заговорилъ болѣе оживленно:

— Я одинъ живу, товарищей нѣтъ,—не встрѣчаются по душѣ. Хворалъ, почти три мѣсяца въ больницѣ валялся... никто не пришелъ за все время...

— Чѣмъ хворалъ?

— Пьяный простудился... Брюшной тифъ былъ... Выздоравливать сталъ—мука!—Одинъ лежишь весь день, всю ночь... и кажется тебѣ, что ты и нѣмъ, и слѣпъ... заброшенъ въ яму, какъ кутенокъ. Спасибо доктору... книжки все давалъ мнѣ... а то съ тоски издохъ бы я...

— Книжки-то хорошія?—спросилъ Луневъ.

— Да-а, братъ, хороши! Все стихи читалъ,—я Лер-

монтова, Некрасова, Пушкина... Бывало, читаю, какъ молоко пью. Есть, братъ, стихи такіе—читаешь—словно тебя милая цѣлуетъ. А иной разъ стихъ хлыстнетъ тебя по сердцу, какъ искру высѣчетъ: вспыхнешь весь...

— А я отвыкать сталъ отъ книгъ,—вздохнувъ, сказалъ Илья.

— Ну?

— Да. Что тамъ? Читаешь—одно, глядишь—другое...

— То и хорошо... Зайдемъ въ трактиръ? Посидимъ, потолкуемъ... Мнѣ надо въ одно мѣсто, да еще рано... А можетъ и туда вмѣстѣ пойдемъ...

— Въ трактиръ? Пойдемъ!—согласился Илья и дружески взялъ Павла за руку. Тотъ опять взглянулъ въ лицо ему, улыбнулся и сказалъ:

— Никогда у насъ съ тобой особой дружбы не было, а встрѣчать тебя мнѣ пріятно...

— Ну, не знаю, пріятно ли тебѣ... А вотъ я...

— Эхъ братъ!—прервалъ Павелъ его рѣчь.—Догналъ ты меня, когда я о такихъ дѣлахъ думалъ... лучше не вспоминать!—Махнувъ рукой, онъ замолчалъ и пошелъ медленнѣе.

Они зашли въ первый попавшійся на пути трактиръ, сѣли тамъ въ уголокъ и спросили себѣ пива. При свѣтѣ лампъ Илья увидалъ, что лицо Павла похудѣло и осунулось, глаза у него стали безпокойные, а губы, раньше насмѣшливо полуоткрытыя, теперь плотно сомкнулись.

— Ты гдѣ работаешь?—спросилъ онъ Грачева.

— Опять въ типографіи,—невесело сказалъ Павелъ.

— Трудно?

— Н-нѣтъ... Не работа ѣстъ, а забота.

Илья чувствовалъ какое-то смутное удовольствіе, видя веселаго и бойкаго Пашку унылымъ и озабоченнымъ. Ему хотѣлось узнать, что такъ измѣнило Павла, и онъ, усиленно подливая пива въ стаканъ ему, все выспрашивалъ:

— Ну, а со стихами какъ?

— Теперь бросилъ... а раньше много сочинялъ. Показывалъ доктору—хвалитъ. Одни онъ даже въ газетѣ напечаталъ... Тридцать девять копеекъ дали мнѣ за нихъ...

— Ого!—воскликнулъ Илья.—Здорово! Какіе же это стихи? Ну-ка, скажи!

Горячее любопытство Ильи и нѣсколько стакановъ пива оживили Грачева. Его глаза вспыхнули и на желтыхъ щекахъ загорѣлся румянецъ.

— Какіе?—переспросилъ онъ, крѣпко потирая лобъ рукой.—Забылъ я. На! Ей-Богу, забылъ! Погоди, можетъ, вспомню. У меня ихъ всегда въ башкѣ, какъ пчелъ въ ульѣ... такъ и жужжатъ! Иной разъ начну сочинять, такъ разгорячусь даже... Кипитъ все въ душѣ и слезы на глаза выступаютъ...

— Н-ну? Отчего это?—удивленно и недовѣрчиво спросилъ Илья.

— Такъ ужъ... Горитъ въ тебѣ что-то, хочется разсказать про это гладко, а словъ нѣтъ... Ну, и... обидно...—Онъ вздохнулъ и, тряхнувъ головой, добавилъ:

— Въ душѣ-то замѣшано густо, а выложить на бумагу—пусто...

— Ты мнѣ скажи какіе-нибудь!—попросилъ Илья. Чѣмъ больше онъ присматривался къ Павлу, тѣмъ сильнѣе росло его любопытство, и понемножку къ любопытству этому примѣшивалось какое-то хорошее, теплое и грустное чувство.

— Я больше смѣшные сочиняю... про свою жизнь,—сказалъ Грачевъ, смущенно улыбаясь.

— Ну, говори смѣшные!—настаивалъ Илья.

Тогда Грачевъ оглянулся вокругъ, кашлянулъ, потеръ себѣ грудь и вполголоса, торопливо началъ читать, не глядя въ лицо товарища:

«Ночь.. Тошно! Сквозь тусклыя стекла окна
Мнѣ въ комнату лучъ свой бросаетъ луна,

И онъ, улыбаясь пріятельски мнѣ,
Рисуетъ какой-то узоръ голубой
На каменной, мокрой, холодной стѣнѣ,
На клочьяхъ оборванныхъ, грязныхъ обой.
Сижу я, смотрю и молчу, все молчу...
И спать я совсѣмъ не хочу»...

ѵвелъ остановился, глубоко вздохнулъ и продол-
› медленнѣе и тише:

«Судьба меня душитъ, она меня давитъ...
То сердце царапнетъ, то бьетъ по затылку,
Сударку—и ту для меня не оставитъ.
Одно оставляетъ мнѣ—водки бутылку...
Стоитъ предо мною бутылка вина...
Блеститъ при лунѣ, какъ смѣется она...
Виномъ я сердечныя раны лечу:
Съ вина въ головѣ зародится туманъ,
Я думать не стану и спать захочу...
Не выпить ли лучше еще мнѣ стаканъ?
Я—выпью!.. Пусть тѣ, кому спится, не пьютъ.
Мнѣ думы уснуть не даютъ»...

энчивъ читать, Грачевъ мелькомъ взглянулъ на
› и, еще ниже опустивъ голову, тихо сказалъ:
- Вотъ... все больше такіе у меня... несуразно вы-
гъ.
ɪъ застучалъ пальцами по краю стола и безпо-
э задвигался на стулѣ.
ѣсколько секундъ Илья пристально смотрѣлъ на
ева съ недовѣрчивымъ удивленіемъ. Въ его ушахъ
ɪла горькая и складная рѣчь, и ему было трудно
рить, что ее сочинялъ именно этотъ худой, безу-
ɪарень съ безпокойными глазами, одѣтый въ старую,
'ую рубаху и тяжелые сапоги.
- Н-ну, братъ, это не очень смѣшно!—медленно и
ромко заговорилъ онъ, все присматриваясь къ
у.—Это хорошо... Меня, знаешь, за сердце взяло...
э! Ну-ка, скажи еще разъ...
авелъ быстро вскинулъ голову, взглянулъ на сво-

его слушателя веселыми глазами и, подвинувшись къ нему ближе, тихонько спросилъ:

— Нѣтъ, вправду—нравится?

— Ей-Богу же! Чудакъ!.. стану я врать?

— Ну, я вѣрю... ты прямой... Ты, братъ, славный, право!

— Говори еще!

Павелъ началъ читать тихо, задумчиво, съ остановками, глубоко вздыхая, когда у него не хватало голоса. И когда онъ прочиталъ, сомнѣніе Ильи въ томъ, что Павелъ самъ сочинилъ стихи, возросло.

— А ну-ка другіе?—попросилъ онъ.

— Видишь что,—я лучше когда-нибудь къ тебѣ приду съ тетрадкой... А то у меня все длинные... и пора мнѣ идти! Потомъ—плохо я помню... Все концы да начала вертятся на языкѣ... Вотъ одинъ конецъ: есть такіе стихи,—будто я иду по лѣсу ночью и заплутался, усталъ... ну, и страшно... тихо все, одинъ я... ну, вотъ я ищу выхода и жалуюсь будто:

«Изныли ноги,
Устало сердце—
Все нѣтъ пути!
Земля родная!
Хоть ты скажи мнѣ—
Куда идти?
Прилегъ къ землѣ я—
Къ ея родимой
Сырой груди—
И слышалъ сердцемъ
Глубокій шопотъ:
—Сюда иди!»

— Вѣдь это вѣрно: живешь, какъ цѣлиной по лѣсу идешь, видишь гдѣ-то свѣтъ, а дороги къ нему нѣтъ!.. Слушай, Илья, пойдемъ со мной, а? Пойдемъ? Не хочется мнѣ съ тобой прощаться...

Грачевъ всталъ со стула, суетился, дергалъ Илью за рукавъ и заглядывалъ въ лицо ему ласковыми глазами.

— Иду!—сказалъ Илья.—Мнѣ тоже хочется съ тобой побыть... По правдѣ скажу—и вѣрю я тебѣ, и нѣтъ... Ужъ больно ты любопытенъ! Потомъ—ловко вѣдь у тебя стихи-то выходятъ...

— Не вѣришь, что мои. Ничего! Увидишь—повѣришь...—говорилъ Павелъ, выходя изъ трактира на улицу.

— Коли твои—молодчина ты!—искренно воскликнулъ Илья.—Валяй! Разсказывай, какъ настоящіе люди живутъ...

— Я, братъ, подучусь, такъ буду писать—держись только!

— Чеши! Пусть понимаютъ...

— Я иногда думаю: ахъ вы!.. Вы сыты, обуты, одѣты—а я?

— Вотъ!

— Я—не человѣкъ?

— Всѣ одинаковы!

— На комъ бархатъ да кумачъ—тому и калачъ, а у кого грудь голая—тому и брюхо полое? Нѣтъ, врешь!

— Вру-утъ! Всѣ одинаковы!

— Эхъ, Илья! Кабы мнѣ ума!..

Они быстро шагали по улицѣ, и, налету схватывая слова другъ друга, горячо и торопливо перекидывались ими, все болѣе возбуждаясь, все ближе становясь другъ къ другу. Оба они ощущали радость, видя, что каждый думаетъ такъ же, какъ и другой, и эта радость еще болѣе поднимала ихъ. Снѣгъ, падавшій густыми хлопьями, таялъ на лицахъ у нихъ, осѣдалъ на одеждѣ, приставалъ къ сапогамъ, и они шли въ мутной кашицѣ, безшумно кипѣвшей вокругъ нихъ.

— Я все понимаю!—увѣренно вскрикивалъ Павелъ.

— Такъ жить нельзя!—вторилъ ему Луневъ.

— Ты учился въ гимназіи — значитъ, ты баринъ, хоть отецъ твой водовозъ?!

— Во-отъ! А я чѣмъ виноватъ, что въ гимназіи не былъ, а?

— Тебѣ наука, а мнѣ вотъ эта штука?—показывая кукишъ Ильѣ, говорилъ Грачевъ,—нѣтъ, погоди!

— О, дьяволъ!—выругался Илья, оступившись въ какую-то яму, полную грязи и снѣга.

— Держи лѣвѣе...

— Да куда мы идемъ, чортъ ее!..

— Къ Сидорихѣ...

— Куда?

— Къ Сидорихѣ... не знаешь?

— Н-не бывалъ... — помолчавъ, отвѣтилъ Илья и, шагнувъ раза два впередъ, сказалъ, смѣясь:—коротки, братъ, дорожки наши...

— Эхъ!—тихо сказалъ Павелъ,—я это понимаю... Да надо мнѣ туда: дѣло у меня...

— Я—ничего вѣдь... я пойду, все равно!

— Скажу я тебѣ... Илья! Горько мнѣ говорить про это...

Павелъ шумно плюнулъ и замолчалъ.

— Что такое?—настороживишсь, спросилъ Луневъ.

— Видишь,—не сразу сталъ разсказывать Павелъ,— дѣвушка тамъ есть одна... Поглядишь, какая... Всю душу спалить можетъ... Была она горничной у того доктора, что лѣчилъ меня. Ходилъ я къ нему за книжками... потомъ, когда выздоровѣлъ... Ну, придешь, сидишь, бывало, ожидаешь его въ кухнѣ... А она—тутъ... Бѣлочкой прыгаетъ, смѣется... Мнѣ около нея—какъ щепѣ у костра... Я—къ ней... Она сразу сдалась, безо всякихъ словъ... Началось у насъ—такое! Небо вспыхнуло... Лечу къ ней—какъ перо въ огонь... Нацѣлуемся—губы вспухнутъ, кости ноютъ — эхъ! Чистенькая она, маленькая, какъ игрушечка... обнимешь—и нѣтъ ея! Будто птичкой въ сердце мнѣ влетѣла и поетъ тамъ пѣсню... и поетъ...

Онъ замолчалъ и какъ-то странно всхлипнулъ жаднымъ звукомъ.

— Ну?—спросилъ Илья, увлеченный его разсказомъ.

— Застала насъ жена докторова... чортъ бы ее взялъ! [барыня хорошая вѣдь, дура дьяволова! Бывало, тоже оворила со мной... славно такъ... Красивая... вѣдьма!..

— Ну?—повторилъ Илья.

— Ну—шумъ поднялся... Прогнали Вѣрку... и меня оже. Изругали ее... и меня... Она, Вѣрка-то, ко мнѣ... я, въ ту пору, безъ мѣста былъ... Голодали... Проли все до ниточки... Ну, а она — характерная... Убѣжала... Пропала недѣли на двѣ... Потомъ явилась... дѣтая по-модному и все... браслетъ... деньги...

Пашка скрипнулъ зубами и глухо сказалъ:

— Прибилъ я ее... больно...

— Ушла?—спросилъ Илья.

— Нѣ-ѣтъ... Кабы ушла, я бы въ омутъ головой...

— Осталась?

— Говоритъ—или убей, или не тронь... Я, говоритъ, ебѣ тяжела... Души, говоритъ, никому не дамъ...

— А ты что?

— Я—все дѣлалъ: и билъ ее, и... плакалъ... А что могу еще? Кормить мнѣ ее нечѣмъ...

— А на мѣсто она—не хочетъ?

— Чортъ ее уломаетъ! Говоритъ—хорошо! Но дѣти насъ пойдутъ—куда ихъ? А такъ, дескать, все цѣло, се—твое, и дѣтей не будетъ...

Илья Луневъ подумалъ и сказалъ:

— Умная она...

Пашка промолчалъ, быстро шагая въ снѣжной мглѣ.)нъ опередилъ товарища шага на три, потомъ оберулся къ нему, остановился и глухо, шипящимъ голоомъ, произнесъ:

— Какъ подумаю я, что другіе цѣлуютъ ее... словно винецъ мнѣ въ грудь нальется...

— Бросить ее не можешь?

— Ее?—съ удивленіемъ крикнулъ Павелъ.

Илья понялъ его удивленіе, когда увидалъ дѣвушку.

Они пришли на окраину города, къ одноэтажному дому. Его шесть оконъ были наглухо закрыты ставнями, и это дѣлало домъ похожимъ на длинный, старый сарай. Мокрый снѣгъ густо облѣпилъ стѣны и крышу, точно хотѣлъ спрятать или раздавить этотъ домъ.

Пашка постучалъ въ ворота и сказалъ:

— Тутъ—особенное заведеніе. Сидориха даетъ дѣвушкамъ квартиру, кормитъ и беретъ за это пятьдесятъ цѣлковыхъ съ каждой.:. Дѣвушекъ всего четыре только... Ну, конечно, вино держитъ Сидориха, пиво и все нужное... конфеты... тамъ... Но дѣвушекъ не стѣсняетъ ничѣмъ: хочешь—гуляй иди, хочешь — дома сиди... только полсотни въ мѣсяцъ дай ей... Дѣвушки все дорогія... имъ эти деньги легко достать... Тутъ одна есть—Олимпіада—меньше четвертной не ходитъ...

— А твоя — почемъ? — спросилъ Илья, стряхивая снѣгъ съ одежды.

— Н-не знаю... тоже дорого... — помолчавъ, тихимъ голосомъ отвѣтилъ Грачевъ.

За дверью раздался шумъ, золотая нитка свѣта задрожала въ воздухѣ...

— Кто тамъ?

— Я это, Васса Сидоровна... Грачевъ...

— А!—дверь отворилась, и маленькая, сухая старушка, съ огромнымъ носомъ на дрябломъ лицѣ, освѣщая Павла огнемъ свѣчи, ласково сказала:

— Здравствуй, Паша... А Вѣрунька-то давно мечется, ждетъ тебя. Это кто съ тобой?

— Товарищъ...

— Кто пришелъ?—спросили откуда-то изъ темнаго, длиннаго коридора звучнымъ голосомъ.

— Къ Вѣрѣ это, Липочка... – сказала старуха.

— Вѣрка, пришелъ твой!—крикнулъ тотъ же звучный голосъ, гулко разносясь по коридору.

Тогда въ глубинѣ коридора быстро распахнулась дверь, и въ широкомъ пятнѣ свѣта встала маленькая

фигурка дѣвушки, одѣтой во все бѣлое, осыпанной густыми прядями золотистыхъ волосъ.

— До-олго ты!—низкимъ груднымъ звукомъ, капризно протянула она. Потомъ приподнялась на носки, положила руки свои на плечи Павла и изъ-за него взглянула на Илью карими ласковыми глазами.

— Это—товарищъ мой... Луневъ Илья... встрѣтился съ нимъ... и опоздалъ...—сказалъ Павелъ.

— Здравствуйте!

Дѣвушка протянула Ильѣ руку, и широкій рукавъ ея бѣлой кофточки поднялся почти до плеча. Илья пожалъ сухую и горячую ручку почтительно, бережливо и молча. Онъ смотрѣлъ на подругу Павла съ той милой радостью, съ какой въ густомъ лѣсу, средь бурелома и болотныхъ кочекъ, встрѣчаешь душистую стройную березку. И когда она посторонилась, чтобы пропустить его въ дверь, онъ тоже отступилъ въ сторону и, уважительно поклонившись ей, сказалъ:

— Вы—первая!

— Ка-акой кавалеръ!—засмѣялась она. И смѣхъ у нея былъ хорошій, — веселый, ясный. Павелъ тоже смѣялся, говоря:

— Ошарашила ты, Вѣрка, парня... смотри-ка, какъ медвѣдь передъ медомъ, стоитъ онъ предъ тобой...

— Да развѣ?—весело спросила дѣвушка Илью.

— Вѣрно!—съ улыбкой согласился тотъ.—Землю вы изъ-подъ ногъ у меня вышибли красотой вашей...

— Влюбись-ка! Зарѣжу...—пригрозилъ Павелъ, радостно улыбаясь. Ему было пріятно видѣть, какое впечатлѣніе произвела красота его милой на Илью, и онъ съ гордостью поблескивалъ глазами, глядя на нее. И она тоже съ наивнымъ безстыдствомъ хвасталась собою, сознавая свою женскую силу. На ней была одѣта только широкая кофта поверхъ рубашки и юбка, бѣлая, какъ снѣгъ. Незастегнутая кофточка распахивалась, обнажая крѣпкое, ядреное, кака молодая рѣпа, тѣло.

Малиновыя губы ея маленькаго рта вздрагивали отъ дѣтски-самодовольной улыбки; казалось, что она сама любуется собой, какъ дитя игрушкой, которая ему еще не надоѣла. Илья, не отрывая глазъ, смотрѣлъ, какъ ловко она ходитъ по комнатѣ, вздернувъ носикъ, ласково поглядывая на Павла, смѣясь и разговаривая, и ему стало грустно при мысли, что у него вотъ нѣтъ такой подруги. Онъ сидѣлъ и молчалъ, осматриваясь.

Среди маленькой, свѣтлой, чисто убранной комнаты стоялъ столъ, покрытый бѣлой скатертью; на столѣ шумно кипѣлъ самоваръ, и все вокругъ было свѣжо и молодо. Чашки, бутылка вина, тарелки съ колбасой и хлѣбомъ—все было новое, чистое и нравилось Ильѣ, возбуждая въ немъ зависть къ Павлу. А Павелъ сидѣлъ радостный и говорилъ складной рѣчью:

— Какъ увижу тебя—словно въ солнышкѣ грѣюсь... и про все позабуду, и на счастье надѣюсь... Хорошо жить, такую красотку любя, хорошо, когда видишь тебя...

— Милый ты, Пашка! Славно какъ!..—съ восхищеніемъ вскричала Вѣра.

— Горячіе! Сейчасъ испекъ... Эй, Илья! будетъ тебѣ!.. Али все не насмотришься? Свою заведи...

— Да хорошую!—страннымъ, какимъ-то новымъ голосомъ сказала дѣвушка, взглянувъ въ глаза Ильѣ.

— Лучше васъ—Богъ не дастъ!—вздохнувъ и улыбаясь, сказалъ Илья.

— Ну... не говорите, про что не знаете...—тихонько молвила Вѣра.

— Онъ знаетъ...—молвилъ Пашка, нахмурился и продолжалъ, обращаясь къ Ильѣ. — Понимаешь—все хорошо, радостно... и вдругъ это вспомнишь... такъ и рѣзнетъ по сердцу!..

— А ты не вспоминай,—сказала Вѣра, наклонивъ голову надъ столомъ. Илья взглянулъ на нее и увидалъ, что уши у нея красныя.

— Ты думай такъ,—тихо, но твердо продолжала дѣвушка,—хоть день, да мой!.. Мнѣ вѣдь тоже не легко... но я горе съ радостью мѣшать не согласна... Я—какъ въ пѣснѣ поется—мое горе—одна изопью, мою радость—съ тобой раздѣлю...

Павелъ слушалъ ея рѣчь и все хмурился... Илья почувствовалъ въ себѣ желаніе сказать что-нибудь хорошее, ободряющее этимъ людямъ и, подумавъ, сказалъ:

— Что же дѣлать, коли узла не развяжешь? А я... такъ вамъ обоимъ скажу: будь у меня денегъ тысяча, десять тысячъ!—я бы вамъ! Н-ате! Примите, сдѣлайте милость, ради вашей любви... Потому—вижу я и чувствую—дѣло ваше съ душой, дѣло чистое, съ совѣстью... а на все прочее — плевать!

Въ немъ что-то вспыхнуло и горячей волной охватило его. Онъ даже всталъ со стула, видя, какъ дѣвушка, поднявъ голову, смотритъ на него благодарными глазами, а Павелъ улыбается ему и какъ бы ждетъ еще чего-то отъ него.

— Я первый разъ въ жизни вижу такую красоту, какъ ваша... и первый разъ вижу, какъ люди любятъ другъ друга... И тебя, Павелъ, сегодня впервые оцѣнилъ по душѣ... какъ слѣдуетъ... Сижу здѣсь... и прямо говорю—завидую... мнѣ и грустно, и весело... Дай Богъ, чтобы все обошлось у васъ по-хорошему. А насчетъ... всего прочаго... я вотъ что скажу: не люблю я чувашъ и мордву, противны они мнѣ! Глаза у нихъ въ гною, тѣло—пакостное... Но я въ одной рѣкѣ съ ними купаюсь... и ту же самую воду пью, что и они. Неужто изъ-за ихъ поганства отказаться мнѣ отъ рѣки? Зачѣмъ? Я вѣрю—Богъ ее очищаетъ...

— Вѣрно, Илья! Молодчина! — горячо крикнулъ Павелъ.

— А вы пейте изъ ручья,—тихо прозвучалъ голосъ Вѣры.

— А гдѣ его найдешь?—спросилъ Илья.—Нѣтъ, ужъ лучше вы мнѣ, Вѣра, чайку налейте!

— Голубчикъ мой!—воскликнула дѣвушка.—Какой вы хорошій!

— Покорно благодарю!—серьезно сказалъ Илья и, поклонившись ей, сѣлъ.

На Павла его рѣчь и вся эта маленькая сцена подѣйствовала, какъ вино. Его живое лицо разрумянилось, глаза воодушевленно засверкали, онъ вскочилъ со стула и заметался по комнатѣ.

— Эхъ, чортъ меня съѣшь! Хорошо жить на свѣтѣ, когда люди—какъ дѣти! Ловко я угодилъ душѣ своей, что привелъ тебя сюда, Илья... Выпьемъ, братъ! Наливай, Вѣрунька...

— Разыгрался!—сказала дѣвушка, съ ласковой улыбкой взглянувъ на него, и обратилась къ Ильѣ:—Вотъ онъ всегда таковъ—то вспыхнетъ радугой, то станетъ сѣренькій, скучный да злой...

— Это нехорошо!—солидно сказалъ Луневъ. И всѣ трое заговорили бойко и весело, пересыпая рѣчи беззаботнымъ смѣхомъ.

Въ дверь постучались и кто-то спросилъ:

— Вѣра! можно мнѣ войти...

— Иди, иди! Вотъ, Илья Яковлевичъ,—это Липа, подруга моя...

Илья поднялся со стула и обернулся къ двери: предъ нимъ стояла высокая, стройная женщина и смотрѣла въ лицо ему спокойными голубыми глазами. Запахъ духовъ струился отъ ея платья, щеки у нея были свѣжія, румяныя, а на головѣ возвышалась, увеличивая ея ростъ, прическа изъ темныхъ волосъ, похожая на корону.

— А я сижу одна, — скучно мнѣ... слышу, у тебя смѣются, говорятъ—и пошла сюда... Ничего? Вотъ кавалеръ одинъ, безъ дамы... я его занимать буду,—хотите?

Она плавнымъ движеніемъ подвинула стулъ къ Ильѣ, сѣла на него и спросила:

— Вамъ скучно съ ними, скажите? Они тутъ любезничаютъ, а вамъ завидно, да?

— Съ ними не скучно,—смущаясь отъ ея близости, сказалъ Илья.

— Жаль!—спокойно кинула женщина, отвернулась отъ Ильи и заговорила, обращаясь къ Вѣрѣ:

— Знаешь—была я вчера у всенощной въ дѣвичьемъ монастырѣ и такую тамъ клирошанку видѣла — ахъ! Чудная дѣвочка... Стояла я и все смотрѣла на нее, и думала: отчего она ушла въ монастырь? Жалко было мнѣ ее...

— А я бы не пожалѣла,—сказала Вѣра.

— Ну, какъ же! Повѣрю я тебѣ...

Илья вдыхалъ сладкій запахъ духовъ, разливавшійся въ воздухѣ вокругъ этой женщины, смотрѣлъ на нее сбоку и вслушивался въ ея голосъ. Говорила она удивительно спокойно и ровно, въ ея голосѣ было что-то усыпляющее, и казалось, что слова ея рѣчи тоже имѣютъ запахъ пріятный и густой...

— А знаешь, Вѣра, я все думаю—идти мнѣ къ Полуэктову, или нѣтъ?

— Я не знаю...

— Можетъ быть, я пойду... Онъ старый—это разъ, богатый—это два... Но жадный... Я прошу, чтобъ онъ положилъ въ банкъ пять тысячъ и платилъ мнѣ полтораста въ мѣсяцъ, а онъ даетъ три и сто...

— Липочка! Не говори про это, — попросила ее Вѣра.

— Хорошо,—не буду,—спокойно согласилась Липа и снова обернулась къ Ильѣ. — Ну-съ, молодой человѣкъ, давайте разговаривать... Вы мнѣ нравитесь... у васъ красивое лицо и серьезные глаза... Что вы на это скажете?

— Ничего не могу,—смущенно улыбаясь, отвѣтилъ

Илья, чувствуя, что эта женщина окутываетъ его, какъ облако.

— Ничего? Да вы скучный... Вы кто?

— Разносчикъ...

— Да-а? А я думала, вы служите въ банкѣ... или приказчикомъ въ хорошемъ магазинѣ. Вы очень приличный...

— Я чистоту люблю,—сказалъ Илья. Ему стало томительно жарко и отъ духовъ у него кружилась голова.

— Любите чистоту? Это хорошо... А вы—догадливый?

— Т. е. какъ это?

— Вы уже догадались, что мѣшаете вашему товарищу, или нѣтъ еще?—плавно спросила его голубоглазая женщина.

— Да! Ну, я сейчасъ уйду!..—сконфузившись, сказалъ Илья.

— Подождите! Вѣра, можно мнѣ утащить этого юношу?..

— Тащи, коли пойдетъ!—сказала Вѣра и засмѣялась.

— Куда?—спросилъ Илья, волнуясь.

— А ты иди, дурашка,—крикнулъ Павелъ.

Илья, отуманенный, стоялъ и растерянно улыбался, но женщина взяла его за руку и повела за собой, спокойно говоря:

— Вы—дикій, а я капризная и упрямая. Если я захочу погасить солнце, такъ влѣзу на крышу и буду дуть на него, пока не испущу послѣдняго дыханія... видите, какая я?

Илья шелъ рука объ руку съ ней, не понималъ, почти не слушалъ ея словъ и чувствовалъ только, что она теплая, мягкая, душистая...

Эта связь, неожиданная и капризная, первое время захватила Илью цѣликомъ, вызвала въ немъ гордое, самодовольное чувство и какъ бы залѣчила царапины,

нанесенныя жизнью сердцу его. Мысль, что женщина, красивая, чисто одѣтая, свободно, по своей охотѣ, даетъ ему свои дорогіе поцѣлуи и ничего не проситъ взамѣнъ ихъ, еще болѣе поднимала его въ своихъ глазахъ. И онъ зажилъ, точно поплылъ куда-то по широкой рѣкѣ, вмѣстѣ со спокойной волной, нѣжно ласкавшей его тѣло, вливая въ него бодрость и силу.

— Мой милый капризъ!—говорила ему Олимпіада, играя его курчавыми волосами или проводя пальцемъ по темному пуху на его верхней губѣ.—Ты мнѣ нравишься все больше... У тебя надежное, твердое сердце, и я вижу, что, если ты чего захочешь, — добьешься... Это хорошо... Вотъ и я такая же... И будь я моложе— вышла бы за тебя замужъ... Тогда вдвоемъ съ тобой мы разыграли бы всю жизнь, какъ по нотамъ...

Илья относился къ ней почтительно: она казалась ему умной, и, не смотря на зазорную жизнь, уважающей себя. Тѣло у нея было такое же гибкое и крѣпкое, какъ ея сильный грудной голосъ, и такое же стройное, какъ характеръ ея. Ему нравилась въ ней бережливость, любовь къ чистотѣ и порядку, умѣнье говорить обо всемъ и держаться со всѣми независимо, даже гордо. Но иногда онъ, приходя къ ней, заставалъ ее въ постели, лежащую съ блѣднымъ измятымъ лицомъ, съ растрепанными волосами—тогда въ груди его зарождалось острое чувство брезгливости къ этой женщинѣ, онъ смотрѣлъ въ ея мутные, какъ бы слинявшіе глаза сурово и молча, не находя въ себѣ даже желанія сказать ей: здравствуй!

Она, должно быть, понимала его чувство и, закутываясь въ одѣяло, говорила ему:

— Уходи отсюда! Ступай къ Вѣрѣ... Скажи старухѣ, чтобъ принесла воды со снѣгомъ...

Онъ уходилъ въ чистенькую комнатку подруги Павла, и Вѣра, видя его нахмуренное и недовольное лицо, виновато улыбалась. Однажды она спросила его:

— Что, Илья Яковлевичъ, щиплется наша сестра?

— Эхъ, Вѣрочка!—отвѣтилъ онъ.—На васъ и грѣхъ—какъ снѣгъ... Улыбнетесь вы—онъ и растаетъ...

— Бѣдненькіе вы съ Павломъ,—пожалѣла его дѣвушка.

Вѣру онъ любилъ, жалѣлъ ее, какъ ребенка, искренно безпокоился, когда она ссорилась съ Павломъ, и всегда мирилъ ихъ. Ему нравилось сидѣть у нея и смотрѣть, какъ она чесала свои золотистые волосы или шила себѣ что-нибудь, тихонько напѣвая. Въ такія минуты она нравилась ему еще больше, онъ еще острѣе чувствовалъ несчастіе дѣвушки и, какъ могъ, утѣшалъ ее. А она говорила:

— Нельзя такъ жить, нельзя, Илья Яковлевичъ. Подумайте!.. ну я, ужъ все равно... такъ пачкольей и буду... а Павелъ-то за что около меня?

Ихъ бесѣды нарушала Олимпіада, являясь предъ ними безшумно, какъ холодный лучъ луны, одѣтая въ широкій голубой капотъ.

— Идемъ чай пить, мой капризъ!.. Потомъ и ты приходи, Вѣрочка...

Розовая отъ холодной воды, чистая, крѣпкая и спокойная, она властно уводила за собой Илью, а онъ шелъ за нею, и ему думалось; ее ли это, часъ тому назадъ, онъ видѣлъ измятой и захватанной грязными руками?

За чаемъ она говорила:

— Жаль, что ты крестьянинъ и мало учился... Трудно жить. Но все-таки торговлю надо бросить, надо попробовать что-нибудь другое. Погоди, я найду тебѣ мѣстечко... нужно устроить тебя... Вотъ, когда я поступлю къ Полуэктову, мнѣ можно будетъ сдѣлать это...

— Что, онъ даетъ пять-то тысячъ?—спросилъ Илья.

— Дастъ,—увѣренно отвѣтила женщина.

— Ну, ежели я его когда-нибудь встрѣчу у тебя—оторву башку...—съ ненавистью выговорилъ Илья.

— Зачѣмъ же? Онъ тебѣ не мѣшаетъ...

— Стало быть, мѣшаетъ...

— Полно! Онъ старенькій, гаденькій...—съ усмѣшкой сказала Олимпіада.

— Шути! Я рукъ не пожалѣю... а грѣхъ не великъ—паскудника раздавить...

— Погоди хоть, когда онъ дастъ мнѣ деньги,—смѣялась женщина.

Купецъ далъ ей все, чего она желала. Вскорѣ Илья сидѣлъ въ новой квартирѣ Олимпіады, разглядывалъ толстые ковры на полу, тяжелую мебель, обитую темнымъ плюшемъ, и слушалъ спокойную рѣчь своей любовницы. Онъ не замѣчалъ въ ней особеннаго удовольствія отъ перемѣны обстановки: она была такъ же спокойна и ровна, какъ всегда; казалось, что она одѣлась въ другое платье и—только.

— Мнѣ двадцать семь лѣтъ, къ тридцати у меня будетъ тысячъ десять. Тогда я дамъ старику по шапкѣ и—буду свободна... Учись у меня жить, мой серьезный капризъ...

Илья учился у нея этой неуклонной твердости въ достиженіи ею цѣли своей. Но порой, при мысли, что она даетъ ласки свои другому, онъ чувствовалъ обиду, тяжелую, унижавшую его. И тогда предъ нимъ съ особенною яркостью вспыхивала мечта о лавочкѣ, о чистой комнатѣ, въ которой онъ сталъ бы принимать эту женщину. Онъ не былъ увѣренъ, что любитъ ее, но она казалась ему необходимой для него, какъ умный, хорошій товарищъ... Такъ прошло мѣсяца два, три.

Однажды, придя домой послѣ торговли, Илья вошелъ въ подвалъ къ сапожнику и съ удивленіемъ увидалъ, что за столомъ, передъ бутылкой водки, сидитъ Перфишка, счастливо улыбаясь, а противъ него—Яковъ. Навалившись на столъ грудью, Яковъ качалъ головой и нетвердо говорилъ:

— Х-рошо! Если Богъ все видитъ... и все-е знаетъ— Онъ видитъ и меня... Всѣ меня бросили, братъ... и я одинъ! Отецъ меня не любитъ... онъ—жу-уликъ! Онъ— грабитель и мерзавецъ,—вѣрно?

— Вѣрно, Яша! Не хорошо, а вѣрно!—сказалъ сапожникъ.

— Вотъ!.. Какъ жить? Во что вѣрить?..—встряхивая растрепанными волосами, спрашивалъ Яковъ, тяжело ворочая языкомъ.

— Гдѣ люди? Перфишка! Нѣтъ никого на свѣтѣ...

Илья стоялъ у двери, слушалъ рѣчь товарища, и сердце его сжалось отъ непріятнаго чувства. Онъ видѣлъ, какъ вяло и безсильно качается на тонкой шеѣ большая голова Якова, видѣлъ желтое, сухое лицо Перфишки, освѣщенное блаженной улыбкою, и ему какъ-то не вѣрилось, что онъ дѣйствительно Якова видитъ, кроткаго и тихаго Якова. Онъ подошелъ къ нему и съ укоромъ спросилъ:

— Это ты что же дѣлаешь?

Яковъ вздрогнулъ, взглянулъ въ лицо его испуганными глазами и, криво улыбаясь, воскликнулъ:

— А, Илья... это ничего! Я думалъ—отецъ...

— Что ты дѣлаешь, а?—переспросилъ Илья.

— Ты, Илья Яковличъ, оставь его,—заговорилъ Перфишка, вставъ со стула и покачиваясь на ногахъ.— Онъ въ своемъ правѣ... Еще слава тебѣ Господи, что пьетъ...

— Илья!—истерически громко крикнулъ Яковъ.— Отецъ меня... избилъ!

— Совершенно правильно,—я тому дѣлу свидѣтель!— заявилъ Перфишка, ударивъ себя въ грудь.—Я все видѣлъ... хоть подъ присягой скажу! И зубы разбилъ, и носъ...

Лицо у Якова дѣйствительно распухло и верхняя губа вздулась. Онъ стоялъ предъ товарищемъ и жалко улыбался, говоря ему:

— Развѣ можно меня бить?—мнѣ девятнадцать лѣтъ... я ни въ чемъ не виноватъ.

Илья чувствовалъ, что не можетъ ни утѣшать товарища, ни осуждать его.

— За что онъ тебя прибилъ?..

Яковъ шевельнулъ губами, желая что-то сказать, но не сказалъ. Лицо его вздрогнуло, перекосилось, онъ свалился на стулъ и, схвативъ голову руками, завылъ, качаясь всѣмъ тѣломъ. Перфишка, поддержавъ его, когда онъ падалъ, тотчасъ же отошелъ отъ него и, наливая себѣ водки, сказалъ:

— Пускай поплачетъ... хорошо, когда человѣкъ плакать умѣетъ... Машутка тоже... Заливается во всю мочь... Кричитъ—зенки выцарапаю! Хе, хе! Я ужъ ее къ Матицѣ отправилъ...

— Что у него вышло съ отцомъ?—спросилъ Илья.

— Это я могу разсказать... Вышло даже очень дико... Терентій, дядя твой, началъ музыку... Вдругъ говоритъ Петрухѣ: отпусти, говоритъ, меня въ Кіевъ, къ угодникамъ... Петруха очень былъ доволенъ: давно ужъ ему горбъ глаза колетъ и, — надо говорить всю правду,— радъ онъ, что Терентій уходитъ... Не во всякомъ дѣлѣ товарищъ пріятенъ, хе, хе! Н-ну, и тово, иди, дескать да и за меня словечко угодникамъ замолви... Вдругъ— Яковъ! отпусти, говоритъ, и меня...

Перфишка вытаращилъ глаза, скорчилъ свирѣпую рожу и глухимъ голосомъ протянулъ:

— Что-о?.. И меня—къ угодникамъ... Т. е. — какъ такъ? Хочу, говоритъ Яковъ-то, помолиться за тебя... Петруха какъ рявкнетъ: я те помолюсь! А Яковъ свое: пусти! Кэ-екъ Петруха-то хряснетъ его въ морду! Да еще, да...

— Я не могу съ нимъ жить! — закричалъ Яковъ.— Я уйду! Удавлюсь! За что онъ меня прибилъ? А? За что? Я отъ сердца сказалъ...

Ильѣ стало тяжко отъ его криковъ, и онъ ушелъ

изъ подвала, безсильно пожавши плечами. Вѣсть о томъ, что дядя уходитъ на богомолье, была ему пріятна: уйдетъ дядя, и онъ, наконецъ, уйдетъ изъ этого дома, сниметъ себѣ отдѣльную квартиру—маленькую комнатку—и заживетъ одинъ...

Когда онъ вошелъ къ себѣ, вслѣдъ за нимъ явился Терентій. Лицо у него было радостное, глаза оживились; онъ, встряхивая горбомъ, подошелъ къ Ильѣ и сказалъ:

— Ну, ухожу я! Господи! Какъ радъ... какъ изъ темницы, какъ изъ ямы на свѣтъ Божій лѣзу... Стало быть, не отвергнетъ Онъ молитвы моей, коли позволилъ отсюда вырваться...

— А ты знаешь—Яковъ-то?—сухо сказалъ Илья.

— Что?

— Пьянъ напился...

— А-а-а! Не хорошо-о! На-ко, маленькій мальчишка!.. А еще со мной просился у отца...

— Отецъ-то его при тебѣ вѣдь ударилъ?

— При мнѣ... А что?

— Что-жъ, ты не можешь понять, что онъ съ этого и напился?—сурово спросилъ Илья.

— Развѣ съ этого? Скажи, пожалуй, а?

Илья ясно видѣлъ, что дядю ни мало не занимаетъ судьба Якова, и это увеличивало его непріязнь къ горбуну. Онъ никогда не видалъ Терентія такимъ радостнымъ, и эта радость, явившаяся предъ нимъ тотчасъ же вслѣдъ за слезами Якова, возбуждала въ немъ непонятное ему мутное чувство. Онъ сѣлъ подъ окномъ и сказалъ дядѣ:

— Иди въ трактиръ-то...

— Тамъ хозяинъ... Мнѣ поговорить съ тобой надо...

— Ну... о чемъ?

Горбунъ подошелъ къ нему и таинственно заговорилъ:

— Я скоро соберусь. Ты останешься тутъ одинъ и... стало быть... значитъ...

— Да ну, говори сразу,—сказалъ Илья.

— Сразу. Радъ бы я...—часто мигая глазами, воскликнулъ Терентій вполголоса.—Тутъ тоже не легко...

— Насчетъ меня, что ли, говорить хочешь?

— И... насчетъ тебя!.. Но первое... накопилъ я тутъ денегъ... немного...

Илья взглянулъ на него и нехорошо засмѣялся.

— Ты что?—вздрогнувъ, спросилъ его дядя.

— Знаю я... Ну, скажемъ, накопилъ ты денегъ...

И онъ особенно отчетливо выговорилъ слово „накопилъ“.

— Да, такъ вотъ...—не глядя на него, заговорилъ Терентій.—Ну, значитъ... два ста рѣшился я въ монастырь дать.

— Такъ...

— Сто—тебѣ...

— Сто?—быстро спросилъ Илья. И тутъ онъ открылъ, что уже давно въ глубинѣ его души жила надежда получить съ дяди не сто рублей, а много больше. Ему стало обидно и на себя и на свою надежду, — нехорошую надежду, онъ зналъ это, — и на дядю за то, что онъ такъ мало даетъ ему. Онъ всталъ со стула, выпрямился и твердо, со злобой сказалъ дядѣ:

— Не возьму я твоихъ краденыхъ денегъ... понялъ?

Горбунъ попятился отъ него, сѣлъ на свою кровать, —жалкій, блѣдный. Весь съежившись и открывъ ротъ, онъ смотрѣлъ на Илью съ тупымъ страхомъ въ глазахъ и молчалъ.

— Ну, что смотришь? Не надо мнѣ...

— Господи Исусе!—хрипло выговорилъ Терентій.— Погоди, милый! Какъ же?

— Чего?—спросилъ Илья, видя, что Терентій не можетъ выговорить какого-то слова.

— Илюша... ты мнѣ какъ сынъ былъ...—тяжело взды-

хая, почти шопотомъ началъ Терентій.—Вѣдь я... для тебя... для твоей судьбы на грѣхъ рѣшился... Ты возьми деньги... возьми!.. А то не проститъ мнѣ Господь...

— Та-акъ!—насмѣшливо воскликнулъ Илья.—Со счетами въ рукахъ къ Богу-то идешь?.. Эхъ вы! И просилъ я тебя дѣдушкины деньги воровать? Какого человѣка вы ограбили!..

— Илюша! И родить тебя не просилъ ты...—смѣшно протянувъ руку къ Ильѣ, сказалъ ему дядя.—Нѣтъ, ты деньги возьми... Христа ради! Ради души моей спасенья... Я ворочусь — всѣ тебѣ отдамъ... А покамѣстъ — эти... Родной мой! Господь грѣха мнѣ не развяжетъ, коли не возьмешь...

Онъ умолялъ, а губы у него дрожали, а въ глазахъ сверкалъ испугъ. Илья смотрѣлъ на него и не могъ понять—жалко ему дядю, или нѣтъ?

— Ну, ладно! Я возьму...—сказалъ онъ наконецъ и тотчасъ же вышелъ вонъ изъ комнаты. Его рѣшеніе взять у дяди деньги было непріятно ему; оно унижало его въ своихъ глазахъ. Да и зачѣмъ ему сто рублей? Что можно сдѣлать съ ними? И онъ подумалъ, что если-бъ дядя предложилъ ему не сто, а хоть тысячу рублей— онъ сразу перестроилъ бы свою безпокойную, темную жизнь на жизнь чистую, которая текла бы вдали отъ людей, въ покойномъ одиночествѣ... А что, если спросить у дяди, сколько досталось на его долю денегъ стараго тряпичника? Но эта мысль тотчасъ же показалась ему противной...

Съ того дня, какъ Илья познакомился съ Олимпіадой, ему казалось, что домъ Филимонова сталъ еще грязнѣе и тѣснѣй. Эта тѣснота и грязь вызывали у него чувство физическаго отвращенія, какъ будто тѣла его касались какія-то холодныя, скользкія руки. Сегодня это чувство особенно угнетало его, онъ не могъ найти себѣ мѣста въ домѣ и шелъ къ Матицѣ, не имѣя въ этомъ надобности. И, поднимаясь по лѣстницѣ кверху,

нъ со страннымъ жуткимъ предчувствіемъ въ сердцѣ :одумалъ, что этотъ домъ когда-нибудь толкнетъ его къ :ему-то неожиданному и страшному.

Съ такими думами онъ вошелъ къ Матицѣ и увидалъ абу сидящей у своей широкой постели на стулѣ. Она зглянула на него и, грозя пальцемъ, громко прошепала, точно вѣтеръ подулъ:

— Тихо! Спитъ!..

На постели ея, свернувшись клубкомъ, спала Маша.

— Каково это?—шептала Матица, свирѣпо вытаранивъ свои большіе глаза.—Избивать дѣтей начали, якъ Ироды проклятые! Избиваютъ младенцевъ! Чтобъ земля :ровалилась подъ ними...

Илья слушалъ ея шопотъ, стоя у печки, и, разсматривая окутанную чѣмъ-то сѣрымъ фигурку Маши, думалъ: а что будетъ съ этой дѣвочкой?..

— Знаешь ты, что онъ Марильку выдралъ за косу, тотъ чортовъ воръ, кабацкая душа? Избилъ сына и ее избилъ, и грозитъ выгнать ихъ со двора, а? Знаешь ты? Куда она пойдетъ, ну?

— Я, можетъ, достану ей мѣсто...—задумчиво сказалъ Илья, вспомнивъ, что Олимпіада ищетъ горничную.

— Ты!—укоризненно шептала Матица.—Ты ходишь утъ, какъ важный баринъ... Растешь себѣ, какъ молодой дубокъ... ни тѣни отъ тебя, ни желудя... Ты давно ы могъ ужъ... Развѣ тебѣ не жалко ребенка?

— Погоди ты, не шипи!—съ раздраженіемъ сказалъ Илья, видя, что у него есть хорошій предлогъ пойти :ейчасъ къ Олимпіадѣ.

— Сколько лѣтъ Машуткѣ?—спросилъ онъ.

— Пятнадцать... а сколько-жъ? И что съ того, что пятнадцать? Да ей и двѣнадцати много... она хрупкая, она тоненькая... э, она еще совсѣмъ ребенокъ! Никуда, никуда не годится дѣтина эта! И зачѣмъ жить ей? Спала бы вотъ и не просыпалась ужъ до Христа...

Илья ушелъ съ тяжелымъ туманомъ въ головѣ.

А черезъ часъ онъ стоялъ у двери въ квартиру Олимпіады и ждалъ, когда ему отворятъ. Не отворяли долго, потомъ за дверью раздался чей-то тонкій, кислый голосъ:

— Кто тамъ?

— Я...—отвѣтилъ Луневъ, недоумѣвая, кто это спрашиваетъ его. Прислуга Олимпіады — рябая, угловатая баба—говорила голосомъ грубымъ и рѣзкимъ и отворяла дверь, не спрашивая.

— Кого надо?—повторили за дверью.

— Олимпіада Даниловна дома?

Дверь вдругъ распахнулась, въ лицо Ильи хлынулъ свѣтъ,—юноша отступилъ на шагъ, щуря глаза и не вѣря имъ.

Передъ нимъ стоялъ съ лампой въ рукѣ маленькій старичокъ, одѣтый въ тяжелый, широкій, малиноваго цвѣта халатъ! Черепъ у него былъ почти голый, только маленькій вѣнчикъ сѣдыхъ волосъ окружалъ его отъ уха до уха, да на подбородкѣ безпокойно тряслась коротенькая, жидкая и тоже сѣрая бородка. Онъ смотрѣлъ въ лицо Ильи, и его острые, свѣтлые глазки ехидно сверкали, а верхняя губа, съ жесткими волосами на ней, шевелилась. И лампа тряслась въ сухой, темной рукѣ его.

— Кто таковъ? Ну, входи... входи... ну? — говорилъ онъ.—Кто таковъ?

Илья понялъ, кто стоитъ передъ нимъ. Онъ почувствовалъ, что кровь бросилась въ лицо ему, и въ груди его закипѣла гадкая, зазорная муть. Такъ вотъ кто дѣлитъ съ нимъ ласки этой чистой, крѣпкой женщины.

— Я—разносчикъ...—глухо сказалъ онъ, перешагнувъ черезъ порогъ.

Старикъ мигнулъ ему лѣвымъ глазомъ и усмѣхнулся. Вѣки у него были красныя, безъ рѣсницъ, а во рту торчали какія-то желтыя, острыя косточки.

— Разносчикъ-молодчикъ? Хе, хе! Какой разносчикъ,

а? Какой? – хитро посмѣиваясь, спрашивалъ старикъ, приближая лампу къ его лицу.

– Мелочной разносчикъ... торгую духами... лентами... всякой мелочью...– говорилъ Илья, опустивъ голову и чувствуя, что она у него кружится и красныя пятна плаваютъ предъ его глазами.

— Такъ, такъ, такъ... ленты-позументы... Да, да, да... Ленточки, душки... милые дружки... Что же тебѣ надо, разносчикъ, а?

— Мнѣ Олимпіаду Даниловну...

— А-а-а? Ее? Ну, ну... А зачѣмъ тебѣ ее, а?

— Мнѣ... деньги получить за товаръ... - съ усиліемъ выговорилъ Илья.

Онъ чувствовалъ непонятный страхъ передъ этимъ сквернымъ старикомъ и ненавидѣлъ его. Въ тихомъ, тонкомъ голосѣ старика, какъ и въ его ехидныхъ глазахъ, было что-то сверлившее сердце Ильи, оскорбительное, унижающее.

— Денежки? Должокъ? Хо-орошо-о...

Старикъ вдругъ отвелъ лампу въ сторону отъ лица Ильи, привсталъ на носки, приблизилъ къ Ильѣ свое дряблое, желтое лицо и тихо, съ ядовитой усмѣшкой, спросилъ его:

-- А записочка гдѣ? Давай записочку!

— Какую?—со страхомъ отступая, спросилъ Илья.

— А отъ барина твоего? Записочку къ Олимпіадѣ Даниловнѣ? Вѣдь имѣешь? Ну? Давай! Я отнесу ей... ну, ну! скорѣе!—Старикъ лѣзъ на Илью, а тотъ все къ двери, и у него высохло во рту отъ страха.

— У меня нѣтъ никакой записочки!—громко и съ отчаяніемъ сказалъ онъ, чувствуя, что вотъ, сейчасъ, произойдетъ что-то невѣроятное.

Но въ эту минуту сзади явилась высокая, стройная фигура Олимпіады. Она спокойно, не мигнувъ, взглянула на Илью черезъ голову старика и ровнымъ голосомъ спросила:

— Что у васъ тутъ, Василій Гавриловичъ?

— Разносчикъ-съ... вотъ-съ! Должокъ имѣетъ за вами-съ. Вы ленточки у него брали? А денежки не платили, а? Хе, хе! Вотъ онъ и пришелъ-съ... и явился...

Старикъ вертѣлся передъ женщиной, щупая своими глазками то ея лицо, то лицо Ильи. Она отстранила его отъ себя властнымъ движеніемъ правой руки, сунула эту руку въ карманъ своего капота и сказала Ильѣ строгимъ голосомъ:

— Что, ты не могъ придти въ другое время?

— Да-съ! — визгливо крикнулъ старикъ. — Дуракъ эдакій, а? Ходишь, когда не нужно, а? Оселъ!

Илья стоялъ, какъ каменный.

— Не кричите, Василій Гавриловичъ! Нехорошо,— сказала Олимпіада и обратилась къ Ильѣ: — Сколько тебѣ слѣдуетъ, три рубля сорокъ? Получи...

— И—ступай вонъ! — снова крикнулъ старикъ.— Позвольте-съ, я запру... я самъ, самъ!

Онъ запахнулъ свой халатъ и, отворивъ дверь, крикнулъ Ильѣ:

— Иди!..

Илья стоялъ на морозѣ у запертой двери и тупо смотрѣлъ на нее, не понимая, дурной ли сонъ ему снится, или все это онъ видѣлъ на яву? Онъ держалъ въ одной рукѣ шапку, а въ другой крѣпко стиснулъ деньги, данныя Олимпіадой. Онъ стоялъ такъ до поры, пока не почувствовалъ, что морозъ сжимаетъ ему черепъ ледянымъ обручемъ, и ноги его ломитъ отъ холода. Тогда онъ надѣлъ шапку, положилъ деньги въ карманъ, сунулъ руки въ рукава пальто, сжался, наклонилъ голову и медленно пошелъ вдоль по улицѣ, неся въ груди своей оледенѣвшее сердце и чувствуя, что въ головѣ его катаются какіе-то тяжелые шары и стучатъ въ виски ему... Предъ нимъ плыла по воздуху темная фигура старика съ желтымъ черепомъ, освѣщенная холоднымъ огнемъ...

И лицо старика улыбалось побѣдоносно, ехидно, лукаво...

На другой день послѣ встрѣчи со старикомъ Илья медленно и молча расхаживалъ по главной улицѣ города. Онъ не выкрикивалъ названія своихъ товаровъ, а только смотрѣлъ тупыми глазами въ ящикъ, и въ сердцѣ его неподвижно лежало тяжелое, темное чувство. Ему все представлялся ехидный взглядъ старика, спокойныя голубыя очи Олимпіады и то движеніе ея руки, которымъ она подала ему деньги вчера. Въ сухомъ морозномъ воздухѣ летали острыя снѣжинки, покалывая лицо Ильи...

Онъ только-что прошелъ мимо маленькой лавочки, укромно спрятанной во впадинѣ между часовней и огромнымъ домомъ купца Лукина. Надъ входомъ въ лавочку висѣла старая проржавѣвшая вывѣска:

„Размѣнъ денегъ В. Г. Полуэктова. Покупка въ ломъ серебра, золота, ризы иконъ, драгоцѣнныя вещи и старинную монету“.

Ильѣ показалось, что когда онъ взглянулъ на дверь лавки, за стекломъ ея стоялъ старикъ и, насмѣшливо улыбаясь, кивалъ ему своей маленькой головкой. Луневъ чувствовалъ непобѣдимое желаніе войти въ магазинъ, посмотрѣть на старика вблизи. Предлогъ у него тотчасъ же нашелся,—какъ всѣ мелочные торговцы, онъ копилъ попадавшуюся ему въ руки старинную монету, а накопивъ, продавалъ ее мѣняламъ по рублю двадцать копеекъ за рубль. Въ кошелькѣ у него и теперь лежало нѣсколько такихъ монетъ.

Онъ воротился назадъ, смѣло отворилъ дверь лавки, пролѣзъ въ нее со своимъ ящикомъ и, снявъ шапку, поздоровался:

— Добраго здоровья...

Старикъ, сидя за узкимъ прилавкомъ, снималъ съ иконы ризу, выковыривая гвоздики маленькой стамес-

кой. Мелькомъ взглянувъ на вошедшаго парня, онъ тотчасъ же опустилъ голову къ работѣ, сухо сказавъ:

— Спасибо... Что надо?..

— Узнали меня?—зачѣмъ-то спросилъ Илья.

Старикъ снова взглянулъ на него.

— Можетъ и узналъ... что надо-то?

— Монету купите?

— Покажи...

Илья передвинулъ свой ящикъ за спину и полѣзъ въ карманъ за кошелькомъ. Но рука у него почему-то не находила кармана и дрожала такъ же, какъ дрожало его сердце отъ ненависти къ старику, отъ страха предъ нимъ и отъ желанія скорѣе сдѣлать что-то. Шаря рукою подъ полой своего пальто, онъ упорно смотрѣлъ на маленькую лысую голову, и по спинѣ у него пробѣгалъ холодъ...

— Ну, скоро ты?—вдругъ спросилъ старикъ сердитымъ голосомъ.

— Сейчасъ!..—тихо, съ усиліемъ отвѣтилъ Илья.

Наконецъ, ему удалось выпуть кошелекъ; онъ подошелъ вплоть къ прилавку и высыпалъ на него свои монеты. Старикъ окинулъ ихъ взглядомъ.

— Только-то? Мм...

И хватая серебро тонкими, желтыми пальцами, онъ сталъ разсматривать деньги, говоря подъ носъ себѣ:

— Екатерининскій... Анны... Екатерининскій... Павла... тоже... крестовикъ... тридцать второго... мм... песъ его знаетъ, какой! На—этотъ не возьму, стертый весь...

— Да вѣдь видно по величинѣ-то, что четвертакъ,—сурово сказалъ Илья.

— За пятіалтынный—приму...

Старикъ отшвырнулъ отъ себя монету и, быстрымъ движеніемъ руки выдвинувъ ящикъ конторки, сталъ рыться въ немъ.

Злоба, жгучая, какъ промерзлое желѣзо, охватила Илью,—онъ взмахнулъ рукой, и крѣпкій кулакъ его

ударилъ по виску старика. Мѣняла отлетѣлъ къ стѣнѣ, сильно стукнулся объ нее головою, но тотчасъ же бросился грудью на конторку и, схватившись за нее руками, вытянулъ тонкую шею къ Ильѣ. Луневъ видѣлъ, какъ на маленькомъ, темномъ лицѣ сверкали глаза, шевелились губы, слышалъ громкій, хриплый шопотъ:

— Голубчикъ... Голубчикъ мой...

— А, сволочь! — сказалъ Илья и съ отвращеніемъ стиснулъ шею старика. Стиснулъ и сталъ трясти ее, а старикъ уперся руками въ грудь ему и хрипѣлъ. Глаза у него стали красные, большіе, изъ нихъ лились слезы, языкъ высунулся изъ его темнаго рта и шевелился, точно дразнилъ убійцу. Теплая слюна брызгала на руки Ильѣ, а въ горлѣ старика что-то хрипѣло и свистѣло. Холодные крючковатые пальцы касались шеи Лунева,— онъ, стиснувъ зубы, отгибалъ свою голову назадъ и все сильнѣе встряхивалъ легкое тѣло старика, держа его на-вѣсу. И если-бъ Илью въ это время били сзади, онъ, все равно, не выпустилъ бы изъ своихъ рукъ хрустѣвшее подъ его пальцами горло старика. Съ горячей ненавистью и съ ужасомъ въ сердцѣ онъ смотрѣлъ, какъ мутные глаза Полуэктова становятся все болѣе огромными, но все сильнѣе давилъ ему горло, и, по мѣрѣ того, какъ тѣло старика становилось все тяжелѣе, тяжесть въ сердцѣ Ильи точно таяла. Наконецъ, онъ оттолкнулъ отъ себя мѣнялу, и тотъ мягко свалился на прилавокъ.

Тогда Луневъ оглянулся: въ лавкѣ было тихо и пусто, а за дверью, на улицѣ, валилъ густой снѣгъ. На полу, у ногъ Ильи, лежали два куска мыла, кошелекъ и мотокъ тесемки. Онъ понялъ, что эти вещи упали изъ его ящика, поднялъ ихъ и положилъ на мѣсто. Затѣмъ, перегнувшись черезъ прилавокъ, онъ взглянулъ на старика: тотъ сидѣлъ на корточкахъ въ узкой щели между прилавкомъ и стѣной, голова его

низко свѣсилась на грудь, былъ виденъ только желтый затылокъ. Тутъ Луневъ увидалъ открытый ящикъ конторки—сверкнули золотыя и серебряныя монеты, бросились въ глаза пачки бумажекъ... Вздрогнувъ отъ радости, онъ торопливо схватилъ одну пачку, другую, еще, сунулъ ихъ за пазуху и со страхомъ вновь оглянулся...

На улицу онъ вышелъ не торопясь, шагахъ въ трехъ отъ лавки остановился, тщательно прикрылъ свой товаръ клеенкой и снова пошелъ въ густой массѣ снѣга, падавшаго съ невидимой высоты. И вокругъ него, и въ немъ безшумно колебалась холодная, мутная мгла. Илья съ напряженіемъ всматривался въ нее; вдругъ онъ ощутилъ тупую боль въ глазахъ, дотронулся до нихъ пальцами правой руки и въ ужасѣ остановился, точно ноги его вдругъ примерзли къ землѣ. Ему показалось, что глаза его выкатились, вылѣзли на лобъ, какъ у старика Полуэктова, и что они останутся навсегда такъ, болѣзненно вытаращенными, никогда уже не закроются, и каждый человѣкъ можетъ увидать въ нихъ преступленіе. Они какъ будто умерли. Щупая пальцами зрачки, онъ чувствовалъ въ нихъ боль, но не могъ опустить вѣки, и дыханіе въ его груди спиралось отъ страха. Наконецъ, ему удалось закрыть глаза: онъ съ радостью наслаждался тьмою, вдругъ охватившей его, и такъ, ничего не видя, неподвижно стоялъ на мѣстѣ, глубоко вдыхая воздухъ... Кто-то толкнулъ его. Онъ быстро оглянулся,—мимо него прошелъ высокій человѣкъ въ полушубкѣ. Илья смотрѣлъ вслѣдъ ему, пока тотъ не исчезъ въ густомъ роѣ бѣлыхъ хлопьевъ снѣга. Тогда, поправивъ шапку рукой, Луневъ зашагалъ по тротуару, чувствуя боль въ глазахъ и тяжесть въ головѣ. Плечи у него вздрагивали, пальцы рукъ невольно сжимались, а въ сердцѣ зарождалось что-то упрямое, дерзкое и вытѣсняло изъ него страхъ.

Дойдя до перекрестка, онъ увидѣлъ сѣрую фигуру полицейскаго и безотчетно, тихо, очень тихо, пошелъ прямо на него. Шелъ онъ, и сердце его замирало...

— Снѣжище-то какой!—сказалъ Илья, подойдя вплоть къ полицейскому и въ упоръ глядя на него.

— Да-а, повалилъ! Теперь, слава Те Господи, потеплѣетъ!—съ удовольствіемъ отвѣтилъ полицейскій. Лицо у него было большое, красное, бородатое.

— А сколько сейчасъ время?—спросилъ Илья.

— Поглядимъ! — Полицейскій стряхнулъ снѣгъ съ рукава и сунулъ руку за пазуху. Луневу было и жутко, и любо стоять противъ этого человѣка. Онъ вдругъ разсмѣялся сухимъ, какъ бы вынужденнымъ смѣхомъ.

— Ты что хохочешь?—спросилъ полицейскій, отковыривая ногтемъ крышку часовъ.

— Экъ тебя засыпало снѣгомъ-то! — воскликнулъ Илья.

— Засыплетъ такая сила! Половина второго теперь... безъ пяти минутъ половина. Засыплетъ, братъ... Ты вотъ теперь въ трактиръ пойдешь, въ тепло, а я тутъ до шести часовъ торчать долженъ... Гляди, сколько тебѣ навалило на ящикъ-то...

Полицейскій вздохнулъ и щелкнулъ крышкой часовъ.

— Да, я пойду въ трактиръ,—сказалъ Илья и, улыбнувшись кривой улыбкой, зачѣмъ-то добавилъ:

— Вотъ въ этотъ самый...

— Ужъ не дразни...

Въ трактирѣ Илья сѣлъ подъ окномъ. Изъ этого окна,—онъ зналъ,—было видно часовню, рядомъ съ которой помѣщалась лавка Полуэктова. Но теперь все за окномъ скрывала бѣлая муть снѣга. Онъ пристально смотрѣлъ, какъ хлопья тихо пролетаютъ мимо окна и ложатся на землю, покрывая пышной тканью слѣды людей. Сердце его билось торопливо, сильно, но легко. Онъ сидѣлъ и безъ думъ ждалъ, что будетъ дальше, а время тянулось медленно...

Когда половой принесъ ему чай, онъ не утерпѣлъ и спросилъ:

— Что на улицѣ... ничего?

— Теплѣе стало... гораздо теплѣе!—торопливо отвѣтилъ половой и убѣжалъ, а Илья снова сталъ ждать, чувствуя, что онъ усталъ и погружается въ полудремотное состояніе. Онъ налилъ себѣ стаканъ чаю, но не пилъ, не двигался и ни о чемъ не думалъ. Потомъ ему вдругъ стало жарко,—онъ началъ разстегивать воротъ пальто и, коснувшись руками подбородка, вздрогнулъ. Ему показалось, что это не его руки, а чьи-то чужія, холодныя, враждебныя ему. Поднявъ ихъ къ лицу, онъ тщательно осмотрѣлъ пальцы,—руки были чистыя, но Луневъ подумалъ, что все-таки надо вымыть ихъ съ мыломъ...

— Полуэктова убили!—вдругъ крикнулъ кто-то.

Илья вскочилъ со стула, какъ будто этимъ крикомъ позвали его. Но въ трактирѣ всѣ засуетились и пошли къ дверямъ, на ходу надѣвая шапки. Онъ бросилъ на подносъ гривенникъ, надѣлъ на плечо ремень своего ящика и пошелъ за людьми, такъ же быстро, какъ и всѣ они.

У лавки мѣнялы уже собралась большая толпа, въ ней сновали полицейскіе, озабоченно покрикивая, тутъ же былъ и тотъ, бородатый, съ которымъ разговаривалъ Илья. Онъ стоялъ у двери, не пуская людей въ лавку, смотрѣлъ на всѣхъ испуганными глазами и все гладилъ рукой свою лѣвую щеку, теперь еще болѣе красную, чѣмъ правая. Илья всталъ на виду у него и прислушивался къ говору толпы. Рядомъ съ нимъ стоялъ высокій чернобородый купецъ со строгимъ лицомъ и, нахмуривъ брови, слушалъ оживленный разсказъ сѣденькаго старичка въ лисьей шубѣ.

— Мальчишка-то, значитъ, думалъ, что онъ сомлѣлъ, и бѣжитъ къ Петру Степановичу—пожалуйте, дескать, къ намъ, хозяинъ захворалъ. Ну, тотъ сей-

часъ—маршъ сюда, анъ глядь—онъ мертвый! Вотъ те и разъ! Нѣтъ, ты подумай,—дерзновеніе-то какое? Среди бѣла дня, на эдакой людной улицѣ... на-ко вотъ!

Чернобородый купецъ громко кашлянулъ и густымъ, суровымъ голосомъ сказалъ:

— Тутъ—перстъ Божій. Стало быть, не захотѣлъ Господь принять отъ него покаянія...

Луневъ подвинулся впередъ, желая еще разъ взглянуть въ лицо купца, и задѣлъ его ящикомъ.

— Ты! — крикнулъ купецъ, отстраняя его движеніемъ локтя и строго взглянувъ въ лицо Ильи.—Куда лѣзешь?

И снова обратился къ своему собесѣднику:

— Сказано: и волосъ съ головы человѣка не упадетъ безъ воли на то Божіей...

— Что и говорить!—кивнувъ головой, согласился старикъ, а потомъ вполголоса добавилъ, подмигивая:— Извѣстно — Богъ шельму мѣтитъ... Господи, прости! Грѣшно говорить, а и молчать трудно... да!

— И вотъ—помяни ты мое слово,—продолжалъ строгій купецъ,—виноватаго въ этомъ грѣхѣ не найдутъ... Увидишь...

Луневъ усмѣхнулся. Онъ, слушая этотъ разговоръ, чувствовалъ въ груди приливъ какой-то силы и жуткой, пріятной храбрости. И если бы кто-нибудь спросилъ его въ эту минуту:

— Ты удушилъ?

Ему казалось, что онъ безбоязненно и твердо отвѣтилъ бы:

— Я...

Съ тѣмъ же чувствомъ въ груди онъ протискался сквозь толпу и всталъ рядомъ съ полицейскимъ. Тотъ взглянулъ на него, сердито толкнулъ его въ плечо и закричалъ:

— Куда? Какое тутъ твое дѣло, а? Пшолъ!

— И надо же было ему, разбо
напакостить...

— По дисконту первый въ

— Жо-охъ...

— Снѣгъ валитъ... лавка 1
мнѣ не видно...

— Шкуры дралъ безо всяко.

— А все человѣкъ былъ,—я

— Извѣстно... Пожалѣть и е

— Всѣ алчны, всѣ жадны...

— Гляди— жена пріѣхала...

— А-а...

— Э-эхъ, несчастная!—громк
оборванный мужикъ.

Луневъ поднялся на ноги и у
рокихъ саней съ медвѣжьей поло
пожилая, толстая женщина въ сал
Ее поддерживали подъ руку око.
то человѣкъ съ рыжими усами.

— Охъ, батюшки... ба-тюшки
духѣ ея дрожащій, испуганный г
Илья смотрѣ...

чернобородаго купца, казались ему глупыми и даже противными. Въ купцѣ было что-то строгое и вѣрное, а всѣ остальныя стоятъ, какъ пни въ лѣсу, и, толкая его, Илью, болтаютъ гнусными языками злорадныя слова.

Онъ дождался, когда маленькое тѣло мѣнялы вынесли изъ лавки, и пошелъ домой, иззябшій, усталый, но спокойный. Дома, запершись у себя въ комнатѣ, онъ сосчиталъ деньги: въ двухъ толстыхъ пачкахъ мелкихъ бумажекъ оказалось по пятисотъ рублей, въ третьей—восемьсотъ пятьдесятъ. Была еще небольшая пачка купоновъ, но онъ ихъ не сталъ считать, а, завернувъ всѣ деньги въ бумагу, задумался, облокотясь на столъ, куда ихъ спрятать? Думая объ этомъ, онъ почувствовалъ, что голова у него страшно тяжелая и ему хочется спать. Онъ рѣшилъ спрятать деньги на чердакѣ и тотчасъ же пошелъ туда, держа пакетъ въ рукахъ, на виду. Въ сѣняхъ онъ наткнулся на Якова:

— А, ты пришелъ ужъ!—сказалъ Яковъ.

— Пришелъ...

— Блѣдный какой... нездоровится?

— Н-нездоровится...

— Что это ты несешь?

— Это? — переспросилъ Илья, глядя на деньги. И вдругъ, вздрогнувъ отъ страха проговориться, онъ торопливо сказалъ, помахивая въ воздухѣ пакетомъ:

— Это... тесемка... такъ себѣ... пустяки...

— Чай пить придешь?—спросилъ Яковъ.

— Я? Сейчасъ приду, сейчасъ...

И онъ быстро пошелъ по сѣнямъ, а ноги его ступали нетвердо и голова была мутная, тяжелая, какъ у пьянаго. Идя по лѣстницѣ на чердакъ, онъ уже шагалъ осторожно, боясь нашумѣть, боясь встрѣтить когонибудь. А когда онъ зарывалъ деньги,—въ землю около трубы,—ему вдругъ показалось, что въ углу у чердака, во тьмѣ, кто-то притаился и слѣдитъ за нимъ. Онъ ощутилъ въ себѣ желаніе бросить туда кирпичомъ, но

.... надъ самоваромъ,
восклицаніемъ:

— А, какъ ты рано сегод

— Снѣгъ,—сказалъ онъ.
закричалъ:

— Что за рано? Пришелъ,
пору... Вотъ дуреха! Видишь-

— Здѣсь и въ полдень те

— А того и ору, что всѣ
пришелъ, куда идешь, чего несе

Маша пристально посмотр
комъ сказала:

— А-яй, Илья, какъ ты ста

— А, ну васъ къ чорту,—в
къ столу. Маша обиженно фыр
него и стала дуть въ трубу са
кая, она то и дѣло встряхи
кашляла и жмурилась отъ д
худое, темныя пятна вокругъ г
блескъ и было въ ней что-то
тѣхъ цвѣтковъ, что растутъ въ
среди бурьяна. И

— Маша!

— Ну, что... злющій!..—отозвалась она.

— Знаешь... я — поганый человѣкъ, — сказалъ Луневъ, и голосъ у него дрогнулъ, а въ сердцѣ птицей забился вопросъ: сказать ей, или не говорить? Она выпрямилась и съ улыбкой взглянула на него.

— Колотить тебя некому, вотъ что! Чучело ты...

— Нѣтъ, погоди!—воскликнулъ Илья.

— Нечего годить-то,—сказала Маша и, быстро подойдя къ нему, просительно и торопливо заговорила:

— Слушай, Илюша,—голубчикъ,—вотъ что: попроси дядю, чтобъ онъ меня съ собой взялъ, а? Попроси! Въ ножки поклонюсь, право, поклонюсь!

— Куда?—устало спросилъ Луневъ, занятый своими мыслями и плохо понимая ея слова.

— Съ собой, родненькій! Попроси!

Она сложила руки ладошками вмѣстѣ и стояла предъ нимъ, какъ передъ образомъ, а на глазахъ у нея появились слезы.

— Какъ бы хорошо-то,—вздыхая, говорила дѣвочка.— Весной бы... по полямъ-то бы, по лѣсамъ, — шла бы я и шла! Всѣ дни я про это думаю, даже во снѣ снится, будто иду, иду... Голубчикъ! Хорошо-то какъ бы мнѣ... Онъ тебя послушаетъ — скажи, чтобы взялъ! Я его хлѣба не буду ѣсть... я милостинку просить буду! Мнѣ дадутъ — я маленькая... Илюша? Хочешь — руку поцѣлую?

И вдругъ она схватила его руку и наклонилась надъ нею. Илья оттолкнулъ дѣвочку, быстро вскочивъ со стула.

— Дура,—крикнулъ онъ, — развѣ это можно... Я— человѣка задушилъ...

Онъ испугался своихъ словъ и тотчасъ же добавилъ:

— Можетъ быть... я, можетъ, такое сдѣлалъ рукой, что... а ты цѣловать хочешь?

— Ничего-о!—говорила Маша, подойдя вплоть къ

... легко и весело. Улыба
въ голосѣ сказалъ дѣвочкѣ:

— Ладно, я это устрою! I
ты на богомолье... И даже —
и дядѣ скажу—дай...

— Голубчикъ! — крикнул
обняла его за шею.

— Отстань! Погоди! — серь
Сказано—пойдешь. За меня п

— За тебя-то? Господи!..

Въ двери появился Яковъ
Машу:

— Ты чего визжишь? Даже

— Яша!—радостно крикнул
ваясь словами, стала разсказы

— Иду я, ухожу, прощай! В
сить горбатаго... онъ упроситъ!

И Маша засмѣялась.

— Упросишь? — задумчиво
товарища.

— А что же? Она ему н
хорошо. Глядь ...

Маша взглянула на него и, опустивъ голову, ото-
шла къ двери. Оттуда раздался ея укоризненный и
печальный голосъ:

— Экій ты, Яковъ, какой... слабый!

— А вы—крѣпкіе! Бросаете человѣка... Черти! Еже-
ли мнѣ безъ васъ скучно?

Онъ угрюмо сѣлъ къ столу противъ Ильи и сказалъ:

— Развѣ и мнѣ уйти тихонько съ Терентіемъ? А?

— Иди... Я бы ушелъ...

— Ты бы! А на меня отецъ полицію науськаетъ...

Всѣ замолчали. Потомъ Яковъ съ напускной весе-
лостью заговорилъ:

— А хорошо, братцы, пьяному быть! Ничего не по-
нимаешь, ни о чемъ не думаешь... И весело...

Маша поставила на столъ самоваръ и сказала, ка-
чая головой:

— Эхъ ты, безстыдникъ!

— Ну, ты молчи! — сердито крикнулъ Яковъ. — У
тебя отца-то все равно, что нѣтъ... развѣ онъ тебѣ мѣ-
шаетъ жить?

— Хорошо мнѣ жить!—возразила Маша. — Бѣжала
бы, да и не оглянулась отъ такой жизни...

— Всѣмъ плохо!—негромко сказалъ Илья и снова
задумался.

Потомъ опять заговорилъ Яковъ, мечтательно глядя
въ окно:

— А славно бы уйти куда-нибудь ото всего! Сѣсть
бы гдѣ-нибудь у лѣсочка, надъ рѣкой, и подумать обо
всемъ...

— Экая дурацкая манера отъ жизни уходить! — съ
досадой сказалъ Илья.

Яковъ пристально взглянулъ въ лицо ему и съ нѣ-
которымъ страхомъ сказалъ:

— Знаешь—нашелъ-таки я одну книгу...

— Какую?

— Старинная... Переплетена въ кожу, видомъ—какъ

— заглавіе у нея оторв
сказывалъ Яковъ,—но гово
щей. Трудно читать... и стр
о началѣ вещей Фалесъ ми
валъ: „Той бо воду нарече,
дена суть и производится,
мыслію, яже изъ воды вся п
Діагоръ безбожный, онъ—„н
мѣша",—стало быть, не вѣрил
еще... тотъ—„бога во правду
же никому подающа, ничто ж
же попеченія имуща..." Значит
до людей Ему нѣтъ дѣла... так
стало быть, такъ и живи. Нѣт

Илья приподнялся со сту
брови, сказалъ, прерывая мед

— Взялъ бы эту книгу да

— За что? — удивленно и
Яковъ.

— А за то, чтобы ты въ
ракъ! А книгу писалъ—друго

Лунев...

— Все равно! Жди! Какой ты мнѣ судья, а?—кричалъ Луневъ, блѣдный отъ возбужденія и непонятной ему злости, вдругъ охватившей его.—Волосъ съ головы твоей не упадетъ безъ воли Его! Слыхалъ? И ежели я во грѣхъ впалъ—Его на то воля! Дуракъ!

— Да ты съ ума сошелъ, что ли?—прижавшись къ стѣнѣ, съ испугомъ закричалъ Яковъ.—Въ какой ты грѣхъ впалъ?

Луневъ сквозь шумъ въ ушахъ услышалъ этотъ вопросъ, и на него точно холодомъ пахнуло. Онъ подозрительно оглядѣлъ Якова и Машу, тоже испуганную его возбужденіемъ и криками.

— Для примѣра говорю,—глухо сказалъ онъ и сѣлъ на свое мѣсто.

— Нездоровый ты какой-то,—робко сказала Маша.

— И глаза у тебя мутные,—добавилъ Яковъ, всматриваясь въ его лицо.

Илья невольно провелъ рукой по глазамъ и тихо отвѣтилъ:

— Это ничего... пройдетъ...

Черезъ нѣсколько минутъ онъ почувствовалъ, что ему тяжело, неловко съ людьми, и, отказавшись отъ чая, ушелъ къ себѣ.

Но только-что онъ легъ на постель, какъ явился Терентій. Съ той поры, когда горбунъ рѣшилъ идти замаливать свой грѣхъ, въ глазахъ у него явилось что-то свѣтлое и блаженное, точно онъ уже и теперь предвкушалъ радость освобожденія отъ грѣха. Тихо, съ улыбкой на губахъ, онъ подошелъ къ постели племянника и, пощипывая свою бороденку, заговорилъ ласковымъ голосомъ:

— Вижу я—прошелъ ты домой... дай, думаю, пойду, побалакаю съ нимъ. Не долго ужъ намъ вмѣстѣ-то жить.

— Идешь?—сухо спросилъ Илья.

— Какъ только потеплѣе станетъ, я и двинусь... Къ страстной недѣлѣ хочется мнѣ попасть въ Кіевъ-отъ...

— Вотъ что,—возьми-ка ты съ собой Машутку...

— Ку-уда! — воскликнулъ горбунъ, отмахнувшись рукой.

— А ты слушай,—твердо сказалъ Илья.—Дѣлать ей тутъ нечего... а она въ такомъ возрастѣ... Яковъ, Петруха... и все такое... понялъ? Домъ этотъ для всѣхъ вродѣ западни... проклятый домъ! Пусть она уйдетъ... можетъ, и не воротится.

— Да куда же мнѣ ее...—жалобно заговорилъ Терентій.

— Возьми, возьми!—настойчиво твердилъ Илья.— И сотню свою возьми на нее... Мнѣ не надо твоего... А она за тебя же помолится... Ея молитва много значитъ...

Горбунъ задумался и повторилъ:

— Много значитъ... н-да-а! Это ты... тово... правильно говоришь... Денегъ я не могу взять отъ тебя... это оставимъ, какъ рѣшили... А насчетъ Машки—подумать надо...

Тутъ глаза Терентія вдругъ радостно блеснули, и, наклонясь къ Ильѣ, онъ шопотомъ, съ увлеченіемъ заговорилъ:

— Н-ну, братъ, ка-акого я человѣка видѣлъ вчера! Знаменитаго человѣка—Петра Васильича... про начетчика Сизова—слыхалъ ты? Неизрѣченной мудрости человѣкъ! И не иначе, какъ Самъ Господь наслалъ его на меня... для облегченія души моей отъ лукаваго сомнѣнія въ милости Господней ко мнѣ грѣшному...

Илья лежалъ молча. Ему хотѣлось, чтобъ дядя ушелъ поскорѣе. Полузакрытыми глазами онъ смотрѣлъ въ окно и видѣлъ предъ собой высокую, темную стѣну пристройки.

— Говорили мы съ нимъ о грѣхахъ и о спасеніи души,—воодушевленно шепталъ Терентій.—Говоритъ онъ мнѣ: какъ долоту камень нуженъ, чтобъ тупость обточить, такъ и человѣку грѣхъ надобенъ, чтобъ растравить душу свою и бросить ее во прахъ подъ нози Господа Всемилостиваго...

Илья взглянулъ на дядю и со злою улыбкою спросилъ:

— А что онъ, начетчикъ этотъ, на дьявола похожъ?

— Ра-азвѣ можно такъ говорить? — откачнувшись отъ него, воскликнулъ Терентій.—Онъ—благочестивый человѣкъ... О немъ слава и теперь шире идетъ, чѣмъ о дѣдушкѣ твоемъ... а-ахъ, братъ!

И укоризненно покачивая головой, горбунъ зачмокалъ губами.

— Ну, ладно!—сказалъ Илья грубо и непріязненно.—Что онъ еще говорилъ?

И вдругъ онъ засмѣялся сухо, непріятнымъ смѣхомъ. Дядя съ удивленіемъ на лицѣ отодвинулся отъ него и спросилъ:

— Что ты?

— Ничего. Онъ ловко сказалъ, начетчикъ-то... Какъ разъ впору мнѣ... Я и самъ такъ же думаю... точь-въ-точь такъ!

Онъ замолчалъ, пристально взглянулъ въ лицо дяди и отвернулся къ стѣнѣ.

— Еще онъ сказалъ,—снова началъ Терентій осторожнымъ голосомъ,—грѣхъ, говоритъ, окрыляетъ душу покаяніемъ и возноситъ ее ко престолу Всевышняго...

— А вѣдь ты тоже на чорта похожъ!—неожиданно прервалъ его Илья и вновь тихонько засмѣялся.

Горбунъ взмахнулъ руками, какъ большая птица крыльями, и замеръ, испуганный и обиженный. А Луневъ сѣлъ на постели, толкнулъ дядю въ бокъ рукой и сурово сказалъ:

— Пусти-ка!

Терентій быстро вскочилъ на ноги и всталъ среди комнаты, встряхнувъ горбомъ. Онъ тупо смотрѣлъ на племянника, сидѣвшаго на кровати, упираясь въ нее руками, на его приподнятыя плечи и голову, низко опущенную на грудь.

— Но ежели я каяться не хочу?—твердо спросилъ

— Не понимаю я твоихъ
бой!—уныло сказалъ Терентій
Илья усмѣхнулся.
— Не понимаешь и—не го
Онъ снова легъ на постель,
— Нездоровится мнѣ...
— То-то, я гляжу...
— Уснуть мнѣ надо... ты и
Когда Илья остался одинъ,
въ головѣ у него точно вихрь
тое имъ въ эти нѣсколько час
слилось въ какой-то тяжелый г
мозгъ. И ему казалось, что онъ
себя такъ плохо, что онъ не сег
а давно когда-то.
Онъ закрылъ глаза и леж
ушахъ его звучалъ дряблый го
. — Ну, что же, скоро ты?
И раздавался хрипъ:
— Го-олубчикъ... голубчикъ
Суровый голосъ чернобород
просьбой Маши ...

головѣ его было мутно, но въ сердцѣ покойно. Онъ вспомнилъ весь вчерашній день, прислушался къ себѣ и смутно почувствовалъ, что онъ уже знаетъ, какъ надо ему держаться теперь. Черезъ полчаса онъ шелъ съ ящикомъ на груди по ярко освѣщенной улицѣ и, прищуривая глаза отъ блеска снѣга, спокойно разглядывалъ встрѣчныхъ людей. Проходя мимо церкви, онъ по привычкѣ снималъ шапку и крестился. Перекрестился и у часовни рядомъ съ запертой лавкой Полуэктова и пошелъ дальше, не ощущая ни страха, ни жалости, ничего безпокойнаго. Въ обѣденное время, сидя въ трактирѣ, онъ прочиталъ въ газетѣ замѣтку о дерзкомъ убійствѣ мѣнялы. Дойдя до словъ „полиціей приняты энергичныя мѣры къ розыску преступника“,—онъ съ улыбкой отрицательно покачалъ головой, ибо — былъ твердо увѣренъ, что преступника не найдутъ никогда, если онъ самъ не захочетъ, чтобъ его нашли...

Вечеромъ этого дня пришла прислуга отъ Олимпіады и принесла Ильѣ записку, въ которой было сказано:

„Въ девять часовъ выходи на уголъ Кузнецкой улицы, къ банямъ“.

Прочитавъ, онъ почувствовалъ, что все внутри его дрожитъ и сжимается, точно отъ холода. Передъ нимъ встало пренебрежительное лицо любовницы и въ ушахъ его зазвучали ея рѣзкія, обидныя слова:

— Не могъ придти въ другое время?

Онъ смотрѣлъ на записку и не понималъ — зачѣмъ зоветъ его Олимпіада? А потомъ ему стало боязно понять это, и сердце его забилось тревожно. Въ девять часовъ онъ явился на мѣсто свиданія, и когда, среди многихъ женщинъ, гулявшихъ около бань парами и въ-одиночку, увидалъ высокую фигуру Олимпіады, тревога еще сильнѣе охватила его. Олимпіада была одѣта

въ какую-то старенькую шубку, а голова у нея была закутана платкомъ такъ, что Илья видѣлъ только ея глаза. Онъ молча всталъ передъ нею...

— Идемъ!—сказала опа. И тотчасъ же тихо добавила:

— Закрой рожу воротникомъ...

Они прошли по коридору бань, скрывая свои лица какъ будто отъ стыда, и быстро скрылись въ отдѣльномъ номерѣ. Олимпіада тотчасъ же сбросила платокъ съ головы, и при видѣ ея спокойнаго, разгорѣвшагося на морозѣ лица Илья сразу ободрился, но въ то же время почувствовалъ, что ему непріятно видѣть ее спокойной. А женщина сѣла на диванъ рядомъ съ нимъ и, ласково заглянувъ въ лицо ему, сказала:

— Ну, мой капризъ, скоро насъ съ тобою потащатъ къ слѣдователю...

— Зачѣмъ?—спросилъ Илья, вытирая ладонью растаявшій иней на усахъ.

— Какой онъ у меня глупенькій... будто бы! — насмѣшливо и тихо воскликнула женщина.

Потомъ брови ея нахмурились, и она уже серьезно, шопотомъ сообщила Ильѣ:

— Знаешь - у меня сегодня сыщикъ былъ. Каково?

Илья взглянулъ на нее и сухо сказалъ:

— Ты, вотъ что... мнѣ до сыщиковъ и всѣхъ твоихъ поступковъ никакого дѣла нѣтъ. Говори прямо—зачѣмъ ты меня сюда позвала да еще съ такими... осторожностями?

Олимпіада взглянула въ его лицо и пренебрежительно улыбнулась, говоря:

— А-а! Вонъ что... обидѣлся ты... такъ! Ну, мнѣ не до того теперь... Вотъ что: вызоветъ тебя слѣдователь, станетъ разспрашивать, когда ты со мной познакомился, часто ли бывалъ,—говори все, какъ было, по правдѣ... все подробно,—слышишь?

— Слышу...—сказалъ Илья и усмѣхнулся.

— Погоди! Спроситъ о старикѣ—ты его не видалъ.

Никогда. Не знаешь о немъ. Не слыхалъ, что я на содержаніи у кого-то жила... понимаешь?

Женщина смотрѣла на Илью внушительно и сердито. А онъ чувствовалъ, что въ немъ играетъ что-то жгучее и пріятное. Ему казалось, что Олимпіада боится его; ему захотѣлось помучить ее, и, глядя въ лицо ей прищуренными глазами, онъ сталъ тихонько посмѣиваться, не говоря ни слова. Тогда лицо Олимпіады дрогнуло, поблѣднѣло, и она отшатнулась отъ него, шопотомъ спрашивая:

— Что ты? Что ты такъ смотришь? Илья? Илья?

— Скажи ты мнѣ,—спросилъ онъ, оскаливъ зубы,— зачѣмъ я врать буду? Я старика у тебя видѣлъ.

И облокотясь о мраморную доску стола, онъ съ тоской и злобой, внезапно охватившими его, продолжалъ медленно и тихо:

— Смотрѣлъ я на него тогда и думалъ: вотъ кто стоитъ на моей дорогѣ, вотъ кто жизнь мою перешибъ. И ежели я его тогда не задушилъ...

— Вр-решь! — громко сказала Олимпіада, ударивъ ладонью по столу.—Врешь ты! Онъ на твоей дорогѣ не стоялъ...

— Это какъ же?—сурово спросилъ Илья.

— Не стоялъ. Захотѣлъ бы ты... его не было бы... Не намекала я тебѣ, не говорила развѣ, что могу всегда прогнать его? Ты молчалъ да посмѣивался... ты вѣдь никогда по-человѣчески не любилъ меня...Ты самъ, по своей волѣ, дѣлилъ меня съ нимъ пополамъ... безстыдникъ!

— Стой! Молчи! — сказалъ Илья. Онъ поднялся съ дивана на ноги и—снова сѣлъ, чувствуя, что женщина словно ушибла его своимъ упрекомъ.

— Я не хочу молчать!—громко говорила она.—Молоденькій такой... здоровый, любимый мною... что ты мнѣ сдѣлалъ? Сказалъ ты мнѣ—ну, выбирай, Олимпіада: я или онъ? Сказалъ ты это? Нѣтъ, ты — котъ, какъ всѣ коты...

... ... испугался. И
въ сердце и исчезъ.
Онъ снова сѣлъ на диванъ
подавленнымъ смѣхомъ. Онъ
кусаетъ губы и какъ бы ищ
грязной комнатѣ, полной те
вѣниковъ и мыла. Вотъ она
двери въ баню и опустила гол
— Смѣйся, смѣйся... дьявол
— И буду...
— Я какъ увидѣла тебя, по
мнѣ поможетъ...
— Липа!—тихо сказалъ Иль
Она не отвѣчала, сидя непо
— Липа!—повторилъ Луневъ
точно полетѣлъ куда-то внизъ,
— А вѣдь старика-то я заду
Она вздрогнула и, поднявъ
него широко открытыми глазам
задрожали, и, точно задыхаяс
говорила:
— Ду-ракъ... испугался...

[redacted]

— Это я сдѣлалъ,—кивнувъ головой, сказалъ Илья.

— Молчи!—безпокойно воскликнула женщина. — Я рада, что его задавили,—всѣхъ бы ихъ такъ! Всѣхъ, кто меня касался! Только ты одинъ—живой человѣкъ, за всю жизнь мою перваго встрѣтила, голубчикъ ты мой!

Ея слова все ближе притягивали Илью; онъ крѣпко прижался лицомъ къ груди женщины, и хотя ему трудно было дышать, онъ не могъ оторваться отъ нея, чувствуя, что она—единственный близкій ему человѣкъ и нужна для него теперь больше, чѣмъ когда либо.

— Когда ты смотришь на меня сердито... чистенькій мой... чувствую я паскудную жизнь свою и за то люблю тебя... за гордость чистую люблю...

На голову Лунева падали тяжелыя слезы, и ощущая ихъ прикосновеніе къ себѣ, онъ самъ заплакалъ свободно и легко.

Она же оторвала голову его отъ груди своей и говорила, цѣлуя мокрые глаза его и щеки, и губы:

— Знаю вѣдь я—красотой моей ты не гнушаешься, а сердцемъ меня не любишь и осуждаешь меня... Не можешь жизнь мою простить мнѣ... и старика...

— Не говори про него,—сказалъ Илья. Онъ вытеръ лицо платкомъ съ ея головы и всталъ на ноги спокойный.

— Что будетъ, то будетъ! — тихо и твердо сказалъ онъ.—Захочетъ Богъ наказать человѣка,—Онъ его вездѣ настигнетъ. За слова твои—спасибо, Липа... Это ты вѣрно говоришь—я виноватъ и предъ тобой... Я думалъ, ты... не такая. А ты... ну, хорошо. Я виноватъ...

Голосъ у него прерывался, губы вздрагивали и глаза налились кровью. Медленно, дрожащей рукой онъ пригладилъ растрепанные волосы и вдругъ, взмахнувъ руками, глухо завылъ:

— Я—во всемъ виноватъ. Передъ всѣми... За что?

Олимпіада схватила его за руку; онъ опустился на диванъ рядомъ съ ней и, не слушая ея, сказалъ:

... хотѣлъ вз
пакостную рожу... вошелъ въ
сляхъ не было. А потомъ—вд
Богъ не заступился... Вотъ де
не надо бы... эхъ!

Онъ глубоко вздохнулъ, чу
какъ будто какая-то кора отва
поражена его разсказомъ; вздр
прижимала его къ себѣ и говор
безсвязнымъ шопотомъ. Но все

— Что денегъ взялъ—это
грабежъ... а безъ этого подума
тогда ужъ...

— Каяться я не буду,—гово
Не хочу. Пусть Богъ накажетъ..
кіе они судьи?.. Безгрѣшныхъ
одного не видалъ...

— Господи!—вздохнувъ, ск
это! Что будетъ?.. Голубчикъ...
говорить, ни думать, и надо
пора!

Она встала и ...

[redacted]

его двухъ тысячъ—въ каторгу пойду? Ну, нѣтъ, я въ этомъ дѣлѣ не весь! Не весь,—поняла?

Онъ покраснѣлъ отъ возбужденія и глаза его сверкали. А женщина наклонилась къ нему, шопотомъ спрашивая:

— Денегъ-то только двѣ тысячи?

— Двѣ... съ чѣмъ-то... чортъ ихъ...

— Бѣдненькій ты... и это даже не удалось!—грустно сказала женщина и на глазахъ ея сверкнули слезы.

Илья взглянулъ ей въ лицо, усмѣхнулся и съ горечью проговорилъ:

— Эхъ... Развѣ я—для денегъ? Ты пойми... Погоди, я первый выйду отсюда... Мужчина всегда первый выходитъ...

— Ты скорѣе приходи ко мнѣ... Скрываться не надо намъ... Скорѣе!—тревожно говорила ему Олимпіада.

Они поцѣловались долгимъ, крѣпкимъ поцѣлуемъ, и Луневъ ушелъ. Выйдя на улицу, онъ нанялъ извозчика, и когда ѣхалъ, то все оглядывался назадъ—не ѣдетъ ли за нимъ кто-нибудь? Разговоръ съ Олимпіадой облегчилъ его и вызвалъ въ немъ хорошее чувство къ этой женщинѣ. Ни словомъ, ни взглядомъ она не задѣла его сердца, когда онъ сознался ей въ убійствѣ, и не оттолкнула отъ себя, а какъ бы приняла часть грѣха его на себя. Она же за минуту передъ тѣмъ, ничего еще не зная, хотѣла погубить его и погубила бы,—онъ видѣлъ это по ея лицу... И думая о ней, онъ ласково улыбался. А на слѣдующій день Луневъ почувствовалъ себя звѣремъ, котораго выслѣживаютъ охотники.

Утромъ его встрѣтилъ въ трактирѣ Петруха, на поклонъ Ильи чуть кивнулъ ему головой и при этомъ посмотрѣлъ на него какъ-то особенно пристально. Терентій тоже все присматривался къ нему и вздыхалъ, не говоря ни слова. Но Яковъ заманилъ его въ конурку къ Машѣ и тамъ съ испугомъ на лицѣ спрашивалъ:

— Вчера вечеромъ околоточный приходилъ и все про тебя у отца разспрашивалъ... къ чему это, а?

— Да про что разспрашивалъ-то?—спокойно освѣдомился Илья.

— Разное... Какъ ты живешь... пьешь ли водку... насчетъ женщинъ тоже... Называлъ какую-то Олимпіаду,—не знаете ли?—говоритъ. Что такое?

— А чортъ ихъ знаетъ!—сказалъ Илья и ушелъ.

Вечеромъ этого дня онъ опять получилъ записку отъ Олимпіады. Она писала:

„Меня допрашивали о тебѣ,—сказала я все подробно. Это совсѣмъ не страшно и очень просто. Не бойся. Цѣлую тебя, милый“.

Онъ бросилъ записку въ огонь. Въ домѣ у Филимонова и въ трактирѣ всѣ говорили объ убійствѣ купца. Илья слушалъ эти разсказы, и они доставляли ему какое-то особенное удовольствіе. Нравилось ему ходить среди этихъ людей, заинтересованныхъ его поступкомъ, разспрашивать ихъ о подробностяхъ случая, ими же сочиненныхъ, и чувствовать въ себѣ силу удивить всѣхъ ихъ, сказавъ:

— А вѣдь это я сдѣлалъ...

Нѣкоторые изъ нихъ хвалили его ловкость и храбрость, иные сожалѣли о томъ, что онъ не успѣлъ взять всѣхъ денегъ, другіе опасались, какъ бы онъ не попался, и никто не жалѣлъ купца, никто не сказалъ о немъ ни одного добраго слова. И то, что Илья не видѣлъ въ людяхъ жалости къ убитому, вызывало въ немъ злорадное чувство противъ нихъ, хотя самъ онъ тоже не жалѣлъ купца. Онъ и не думалъ о Полуэктовѣ, а лишь о томъ, что совершилъ тяжкій грѣхъ и впереди его ждетъ возмездіе. Эта мысль не тревожила его: она остановилась въ немъ неподвижно и стала какъ бы частью его души. Она была, какъ опухоль отъ удара,— не болѣла, если онъ не дотрагивался до нея. Онъ глубоко вѣрилъ, что настанетъ часъ и—явится наказаніе

отъ Бога, который все знаетъ и законопреступника не проститъ. И эта спокойная, твердая готовность принять возмездіе во всякій день и часъ позволяла Ильѣ чувствовать себя почти такъ же, какъ и до убійства. Онъ только насторожился противъ людей и болѣе придирчиво сталъ отмѣчать въ нихъ все дурное. Это доставляло ему удовольствіе, хотя онъ сознательно не искалъ оправданія себѣ.

Онъ сталъ угрюмѣе, сосредоточеннѣе, но такъ же, какъ и раньше, съ утра до вечера ходилъ по городу съ товаромъ, сидѣлъ въ трактирахъ, присматривался къ людямъ, чутко слушалъ ихъ рѣчи. Какъ-то разъ онъ вспомнилъ о деньгахъ, зарытыхъ на чердакѣ, и подумалъ, что надо ихъ куда-нибудь перепрятать, но вслѣдъ за тѣмъ сказалъ самъ себѣ:

— Не надо. Пускай лежатъ тамъ... Будетъ обыскъ, и найдутъ ихъ,—сознаюсь...

Но обыска не было и къ слѣдователю его все еще не требовали. Позвали только на шестой день. Передъ тѣмъ, какъ идти въ камеру, онъ надѣлъ чистое бѣлье, лучшій свой пиджакъ, ярко начистилъ сапоги и нанялъ извозчика. Сани подскакивали въ ухабахъ, а онъ старался держаться прямо и неподвижно, потому что внутри у него все было туго натянуто и ему казалось— если онъ неосторожно двинется, съ нимъ можетъ случиться что-то нехорошее. И на лѣстницу въ камеру онъ вошелъ не торопясь, осторожно, какъ будто былъ одѣтъ въ стекло.

Слѣдователь былъ молодой человѣкъ, съ курчавыми волосами и горбатымъ носомъ, въ золотыхъ очкахъ. Когда онъ увидалъ Илью, то сначала крѣпко потеръ свои худыя, бѣлыя руки, а потомъ снялъ съ носа очки и сталъ вытирать ихъ платкомъ, всматриваясь въ лицо Ильи большими, темными глазами. Илья молча поклонился ему.

— Здравствуйте! Садитесь... сюда вотъ...

И онъ движеніемъ руки показалъ ему на стулъ у большого стола, покрытаго малиновымъ сукномъ. Илья сѣлъ и осторожно локтемъ отодвинулъ какія-то бумаги, лежавшія на краю стола. Слѣдователь замѣтилъ это и вѣжливо убралъ бумаги, а потомъ сѣлъ за столъ противъ Ильи и, молча, началъ перелистывать какую-то книгу, исподлобья поглядывая на Лунева. Это молчаніе не понравилось Ильѣ, и онъ, отвернувшись отъ слѣдователя, сталъ осматривать комнату, первый разъ видя такое хорошее убранство и чистоту. Всюду на стѣнахъ висѣли портреты въ рамахъ, картины. На одной изъ нихъ былъ изображенъ Христосъ. Онъ шелъ задумчиво, наклонивъ голову, печальный и одинокій, среди какихъ-то развалинъ, всюду у ногъ Его валялись трупы людей, оружіе, а на заднемъ планѣ картины поднимался черный дымъ,—что-то горѣло. Илья долго смотрѣлъ на эту картину, желая понять, что это значитъ, и ему даже захотѣлось спросить объ этомъ, но какъ разъ въ ту минуту слѣдователь шумно захлопнулъ книгу. Илья вздрогнулъ и взглянулъ на него. Лицо слѣдователя стало сухимъ и скучнымъ, а губы у него смѣшно оттопырились, точно онъ обидѣлся на что-то.

— Ну-съ, — сказалъ онъ, постукивая пальцами по столу, — Илья Яковлевичъ Луневъ, — такъ?

— Да...

— Вы догадываетесь, зачѣмъ я васъ позвалъ?

— Нѣтъ, — отвѣтилъ Илья и снова мелькомъ взглянулъ на картину. Въ комнатѣ было тихо, чисто, красиво, — никогда еще Луневъ не видалъ такой чистоты и такъ много красивыхъ вещей. Отъ слѣдователя пахло чѣмъ-то пріятнымъ. И все это развлекало Лунева, успокаивало его и вызывало въ немъ завистливыя думы:

„Ишь какъ люди живутъ... Должно быть, выгодно воровъ и убіецъ ловить... Сколько ему жалованья платятъ?“

— Нѣтъ? — повторилъ слѣдователь, какъ бы удивлен-

ый чѣмъ-то. — А развѣ Олимпіада Петровна вамъ ни-
его не сообщала?

— Нѣтъ... я ее давно уже не видалъ...

Слѣдователь откачнулся на спинку кресла и опять мѣшно вытянулъ губы.

— А какъ давно?

— Н-не знаю... Дёнъ... восемь, девять, пожалуй...

— Ага! Такъ-съ... А что, скажите, часто вы у нея стрѣчали старика Полуэктова?

— Это убитаго-то?..—спросилъ Илья, взглянувъ въ лаза слѣдователя.

— Вотъ, вотъ! Его...

— Не встрѣчалъ никогда...

— Никогда?! Мм...

— Никогда...

Слѣдователь кидалъ вопросы быстро, съ какой-то ебрежностью, а когда Илья, отвѣчавшій не торопясь, собенно замедлялъ отвѣтомъ, чиновникъ нетерпѣливо тучалъ пальцами по столу.

— Вамъ было извѣстно, что Олимпіада Петровна жила на содержаніи Полуэктова?—неожиданно спро-илъ онъ, глядя черезъ очки въ глаза Ильѣ.

Луневъ покраснѣлъ подъ этимъ взглядомъ, — ему тало обидно.

— Нѣтъ, — глухо отвѣтилъ онъ.

— Да-съ, она жила у него на содержаніи, — повто-илъ слѣдователь раздражающимъ голосомъ. — По мое-у, это нехорошо,—добавилъ онъ, видя, что Илья не обирается отвѣтить ему.

— Чего ужъ хорошаго!—негромко сказалъ Илья.

— Не правда ли?

Но Илья снова не отвѣтилъ.

— А вы давно... знакомы съ ней?

— Больше года...

— Значитъ, познакомились еще до ея знакомства ъ Полуэктовымъ?

„Умная ты собака!“—подумалъ Илья и спокойно отвѣтилъ:

— Какъ я могу это знать, ежели того, что она... съ покойникомъ жила, не зналъ?

Слѣдователь сложилъ губы трубочкой, посвисталъ и началъ просматривать какую-то бумагу. А Луневъ вновь уставился на картину, чувствуя, что интересъ къ ней помогаетъ ему быть спокойнымъ. Откуда-то донесся веселый, звонкій смѣхъ ребенка. Потомъ женскій голосъ, радостный и ласковый, протяжно запѣлъ:

„Зои-нь-ка, ма-ти-нька, ду-си-нька, лю-би-нька!..“

— Васъ, кажется, очень занимаетъ эта гравюра?— раздался голосъ слѣдователя.

— Куда это Христосъ идетъ?—тихо спросилъ Илья.

Слѣдователь посмотрѣлъ въ лицо ему скучными, разочарованными глазами и, помолчавъ, сказалъ:

— А видите,—сошелъ на землю и смотритъ, какъ люди исполнили его благіе завѣты. Идетъ Онъ полемъ битвы, вокругъ видитъ убитыхъ людей, развалины домовъ, пожаръ, грабежи...

— А съ неба-то Онъ этого развѣ не видитъ?—спросилъ Илья.

— Мм... Это... написано для вящшей наглядности... э-э... для того, чтобы показать несоотвѣтствіе между жизнью дѣйствительной и ученіемъ Христа о ней... Ну, однако, мнѣ надо васъ спросить еще кое о чемъ.

Илья отвернулся отъ картины и сталъ смотрѣть въ лицо слѣдователя. Снова посыпались какіе-то маленькіе, незначительные вопросы, надоѣдавшіе Луневу, какъ осеннія мухи. Онъ уставалъ отъ нихъ, чувствовалъ, что они притупляютъ его вниманіе, что его осторожность усыпляется ихъ пустой, однообразной трескотней. Онъ злился на слѣдователя, понимая, что тотъ нарочно утомляетъ его.

— Вы не можете сказать,—небрежно, быстро спра-

шивалъ слѣдователь,—гдѣ вы были въ четвергъ между двумя и тремя часами?

— Въ трактирѣ чай пилъ,—сказалъ Илья.

— А! Въ какомъ? Гдѣ?

— Въ Плевнѣ...

— Почему вы съ такой точностью говорите, что именно въ это время вы были въ трактирѣ?

Лицо у слѣдователя дрогнуло, онъ навалился грудью на столъ и его вспыхнувшіе глаза какъ бы вцѣпились въ глаза Лунева. Илья помолчалъ нѣсколько секундъ, потомъ вздохнулъ и, не торопясь, сказалъ:

— А передъ тѣмъ, какъ въ трактиръ идти, я спрашивалъ время у полицейскаго.

Слѣдователь вновь откинулся на спинку кресла и, взявъ карандашъ, застучалъ имъ по своимъ ногтямъ.

— Полицейскій сказалъ мнѣ, что былъ второй часъ... двадцать минутъ, что ли...—медленно говорилъ Илья.

— Онъ васъ знаетъ?

— Да...

— У васъ своихъ часовъ нѣтъ?

— Нѣтъ...

— Вы и раньше спрашивали у него о времени?

— Случалось...

— Дума тутъ недалеко, на думѣ вѣдь есть часы?

— Забываешь взглянуть...

— Долго сидѣли въ Плевнѣ?

— Пока не закричали про убійство...

— А потомъ куда пошли?

— Смотрѣть на убитаго.

— Видѣлъ васъ кто-нибудь на мѣстѣ... у лавочки?

— Тотъ же полицейскій видѣлъ... онъ даже прогонялъ меня оттуда... толкалъ...

— Это прекрасно!—съ одобреніемъ воскликнулъ слѣдователь и небрежно, не глядя на Лунева, спросилъ:

— Вы о времени у полицейскаго спрашивали до убійства, или уже послѣ?

Илья понялъ вопросъ. Онъ круто повернулся на стулѣ отъ злобы къ этому человѣку въ ослѣпительно бѣлой рубашкѣ, къ его тонкимъ пальцамъ съ чистыми ногтями, къ золоту его очковъ и этимъ острымъ, темнымъ глазамъ. Онъ отвѣтилъ ему вопросомъ:

— А какъ я могу про это знать?

Слѣдователь сухо кашлянулъ и потеръ руки такъ, что у него хрустѣли пальцы.

— Чудесно!—недовольнымъ голосомъ сказалъ онъ.— Ве-ли-ко-лѣ-пно... Да-съ.

И онъ устало потянулся въ креслѣ.

— Хорошо-съ... Еще нѣсколько вопросовъ, и я васъ отпущу...

Теперь слѣдователь спрашивалъ уже скучнымъ голосомъ, не торопясь и, видимо, не ожидая услышать что-либо интересное; а Илья отвѣчалъ и все ждалъ вопроса, подобнаго вопросу о времени. Каждое слово, произносимое имъ, звучало въ груди его, какъ въ пустотѣ, и какъ будто задѣвало тамъ туго натянутую струну. Но слѣдователь уже не задавалъ ему коварныхъ вопросовъ.

— Когда вы проходили въ этотъ день по улицѣ, не помните ли, не встрѣтился ли вамъ человѣкъ высокаго роста, въ полушубкѣ и черной барашковой шапкѣ?

— Нѣтъ...—сурово сказалъ Луневъ.

— Ну-съ, послушайте ваше показаніе, а потомъ подпишите его... И, закрывъ лицо листомъ исписанной бумаги, онъ быстро и однотонно началъ читать, а, прочитавъ, сунулъ въ руку Лунева перо. Илья наклонился надъ столомъ, подписалъ, медленно поднялся со стула и, поглядѣвъ на слѣдователя, глухо и твердо выговорилъ:

— Прощайте!..

Тотъ отвѣтилъ ему небрежнымъ, барскимъ кивкомъ головы и, наклонясь надъ столомъ, началъ писать. Илья стоялъ. Ему хотѣлось сказать что-нибудь этому чело-

:ѣку, такъ долго мучившему его. Въ тишинѣ былъ лышенъ скрипъ пера, изъ внутреннихъ комнатъ доноилось пѣніе:

„Потанцуйте, потанцуйте, маленькія куколки...“

— Вы что?—спросилъ слѣдователь вдругъ, поднявъ олову.

— Ничего...—угрюмо отвѣтилъ Луневъ.

— Я вамъ сказалъ—можете идти...

— Ухожу...

— Ну, вотъ...

Они смотрѣли другъ на друга въ упоръ, и Луневъ очувствовалъ, что въ груди у него что-то растетъ— яжелое, страшное. Быстро повернувшись къ двери нъ вышелъ вонъ и на улицѣ, охваченный холоднымъ ѣтромъ, почувствовалъ, что тѣло его все мокро отъ ота. Черезъ полчаса онъ былъ у Олимпіады. Она сама тперла ему дверь, увидавъ изъ окна, что онъ подъѣхалъ къ дому, и встрѣтила его съ радостью матери. Іицо у нея было блѣдное, а глаза увеличились и сморѣли безпокойно.

— Умница ты!—воскликнула она, когда Илья скаалъ, что пріѣхалъ прямо отъ слѣдователя. — Такъ и іадо, такъ! Ну, что онъ?

— Жуликъ!—злобно сказалъ Илья.—Ловушки ставилъ...

— Ему безъ этого нельзя,—резонно замѣтила женщина,—Богъ съ нимъ. Такая ужъ поганая должность...

— Говори прямо — такъ молъ и такъ: думаютъ на засъ...

— Да вѣдь и ты не прямо! — съ улыбкою сказала Олимпіада.

— Я?—съ удивленіемъ спросилъ Луневъ. — Да-а... зъ самомъ дѣлѣ! Ахъ, чортъ!.. — Его очень поразило что-то, и онъ, помолчавъ, сказалъ:

— А сидя передъ нимъ, я... ей-Богу правымъ себя чувствовалъ. И... вообще...

[redacted]

— Ну, слава Богу!—радостно вскричала Олимпіада.— Все хорошо обошлось...

Илья съ улыбкой взглянулъ на нее и медленно заговорилъ:

— А вѣдь мнѣ врать-то совсѣмъ не много пришлось... Везетъ мнѣ, Липа!..

И онъ странно засмѣялся.

— А за мной сыщики сильно поглядываютъ,—вполголоса сообщила Олимпіада.—Да и за тобой, навѣрно...

— Ка-акъ же!—со злобой и насмѣшкой воскликнулъ Луневъ. — Нюхаютъ, обложить хотятъ, какъ волка въ лѣсу. Ничего не будетъ... не ихъ дѣло! И не волкъ я, а несчастный человѣкъ... Я никого не хотѣлъ душить, меня самого судьба душитъ... какъ у Пашки въ стихѣ сказано... И Пашку душитъ, и Якова... и всѣхъ.

— Ничего, Илюша, — сказала женщина, заваривая чай.—Все обойдется по-хорошему...

Луневъ всталъ съ дивана, подошелъ къ окну и, глядя на улицу, угрюмо, со злымъ недоумѣніемъ въ голосѣ продолжалъ:

— Всю жизнь я въ мерзость носомъ тычусь... что не люблю, что ненавижу — къ тому меня и толкаетъ. Никогда не видалъ я такого человѣка, чтобы съ радостью на него поглядѣть можно было... Неужто никакой чистоты въ жизни нѣтъ? Вотъ задавилъ я этого... твоего... зачѣмъ мнѣ? Только испачкался, душу себѣ надорвалъ... Деньги взялъ... не брать бы надо.

— Не горюй! — утѣшала его Олимпіада. — Жалѣть его—сердца нѣтъ.

— Я—не жалѣю... Я... оправдаться хочу. Всякъ себя оправдываетъ, потому—жить надо!.. Вонъ слѣдователь— живетъ, какъ конфетка въ коробочкѣ... Онъ никого не удушитъ. Онъ можетъ праведно жить... чистота вокругъ...

— Погоди, уѣдемъ мы съ тобой изъ этого города...

— Нѣ-ѣтъ, я никуда не уѣду!—твердо сказалъ Лу-

евъ, оборачиваясь къ женщинѣ. И грозя кому-то, онъ обавилъ:

— Нѣтъ, погоди! Я подожду, погляжу, что дальше удетъ...

Олимпіада на минутку задумалась. Она сидѣла у гола, предъ самоваромъ, пышная и красивая, въ бѣомъ широкомъ капотѣ.

— Я еще поспорю,—значительно кивая головой, горилъ Луневъ, расхаживая по комнатѣ.

— А!—обиженно воскликнула женщина, — ты это отому не хочешь ѣхать, что боишься меня? Думаешь, теперь навсегда тебя въ руки заберу, думаешь, коли про тебя... это знаю—пользоваться буду? Ошибся, миый, да! Насильно я тебя за собой не потащу...

Она говорила спокойно, но губы у нея вздрагивали, акъ отъ боли.

— Что ты говоришь? — удивленно вслушиваясь въ я слова, спросилъ Луневъ.

— Неволить я тебя не стану, не бойся. Ты иди, куда очешь,—пожалуйста!

— Погоди!—сказалъ Илья, садясь рядомъ съ нею и взявъ ее за руку.—Не понимаю я, съ чего ты этакъ аговорила?

— Притворяйся!—тоскливо крикнула Олимпіада, выернувъ свою руку изъ его руки.—Знаю я—ты гордый, ы жесткій! Старика ты мнѣ простить не можешь и противна тебѣ жизнь моя... думаешь ты теперь, что изъ-за меня все это вышло... ненавидишь меня...

— Врешь!—гордо сказалъ Илья. — Врешь ты, — ни въ чемъ я не виню тебя. Я знаю — для нашего брата чистыхъ да безгрѣшныхъ женщинъ не приготовлено... намъ онѣ дороги. Какъ же? На нихъ вѣдь жениться надо: онѣ дѣтей родятъ... Чистое—все для богатыхъ... а намъ—огрызочки, намъ—ососочки, намъ—заплеванное да захватанное.

— И оставь меня, захватанную!—вскрикнула Олим-

піада, вскочивъ со стула.—Уходи!—Но тутъ на глазахъ ея сверкнули слезы, и она осыпала Илью горячими, какъ угли, словами:

— Я сама, своей волей залѣзла въ эту яму... потому что въ ней денегъ много... Я по нимъ, какъ по лѣстницѣ, назадъ поднимусь... и опять буду хорошо жить.. и ты мнѣ въ этомъ помогъ. Знаю... И люблю тебя—хоть десятерыхъ задуши. Я въ тебѣ не добродѣтель люблю,—гордость люблю... молодость твою, голову твою кудрявую, руки сильныя, глаза твои строгіе... укоры твои—какъ ножи въ сердцѣ мнѣ... зато я тебѣ буду... по гробъ благодарна... ноги поцѣлую,—на!

Она свалилась въ ноги къ нему и цѣловала его колѣни, вскрикивая:

— Богъ—видитъ! Я для своего спасенія согрѣшила, вѣдь Ему же лучше, ежели я не всю жизнь въ грязи проживу... а пройду скрозь ее и снова буду чистая,—тогда вымолю прощеніе Его... Не хочу я всю жизнь маяться! Меня всю испачкали... всю испоганили... мнѣ всѣхъ слезъ моихъ не хватитъ, чтобы вымыться...

Илья сначала отталкивалъ ее отъ себя, пытаясь поднять съ пола, но она крѣпко вцѣпилась въ него и, положивъ голову на колѣни, терлась лицомъ о его ноги и все говорила задыхающимся, глухимъ голосомъ. Тогда онъ сталъ гладить ее дрожащей рукой, а потомъ, приподнявъ съ пола, обнялъ и положилъ ея голову на плечо себѣ. Горячая щека женщины плотно коснулась его щеки, и, стоя на колѣняхъ предъ нимъ, охваченная его сильной рукой, она все говорила, опуская голосъ до шопота:

— Развѣ кому лучше, коли человѣкъ, разъ согрѣшивъ, на всю жизнь останется въ униженіи?.. Дѣвчонкой, когда вотчимъ ко мнѣ съ пакостью приставалъ, я его тяпкой ударила... я не хотѣла. Потомъ—одолѣли меня... дѣвочку пьяной напоили... дѣвочка была... чистенькая... какъ яблочко, была твердая вся, вся румя-

ная... Плакала надъ собой... жаль было себя... красоты, своей... Не хотѣла я, не хотѣла... А потомъ—вижу... все равно. Нѣтъ поворота... Дай, думаю, хошь дороже пойду. Возненавидѣла всѣхъ, воровала деньги, пьянствовала... До тебя съ душой не цѣловала никого...

Она окончила свои слова тихимъ шопотомъ и вдругъ рванулась изъ объятій Ильи:

— Пусти!

Онъ еще крѣпче стиснулъ ее руками и началъ цѣловать ея лицо со страстью, съ отчаяніемъ.

— На слова твои мнѣ сказать нечего...—горячо заговорилъ Луневъ.—Одно скажу—насъ не жаль никому... ну, и намъ жалѣть некого... Хорошо говорила ты... Хорошая ты моя... люблю тебя... ну, не знаю какъ! Не словами это можно сказать...

Ея рѣчи, ея жалобы въ самомъ дѣлѣ возбудили въ немъ горячее, свѣтлое чувство къ этой женщинѣ. Ея горе какъ бы слилось съ его несчастіемъ въ одно цѣлое и породнило ихъ. Крѣпко обнявъ другъ друга, они долго тихими голосами разсказывали одинъ другому про свои обиды.

— Не будетъ намъ съ тобой счастья,—сказала женщина, качая головой безнадежно.

— Ну, несчастье попразднуемъ... Въ каторгу понадобится идти—вмѣстѣ айда? Слышишь? А пока—будемъ горе съ любовью изживать... Теперь мнѣ—хошь жги меня огнемъ... На душѣ—легко... Не хочу ни въ чемъ каяться!

Взволнованные разговоромъ, возбужденные ласками, они смотрѣли другъ на друга, какъ сквозь туманъ. Имъ было жарко отъ объятій и тѣсно въ одеждахъ...

За окнами небо было сѣрое, скучное. Холодная мгла одѣвала землю, осѣдая на деревьяхъ бѣлымъ инеемъ. Въ полисадникѣ предъ окнами тихо покачивались тонкія вѣтви молодой березы, стряхивая снѣжинки. Зимній вечеръ наступалъ...

Черезъ нѣсколько дней Луневъ узналъ, что по дѣлу объ убійствѣ купца Полуэктова полиція ищетъ какого-то высокаго человѣка въ барашковой шапкѣ. При осмотрѣ вещей въ лавкѣ убитаго были найдены двѣ серебряныя ризы съ иконъ, и оказалось, что онѣ краденыя. Мальчикъ, служившій въ лавкѣ, показалъ, что эти ризы были куплены дня за три до убійства у человѣка высокаго роста, въ полушубкѣ, по имени Андрея, что человѣкъ этотъ не однажды продавалъ Полуэктову разныя серебряныя и золотыя вещи и что Полуэктовъ давалъ ему деньги въ долгъ. Потомъ стало извѣстно, что наканунѣ и въ самый день убійства человѣкъ, подходящій подъ описаніе мальчика, кутилъ въ публичныхъ домахъ.

Каждый день Илья слышалъ что-нибудь новое по этому дѣлу: весь городъ былъ заинтересованъ дерзкимъ убійствомъ, о немъ говорили всюду,—въ трактирахъ, на улицахъ. Но Лунева почти не интересовали эти разговоры: мысль объ опасности отвалилась отъ его сердца, какъ корка отъ язвы, и на мѣстѣ ея онъ ощущалъ только какую-то неловкость. Онъ думалъ лишь объ одномъ: какъ теперь будетъ онъ жить? Что ждетъ его впереди?

И чувствовалъ себя, какъ рекрутъ предъ наборомъ, какъ человѣкъ, собравшійся въ далекій, неизвѣстный ему путь. За послѣднее время къ нему усиленно приставалъ Яковъ. Растрепанный, одѣтый кое-какъ, онъ совался по трактиру и по двору безцѣльно, смотрѣлъ на все разсѣянно, блуждавшими глазами и имѣлъ видъ человѣка, занятаго какими-то особенными соображеніями. Встрѣчаясь съ Ильей, онъ таинственно и торопливо, вполголоса или шопотомъ, спрашивалъ его:

— У тебя нѣтъ время потолковать со мной?

— Погоди, некогда...

— Ахъ ты!.. а дѣло важное.

— Что такое?—спросилъ Илья.

— Книга-то! Объясняетъ себя такъ, братъ, что ой-ой!—пугливо сказалъ Яковъ.

— А, ну тебя съ книгами! Ты вотъ что скажи: съ чего это отецъ твой на меня звѣремъ смотритъ?

Но то, что совершалось въ дѣйствительности, не задѣвало вниманія Якова. Въ отвѣтъ на вопросъ товарища онъ съ недоумѣніемъ вытаращилъ глаза и освѣдомился:

— А что? Я ничего не знаю. Т. е... слышалъ я тутъ разъ... дядѣ твоему онъ говорилъ... что-то вродѣ того, будто ты фальшивыми деньгами торгуешь... да вѣдь это такъ онъ, зря...

— А ты почему знаешь, что зря?—съ улыбкой спросилъ Илья.

— Ну, что тамъ? Какія деньги? Ерунда все!..—И махнувъ рукой, Яковъ задумался.

— Поговорить-то нѣтъ у тебя время?—спросилъ онъ черезъ минуту, оглядывая товарища блуждающими глазами.

— Про книгу?

— Да-а... Тутъ одно мѣсто понялъ я,—фу, фу, фу-у, братъ ты мой...

И философъ сдѣлалъ такую гримасу, точно обжегся чѣмъ-то горячимъ. Луневъ смотрѣлъ на товарища, какъ на чудака, какъ на юродиваго. Порою Яковъ казался ему слѣпымъ и всегда — несчастнымъ, негоднымъ для жизни. Въ домѣ говорили,—и вся улица знала это,—что Петруха Филимоновъ хочетъ вѣнчаться со своей любовницей, содержавшей въ городѣ одинъ изъ дорогихъ домовъ терпимости, но Яковъ относился къ этому съ полнымъ равнодушіемъ. И когда Луневъ спросилъ его, скоро ли свадьба, Яковъ тоже спросилъ:

— Чья?

— Отца твоего...

— А! Кто его знаетъ... Вотъ безстыдникъ! Нашелъ жену—тьфу!

— А ты знаешь, что у нея сынъ есть — большой ужъ, въ гимназіи учится?

— Нѣтъ, не зналъ... а что?

— Такъ... наслѣдникъ будетъ твоему отцу...

— Ага!—равнодушно сказалъ Яковъ. И вдругъ оживился.

— Сынъ,—говоришь?

— Ну, да...

— Сынъ... Это на пользу мнѣ, пожалуй, а? Вотъ бы отецъ-то мой этого бы самаго сына-то да за буфетъ и опредѣлилъ бы? А меня бы—куда хочу... Вотъ бы...

И, предвкушая свободу, Яковъ смачно щелкнулъ языкомъ. Луневъ посмотрѣлъ на него съ сожалѣніемъ и сказалъ съ усмѣшкой:

— Вѣрно говорится, что глупому чаду — морковку надо, а дай хлѣба ему—не подставитъ суму. Эхъ ты! Не придумаю я, какъ жить будешь?

Яковъ насторожился, выкатилъ глаза и быстрымъ шопотомъ повѣдалъ:

— Я думалъ про это, знаю ужъ. Прежде всего надо устроить порядокъ въ душѣ... Надо понять, чего отъ тебя Богъ хочетъ? Теперь я вижу одно: спутались всѣ люди, какъ нитки, тянетъ ихъ въ разныя стороны, а кому куда надо вытянуться, кто къ чему долженъ крѣпче себя привязать—неизвѣстно. Родился человѣкъ,—невѣдомо зачѣмъ; живетъ,—не знаю для чего, смерть придетъ—все порветъ... Стало быть, прежде всего надо узнать, къ чему я опредѣленъ... Во-отъ!..

— Экъ ты въѣлся въ эти разсужденія твои, — напряженно сказалъ Луневъ.—И какой въ нихъ толкъ?

Онъ чувствовалъ, что теперь темныя рѣчи Якова задѣваютъ его сильнѣе, чѣмъ прежде, бывало, задѣвали, и что эти слова будятъ въ немъ, какія-то особыя думы. Ему казалось, что кто-то черный въ немъ, тотъ, который всегда противорѣчилъ всѣмъ его простымъ и яснымъ мечтамъ о чистой жизни, теперь съ особенной

жадностью вслушивается въ рѣчи Якова и ворочается въ душѣ его, какъ ребенокъ въ утробѣ матери. Это былъ непріятно Ильѣ, смущало его, казалось ему ненужнымъ, и онъ избѣгалъ разговоровъ съ Яковомъ.

Но отвязаться отъ товарища было нелегко.

— Какой толкъ? Самый простой. Безъ этого — какъ безъ огня. Куда идешь? Ага! Всегда надо знать, куда идешь и зачѣмъ, и вѣрно ли...

— Ты, Яковъ, вродѣ старика... скушно съ тобой. По моему—и свинья ищетъ удачи, а человѣкъ—тѣмъ паче,— какъ говорится. Ну, прощай.

Но теперь, послѣ этихъ разговоровъ, онъ чувствовалъ себя такъ, точно много соленаго поѣлъ: какая-то тяжкая жажда охватывала его, хотѣлось чего-то особеннаго. Къ его тяжелымъ, мглистымъ думамъ о Богѣ примѣшивалось теперь что-то ожесточенное, требовательное.

— Все видитъ, а допускаетъ...—думалъ онъ, хмуря брови, и чувствовалъ, что душа его заплуталась въ черномъ, неразрѣшимомъ для него противорѣчіи. Тогда онъ шелъ къ Олимпіадѣ и въ ея объятіяхъ прятался отъ всѣхъ своихъ думъ и безпокойствъ.

Изрѣдка посѣщалъ онъ и Вѣру. Веселая жизнь постепенно засасывала эту дѣвушку въ свой глубокій, грязный омутъ. Она съ восторгомъ разсказывала Ильѣ о кутежахъ съ богатыми купчиками, съ чиновниками и офицерами, о тройкахъ, ресторанахъ. Она показывала ему подарки отъ поклонниковъ: новыя платья, кофточки. Полненькая, стройная, крѣпкая, она съ гордостью хвасталась тѣмъ, какъ ея поклонники спорятъ и ссорятся за обладаніе ею. Луневъ любовался ея здоровьемъ, красотой и весельемъ, но не разъ осторожно замѣчалъ ей:

— Завертитесь вы, Вѣрочка, въ этой игрѣ...

— А, такъ что? Туда мнѣ и дорога... По крайней мѣрѣ, съ шикомъ. Взяла сколько умѣла, и—кончено.

— Ну, а Павелъ...

При имени возлюбленнаго ея брови вздрагивали и весёлье исчезало.

—Отошелъ бы онъ отъ меня...—говорила она.—Трудно ему со мной... и напрасно онъ мучается... Бралъ бы, сколько есть... Но онъ все хочетъ... А я ужъ не остановлюсь... попала муха въ патоку...

— Не любите его?—спросилъ Илья.

— Его нельзя не любить, — совершенно серьезно возразила она. - Онъ... удивительный.

— Такъ что же? Жили бы съ нимъ...

— Съ ни-имъ? Это чтобы на шеѣ у него сидѣть? Вѣдь онъ едва для себя хлѣба добивается, какъ же ему содержать меня? Нѣтъ, мнѣ его жалко...

— Смотрите, худа не было бы... — предупредилъ ее Луневъ однажды.

— Ахъ Господи!—воскликнула Вѣра съ досадой.— Ну, какъ же быть? Неужели я для одного человѣка родилась? Вѣдь всякому хочется жить весело... И всякій для себя живетъ... какъ ему нравится... И онъ, и вы, и я.

— Н-ну, это не такъ!—угрюмо и вдумчиво сказалъ Илья.—Живемъ мы всѣ... но только—не для себя...

— А для кого же?

— Вы вотъ—для купцовъ... для кутилъ разныхъ...

— Я сама кутила,—сказала Вѣра и весело расхохоталась.

Луневъ уходилъ отъ нея съ грустью. Павла онъ встрѣчалъ за это время раза два, но мелькомъ. Заставая товарища у Вѣры, Павелъ хмурился и злился. Онъ сидѣлъ при Луневѣ молча, стиснувъ зубы, и на его худыхъ щекахъ загорались красныя пятна. Илья понималъ, что товарищъ ревнуетъ его, и ему это было пріятно. Но въ то же время онъ ясно видѣлъ, что Грачевъ влѣзъ въ петлю, изъ которой врядъ ли вывернется безъ большого ущерба для себя. И, жалѣючи Павла, а еще больше Вѣру, онъ пересталъ ходить къ ней. Съ

Олимпіадой онъ вновь переживалъ медовый мѣсяцъ. Но и сюда врывался холодокъ, отъ котораго у Ильи щемило сердце. Иногда среди разговора онъ вдругъ угрюмо задумывался. Тогда Олимпіада говорила ему ласковымъ шопотомъ:

— Милый! А ты не думай... Мало на свѣтѣ людей, у которыхъ руки-то чистенькія...

— Вотъ что, — сухо и серьезно отвѣчалъ ей Луневъ,—прошу я тебя, не заводи ты со мной разговора объ этомъ. Не о рукахъ, а о душѣ я думаю... Ты хоть и умная, а моей мысли понять не можешь... Ты вотъ скажи: какъ быть, какъ поступать надо, чтобы жить честно и чисто, спокойно и безобидно для людей? Н-да.. А про старика молчи...

Но она не умѣла молчать про старика и все уговаривала Илью забыть о немъ. Луневъ сердился и уходилъ отъ нея. А когда онъ являлся снова, она бѣшено кричала ему, что онъ ее изъ боязни любитъ да изъ милости, что она этого не хочетъ и броситъ его, уѣдетъ изъ города. И она плакала, щипала Илью, кусала ему плечи, цѣловала ноги, а потомъ, въ изступленіи, сбрасывала съ себя одежду и, нагая стоя передъ нимъ, говорила:

— Али я не хороша? Али тѣло у меня не красивое?.. Каждой жилочкой люблю тебя, всей моей кровью люблю... рѣжь меня—смѣяться буду...

Голубые глаза ея темнѣли, губы жадно вздрагивали и грудь высоко поднимаясь, какъ бы рвалась навстрѣчу Ильѣ. Онъ обнималъ ее, цѣловалъ, сколько силы хватало, а потомъ, идя домой, думалъ: какъ же она, такая живая и горячая, какъ она могла выносить поганыя ласки старика?— и Олимпіада казалась ему противной, жалкой, онъ съ отвращеніемъ плевалъ, вспоминая ея поцѣлуи. Однажды, послѣ взрыва ея страсти, онъ, пресыщенный ласками, сказалъ ей:

— А вѣдь съ той поры, какъ я стараго чорта удушилъ, ты меня крѣпче любить стала...

— Ну да... а что?

— Та-акъ. Смѣшно мнѣ подумать... есть эдакіе люди... имъ тухлое яйцо—слаще свѣжаго кажется, а иные любятъ съѣсть яблоко, когда оно загнило... чудно!..

Олимпіада взглянула на него мутными глазами, лѣниво улыбнулась и не отвѣтила.

Какъ-то разъ, когда Илья, придя изъ города, раздѣвался, въ комнату тихо вошелъ Терентій. Онъ плотно притворилъ за собою дверь, но стоялъ около нея нѣсколько секундъ, какъ бы что-то подслушивая, и, тряхнувъ горбомъ, заперъ дверь на крюкъ. Илья, замѣтивъ все это, съ усмѣшкой поглядѣлъ на его лицо.

— Илюша!—вполголоса сказалъ Терентій, садясь на стулъ.

— Ну?

— Развелись тутъ про тебя разные слухи... Нехорошо говорятъ...

И горбунъ тяжело вздохнулъ, опустивъ глаза.

— А какъ, примѣрно?—спросилъ Илья, снимая сапоги.

— Да... кто что... Одни—будто ты къ дѣлу этому коснулся... Купца-то задавили... Другіе—будто фальшивой монетой промышляешь ты...

— Завидуютъ, что ли?—спросилъ Илья.

— Ходили сюда разные... люди, подобные тайной полиціи... т. е. вродѣ какъ бы сыщиковъ... И все Петруху разспрашивали про тебя...

— Ну, и пусть ихъ стараются,—равнодушно сказалъ Илья.

— Это—конечно. Что намъ до нихъ, коли мы за собой никакого грѣха не знаемъ?

Илья засмѣялся и легъ на постель.

— Теперь они уже перестали... не являются. Но только... самъ Петруха началъ...—смущенно, робкимъ голосомъ говорилъ Терентій.—Шипитъ онъ все, Петруха-то... Ты бы, Илюша, на квартирку куда-нибудь

[redacted]

съѣхалъ... нашелъ бы себѣ комнатенку и жилъ... да! А то Петруха говоритъ: я, говоритъ, темныхъ людей въ своемъ домѣ не могу терпѣть, я, говоритъ, гласный человѣкъ...

Илья повернулъ къ дядѣ лицо, потемнѣвшее отъ злости, и громко сказалъ:

— Вотъ что... Ежели его лаковая рожа мила ему,— молчалъ бы. Такъ и скажи... Услышу я его неуважительное слово обо мнѣ—башку въ дресву разобью. Кто я, тамъ, ни есть, не ему, жулику, меня судить. А отсюда я съѣду... когда захочу. Покамѣстъ—не уйду. Хочу еще пожить съ людьми свѣтлыми да праведными...

Горбунъ испугался гнѣва Ильи. Онъ съ минуту молчалъ, сидя на стулѣ и тихонько почесывая горбъ, глядѣлъ на племянника большими глазами, со страхомъ и ожиданіемъ. Илья, плотно сжавъ губы, широко раскрытыми глазами смотрѣлъ въ потолокъ. Терентій тщательно ощупалъ взглядомъ его кудрявую голову, красивое, серьезное лицо съ маленькими усиками и крутымъ подбородкомъ, поглядѣлъ на его широкую грудь, измѣрилъ все крѣпкое и стройное тѣло и со вздохомъ, тихо заговорилъ:

— Молодецъ какой сталъ ты!.. Въ деревнѣ бы дѣвки за тобой стадами бѣгали... Въ деревню бы...

Илья молчалъ.

— Н-да... Зажилъ бы ты тамъ хорошо-о! Я бы деньжонокъ тебѣ добылъ... и открыть бы тебѣ лавочку да на богатой и жениться!.. хе, хе! И полетитъ твоя жизнь, какъ санки подъ гору.

— А, можетъ, я хочу на гору?—сумрачно сказалъ Илья.

— А конечно—на гору!—быстро подхватилъ Терентій.—Вѣдь это я такъ сказалъ—легкая, молъ, жизнь-то будетъ. Ну, а пойдетъ она въ гору...

— А съ горы куда?—спросилъ Илья.

Горбунъ взглянулъ на него и засмѣялся дребезжа-

щимъ смѣхомъ. Потомъ онъ снова началъ что-то говорить, но Илья уже не слушалъ его. Онъ вспоминалъ пережитое и думалъ, какъ все это ловко и незамѣтно подбирается въ жизни одно къ другому, точно нитки въ сѣти. Окружаютъ человѣка случаи и ведутъ его, куда хотятъ, какъ полиція жулика. Вотъ, думалъ онъ уйти изъ этого дома, чтобы жить одному,—и сейчасъ же находится удобный случай. Онъ съ испугомъ и пристально взглянулъ на дядю, но въ это время раздался стукъ въ дверь, и Терентій испуганно вскочилъ съ мѣста.

— Да ну, отпирай, — сердито и громко сказалъ Илья.

Когда горбунъ снялъ крючекъ, на порогѣ явился Яковъ съ большой рыжей книгой въ рукахъ.

— Илья, ты... этого... вотъ что: идемъ къ Машуткѣ,— оживленно сказалъ онъ, подходя къ постели.

— Что съ ней такое?—быстро спросилъ Илья.

— Съ ней? Не знаю... Ея дома нѣтъ...

— Куда это она по вечерамъ шляться стала?—спросилъ горбунъ нехорошимъ голосомъ.

— Она съ Матицей ходитъ,—сказалъ Яковъ.

— Ну, хорошаго съ ней не выходитъ,—медленно проговорилъ Терентій.

— Ничего!.. Идемъ, Илья!

Яковъ схватилъ Лунева за рукавъ и дергалъ его.

— Погоди! — сказалъ Луневъ. — Ты что — съ цѣпи сорвался?

— Знаешь—а вѣдь она и есть—черная магія, не иначе!—вполголоса говорилъ Яковъ.

— Кто?—надѣвая валенки, спросилъ Илья.

— Эта самая книга... ей-Богу! Вотъ увидишь... идемъ! Прямо говорю—чудеса!—продолжалъ Яковъ, ведя за собой товарища по темнымъ сѣнямъ.—Даже страшно читать... ну, только тянетъ она къ себѣ, какъ въ омутъ...

Илья чувствовалъ волненіе товарища, слышалъ, какъ

здрагиваетъ его голосъ, а когда они вошли въ комятку сапожника и зажгли въ ней огонь, онъ увидалъ, то лицо у Якова блѣдное, а глаза мутные и довольые, какъ у пьянаго.

— Ты выпилъ, что-ли?—спросилъ онъ, подозрительо приглядываясь къ Якову.

— Я? Нѣтъ, сегодня ни капли... Я вѣдь теперь не ью... такъ развѣ, для храбрости, когда отецъ дома, юмки двѣ-три хвачу, а больше ни-ни! Боюсь отца... [ью только такое, которое не пахнетъ водкой... Ну, броимъ это,—слушай!

Онъ съ трескомъ усѣлся на стулъ, раскрылъ книгу, изко наклонился надъ ней и, водя пальцемъ по желой отъ старости толстой бумагѣ, глухо, вздрагивающимъ олосомъ прочиталъ:

— „Глава третія. О первобытіи человѣковъ“—слуiай!

Вздохнувъ, онъ поднялъ кверху лѣвую руку, а паецъ правой передвигая по страницѣ, громко началъ итать:

„Повѣствуютъ, что первое человѣковъ бытіе—якоже видѣтельствуетъ Діодоръ — у добродѣтельныхъ мукей“,—слышишь?—у добродѣтельныхъ мужей!—„иже естествѣ вещей написаша—сугубое бѣ. Нѣцыи бо іняху яко не созданъ міръ и нетлѣненъ и родъ челоѣческій безъ всякаго бѣ начала предъ вѣки“...

Яковъ поднялъ голову отъ книги и, потрясая руою въ воздухѣ, шопотомъ сказалъ:

— Слышишь? Безъ на-ча-ла!..

— Читай дальше!—сказалъ Илья, подозрительно азглядывая старую переплетенную въ кожу книгу. 'огда вновь раздался тихій и восторженный голосъ Якова:

„Сего мудрствованія—свидѣтельствующу Цицероу—быша Пиѳагоръ Самійскій, Архита Терентинъ, Ілатонъ Аѳинскій, Ксенократъ, Аристотель Стагириткій и мнози иніи перипатетики тоежде мудрствовали

глаголюще: что вся еже въ вѣчнемъ семъ мірѣ суть и имуть быти—начала никакого не имяху“,—видишь? опять безъ начала! „Но кругъ нѣкій быти рождающихъ и рожденныхъ, въ немъ же коегождо рожденнаго начало купно и конецъ быти познавается...“

Илья протянулъ руку и, захлопнувъ книгу, съ усмѣшкой сказалъ:

— Брось! Ну ее къ чорту... Какіе-то нѣмцы мудрили тутъ—познавается! Ничего невозможно понять...

— Погоди!—боязливо оглянувшись вокругъ, воскликнулъ Яковъ и, вытаращивъ глаза въ лицо товарища, тихо спросилъ:

— Ты свое начало знаешь?

— Какое?—сердито крикнулъ Илья.

— Не кричи... Возьмемъ душу. Съ душой человѣкъ рождается, а?

— Ну?

— Стало быть, долженъ онъ знать—откуда явился и какъ? Душа, сказано, безсмертна... она всегда была... ага? Погоди, погоди! Не то надо знать, какъ ты родился, а какъ жилъ... Когда ты жилъ? Когда ты понялъ, что живешь? Родился ты живой,—ну, а когда ты живъ сталъ? Въ утробѣ матерней? Хорошо! А почему ты не помнишь не только того, какъ до родовъ жилъ, а и опосля лѣтъ до пяти ничего не знаешь? Ну-ка? И если душа,—то гдѣ она въ тебя входитъ? Ну-ка?

Глаза Якова горѣли торжествомъ, его лицо освѣщала улыбка удовольствія, и съ радостью, странной для Ильи, онъ вскричалъ:

— Вотъ-те и душа!

— Дуракъ!—строго взглянувъ на него, сказалъ Илья.—Чему радуешься?

— Да... я не радуюсь, а просто такъ...

— То-то, просто! Не въ томъ дѣло, отчего я живъ, а какъ мнѣ жить? Какъ жить, чтобы все было чисто, пріятно, чтобы меня никто не задѣвалъ и самъ я ни-

кого не трогалъ? Вотъ найди мнѣ книгу, гдѣ бы это объяснялось...

Яковъ сидѣлъ, понуря голову, задумчиво и молча. Его радостное возбужденіе погасло, не найдя отклика. И помолчавъ, онъ сказалъ въ отвѣтъ товарищу:

— Смотрю я на тебя... и чего-то не тово... не нравится мнѣ... Мыслей я твоихъ не понимаю... но вижу... началъ ты съ нѣкоторой поры гордиться чѣмъ-то, что ли... Ставить себя такъ, ровно ты праведникъ какой...

Илья засмѣялся.

— Чего смѣешься? Вѣрно. Судишь всѣхъ строго... Никого—не любишь, будто...

— И не люблю,—сказалъ Илья твердо.—Кого любить? За что? Какіе мнѣ дары людьми подарены?:. Каждый за своимъ кускомъ хлѣба хочетъ на чужой шеѣ доѣхать, а туда же говорятъ: люби меня, уважай меня! Нашли дурака! Уважь меня—я тебя тоже уважу! Подай мнѣ мою долю... я, можетъ, тебя полюблю тогда! Всѣ одинаково жрать хотятъ...

— Ну, чай, не одного жранья люди ищутъ,—непріязненно и недовольно возразилъ Яковъ.

— Знаю я! Всякъ себя чѣмъ-нибудь украшаетъ, но это—маска! Вижу я—дядюшка мой съ Богомъ торговаться хочетъ, какъ приказчикъ на отчетѣ съ хозяиномъ. Твой папаша хоругви въ церковь пожертвовалъ,—заключаю я изъ этого, что онъ или объегорилъ кого-нибудь, или собирается объегорить... И всѣ такъ, куда ни взгляни... На тебѣ грошъ, а ты мнѣ пятакъ положь... Такъ и всѣ морочатъ глаза другъ другу да оправданья себѣ другъ у друга ищутъ. А по-моему—согрѣшилъ вольно или невольно, ну и подставляй шею...

— Это ты вѣрно,—задумчиво сказалъ Яковъ,—и про отца вѣрно, и про горбатаго... Эхъ, не къ мѣсту мы съ тобой родились! Ты вотъ хоть злой; тѣмъ утѣшаешь себя, что всѣхъ судишь... и все строже су-

дишь... А я—и того не могу... Эхъ, уйти бы куда нибудь!—съ тоской вскричалъ Яковъ.

— Куда уйдешь?—спросилъ Илья, тонко усмѣхаясь.

— Н-да...

И оба они замолчали, уныло сидя другъ противъ друга у стола. А на столѣ лежала большая, рыжая книга въ кожаномъ переплетѣ съ желѣзными застежками...

Въ сѣняхъ кто-то завозился, послышались глухіе голоса, потомъ чья-то рука долго скребла по двери, ища скобу. Товарищи безмолвно ждали. Дверь отворилась медленно, не вдругъ, и въ подвалъ ввалился Перфишка. Онъ задѣлъ ногой за порогъ, покачнулся и упалъ на колѣни, поднявъ кверху правую руку съ гармоникой въ ней.

— Тпру!—сказалъ онъ и засмѣялся пьянымъ смѣхомъ. Вслѣдъ за нимъ влѣзла Матица. Она тотчасъ-же наклонилась къ сапожнику, взяла его подъ-мышки и стала поднимать, говоря тяжелымъ языкомъ:

— Ось, якъ нализався... э, пьяниця!

— Сваха! не тронь... я самъ встану... са-амъ...

Онъ закачался, съ усиліемъ всталъ на ноги и подошелъ къ товарищамъ, протягивая имъ лѣвую руку:

— Здрас-сте! Наше вамъ, ваше намъ...

Матица густо и безсмысленно захохотала.

— Откуда это вы?—спросилъ Илья.

А Яковъ смотрѣлъ на пьяныхъ съ улыбкой и молчалъ.

— Откуда? М-альчики! Милые... эхъ-ма!—Перфишка затопалъ ногами по полу и запѣлъ:

«Косточки, и-недоросточки!
Ко-огда кости подрастутъ,
Ихъ въ лавочку пр-родад-дутъ!»

Сваха! А то лучше споемъ ту, которой ты меня научила... Н-ну...

Онъ прислонился спиной къ печи рядомъ съ Маицей и, толкая бабу локтемъ въ бокъ, нащупывалъ альцами клавиши гармоніи.

— Гдѣ Машутка?—сурово спросилъ Илья.

— Эй вы!—крикнулъ Яковъ, вскакивая со стула.—'дѣ Марья-то, въ самомъ дѣлѣ?

Но пьяные не обратили вниманія на окрики. Матица клонила голову на бокъ и запѣла:

«Ой ку-уме, ку-уме, добра горилка...»

А Перфишка взмахнулъ гармоникой и подхватилъ ѣсню высокимъ голосомъ:

«Выпьемъ, ку-уме, для понедилка-а...»

Илья всталъ и, взявъ его за плечо, тряхнулъ такъ, то Перфишка стукнулся затылкомъ о печку.

— Дочь гдѣ?

— „Пр-ропад-дала его д-дочь, да и во самую во полючь“,—безсмысленно пробормоталъ Перфишка, хваіаясь рукой за голову.

Яковъ допрашивалъ Матицу, но она, ухмыляясь, 'оворила:

— А не скажу! Н-не скажу и не скажу...

— Они ее, пожалуй, продали, дьяволы,—сурово 'смѣхаясь, сказалъ Илья товарищу. Яковъ испуганно зглянулъ на него и жалкимъ голосомъ спросилъ саюжника:

— Перфилій, слушай! Гдѣ Машутка?..

— Ма-ашу-тка!—насмѣшливо протянула Матица.—Ага-а! Хвати-ился...

— Илья! Какъ же? Что же дѣлать?—съ тревогой прашивалъ Яковъ.

— Полиціи надо заявить,—сказалъ Илья, мрачно лядя на пьяныхъ.

— Сваха-а!—крикнулъ Перфишка, вдругъ весь проіявшій.—Слышь? Полиціи... х-хотятъ, ха, ха, ха!

— По-оли-нціи?—зловѣще тянула Матица, переводя свои огромные глаза съ Ильи на Якова, и вдругъ, нелѣпо взмахнувъ руками, заорала во всю силу груди:

— А не хочете вы сами у ту полицу? не хочете? И-идить вонъ зъ моіи хаты! Бо-це-моя хата! Бо мы тожь повѣнчаемось...

— Ха, ха, ха! — схватившись за животъ, хохоталъ сапожникъ.

— Уйдемъ, Яковъ,—сказалъ Илья.—Чортъ ихъ разберетъ... Идемъ!

— Погоди!—растерянно и пугливо говорилъ Яковъ.—Перфишка... Ну, скажи—въ самомъ дѣлѣ вы ее... ну, скажи—гдѣ Маша?

— Матица! Супруга моя, бери ихъ! Усь-усь... Лай на нихъ, грызи... ха, ха! Гдѣ Маша?

Перфишка сложилъ губы трубой и хотѣлъ свистнуть, но не могъ, а вмѣсто того высунулъ языкъ Якову и снова захохоталъ. Матица лѣзла грудью на Илью и неистово орала:

— А ты хто? Хиба я того не знаю?

Илья оттолкнулъ ее отъ себя и ушелъ изъ подвала. Въ сѣняхъ его догналъ Яковъ, схватилъ за плечо и, остановивъ въ темнотѣ, заговорилъ:

— Развѣ это можно? Развѣ дозволено? Она—маленькая, Илья! Неужто они ее выдали замужъ?

— Ну, не скули!—рѣзко остановилъ его Илья.—Не къ чему. Раньше бы присматривалъ за ними... Ты начала искалъ, а они, гляди,—кончили...

Яковъ умолкъ, но черезъ минуту, идя по двору сзади Лунева, онъ вновь заговорилъ:

— Я не виноватъ... Я зналъ, что она на поденщину ходитъ... комнаты убирать куда-то...

— А мнѣ чортъ съ тобой, виноватъ ты или нѣтъ!..—грубо сказалъ Илья, останавливаясь среди двора.—Бѣжать надо изъ этого дома... Поджечь его надо... Да...

— О Господи... Господи!—тихо сказалъ Яковъ, стоя

за спиной Лунева. Илья обернулся къ нему,—онъ стоялъ, безсильно опустивъ руки вдоль тѣла, и такъ наклонилъ голову, точно ждалъ удара.

— Заплачь! — насмѣшливо сказалъ Илья и ушелъ, оставивъ товарища въ темнотѣ среди двора.

Утромъ на другой день онъ узналъ отъ Перфишки, что Машутку дѣйствительно выдали замужъ за лавочника Хрѣнова, вдовца лѣтъ пятидесяти, недавно потерявшаго жену.

Потряхивая болѣвшей съ похмѣлья головой, Перфишка лежалъ на печи и спутанно разсказывалъ:

— Онъ мнѣ, значитъ, и говоритъ: у меня, говоритъ, двое дѣтей... У него два мальчика—одному пять лѣтъ, другому три года. Н-ну и того... Дескать — надо имъ няньку, а нянька есть чужой человѣкъ... воровать будетъ и все такое... Такъ ты-де уговори-ка дочь... Ну, я и уговорилъ... и Матица уговорила... Маша—умница, она поняла сразу все... Ей податься некуда... хуже бы вышло, лучше—никогда!.. Все равно, говоритъ, я пойду... И пошла. Въ три дня все окрутили... Намъ съ Матицей дано по трешней... но только мы ихъ сразу обѣ пропили вчера!.. Ну, и пьетъ эта Матица... лошадь столько не можетъ выпить!..

Илья слушалъ и молчалъ. Онъ понималъ, что Маша пристроилась лучше, чѣмъ можно было ожидать. Но все ему было жалко дѣвочку. Послѣднее время онъ почти не видалъ ея и не думалъ о ней, а теперь ему вдругъ показалось, что безъ нея домъ этотъ сталъ хуже, грязнѣе.

Желтая, опухшая рожа сапожника смотрѣла съ печи на Илью, хриплый голосъ Перфишки скрипѣлъ, какъ надломленный сучокъ осенью на деревѣ.

— Поставилъ мнѣ Хрѣновъ задачу, чтобы я къ нему—ни ногой!.. Въ лавку, говоритъ, изрѣдка заходи, на шкаликъ дамъ... но въ домъ, какъ въ рай, — и не надѣйся!.. Илья Яковлевичъ! Не будетъ ли отъ тебя

пятачка, чтобы мнѣ опохмѣлиться? Дай, сдѣлай милость...

— Погоди, дамъ!—сказалъ Луневъ.—Ну, а ты теперь... какъ же?

Сапожникъ сплюнулъ на полъ и отвѣтилъ:

— Я теперь—окончательно сопьюсь... Когда Маша была не пристроена, я хоть стѣснялся... иной разъ и поработаю... вродѣ совѣсти у меня къ ней было... Ну, а теперь я знаю, что она сыта, обута, одѣта и какъ... въ сундукъ заперта!.. Значитъ, свободно займусь повсемѣстнымъ пьянствомъ...

— Ужъ не можешь бросить водку?

— Никакъ!—отрицательно мотая всклокоченной башкой, отвѣтилъ сапожникъ.—И зачѣмъ?

— Ничего не хочешь въ жизни?

— Пятакъ дашь? Вотъ и все.

— Этого я не понимаю,—сказалъ Илья, передернувъ плечами.—Не могу понять, какъ можетъ человѣкъ жить и ничего не хотѣть въ жизни?

— То—человѣкъ, а то—я,—философски спокойно молвилъ Перфишка.—Чего человѣкъ хочетъ, о томъ судьба хлопочетъ,—вотъ оно что! А коли человѣкъ такой пустой, что въ него и не вложишь ничего,—какое судьбѣ дѣло до него? Я тебѣ вотъ что скажу: хотѣлъ я сдѣлать одно дѣльце... въ ту пору, когда еще покойница жена—жива была... Хотѣлъ я тогда урвать кусокъ у дѣдушки Еремѣя... Думалъ такъ: не я—другой, все равно старика ограбятъ... Но, слава Богу, упредили меня въ этомъ дѣлѣ... Не жалѣю... Но тогда я понялъ, что и хотѣть надо умѣючи...

Сапожникъ засмѣялся и сталъ слѣзать съ печи, говоря:

— Ну, давай пятакъ... нутро горитъ—до смерти...

— На, хвати стаканчикъ,—сказалъ Илья.

И съ улыбкой посмотрѣвъ на Перфишку, онъ спросилъ его:

— Знаешь что?

— А что?

— И шарлатанъ ты, и никуда негодный человѣкъ, и пьяница несчастный... все это вѣрно...

— Вѣрно! — подтвердилъ сапожникъ, стоя предъ Ильей съ пятакомъ въ рукѣ.

— Но иной разъ мнѣ кажется, — продолжалъ Илья серьезно и задумчиво,—что лучше тебя я не знаю человѣка,—ей-Богу!

Перфишка, недовѣрчиво улыбаясь, взглянулъ на серьезное, но ласковое лицо Лунева.

— Шутишь, что ли, Илья Яковличъ?

— Хошь—вѣрь, хошь—не вѣрь... Я не въ похвалу тебѣ сказалъ... а такъ... въ осужденіе людямъ...

— Мудрено!.. Нѣтъ, видно, не моимъ лбомъ сахаръ колоть... не понимаю тебя! Пойду выпью, авось, поумнѣю...

— Погоди! — остановилъ его Луневъ, схвативъ за рукавъ рубахи.—Хочу я тебя спросить: ты Бога боишься?

Перфишка неторопливо переступилъ съ ноги на ногу и почти съ обидой сказалъ:

— Мнѣ Бога бояться нечего... Я людей не обижаю... никогда не обижалъ...

— А молишься ты? - допрашивалъ Илья, понижая голосъ.

— Н-ну... молюсь, извѣстно... рѣдко...

Илья видѣлъ, что сапожникъ не хочетъ говорить, всей силой души стремясь въ кабакъ.

— Нà тебѣ, Перфилъ, еще гривенникъ.

— Во-отъ это... разговоръ!—вскричалъ тотъ и весь просіялъ отъ радости.

— Но ты скажи мнѣ, какъ ты молишься?—снова началъ допрашивать Луневъ.

— Я? Я—очень просто! Молитвовъ я не знаю... „Богородицу Дѣву“ зналъ... да забылъ давно ужъ... нищенскую, кажись, знаю... „Господи Исусе“... и все прочее,

до конца. Эта мнѣ, можетъ, понадобиться на старости лѣтъ. А молюсь я такъ себѣ... Господи, молъ, помилуй!

Перфишка посмотрѣлъ въ потолокъ и, съ увѣренностью кивнувъ головой, добавилъ:

— Ужъ Онъ—понимаетъ... Можно мнѣ идти? Больно выпить хочется!

— Иди, иди,—задумчиво разглядывая Перфишку, сказалъ Илья.—Но вотъ что: придетъ день—умрешь ты... Тогда Богъ спроситъ: какъ жилъ ты, человѣкъ?

— А я скажу: Господи! Родился—малъ, померъ—пьянъ, ничего не помню! Онъ посмѣется, да проститъ меня...

Сапожникъ счастливо улыбнулся и ушелъ.

А Луневъ остался одинъ въ подвалѣ... Ему было странно думать, что въ этой тѣсной, грязной ямѣ никогда уже не появится Маша, да и Перфишку скоро прогонятъ отсюда.

Въ окно смотрѣло апрѣльское солнце, освѣщая давно неметенный полъ. Все въ подвалѣ было неприбрано, нехорошо и тоскливо, точно послѣ покойника!

Сидя на стулѣ прямо, Илья смотрѣлъ на облѣзлую, корепастую печь предъ нимъ, тяжелыя думы наваливались на него одна за другой.

— Пойти развѣ, покаяться?—вдругъ мелькнула въ его головѣ ясная мысль.

Но онъ тотчасъ же со злостью оттолкнулъ ее отъ себя...

— — — —

Въ тотъ же день вечеромъ Илья принужденъ былъ уйти изъ дома Петрухи Филимонова. Случилось это такъ: когда онъ возвратился изъ города, на дворѣ его встрѣтилъ испуганный дядя, отвелъ въ уголъ за полѣницу дровъ и тамъ сказалъ:

— Ну, Ильюша, уходить тебѣ надо... Что у насъ тутъ было-о! и-и-и!

Горбунъ, въ страхѣ, закрылъ глаза и, взмахнувъ руками, ударилъ себя по бедрамъ:

— Яшка-то напился вдрызгъ, да отцу и бухнулъ прямо въ глаза—воръ! И всякія другія колючія слова: безстыжій развратникъ, безжалостный... ну, прямо—безъ ума оралъ!.. А Петруха-то его ка-акъ тяпнетъ по зубамъ! Да за волосья, да ногами топтать и всяко,—избилъ въ кровь! Теперь Яшка-то лежитъ, стонетъ... реветъ!.. Потомъ Петруха на меня,—какъ зыкнетъ! Ты, говоритъ... Гони, говоритъ, вонъ Ильку... Это, де, ты Яшку-то настроилъ супротивъ его... И оралъ онъ—до ужасти!.. Такъ ты гляди...

Илья снялъ съ плеча ремень и, подавая ящикъ дядѣ, сказалъ:

— Держи!..

— Погоди! Куда-а? Онъ тебѣ...

Руки у Ильи тряслись отъ жалости къ Якову и злобы къ его отцу.

— Держи, говорю,—сквозь зубы сказалъ онъ и пошелъ въ трактиръ. Онъ стиснулъ зубы такъ крѣпко, что скуламъ и челюстямъ стало больно, а въ головѣ вдругъ зашумѣло. Сквозь этотъ шумъ онъ слышалъ, что дядя кричитъ ему что-то о полиціи, погибели, острогѣ, и шелъ какъ подъ гору.

Въ трактирѣ у буфета стоялъ Петруха и, разговаривая съ какимъ-то оборванцемъ, улыбался. На его лысину падалъ свѣтъ лампы и казалось, что вся голова его блеститъ довольной улыбкой.

— А, купецъ!—насмѣшливо вскричалъ онъ, увидя Илью, и брови его сердито задвигались,—тебя-то мнѣ и надо...

Онъ стоялъ у двери въ свои комнаты, заслоняя ее своей фигурой.

Илья подошелъ вплоть къ нему, твердый, суровый, и громко сказалъ:

— Отойди прочь!..

— Что-о?—протянулъ Петруха.

— Пусти меня... къ Якову...

— Я те дамъ Якова...

Но тутъ Илья, неожиданно для себя, размахнулся и молча, во всю свою силу, ударилъ Петруху по щекѣ. Буфетчикъ застоналъ и свалился на полъ. Изо всѣхъ угловъ къ нему бросились половые; кто-то закричалъ:

— Держи его! Бей!..

Публика засуетилась, точно ее обдали кипяткомъ, но Илья перепрыгнулъ черезъ Петруху, вошелъ въ дверь и заперъ ее за собою на задвижку.

Въ маленькой комнатѣ, тѣсно заставленной ящиками съ виномъ и какими-то сундуками, горѣла, вздрагивая, жестяная лампа. Стекло ея было закопчено. Въ полутьмѣ и тѣснотѣ Луневъ не сразу увидалъ товарища. Яковъ лежалъ на полу, голова его была въ тѣни и лицо казалось чернымъ, страшнымъ. Илья взялъ лампу въ руки и присѣлъ на корточки, освѣщая избитаго. Синяки и ссадины покрывали лицо Якова безобразной темной маской, глаза его затекли въ опухоляхъ, онъ дышалъ тяжело, хрипѣлъ и, должно быть, ничего не видѣлъ, ибо спросилъ, со стономъ:

— Кто тутъ?

— Я...—тихо сказалъ Луневъ, вставая на ноги.

— Дай испить...

Илья оглянулся. Въ дверь ломились. Кто-то командовалъ:

— Съ задняго крыльца заходи...

— Полицію... Бѣги за бутошникомъ...

Тонкій воющій голосъ Петрухи прорывался сквозь шумъ:

— Всѣ видѣли... я его не трогалъ...

Илья злорадно усмѣхнулся. Ему нравилось, что Петрухѣ больно. И, подойдя къ двери, онъ спокойно вступилъ въ переговоры съ осаждающими:

— Эй вы! погодите орать... Если я ему разъ въ

[redacted]

морду далъ, отъ этого онъ не издохнетъ, а меня зато судить будутъ. Значитъ, вамъ нечего лѣзть не въ свое дѣло... Не напирайте на дверь, я отопру сейчасъ...

Онъ отперъ дверь и всталъ въ ней, какъ въ рамѣ, туго сжавъ кулаки на всякій случай. Публика отступила предъ его крѣпкой фигурой и готовностью драться, ясно выражавшейся на его лицѣ. Но Петруха сталъ расталкивать всѣхъ, завывая:

— Ага-а, ра-азбойникъ!.. я тебя...

— Уберите его прочь и глядите сюда—пожалуйте!—отступивъ отъ двери въ сторону, приглашалъ Илья публику. — Полюбуйтесь, какъ онъ человѣка изуродовалъ...

Нѣсколько гостей, косясь на Илью, вошли въ комнату и наклонились надъ Яковомъ. Одинъ съ изумленіемъ и со страхомъ проговорилъ:

— Ра-азутю-ужи-илъ!..

— Это называется—подъ орѣхъ раздѣлано!—добавилъ другой.

— Принесите воды. Да полицію позвать надо...—говорилъ Илья.

Публика была на его сторонѣ; онъ и видѣлъ, и чувствовалъ это, и рѣзко, громко заговорилъ:

— Вы всѣ знаете Петрушку Филимонова, всѣ знаете, что это первый мошенникъ въ улицѣ... А кто скажетъ худо про его сына? Ну, и вотъ вамъ сынъ: онъ—избитый лежитъ, можетъ, на всю жизнь изувѣченный, а отцу его за это ничего не будетъ. Я же одинъ разъ ударилъ Петрушку—и меня осудятъ... Хорошо это? По правдѣ это будетъ? И такъ во всемъ—одному дана полная воля, а другой не посмѣй бровью шевелить...

Нѣсколько человѣкъ сочувственно вздохнули, а иные молча ушли. Илья хотѣлъ еще сказать что-то, но тутъ въ комнату ворвался Петруха и, визгливо вскрикивая, началъ всѣхъ выгонять.

— Идите! Идите! Это мое дѣло... это сынъ мой! Я

[redacted]

отецъ! Ступайте... Я полиціи не боюсь... И суда мнѣ не надо... не надо-съ. Я тебя, другъ, и такъ, безъ суда, доѣду... Иди вонъ!

Илья, стоя на колѣняхъ, поилъ Якова водой, съ тяжелой жалостью въ сердцѣ глядя на разбитыя, распухшія губы товарища и его изуродованное лицо. Яковъ глоталъ воду и шопотомъ говорилъ:

— Зубы выбилъ мнѣ... дышать больно... уведи меня... Илюша... голубчикъ! Уведи!..

Изъ опухолей, около его глазъ, сочились слезы...

— Его въ больницу надо отвезти...—угрюмо сказалъ Илья, оборачиваясь къ Петрухѣ.

Буфетчикъ смотрѣлъ на сына и что-то пробормоталъ торопливо и невнятно. Одинъ глазъ у него былъ широко раскрытъ, а другой, какъ у Якова, тоже почти затекъ отъ удара Ильи.

— Слышишь ты?—крикнулъ Илья.

— Не кричи!—неожиданно тихо и миролюбиво сказалъ Петруха.—Въ больницу—нельзя... огласка... И то ужъ ты натворилъ тутъ... А я—гласный... мнѣ это не фасонъ...

— Подлецъ ты!—сказалъ Илья и съ презрѣніемъ плюнулъ въ ноги Филимонова.—Я тебѣ говорю—отправляй въ больницу! Не отправишь,—скандалъ подниму хуже еще...

— Ну-ну-ну! Не тово... не сердись... Онъ, поди, притворяется...

Илья вскочилъ на ноги. Но тогда Филимоновъ отпрыгнулъ къ двери и крикнулъ:

— Иванъ! Позови извозчика—въ больницу, пятиалтынный... Яковъ, одѣвайся! Нечего притворяться-то... не чужой человѣкъ билъ, а родной отецъ... да! Меня не такъ еще мяли... меня—ого-го какъ!..

Онъ забѣгалъ по комнатѣ, снимая со стѣнъ одежду, и бросалъ ее Ильѣ, быстро и тревожно продолжая говорить о томъ, какъ его били въ молодости...

— Спасибо-о!—чуть слышно хрипѣлъ Яковъ Ильѣ, а слезы все сочились изъ опухолей и текли по вздутымъ окровавленнымъ щекамъ.

За буфетомъ стоялъ Терентій. Въ уши Ильѣ лѣзъ его вѣжливый, робкій голосъ.

— Вамъ за три или за пять копеекъ?.. Извольте—за пять... Икорки? Икорка вся вышла... Селедочкой закусите...

На другой день Илья нашелъ себѣ квартиру—маленькую комнату рядомъ съ кухней. Ее сдавала какая-то барышня въ красной кофточкѣ; лицо у нея было розовое, съ остренькимъ птичьимъ носикомъ, ротикъ крошечный, надъ узкимъ лбомъ красиво вились черные волосы, и она часто взбивала ихъ быстрымъ жестомъ маленькой и тонкой руки.

— Пять рублей за такую миленькую комнатку—это недорого!—бойко говорила она и улыбалась, видя, что ея темные, живые глазки смущаютъ молодого широкоплечаго парня.

— Вы видите—обои совершенно новые... окно выходитъ въ садъ—чего вамъ? Утромъ я вамъ поставлю самоваръ... а внесете вы его къ себѣ сами...

— Вы горничная? — съ любопытствомъ спросилъ Илья.

Барышня перестала улыбаться, у нея дрогнули брови, она выпрямилась и съ важностью сказала:

— Я не горничная, а хозяйка этой квартиры и мужъ мой...

— Да развѣ вы замужемъ?—съ удивленіемъ воскликнулъ Илья и недовѣрчиво оглянулъ сухонькую, стройную фигурку хозяйки. На этотъ разъ она не разсердилась, а засмѣялась звонко и весело.

— Какой вы смѣшной! То горничной называетъ, то не вѣритъ, что замужемъ я...

— Да какъ же вѣрить, ежели вы совсѣмъ дѣвочка!—тоже съ усмѣшкой сказалъ Луневъ.

[redacted]

— А я вамъ говорю, что я уже третій годъ замужемъ и мужъ мой околоточный надзиратель...

Илья взглянулъ ей въ лицо и тоже тихонько засмѣялся, самъ не зная, чему.

— Вотъ чудакъ!—передернувъ плечиками, воскликнула женщина, съ любопытствомъ разглядывая его.— Ну, что же,—снимаете комнату?

— Рѣшеное дѣло! Прикажете дать задатокъ?

— Конечно!

— Я часика черезъ два-три и переѣду...

— Пожалуйте. Я рада такому постояльцу,—вы, кажется, веселый...

— Не очень...—усмѣхаясь, сказалъ Луневъ.

Онъ вышелъ на улицу, улыбаясь, съ пріятнымъ чувствомъ въ груди. Ему нравилась и комната, оклеенная голубыми обоями, и эта маленькая, бойкая женщина. Но почему-то особенно пріятнымъ казалось ему именно то, что онъ будетъ жить на квартирѣ околоточнаго. Въ этомъ онъ чувствовалъ что-то смѣшное, задорное и, пожалуй, опасное для него. Ему нужно было навѣстить Якова: онъ нанялъ извозчика до больницы, усѣлся въ пролетку и, внутренно посмѣиваясь, сталъ думать о томъ, какъ ему поступить съ деньгами, куда теперь спрятать ихъ?..

Когда Луневъ пріѣхалъ въ больницу, оказалось, что Якова только-что купали въ ваннѣ и теперь онъ крѣпко спитъ. Илья остановился въ коридорѣ у окна, не зная, что ему дѣлать,—уйти или подождать, когда товарищъ проснется? Мимо него, тихо шлепая туфлями, проходили одинъ за другимъ больные въ желтыхъ халатахъ, поглядывая на него скучающими глазами. Они вполголоса разговаривали, со звуками ихъ тихаго говора сливались чьи-то стоны, долетавшіе издали... Гулкое эхо, увеличивая каждый звукъ, разносило его по длинной трубѣ коридора... Казалось, что въ пахучемъ воздухѣ больницы невидимо и тихо летаетъ кто-то грустный и жа-

лобно вздыхаетъ и тоскуетъ... Ильѣ захотѣлось уйти изъ этихъ желтыхъ стѣнъ... Но вдругъ одинъ изъ больныхъ шагнулъ къ Ильѣ и, протягивая руку, сказалъ негромко:

— Здравствуй!..

Луневъ поднялъ глаза на него и отшатнулся, изумленный...

— Павелъ!.. Господи Іисусе! И ты здѣсь?

— А кто еще?—быстро спросилъ Павелъ.

Лицо у него было какое-то сѣрое, глаза смущенно и тревожно мигали...

— Яковъ... его отецъ избилъ... а ты какъ? Давно ты?

И съ жалостью въ голосѣ Илья тихо воскликнулъ:

— Э-эхъ, братъ! Какъ тебя перевернуло!

Павелъ вздохнулъ; губы у него вздрогнули, а глаза стали какіе-то тусклые. Онъ, какъ виноватый въ чемъ-то, низко опустилъ голову и хриплымъ шопотомъ повторилъ:

— Перевернуло... да-а!..

— Что у тебя? — безпокойно и участливо спросилъ Луневъ.

— Ну... что? Будто не знаешь...

Павелъ мелькомъ взглянулъ въ лицо Ильи и снова опустилъ голову.

— Заразился?—шопотомъ спросилъ Луневъ.

— Ну, конечно...

— Неужто отъ Вѣры?

— Отъ кого же еще?..—угрюмо отвѣтилъ Павелъ.

Илья тряхнулъ головой, помолчалъ и со злой увѣренностью сказалъ:

— Вотъ и я когда-нибудь тоже влечу... Ужъ это какъ разъ.

Павелъ болѣзненно засмѣялся, всталъ рядомъ съ Ильей и, довѣрчиво глядя въ глаза ему, сказалъ:

— Я думалъ,—ты побрезгуешь теперь мной... Ша-

таюсь тутъ, вдругъ вижу—ты... Стыдно стало... отвернулся и прошелъ мимо...

— Уменъ!—съ укоромъ сказалъ Илья.

— Кто тебя знаетъ, какъ взглянешь? Надо говорить правду—болѣзнь поганая... Эхъ, братъ! Вторую недѣлю я здѣсь торчу... Такая тоска мнѣ, такая мука!.. Ходишь, лежишь и все думаешь... Особенно ночью—словно на угляхъ жаришься... Время тянется, какъ волосъ по молоку... И чувствуешь, какъ будто въ трясину тебя засасываетъ, а ты одинъ и некого крикнуть на помочь...

Павелъ говорилъ почти шопотомъ, а лицо у него все вздрагивало и руки судорожно мяли полы халата. Покачивая головой, онъ проговорилъ вполголоса:

— Ужъ какъ не взлюбитъ судьба молодца, да надъ нимъ издѣваться начнетъ—точно молотомъ по сердцу бьетъ...

— А Вѣра гдѣ?—задумчиво спросилъ Илья.

— Чортъ ее знаетъ,—съ горькой усмѣшкой сказалъ Грачевъ.

— Не ходитъ?

— Приходила разъ—я выгналъ... Видѣть я ее, подлячку, не могу!—злобно прошепталъ Павелъ.

Илья укоризненно взглянулъ на его искаженное лицо и сказалъ:

— Ну, это ты... ерунду порешь... Коли хочешь справедливости, такъ и самъ будь справедливъ... Чѣмъ она виновата?.. Подумай-ка толкомъ-то...

— А кого мнѣ винить?—вполголоса, но горячо воскликнулъ Павелъ.—Кого, скажи? Я ночи напролетъ думаю—отчего вся моя жизнь скомкалась? Оттого, что я Вѣру полюбилъ, да?.. Она мнѣ все собой замѣняла—мать, сестру, жену, товарища... про мою къ ней любовь не только словомъ не скажешь—въ небѣ звѣздами не напишешь!..

Глаза у Павла покраснѣли. а потомъ изъ нихъ тя-

жело выкатились двѣ большія слезы. Онъ смахнулъ ихъ со щекъ рукавомъ халата и продолжалъ тише:

— Легла она на моей дорогѣ камнемъ, и запнулся я за нее...

— Все это ты напрасно,—сказалъ Луневъ, чувствуя, что ему Вѣру жалко больше, чѣмъ Павла.—Все это пустыя слова... Ты медъ пилъ—хвалилъ: силёнъ!—напился—ругаешь: хмѣлёнъ!.. А каково ей? Вѣдь и ее заразили?

— И ее, да, и ее!—сказалъ Павелъ и неожиданно дрогнувшимъ голосомъ спросилъ:

— А ты думаешь, не жалко мнѣ ее?

— Ага. То-то вотъ...

— Я злюсь на нее... на кого еще могу? Я ее выгналъ... И какъ пошла она... и какъ заплакала... такъ она тихо заплакала, такъ горько—сердце у меня кровью облилось... Самъ бы заплакалъ, да вмѣсто слезъ кирпичи у меня тогда въ душѣ были... И задумался я тогда надо всѣмъ этимъ... Эхъ, Илья! Нѣтъ мнѣ жизни...

— Да-а!—протянулъ Луневъ, странно улыбаясь.— Творится что-то... мудреное. Давитъ всѣхъ и давитъ. Якову отецъ житья не даетъ, Машутку замужъ за стараго чорта сунули, ты вотъ...

Онъ вдругъ тихонько засмѣялся и сказалъ, понизивъ голосъ:

— Одному мнѣ за всѣхъ везетъ! Право! Какъ о чемъ подумаю—пожалуйте, готово!

— Н-ну?—съ любопытствомъ и недовѣріемъ спросилъ Павелъ.

— Повѣрь слову! Везетъ, да... Манитъ и манитъ все дальше да дальше...

— Нехорошо ты говоришь,—пытливо глядя на него, сказалъ Павелъ,—смѣешься надъ собой, что ли.

— Нѣтъ, кто-то другой смѣется!—сказалъ Илья, угрюмо нахмуривъ брови.—Надо всѣми нами смѣется

кто-то... Знаешь, многое я могу тебѣ сказать... Гляжу я въ жизнь и вижу—нѣтъ въ ней справедливости...

— Я тоже вижу это!—тихо, но какъ-то всей грудью воскликнулъ Павелъ.—Ну-ка, пойдемъ въ уголъ, вонъ туда...

И они пошли вдоль по коридору, рядомъ другъ съ другомъ и глядя въ глаза одинъ другому. На лицѣ Павла вспыхнули красныя пятна, а глаза его засверкали живо и бойко, какъ бывало, у здороваго.

— И я вижу—нашъ братъ до тла ограбленъ... —говорилъ онъ на ухо Ильѣ.—Чего ни коснись—все не про насъ...

— Вотъ!

— Все—не намъ! Возьму примѣрно—дѣвушка у меня. Она мнѣ за жену, хоть и не вѣнчаны мы. Она мнѣ... вся нужна! Всякому человѣку женщина вся нужна! Но мнѣ—нельзя имѣть ее для себя одного... и ей меня—тоже. А я ей тоже весь нуженъ... Какъ такъ?.. А! Я—бѣдный? Хорошо! Но я работаю, или нѣтъ? Я всю жизнь мою, съ десяти лѣтъ, работаю тяжелую работу! Позвольте мнѣ за это жить!..

— А Петрушка Филимоновъ безъ работы живетъ легко и можетъ имѣть все, что желаетъ, и дѣлать все, что хочетъ,—почему?—дополняя мысль товарища, сказалъ Илья, ехидно оскаливъ зубы.

— Докторъ на меня, какъ на арестанта, кричитъ... за что?—продолжалъ Грачевъ.—Онъ ученый, онъ долженъ благородно обращаться съ людьми. Человѣкъ я, или нѣтъ? Вотъ въ чемъ дѣло... Я Вѣрку прогналъ... но я—не дуракъ, я знаю—не ея вина...

— Не палка бьетъ, а тотъ, кто ей владѣетъ...

Они остановились въ полутемномъ углу коридора, у окна, стекла котораго были закрашены желтой краской и здѣсь, плотно прижавшись къ стѣнѣ, горячо говорили, на-лету ловя мысли другъ друга. Откуда-то издали доносился до нихъ протяжный стонъ. Однооб-

разный звукъ стона былъ похожъ на гудѣніе низкой струны, которую кто-то задѣваетъ черезъ равные промежутки времени, а она устало вздрагиваетъ и звучитъ безнадежно, точно зная, что нигдѣ нѣтъ живого сердца, способнаго понять и успокоить ея болѣзненную дрожь и жалобу... Павелъ весь горѣлъ отъ сознанія обиды, нанесенной ему тяжелой рукой жизни: онъ тоже, какъ струна, вздрагивалъ отъ возбужденія и торопливо, безсвязно шепталъ товарищу свои жалобы и догадки. А Илья чувствовалъ, что слова Павла точно искры высѣкаютъ изъ его сердца, что онѣ зажгли въ его груди то темное и противорѣчивое, что всегда безпокоило его, и вотъ оно горитъ, чтобы исчезнуть. Онъ чувствовалъ, что на мѣстѣ его тяжелаго и злого недоумѣнія предъ жизнью, вспыхнуло что-то иное, что оно вотъ-вотъ освѣтитъ мракъ его души и облегчитъ, и успокоитъ ее навсегда.

— Почему, ежели ты сытъ—ты святъ, ежели ты ученъ — ты правъ? — шепталъ Павелъ, стоя противъ Ильи, сердце къ сердцу. И онъ оглядывался по сторонамъ, точно чувствуя близость неизвѣстнаго ему врага, который скомкалъ жизнь его.—Ну, хорошо, я голоденъ—я и глупъ... но вѣдь есть у меня душа? Или нѣтъ души у голоднаго? Я вижу—жизни мнѣ нѣтъ настоящей... окарнали мою жизнь, обрѣзали мнѣ всѣ мои желанья и на всѣхъ моихъ путяхъ стѣны стоятъ... За что?

— Никто не скажетъ!—сурово воскликнулъ Илья.— И спросить не у кого. Кто слова наши пойметъ? Всѣмъ мы чужіе...

— Да. Вѣрно... Съ кѣмъ говорить?

И махнувъ рукой, Павелъ замолчалъ. Луневъ задумчиво посмотрѣлъ въ глубь коридора и тяжело вздохнулъ. Теперь, когда они замолчали, стонъ раздался слышнѣе. Должно быть, чья-то большая и сильная грудь стонала, и велика была ея боль...

— Ты все съ Олимпіадой? — спросилъ Павелъ у Лунева.

— Да... живу, — усмѣхаясь, отвѣтилъ Илья.—Знаешь,—странно усмѣхаясь, продолжалъ онъ, сильно понизивъ голосъ,—Яковъ дочитался до того, что въ Богѣ сомнѣвается...

Павелъ взглянулъ на него и неопредѣленнымъ тономъ спросилъ:

— Ну?

— Да... Нашелъ такую книгу... А ты какъ насчетъ этого?

— Я, видишь ли...—задумчиво и тихо сказалъ Павелъ,—я какъ-то такъ... не думалъ про это... въ церковь не хожу...

— А я—думаю... Много думаю... И не могу я понять, какъ Богъ терпитъ?

И снова между ними завязался отрывистый и быстрый разговоръ... Увлеченные имъ, они проговорили до поры, пока къ нимъ подошелъ служитель и строго спросилъ Лунева:

— Ты что тутъ прячешься, а?

— Я не прячусь...—сказалъ Илья.

— А ты не видишь, что всѣ посѣтители ушли?

— Стало быть, не видалъ... Прощай, Павелъ. Къ Якову-то зайди...

— Но-но—пошелъ!—крикнулъ служитель.

— Приходи скорѣе... Христа ради!—попросилъ Грачевъ.

На улицѣ Луневъ задумался о судьбѣ своихъ товарищей. Павелъ съ малыхъ лѣтъ бродяжилъ, сидѣлъ въ тюрьмѣ, работалъ разныя тяжелыя работы... Сколько голода, холода, побоевъ вынесъ онъ. Маша едва ли узнаетъ когда-либо хорошую жизнь. И Яковъ тоже... Какъ можетъ Яковъ постоять за себя?..

Илья видѣлъ, что дѣйствительно изъ четверыхъ ему лучше всѣхъ живется. Но это сознаніе не вызвало

въ немъ пріятнаго чувства. Онъ только усмѣхнулся и подозрительно посмотрѣлъ вокругъ...

На новой квартирѣ онъ зажилъ спокойно, и его очень заинтересовали хозяева. Хозяйку звали Татьяна Власьевна. Веселая, какъ птичка, и разговорчивая, она черезъ нѣсколько дней послѣ того, какъ Луневъ поселился въ голубой комнаткѣ, подробно разсказала ему весь строй своей жизни.

Утромъ, когда Илья пилъ чай въ своей комнатѣ, она въ передникѣ, съ засученными по локоть рукавами, порхала по кухнѣ и, весело заглядывая въ дверь къ нему, оживленно говорила:

— Мы съ мужемъ люди небогатые, но образованные и интеллигентные... Я училась въ прогимназіи, а онъ въ кадетскомъ корпусѣ, хотя и не кончилъ... Но мы хотимъ быть богатыми и будемъ... Дѣтей у насъ нѣтъ, а дѣти—это самый главный расходъ. Я сама стряпаю, сама хожу на базаръ, а для черной работы нанимаю дѣвочку за полтора рубля въ мѣсяцъ, и чтобы она жила дома. Вы знаете, сколько я дѣлаю экономіи? Она становилась въ дверяхъ и, встряхивая кудерьками, по пальцамъ высчитывала:

— Кухарка—жалованья три рубля, да прокормить ее надо—семь... десять!.. Украдетъ она въ мѣсяцъ на три рубля—тринадцать! Комнату ея сдаю вамъ—восемнадцать! Вотъ сколько стоитъ кухарка!... Затѣмъ: я все покупаю массами: масла—полпуда, муки—мѣшокъ, сахару—голову и такъ далѣе... На всемъ этомъ я выигрываю рублей двѣнадцать... Тридцать рублей! Если бы я служила гдѣ-нибудь,—въ полиціи, на телеграфѣ,—я работала бы на кухарку... А теперь я — ничего не стою для мужа и этимъ горжусь! Вотъ какъ надо жить, молодой человѣкъ, видите? Учитесь...

Она плутовато смотрѣла въ лицо Ильи своими бой-

кими глазами, а онъ смущенно улыбался ей. Она нравилась ему, и возбуждала въ немъ чувство уваженія. Утромъ, когда онъ просыпался, она уже сновала по кухнѣ, вмѣстѣ съ рябой и молчаливой дѣвочкой-подросткомъ, смотрѣвшей на нее и на все другое пугливыми, безцвѣтными глазами. Вечеромъ, когда онъ приходилъ домой, она, тоненькая и чистенькая, съ улыбкой отпирала ему дверь, и отъ нея пахло чѣмъ-то пріятнымъ. Если мужъ ея былъ дома, онъ игралъ на гитарѣ, а она подпѣвала ему звонкимъ голосомъ, или они садились играть въ карты,—въ дурачки на поцѣлуи. Ильѣ въ его комнатѣ было слышно все: и говоръ струнъ, то веселый, то чувствительный, и шлепанье картъ, и чмоканье губъ. Квартира состояла изъ двухъ комнатъ—спальни и еще одной, смежной съ комнатой Ильи: она служила супругамъ и столовой, и гостиной, и въ ней они проводили свои вечера... По утрамъ въ этой комнатѣ раздавались звонкіе птичьи голоса: тенькала синица; вперебой другъ передъ другомъ, точно споря, пѣли чижъ и щегленокъ, старчески важно бормоталъ и скрипѣлъ снигирь, а порой въ эти громкіе голоса вливалась задумчивая и тихая пѣсенка коноплянки.

Мужъ Татьяны Власьевны, Кирикъ Никодимовичъ Автономовъ, былъ человѣкъ лѣтъ двадцати шести, высокій, полный, съ большимъ носомъ и черными зубами. Его добродушное лицо было густо усѣяно угрями, а безцвѣтные глаза смотрѣли на все съ невозмутимымъ спокойствіемъ. Коротко остриженные свѣтлые волосы стояли на его головѣ щеткой, и во всей, немножно грузной, фигурѣ Кирика Автономова было что-то неуклюжее и смѣшное. Двигался онъ тяжело, и съ первой же встрѣчи почему-то спросилъ Илью:

— Ты птицъ пѣвчихъ любишь?

— Люблю...

— Ловишь?

— Нѣтъ...—удивленно глядя на околоточнаго, отвѣ-

тилъ Илья. Тотъ наморщилъ носъ, подумалъ и спросилъ еще:

— А ловилъ?

— И не ловилъ...

— Никогда?

— Никогда...

Тутъ Кирикъ Автономовъ снисходительно улыбнулся и сказалъ:

— Значитъ, ты ихъ не любишь, если не ловилъ никогда... А я вотъ люблю и ловилъ, даже за это изъ корпуса былъ исключенъ... И теперь сталъ бы ловить, но не хочу компрометироваться въ глазахъ начальства. Потому что хотя любовь къ пѣвчимъ птицамъ—и благородная страсть, но ловля ихъ—забава, недостойная солиднаго человѣка... Будучи на твоемъ мѣстѣ, я бы ловилъ чижиковъ—непремѣнно! Веселая птичка... Это именно про чижа сказано: птичка Божія...

Автономовъ говорилъ и мечтательными глазами смотрѣлъ въ лицо Ильи, а Луневъ, слушая его, почувствовалъ себя неловко. Ему показалось, что околоточный говоритъ о ловлѣ птицъ иносказательно, что онъ намекаетъ на что-то. Тогда у Ильи дрогнуло сердце, и онъ насторожился. Но водянистые глаза Автономова успокоили его; онъ тутъ же рѣшилъ, что околоточный—человѣкъ совсѣмъ не хитрый, простакъ-человѣкъ. Онъ вѣжливо улыбнулся и промолчалъ въ отвѣтъ на слова Кирика. Тому, очевидно, понравилось скромное молчаніе и серьезное лицо постояльца, онъ улыбнулся и заговорилъ снова:

— Когда-нибудь вечеромъ приходи къ намъ чай пить... Мы—люди простые, приходи безъ всякаго стѣсненія... въ карты поиграемъ, въ дурачки... Гости къ намъ ходятъ рѣдко. Принимать гостей—пріятно, но ихъ надо угощать, а это—непріятно, потому что дорого.

Чѣмъ болѣе присматривался Илья къ благополучной жизни своихъ хозяевъ, тѣмъ болѣе нравились они

ему. Все у нихъ было чисто и какъ-то крѣпко, все дѣлалось тихо, спокойно, и они, видимо, любили другъ друга. Маленькая, бойкая женщина была похожа на веселую синицу, ея мужъ—на неповоротливаго снигиря, и въ квартирѣ у нихъ было уютно, какъ въ птичьемъ гнѣздѣ. По вечерамъ, сидя у себя, Луневъ прислушивался къ разговору хозяевъ и думалъ:

— Вотъ какъ надо жить...

И, вздыхая отъ зависти, онъ все сильнѣе мечталъ о времени, когда откроетъ свою лавочку, у него будетъ маленькая, чистая комната, онъ заведетъ себѣ птицъ и будетъ жить одинъ, тихо, ровно, спокойно, какъ во снѣ... За стѣной Татьяна Власьевна разсказывала мужу о томъ, что она купила на базарѣ, сколько истратила и сколько сберегла, а ея мужъ глухо посмѣивался и хвалилъ ее:

— Ахъ ты, умница! Милая моя пичужечка... Ну, дай поцѣлую...

Потомъ онъ начиналъ разсказывать женѣ о происшествіяхъ въ городѣ, о протоколахъ, составленныхъ имъ, о томъ, что сказалъ ему полиціймейстеръ или другой начальникъ... Говорили о близкой возможности повышенія по службѣ и обсуждали вопросъ, понадобится ли вмѣстѣ съ повышеніемъ перемѣнить квартиру.

Илья лежалъ, слушалъ, и вдругъ его охватывала непонятная ему, тяжелая скука. Ему становилось душно, тѣсно въ маленкой голубой комнатѣ, онъ безпокойно осматривалъ ее, какъ бы отыскивая причину своей скуки, и чувствуя, что не можетъ больше выносить этой тяжести въ груди, уходилъ къ Олимпіадѣ или долго гулялъ по улицамъ.

Олимпіада относилась къ нему все болѣе требовательно и ревниво, и все чаще онъ ссорился съ ней. Во время ссоръ она никогда не вспоминала объ убійствѣ Полуэктова, но въ хорошія минуты попрежнему уговаривала Илью забыть про это. Луневъ удивлялся

ея сдержанности и какъ-то разъ послѣ ссоры спросилъ ее:

— Липа! Почему ты, когда ругаешься, про старика ни словомъ не помянешь?

Она отвѣтила, не задумываясь:

— А потому, что это дѣло не мое, да и не твое. Коли тебя не нашли,—значитъ, такъ ему и надо было. Душить его тебѣ надобности не было,—ты самъ говоришь. Значитъ, онъ черезъ тебя наказанъ...

Илья недовѣрчиво засмѣялся.

— Что ты?—спросила женщина.

— Та-акъ... Я подумалъ, что коли человѣкъ не глупъ—онъ обязательно жуликъ... ха, ха, ха! Все можетъ оправдать... лишь бы ему надобно это было... И обвинить все можетъ...

— Не пойму тебя, — сказала Олимпіада, качая головой.

— Чего не понимать?—спросилъ Илья, вздохнувъ и пожимая плечами.—Просто. Я говорю вотъ что: поставь ты мнѣ въ жизни такое, что бы всегда незыблемо стояло; найди такое, что бы ни одинъ самоумнѣйшій человѣкъ, со всей его хитростью, ни обвинить, ни оправдать не могъ... Что бы твердо стояло... Найди такое! Не найдешь... Нѣтъ такого предмета въ жизни... Все пестрое... И душа человѣческая есть пестрая... да!

— Не понимаю,—помолчавъ, сказала женщина.

— А я—понимаю такъ, что въ этомъ и есть узелъ... это насъ давитъ...

Какъ-то разъ, послѣ одной изъ ссоръ съ Олимпіадой, Илья, дня четыре не ходившій къ ней, получилъ отъ нея письмо... Она писала:

„Ну и прощай, милый Ильюша, навсегда, не увидимся мы съ тобой больше. Не ищи меня,—не найдешь. А съ первымъ пароходомъ уѣду я изъ окаяннаго этого города: въ немъ я душу свою размозжила на всю жизнь. Уѣду я далеко и никогда не ворочусь,—

не думай и не жди. За хорошее твое—спасибо тебѣ отъ всего сердца, а дурное я помнить не буду. Еще должна сказать тебѣ по правдѣ, что ухожу я не куданибудь, а просто сошлась съ молодымъ Ананьинымъ, который давно ко мнѣ приставалъ и жаловался, что я его погублю, коли не соглашусь жить съ нимъ. Вотъ я согласилась: все равно. Мы уѣдемъ къ морю, въ село, гдѣ у Ананьиныхъ рыбныя ватаги. Онъ очень простой и даже предлагаетъ обвѣнчаться, дурачокъ. Прощай! Какъ будто во снѣ видѣла я тебя, а проснулась—и нѣтъ ничего. Прости и меня... Какъ у меня сердце ноетъ, если бы ты зналъ! Цѣлую тебя, единственный человѣкъ. Не гордись передъ людьми: мы всѣ несчастные. Смирная стала я, твоя Липа, и какъ подъ обухъ иду, до того болитъ моя душа растерзанная. Олимпіада Шлыкова. По почтѣ послала посылку тебѣ—кольцо на память. Носи пожалуйста. Ол. Ш.“

Илья прочиталъ письмо и до боли крѣпко закусилъ губы. Потомъ прочиталъ еще и еще. Съ каждымъ разомъ письмо все больше нравилось ему,—было и больно, и лестно читать простыя слова, написанныя неровными, крупными буквами. Раньше Илья не думалъ о томъ, насколько серьезно любитъ его эта женщина, а теперь ему казалось, что она любила сильно, крѣпко, и, читая ея письмо, онъ чувствовалъ гордое удовольствіе въ сердцѣ. Но это удовольствіе понемногу уступало мѣсто сознанію утраты близкаго человѣка, и вотъ Илья грустно задумался: куда теперь, къ кому пойдетъ онъ въ часъ скуки? Образъ женщины стоялъ предъ его глазами, онъ вспоминалъ ея бѣшеныя ласки, ея умные разговоры, шутки, и все глубже въ грудь ему впивалось острое чувство сожалѣнія. Стоя предъ окномъ, онъ, нахмуривъ брови, смотрѣлъ въ садъ, а тамъ, въ сумракѣ, тихо шевелились кусты бузины, и тонкія, какъ бичевки, вѣтви березы качались въ воз-

духѣ. За стѣной грустно звенѣли струны гитары, Татьяна Власьевна высокимъ голосомъ пѣла:

«Пуска-ай кто хо-четъ и-и-ищетъ
Б-бога-атыхъ ян-тар-рей...»

Илья держалъ письмо въ рукѣ и чувствовалъ себя виноватымъ предъ Олимпіадой, грусть и жалость сжимали ему грудь и давили горло.

«А м-нѣ мо-е ко-ле-е-ечко
До-оста-ань со дна мор-рей.»

раздавалось за стѣной. Потомъ околоточный густо захохоталъ, а пѣвица выбѣжала въ кухню, тоже звонко смѣясь. Но въ кухнѣ она сразу замолчала. Илья чувствовалъ присутствіе хозяйки гдѣ-то близко къ нему, но не хотѣлъ обернуться посмотрѣть на нее, хотя зналъ, что дверь въ его комнату отворена. Онъ прислушивался къ своимъ думамъ и стоялъ неподвижно, ощущая, какъ одиночество охватываетъ его. Деревья за окномъ все покачивались, а Луневу казалось, что онъ оторвался отъ земли и плыветъ куда-то въ холодномъ сумракѣ...

— Илья Яковлевичъ! Чай пить будете?—окрикнула его хозяйка.

— Нѣтъ...

За окномъ раздался могучій ударъ колокола; густой звукъ мягко, но сильно коснулся стеколъ окна, и они чуть слышно дрогнули... Илья перекрестился, вспомнилъ, что давно уже не бывалъ въ церкви, и обрадовался возможности уйти изъ дома...

— Я ко всенощной пойду,—сказалъ онъ, обернувшись къ двери. Хозяйка стояла какъ разъ въ двери, держась руками за косяки, и смотрѣла на него съ явнымъ любопытствомъ на лицѣ. Илью смутилъ ея пристальный взглядъ и, какъ бы извиняясь предъ нею, онъ проговорилъ:

— Давно въ церкви не былъ...

— А! хорошо! я приготовлю самоваръ къ девяти часамъ.

Идя въ церковь, Луневъ думалъ о молодомъ Ананьинѣ. Онъ зналъ его: это былъ богатый купчикъ, младшій членъ рыбопромышленной фирмы „Братья Ананьины“, бѣлокурый, худенькій паренекъ съ блѣднымъ лицомъ и голубыми глазами. Онъ недавно появился въ городѣ и сразу началъ сильно кутить.

„Вотъ какъ живутъ люди, какъ ястреба,—размышлялъ Илья съ горечью.—Только оперился и сейчасъ же—цапъ себѣ голубку...“

Онъ вошелъ въ церковь разстроенный, обозленный своими думами, всталъ тамъ въ темный уголъ, гдѣ стояла лѣстница для зажиганія паникадила.

„Господи помилу-уй“,—пѣли на лѣвомъ клиросѣ. Какой-то мальчишка подпѣвалъ противнымъ, рѣзавшимъ уши, крикомъ, не умѣя подладиться къ хриплому и глухому голосу дьячка. Это нескладное пѣніе еще болѣе сердило Илью, вызывая въ немъ желаніе надрать мальчишкѣ уши. Въ углу было жарко отъ натопленной печи, пахло горѣлой тряпкой. Какая-то старушка въ салопѣ подошла къ Ильѣ, взглянула въ лицо ему и брюзгливо сказала:

— Не на свое мѣсто встали, сударь мой...

Илья посмотрѣлъ на воротникъ ея богатаго салопа, украшенный хвостами куницы, и молча отодвинулся, подумавъ:

„У купцовъ и въ церкви свои мѣста...“

Послѣ убійства Полуэктова онъ первый разъ пришелъ въ церковь и теперь, вспомнивъ объ этомъ, вздрогнулъ. При мысли о своемъ грѣхѣ онъ забылъ обо всемъ, но ему не стало страшно отъ этой мысли, а только грустно и тяжело...

— Господи! Помилуй...—прошепталъ онъ, крестясь.

Стройно и громогласно запѣли пѣвчіе. Голоса дис-

кантовъ, отчетливо выговаривая слова пѣснопѣнія, звенѣли подъ куполомъ чистымъ и сладостнымъ звономъ маленькихъ тонкихъ колокольчиковъ, альты дрожали, какъ звучная, туго натянутая струна, и на фонѣ ихъ непрерывнаго звука, который лился подобно ручью, дисканты вздрагивали, какъ отблески солнца въ прозрачной струѣ воды. Густыя, темныя ноты басовой партіи торжественно колыхались въ воздухѣ, поддерживая собою пѣніе дѣтей; порою выдѣлялись красивые и сильные возгласы тенора, и снова ярко блистали голоса дѣтей, возносясь въ сумракъ купола, откуда, величественно простирая руки надъ молящимися, задумчиво и грустно смотрѣлъ Вседержитель въ бѣлыхъ одеждахъ. Вотъ пѣніе хора слилось въ одну яркую массу звуковъ и стало похоже на облако въ часъ заката, когда оно, розовое, алое и пурпурное, горитъ въ лучахъ солнца великолѣпіемъ своихъ красокъ и таетъ въ наслажденіи своей красотой...

Когда замерло пѣніе, Илья вздохнулъ глубокимъ, легкимъ вздохомъ. Ему было хорошо: онъ не чувствовалъ ни страха, ни раскаянія, ни даже того раздраженія, съ которымъ пришелъ сюда, и какъ-то не могъ остановить мысли на грѣхѣ своемъ. Пѣніе какъ-бы облегчило его душу и очистило ее. Чувствуя себя такъ неожиданно хорошо, онъ недоумѣвалъ, не вѣрилъ ощущенію своему, но искалъ въ себѣ раскаянія и—не находилъ его.

И вдругъ его, какъ иглой, кольнула острая мысль:

„Что, если хозяйка войдетъ изъ любопытства въ его комнату, начнетъ рыться тамъ и найдетъ деньги?“

Илья быстро сорвался съ мѣста, вышелъ изъ церкви и, крикнувъ извозчика, поѣхалъ домой. Дорогой его мысль неотвязно развивалась, возбуждая его.

„Найдетъ... ну, что же? Они не донесутъ, они просто украдутъ сами...“

Но мысль, что они не донесутъ, а именно украдутъ

деньги, еще болѣе возбудила его. Онъ чувствовалъ, что если это случилось, то сейчасъ же, на этомъ же извозчикѣ, онъ поѣдетъ въ полицію и скажетъ, что это онъ убилъ Полуэктова. Нѣтъ, онъ не хочетъ больше маяться и жить въ грязи, въ безпокойствѣ, тогда какъ другіе на деньги, за которыя онъ заплатилъ великимъ грѣхомъ, будутъ жить спокойно, уютно, чисто. Эта мысль родила въ немъ холодное бѣшенство. Подъѣхавъ къ дому, онъ сильно дернулъ звонокъ и, стиснувъ зубы, сжалъ кулаки, ожидая, когда ему отворятъ дверь.

Дверь отворила ему Татьяна Власьевна.

-- Ухъ, какъ вы громко звоните!.. Что вы? Что съ вами?—испуганно вскричала она, взглянувъ на него.

Онъ молча оттолкнулъ ее, прошелъ въ свою комнату и съ перваго же взгляда понялъ, что всѣ его страхи напрасны. Деньги лежали у него за верхнимъ наличникомъ окна, а на наличникъ онъ чуть-чуть приклеилъ маленькую пушинку, такъ что, если бы кто коснулся денегъ, пушинка непремѣнно должна была слетѣть. Но вотъ онъ ясно видѣлъ на коричневомъ наличникѣ—ея бѣлое пятнышко.

— Вы больны?—тревожно спрашивала хозяйка, являясь къ двери.

— Да... нездоровится... вы извините: я толкнулъ васъ...

— Это пустяки... Подождите... сколько нужно дать извозчику?

— Сколько-нибудь... Сдѣлайте милость, отдайте...

Она убѣжала, а Илья тотчасъ же вскочилъ на стулъ, выхватилъ изъ-за наличника деньги, на ощупь узналъ, что онѣ цѣлы, и, сунувъ ихъ въ карманъ, облегченно вздохнулъ... Ему стало стыдно своей тревоги. Пушинка показалась ему глупой, смѣшной, какъ и все это...

— Навожденіе...—подумалъ онъ, внутренно усмѣхаясь. Въ двери снова явилась Татьяна Власьевна.

— Извозчику — двадцать, — торопливо заговорила она.—У васъ что—закружилась голова?

— Да... знаете, стою въ церкви... вдругъ это...

— Вы прилягте,—сказала женщина, входя въ комнату.—Прилягте, не стѣсняясь... А я посижу съ вами... Я одна,—мужъ отправился въ нарядъ, въ клубъ...

Илья сѣлъ на постель, а она на стулъ, единственный въ комнатѣ.

— Обезпокоилъ я васъ,—смущенно улыбаясь, сказалъ Илья.

— Ничего,—отвѣтила Татьяна Власьевна, пытливо и безцеремонно разглядывая его лицо. Помолчали. Илья не зналъ, о чемъ говорить съ этой женщиной, а она, все разглядывая его, вдругъ стала странно улыбаться.

— Что вы?—спросилъ Луневъ, опуская глаза.

— Сказать?—плутовато спросила она.

— Скажите...

— Не умѣете вы притворяться—вотъ что!

Илья вздрогнулъ и тревожно взглянулъ на женщину.

— Да, не умѣете. Какой вы больной? Вовсе не больной, а просто получили вы одно непріятное письмо... я видѣла, видѣла.

— Да, получилъ...—тихо и осторожно сказалъ Илья.

За окномъ раздался шелестъ вѣтокъ. Женщина зорко посмотрѣла сквозь стекла и снова повернулась лицомъ къ Ильѣ.

— Это—вѣтеръ или птица. Вотъ что, мой хорошій постоялецъ, хотите вы меня послушать? Я хоть и молоденькая женщина, но неглупая...

— Сдѣлайте милость, говорите,—попросилъ Луневъ, съ любопытствомъ глядя на нее.

— Вотъ что,—солидно заговорила хозяйка,—вы это письмо разорвите и бросьте. Если она вамъ отказала, она поступила, какъ паинька дѣвочка, да. Жениться вамъ рано, вы необезпеченный человѣкъ, а необезпе-

ченные люди не должны жениться. Вы здоровый юноша, можете много работать, и вы красивый, — васъ всегда полюбятъ... А сами вы пока влюбляться погодите. Работайте, торгуйте, копите деньги, добивайтесь, чтобы завести какое-нибудь дѣло побольше, старайтесь открыть лавочку и тогда, когда у васъ будетъ что-нибудь солидное, женитесь. Вамъ все это удастся: вы не пьете, вы—скромный, одинокій...

Илья слушалъ, опустивъ голову, и внутренно улыбался. Ему хотѣлось засмѣяться вслухъ, громко, весело.

— Нечего вѣшать голову,—тономъ опытнаго человѣка продолжала Татьяна Власьевна.—Пройдетъ! Любовь—болѣзнь, легко излѣчимая. Я сама до замужества три раза такъ влюблялась, что хоть топиться впору, и однако—прошло! А какъ увидала, что мнѣ ужъ серьезно пора замужъ выходить,—безо всякой любви вышла... Потомъ полюбила... мужа... Женщина иногда можетъ и въ своего мужа влюбиться...

— Т. е. это какъ?—широко раскрывъ глаза, спросилъ Илья. Татьяна Власьевна засмѣялась веселымъ смѣхомъ.

— Это я пошутила... Но и серьезно скажу: можно выйти замужъ, не любя, а потомъ полюбить...

И она снова защебетала, играя своими глазками. Илья слушалъ внимательно, съ большимъ интересомъ и съ уваженіемъ разглядывая ея маленькую, стройную фигурку, и удивлялся. Такая она маленькая, и такая гибкая, надёжная, умная...

„Вотъ съ такой женой не пропадешь",—думалъ онъ. Ему было пріятно видѣть то: сидитъ съ нимъ женщина образованная, мужняя жена, а не содержанка, чистая, тонкая, настоящая барыня, и не кичится ничѣмъ передъ нимъ, простымъ человѣкомъ, а даже говоритъ на „вы". Эта мысль вызвала въ немъ чувство благодарности къ хозяйкѣ, и когда она встала, чтобъ уйти, онъ тоже вскочилъ на ноги, поклонился ей и сказалъ:



— Покорно благодарю, что не погнушались... бесѣдой вашей утѣшили меня...

— Утѣшила? Вотъ видите!—она тихонько засмѣялась, на щекахъ у нея вспыхнули красныя пятна, и глаза нѣсколько секундъ неподвижно смотрѣли въ лицо Ильи.

— Ну, до свиданья... пока!—какъ-то особенно сказала она и ушла легкой походкой дѣвушки...

Съ каждымъ днемъ супруги Автономовы все больше нравились ему, и зависть къ ихъ спокойной жизни росла въ душѣ Ильи. Онъ не любилъ полицейскихъ, ибо видѣлъ много зла отъ нихъ, но Кирикъ казался ему простымъ рабочимъ человѣкомъ, добрымъ, недалекимъ. Онъ былъ тѣломъ, его жена—душой; онъ рѣдко бывалъ въ домѣ и мало значилъ въ немъ. Татьяна Власьевна все проще относилась къ Ильѣ. Она стала просить его наколоть дровъ, принести воды, выплеснуть помои. Онъ охотно исполнялъ ея просьбы, и незамѣтно эти маленькія услуги стали его обязанностями. Тогда хозяйка разсчитала рябую дѣвочку, сказавъ ей, чтобъ она приходила только по субботамъ.

Иногда къ Автономовымъ приходили гости, — помощникъ частнаго пристава Корсаковъ, тощій человѣкъ съ длинными усами. Онъ носилъ темные очки, курилъ толстыя папиросы, терпѣть не могъ извозчиковъ и всегда говорилъ о нихъ съ раздраженіемъ.

— Никто не нарушаетъ такъ порядка и благообразія, какъ извозчикъ,—разсуждалъ онъ.—Это такіе нахальные скоты! Пѣшеходу всегда можно внушить уваженіе къ порядку на улицѣ, стоитъ только полиціймейстеру напечатать правило: „идущіе внизъ по улицѣ должны держаться правой стороны, идущіе вверхъ—лѣвой“, и тотчасъ же движенію по улицамъ будетъ придана дисциплина. Но извозчика не проймешь никакими правилами, извозчикъ это—это чортъ знаетъ, что такое!

Объ извозчикахъ онъ могъ говорить цѣлый вечеръ, и Луневъ никогда не слыхалъ отъ него другихъ рѣ-

[redacted]

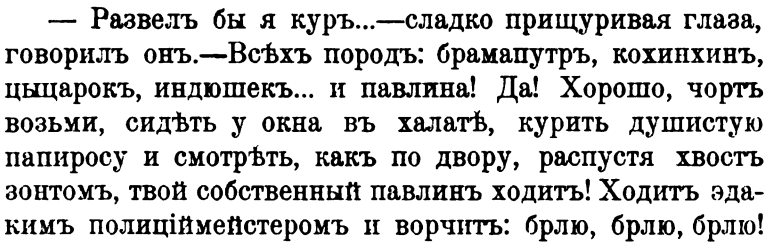
чей. Приходилъ еще смотритель пріюта для дѣтей Грызловъ, молчаливый человѣкъ съ черной бородой. Онъ любилъ пѣть басомъ „Какъ по морю, морю синему“, а жена его, высокая и полная женщина съ большими зубами, каждый разъ съѣдала всѣ конфекты у Татьяны Власьевны, за что послѣ ея ухода Автономова ругала ее.

— Это Фелицата Егоровна на зло мнѣ дѣлаетъ! Непремѣнно сожретъ все, что есть сладкаго на столѣ...

Потомъ являлась Александра Викторовна Травкина съ мужемъ. Она была высокая, тонкая съ большимъ носомъ и короткими, рыжими волосами. Глазастая и визгливая, она часто сморкалась съ такимъ страннымъ звукомъ, точно коленкоръ рвали. А мужъ ея говорилъ шопотомъ, — у него болѣло горло, — но говорилъ онъ неустанно, цѣлыми часами, и во рту у него точно сухая солома шуршала. Былъ онъ человѣкъ очень зажиточный, служилъ по акцизу, состоялъ членомъ правленія въ какомъ-то благотворительномъ обществѣ, и оба они съ женой постоянно говорили о благотворительности, ругали бѣдныхъ, обвиняли ихъ во лжи, въ жадности, въ непочтительности къ людямъ, которые желаютъ имъ добра...

Луневъ, сидя въ своей комнатѣ, внимательно вслушивался въ разговоръ, желая понять, что и какъ они говорятъ о жизни? И то, что онъ слышалъ, было непонятно ему. Казалось, что эти люди давно уже о всемъ переговорили другъ съ другомъ, все рѣшили, все знаютъ и строго осудили всѣхъ другихъ людей, которые живутъ иначе, чѣмъ они. Они говорили чаще всего о скандалахъ въ разныхъ семьяхъ, объ архіерейской службѣ, о дурномъ поведеніи знакомыхъ женщинъ и мужчинъ. Ильѣ было скучно слушать ихъ.

Иногда вечеромъ хозяева приглашали постояльца пить чай. За чаемъ Татьяна Власьевна весело шутила, а ея мужъ мечталъ о томъ, какъ бы хорошо не служить, а разбогатѣть сразу и—купить домъ.



— Развелъ бы я куръ...—сладко прищуривая глаза, говорилъ онъ.—Всѣхъ породъ: брамапутръ, кохинхинъ, цыцарокъ, индюшекъ... и павлина! Да! Хорошо, чортъ возьми, сидѣть у окна въ халатѣ, курить душистую папиросу и смотрѣть, какъ по двору, распустя хвостъ зонтомъ, твой собственный павлинъ ходитъ! Ходитъ эдакимъ полиціймейстеромъ и ворчитъ: брлю, брлю, брлю!

Татьяна Власьевна смѣялась тихимъ, вкуснымъ смѣшкомъ и, поглядывая на Илью, тоже мечтала:

— А я бы тогда лѣтомъ ѣздила путешествовать въ Крымъ, на Кавказъ, а зимой засѣдала бы въ обществѣ попеченія о бѣдныхъ. Сшила бы себѣ черное суконное платье, самое скромное, и никакихъ украшеній, кромѣ броши съ рубиномъ и сережекъ изъ жемчуга. Я читала въ „Нивѣ“ стихи, въ которыхъ было сказано, что кровь и слезы бѣдныхъ обратятся на томъ свѣтѣ въ жемчугъ и рубины.—И тихонько вздохнувъ, она заключала:

— Рубины удивительно идутъ къ брюнеткамъ...

Илья молчалъ и улыбался. Въ комнатѣ было тепло, чисто, пахло вкуснымъ чаемъ и еще чѣмъ-то, тоже вкуснымъ. Въ клѣткахъ, свернувшись въ пушистые комки, спали птички, на стѣнахъ висѣли яркія картинки. Маленькая этажерка, въ простѣнкѣ между оконъ, была уставлена красивыми коробочками изъ-подъ лѣкарствъ, курочками изъ фарфора, разноцвѣтными пасхальными яйцами изъ сахара и стекла. Все это нравилось Ильѣ и навѣвало на него какую-то тихую, пріятную грусть.

Но порой,—особенно во дни неудачъ, — эта грусть перерождалась у Ильи въ какое-то досадное, безпокойное чувство. Курочки, коробочки и яички раздражали его, хотѣлось подойти къ нимъ, швырнуть ихъ на полъ и растоптать. Это настроеніе и удивляло, и пугало Илью: онъ не понималъ его, оно казалось ему чужимъ. Когда оно охватывало его, онъ упорно молчалъ, глядя въ одну точку и боясь говорить, чтобъ не обидѣть чѣмъ-нибудь

этихъ милыхъ людей. Но какъ-то разъ, играя въ карты съ хозяевами, онъ не сдержался и, въ упоръ глядя въ лицо Кирика Автономова, спросилъ его сухимъ голосомъ:

— А что, Кирикъ Никодимовичъ, такъ вы и не нашли того, который купца на Дворянской задушилъ?..

Спросилъ и почувствовалъ въ груди какое-то особенно пріятное, жгучее щекотаніе.

— Т. е. Полуэктова?—разсматривая свои карты, задумчиво сказалъ околоточный. И тотчасъ же повторилъ:—т. е. Полуэктова? вва-ва-ва... Нѣтъ, я не нашелъ Полуэктова—вва-ва-ва... не нашелъ, другъ мой... т. е. не Полуэктова, а того, котораго... Я и не искалъ... и не нашелъ... и мнѣ его не надо... а надо мнѣ знать—у кого дама пикъ? Пикъ-пикъ-пикъ! Ты, Таня, ходила ко мнѣ тройкой,—дама трефъ, дама бубенъ и—что еще?

— Семерка бубенъ... думай скорѣе...

— Такъ и пропалъ человѣкъ!—сказалъ Илья, дерзко усмѣхаясь.

Но околоточный не обращалъ на него вниманія, углубленный въ обдумываніе хода.

— Такъ и пропалъ,—повторилъ онъ.—Такъ и укокошили Полуэктова—вва-ва-ва...

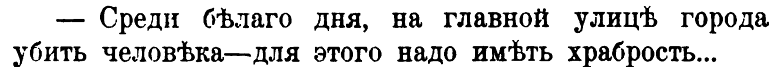
— Киря, оставь вавкать,—сказала его жена.—Ходи скорѣе...

— Погоди, погоди, погоди!

— Ловкій, должно быть, человѣкъ убилъ!—не отставалъ Илья. Невниманіе къ его словамъ еще болѣе разжигало его охоту говорить объ убійствѣ.

— Ло-овкій? — протянулъ околоточный.—Нѣтъ, это я вотъ—ловкій! Р-разъ!

И громко шлепнувъ картами по столу, онъ пошелъ къ Ильѣ пяткомъ. Илья не могъ раскрыть и остался въ дуракахъ. Супруги смѣялись надъ нимъ, а его еще болѣе раздражало это. И, сдавая карты, онъ упрямо говорилъ:



— Среди бѣлаго дня, на главной улицѣ города убить человѣка—для этого надо имѣть храбрость...

— Счастье, а не храбрость,—поправила его Татьяна Власьевна.

Илья посмотрѣлъ на нее, на ея мужа, негромко засмѣялся и спросилъ:

— Убить—счастье?

— Ну-да! Т. е. убить и не попасть въ тюрьму.

— Опять мнѣ бубноваго туза влѣпили!—сказалъ околоточный.

— Его мнѣ бы надо!—сказалъ Илья серьезно.

— Убейте купца, и дадутъ!—пообѣщала ему Татьяна Власьевна, думая надъ картами.

— Во-отъ! Убей и получишь туза суконнаго, а пока получи картоннаго!—бросивъ Ильѣ двѣ девятки и туза, сказалъ Кирикъ и громко захохоталъ.

Луневъ снова посмотрѣлъ на ихъ довольныя, веселыя лица, и у него пропала охота говорить объ убійствѣ.

Бокъ-о-бокъ съ этими людьми, отдѣленный отъ чистой и спокойной жизни тонкой стѣной, онъ все чаще испытывалъ приступы тяжкой скуки. Она вливалась въ грудь ему густой холодной влагой, и онъ не могъ понять, откуда она?

Съ нею вмѣстѣ являлись думы о противорѣчіяхъ жизни, о Богѣ, Который все знаетъ, но не наказываетъ, терпѣливо ожидая... Чего Онъ ждетъ?

Отъ скуки Луневъ снова началъ читать: у хозяйки было нѣсколько томовъ „Нивы“ и „Живописнаго Обозрѣнія“ и еще какія-то растрепанныя книжонки.

И такъ же, какъ въ дѣтствѣ, ему нравились только тѣ разсказы и романы, въ которыхъ описывалась жизнь чужая, неизвѣстная ему, а не та, настоящая, несправедливая жизнь, въ которой онъ жилъ. Когда же ему попадались разсказы о дѣйствительной жизни, о бытѣ простонародья, онъ находилъ ихъ скучными и невѣрными. Порою они смѣшили его, а порой ему дума-

лось, что эти разсказы пишутся какими-то хитрыми людьми, которые хотятъ прикрасить и пригладить эту темную, тяжелую жизнь. Онъ зналъ ее и узнавалъ все болѣе. Расхаживая по улицамъ, онъ каждый день видѣлъ что-нибудь такое, что настраивало его на критическій ладъ. И приходя въ больницу, Луневъ говорилъ Павлу, насмѣшливо улыбаясь:

— Порядки! Видѣлъ я давеча—идутъ тротуаромъ плотники и штукатуры. Вдругъ—полицейскій: ахъ вы, черти! И прогналъ ихъ съ тротуара. Дескать, ходи тамъ, гдѣ лошади ходятъ, а то господъ испачкаешь грязной твоей одежой... Строй мнѣ домъ, а самъ жмись въ комъ... ха!

Павелъ тоже вспыхивалъ и еще больше подкладывалъ сучьевъ въ огонь. Онъ томился въ больницѣ, какъ въ тюрьмѣ, думы не давали ему покоя, глаза у него горѣли тоскливо и злобно. Мысль о томъ, гдѣ и какъ живетъ Вѣра, приводила его въ какое-то оцѣпенѣніе, и онъ худѣлъ, какъ таялъ. Яковъ Филимоновъ не нравился ему, и, не смотря на скуку, онъ не могъ. сойтись съ нимъ.

— Ну, его! Какой-то онъ полуумный... что ли,—отвѣтилъ онъ Ильѣ на вопросъ о Яковѣ.

А Яковъ, у котораго оказались сломанными два ребра, лежа въ больницѣ, блаженствовалъ. Онъ свелъ дружбу съ сосѣдомъ по койкѣ, церковнымъ сторожемъ, которому недавно отрѣзали ногу, пораженную саркомой. Это былъ человѣкъ толстый, коротенькій, съ огромной лысой головой и черной бородою во всю грудь. Брови у него были большія, какъ усы, онъ постоянно шевелилъ ими, а голосъ его былъ глухъ, точно выходилъ изъ живота. Каждый разъ, когда Луневъ являлся въ больницу, онъ заставалъ Якова сидящимъ на койкѣ сторожа. Сторожъ лежалъ и молча шевелилъ бровями, а Яковъ читалъ вполголоса библію, такую же коротенькую и толстую, какъ сторожъ.

„Такъ! ночью будетъ разоренъ Аръ-Моавъ и уничтоженъ; такъ! ночью будетъ разоренъ Киръ-Моавъ и уничтоженъ!“

Голосъ у Якова сталъ слабый и звучалъ, какъ скрипъ пилы, рѣжущей дерево. Читая, онъ поднималъ лѣвую руку кверху, какъ бы приглашая слушать зловѣщія пророчества Исаіи всѣхъ больныхъ въ палатѣ. Съ лица у него еще не сошли синія пятна отъ побоевъ, и большіе мечтательные глаза среди нихъ придавали лицу его что-то страшное. Увидавъ Илью, онъ бросалъ книгу и съ безпокойствомъ спрашивалъ товарища всегда объ одномъ:

— Машутку не видалъ?

Илья не видалъ ея.

— Господи!—печально говорилъ Яковъ.—Какъ все это... словно въ сказкѣ! Была—и вдругъ колдунъ похитилъ, и нѣтъ ея больше...

— Отецъ былъ?—спрашивалъ Илья.

— Былъ... Опять былъ...

Лицо у Якова вздрагивало, и глаза пугливо двигались.

— Принесъ фунтъ кренделей, чаю, сахару... Будетъ, говоритъ, валяться-то, выписывайся! Я умолилъ доктора, чтобы меня не отпускали отсюда... Хорошо здѣсь... тихо, скромно... Вотъ—Никита Егоровичъ, читаемъ мы съ нимъ,—библію онъ имѣетъ. Семь лѣтъ читалъ ее, все въ ней наизусть знаетъ и можетъ объяснить пророчества... Выздоровлю я—буду жить съ Никитой Егорычемъ, уйду отъ отца! Буду помогать въ церкви Никитѣ Егорычу и пѣть на лѣвомъ клиросѣ...

Сторожъ медленно поднималъ брови; подъ ними въ глубокихъ орбитахъ тяжело ворочались огромные, темные глаза. Они смотрѣли въ лицо Ильи спокойно и безъ блеска, неподвижнымъ матовымъ взглядомъ, и Луневу хотѣлось отворотиться отъ нихъ.

— Какая это книга хорошая—библія!—захлебываясь отъ удовольствія, вскрикивалъ Яковъ, забывая Машу,

отца, свои мечты.—Что въ ней сказано, братъ! Какія слова!

Его широко открытые глаза прыгали со страницъ книги на лицо Ильи и обратно, и весь онъ трепеталъ въ оживленіи.

— И это есть, — помнишь, начетчикъ въ трактирѣ говорилъ: „Покойны шатры у грабителей?“ Есть, я нашелъ! И хуже есть!

Закрывъ глаза, съ поднятой кверху рукою, онъ наизусть возглашалъ торжественнымъ голосомъ:

— „Часто ли угасаетъ свѣтильникъ у беззаконныхъ, и находитъ на нихъ бѣда, и Онъ дастъ имъ въ удѣлъ страданія во гнѣвѣ своемъ?“ — Слышишь? „Скажешь: Богъ бережетъ для дѣтей Его несчастіе его. Пусть воздастъ Онъ ему самому, чтобъ онъ зналъ“...

— Неужто такъ и сказано?—съ недовѣріемъ спросилъ Илья.

— Слово въ слово!..

— По-моему, это... нехорошо... грѣхъ! — сказалъ Илья.

Сторожъ двинулъ бровями, и онѣ закрыли ему глаза. Борода его зашевелилась, и внятно глухимъ, страннымъ голосомъ онъ сказалъ:

— Дерзновеніе человѣка правды ищущаго не есть грѣхъ, ибо творится по внушенію свыше...

Илья вздрогнулъ. А сторожъ глубоко вздохнулъ и сказалъ еще такъ же медленно и внятно:

— Правда сама внушаетъ человѣку — ищи меня! Ибо правда—есть Богъ... А сказано: „великая слава—слѣдовать Господу“...

Лицо сторожа, сплошь заросшее густыми волосами, внушало Ильѣ уваженіе и робость: было въ этомъ лицѣ что-то важное, суровое.

Вотъ брови сторожа поднялись, онъ уставился глазами въ потолокъ, и вновь волосы на его лицѣ зашевелились.

— Прочитай ему, Яша, отъ Іова начало десятой главы...

Яковъ молча, поспѣшно перебросилъ нѣсколько страницъ книги и прочелъ тихо, вздрагивающими звуками:

„Опротивѣла душѣ моей жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить въ горести души моей. Скажу Богу: не обвиняй меня, скажи мнѣ, за что Ты со мной борешься? Хорошо ли для Тебя, что Ты угнетаешь, что Ты презираешь дѣло рукъ Твоихъ“...

Илья вытянулъ шею и заглянулъ въ книгу, мигая глазами.

— Не вѣришь?—воскликнулъ Яковъ.—Вотъ чудакъ!

— Не чудакъ, а трусъ,—спокойно сказалъ сторожъ,—ибо не можетъ смотрѣть въ лицо Бога...

Онъ тяжело перевелъ свой матовый взглядъ съ потолка на лицо Ильи и сурово, точно хотѣлъ словами раздавить его, продолжалъ:

— Есть рѣчи и еще тяжелѣе читаннаго. Стихъ третій, двадцать второй главы, говоритъ тебѣ прямо: „Что за удовольствіе Вседержителю, что ты праведенъ? И будетъ ли Ему выгода отъ того, что ты держишь пути твои въ непорочности?“... И нужно долго понимать, чтобы не ошибиться въ этихъ рѣчахъ...

— А вы... понимаете?—тихо спросилъ Луневъ.

— Онъ?—воскликнулъ Яковъ.—Никита Егоровичъ все понимаетъ!

Но сторожъ сказалъ, еще понизивъ свой голосъ:

— Мнѣ—поздно... Мнѣ ужъ надо смерть понимать... Отрѣзали мнѣ ногу, а она, вотъ, выше пухнетъ... и другая пухнетъ... а также и грудь... и я умру скоро отъ этого...

Глаза его давили лицо Ильи, и медленно, спокойно онъ говорилъ:

— А умирать мнѣ не хочется... потому что жилъ я плохо, въ обидахъ и огорченіяхъ, радостей же—не было

въ жизни моей. Смолоду—работалъ все и, какъ Яша, жилъ подъ отцомъ. Былъ онъ пьяница и звѣрь... Трижды голову мнѣ проламывалъ и разъ кипяткомъ ноги сварилъ. Матери не было: родивъ меня, померла. Женился. Насильно пошла за меня жена,—не любила... На третьи сутки послѣ свадьбы повѣсилась. Да... Зять былъ. Ограбилъ меня; сестра же сказала мнѣ, что это я жену въ петлю вогналъ. И всѣ такъ говорили, хотя знали—не тронулъ я ее, и какъ она была дѣвкой, такъ и... издохла. Жилъ я послѣ того еще девять лѣтъ. Одинъ. Страшно жить одному!.. Все ждалъ, когда радости будутъ. И—вотъ помираю. Только и всего.—Онъ закрылъ глаза, помолчалъ и вновь, уже не глядя, спросилъ:

— Зачѣмъ жилъ? Отгадай...

Илья слушалъ его тяжелую рѣчь, блѣдный, со страхомъ въ сердцѣ. Лицо Якова побурѣло, на глазахъ у него сверкали слезы.

— Зачѣмъ жилъ, спрашиваю?.. Обиженъ я Господомъ... Не прошу Его продлить жизнь... Нѣтъ словъ. Лежу вотъ и думаю—зачѣмъ жилъ?

Голосъ сторожа изсякъ. Онъ порвался сразу, какъ будто по землѣ текъ мутный ручей и вдругъ скрылся подъ землю.

— „Кто находится между живыми, тому еще есть надежда, такъ какъ и псу живому лучше, чѣмъ мертвому льву“,—заговорилъ сторожъ, не побѣдивъ молчанія. Опять его брови шевельнулись, открывъ глаза. И борода зашевелилась снова.

— Тамъ же, въ Екклезіастѣ, сказано: „Во дни благополучія пользуйся благомъ, а во дни несчастія—размышляй: то и другое содѣялъ Богъ для того, чтобъ человѣкъ не могъ ничего сказать противъ Него...“ А-а-а?

Больше Илья не могъ слушать. Онъ тихо всталъ и, [illegible]авъ руку Якова, поклонился сторожу тѣмъ низкимъ

поклономъ, которымъ прощаются съ мертвыми. Это вышло у него случайно.

Въ этотъ разъ онъ вынесъ изъ больницы какую-то неловкость въ сердцѣ, что-то новое, тяжелое. Разговоръ со сторожемъ не поселилъ въ его головѣ ни одной ясной мысли, но мрачный образъ этого человѣка глубоко врѣзался въ его память. Увеличилось еще однимъ количество людей, обиженныхъ жизнью и знакомыхъ ему. Онъ хорошо запомнилъ слова сторожа и долго переворачивалъ ихъ на всѣ лады, стараясь понять ихъ сокровенный смыслъ. Они мѣшали ему, возмущая что-то въ самой глубинѣ его души, именно тамъ, гдѣ хранилъ онъ свою вѣру въ справедливость Бога. И эти слова, оставаясь непонятыми имъ, будили въ немъ тѣ ѣдкія думы, которыя всегда заставляли его перебирать и пересматривать все, что онъ видѣлъ и испыталъ въ жизни.

И ему казалось теперь, что когда-то, незамѣтно для него, его вѣра въ справедливость Бога пошатнулась, что она не такъ уже крѣпка, какой была прежде: что-то разъѣло ее, какъ ржавчина желѣзо. Онъ ясно чувствовалъ, что это случилось въ его душѣ: тяжелая сумятица, поднятая въ немъ жалобами сторожа, убѣждала его въ этомъ. Въ его груди бушевало что-то несоединимое, какъ вода и огонь. И съ новой силой въ немъ возникло озлобленіе противъ своего прошлаго, всѣхъ людей и всѣхъ порядковъ жизни.

Автономовы обращались съ нимъ все ласковѣе. Кирикъ покровительственно хлопалъ его по плечу, шутилъ съ нимъ и осанисто говорилъ:

— Ты пустяками занимаешься, братецъ. Такой скромный, серьезный парень долженъ развернуться шире. Потому что, если у человѣка способности частнаго пристава,—не подобаетъ ему служить околоточнымъ...

А Татьяна Власьевна стала внимательно и подробно разспрашивать Илью о томъ, какъ идетъ его торговля,

и сколько въ мѣсяцъ имѣетъ онъ чистой прибыли. Онъ всегда охотно говорилъ съ ней, и въ немъ все повышалось уваженіе къ этой женщинѣ, умѣвшей изъ пустяковъ устроить такую чистую и милую жизнь...

Однажды вечеромъ, когда онъ, охваченный скукой, сидѣлъ въ своей комнатѣ у открытаго окна и, глядя въ темный садъ, вспоминалъ Олимпіаду, Татьяна Власьевна вышла въ кухню и позвала его пить чай. Онъ пошелъ неохотно: ему жаль было отвлекаться отъ своихъ думъ и не хотѣлось ни о чемъ говорить. Хмуро, молча онъ сѣлъ за чайный столъ и, взглянувъ на хозяевъ, увидалъ, что лица у нихъ торжественны и озабочены чѣмъ-то. Они тоже молчали. Сладко курлыкалъ самоваръ, какая-то птичка, проснувшись, металась въ клѣткѣ. Пахло печенымъ лукомъ и одеколономъ. Кирикъ повернулся на стулѣ и, забарабанивъ пальцами по краю подноса, запѣлъ:

— Тир-рим, тир-рим, тар-рам-рам! Бум, бум, тру-ту-ту! тру-ту-ту!..

— Илья Яковлевичъ!—внушительно заговорила женщина.—Мы съ мужемъ обдумали... одно дѣло... и хотимъ поговорить съ вами серьезно...

— Хо, хо, хо!—вдругъ захохоталъ околоточный и сталъ крѣпко потирать свои красныя руки. Илья вздрогнулъ, удивленно взглянувъ на него.

— Погоди же, Кирикъ! Это совсѣмъ неумѣстно—смѣяться...

— Мы обдумали!—широко улыбаясь, воскликнулъ околоточный и, подмигнувъ Ильѣ на жену, добавилъ:

— Геніальная башка!

— Мы скопили немножко денегъ, Илья Яковлевичъ.

— Мы скопили! Хо, хо, хо! Ми-лая моя!..

— Киря! Перестань! — строго сказала Татьяна Власьевна. Лицо у нея стало сухое и еще болѣе заострилось.

— Мы скопили рублей... около тысячи,—говорила

она вполголоса, наклоняясь къ Ильѣ и впиваясь острыми глазками въ его глаза. Онъ сидѣлъ спокойно, но чувствовалъ, что въ груди у него что-то играетъ.

— Деньги эти лежатъ въ банкѣ и даютъ намъ четыре процента...

— А этого мало, чортъ ихъ возьми!—вскричалъ Кирикъ, стукнувъ по столу.—Мы хотимъ...

Жена остановила его строгимъ взглядомъ.

— Намъ, конечно, вполнѣ достаточно такого процента. Но... мы хотимъ помочь вамъ выйти на дорогу... Вы—такой... солидный...

Она сказала нѣсколько комплиментовъ Ильѣ и продолжала:

— Вы говорили, что галантерейный магазинъ можетъ дать процентовъ двадцать и даже болѣе, смотря по тому, какъ поставить дѣло. Ну-съ, мы готовы дать вамъ подъ вексель на срокъ,—до предъявленія, не иначе,— наши деньги съ условіемъ, что вы открываете на нихъ магазинъ. Торговать вы будете подъ моимъ контролемъ, а прибыль мы дѣлимъ пополамъ. Товаръ вы страхуете на мое имя, а кромѣ того вы даете мнѣ на него еще одну бумажку... пустая бумажка! Но она необходима для формы. Вотъ... ну-те-ка, подумайте надъ этимъ и скажите: да или нѣтъ?

Илья слушалъ ея тонкій, сухой голосъ и крѣпко теръ себѣ лобъ. Нѣсколько разъ въ теченіе ея рѣчи онъ поглядывалъ въ уголъ, гдѣ блестѣла золоченая риза иконы съ вѣнчальными свѣчами по бокамъ ея. Онъ не удивлялся, но ему было какъ-то неловко, даже боязно. Это предложеніе, сразу осуществлявшее его давнюю мечту, ошеломило его и въ то же время обрадовало. Растерянно улыбаясь, онъ смотрѣлъ на маленькую женщину и думалъ:

„Вотъ она, судьба...“

А она говорила ему тономъ матери:

— Подумайте объ этомъ хорошенько; разсмотрите

дѣло со всѣхъ сторонъ. Можете ли вы взяться за него, хватитъ ли силъ, умѣнья? И потомъ, скажите намъ,— кромѣ труда, что еще можете вложить вы въ дѣло? Нашихъ денегъ—мало... не такъ ли?

— Я... могу,—медленно заговорилъ Илья,—вложить рублей пятьсотъ. Мнѣ дядя дастъ... Дядя у меня... я говорилъ вамъ... онъ дастъ! Можетъ быть, и больше...

— Ур-ра!—крикнулъ Кирикъ Автономовъ.

— Значитъ — вы согласны? — спросила Татьяна Власьевна.

— Я... согласенъ!—сказалъ Луневъ.

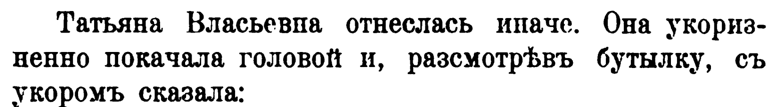
— Ну, еще бы!—закричалъ околоточный и, сунувъ руку въ карманъ, заговорилъ громко и возбужденно.— Ну, а теперь—пьемъ шампанское! Шампанское, чортъ побери мою душу вмѣстѣ съ пятками! Илья, бѣги, братецъ, въ погребокъ... тащи шампань! Дернемъ бутылочку... На, мы тебя угощаемъ. Спрашивай донского шампанскаго въ девять гривенъ и скажи, что это мнѣ, Автономову,—тогда за шестьдесятъ пять отдадутъ... Иди, живо-о!

Илья съ улыбкой поглядѣлъ на сіяющія лица супруговъ и ушелъ.

Онъ думалъ, что вотъ судьба ломала, тискала его, сунула въ тяжелый грѣхъ, смутила душу, а теперь какъ будто прощенья у него проситъ, улыбается, угождаетъ ему... Теперь предъ нимъ открыта свободная дорога въ чистый уголъ жизни, гдѣ онъ будетъ жить одинъ спокойно и умиротворитъ свою душу. Видимо, сама судьба помогаетъ ему оправдаться, облегчая достиженіе желанной, чистой жизни. Мысли кружились въ его головѣ веселымъ хороводомъ и вливали въ сердце невѣдомую Ильѣ до этой поры увѣренность.

Онъ принесъ изъ погребка настоящаго шампанскаго, заплативъ за бутылку семь рублей.

— Ого-о!—воскликнулъ Автономовъ.—Это шикозно, братецъ! Въ этомъ есть идея, да-а!



Татьяна Власьевна отнеслась иначе. Она укоризненно покачала головой и, разсмотрѣвъ бутылку, съ укоромъ сказала:

— Рублей пять? Ай-ай-ай, Илья Яковлевичъ, какъ это непрактично, какъ несолидно!

Луневъ, счастливый и умиленный, стоялъ предъ ней и улыбался.

— Настоящее!—сказалъ онъ, полный радости.—Въ первый разъ въ жизни моей настоящаго хлебну! Какая жизнь была у меня? Вся—фальшивая... грязь, грубость, тѣснота... огорченія, обиды и всякія муки для сердца... Развѣ это настоящее? Развѣ этимъ можно человѣку жить?

Онъ коснулся наболѣвшаго мѣста въ душѣ своей,—въ слова его влилась горечь, глаза потемнѣли; глубоко вздыхая, онъ продолжалъ сильно и твердо:

— Я съ малыхъ лѣтъ настоящаго искалъ, а жилъ... какъ щепа въ ручьѣ... бросало меня изъ стороны въ сторону... и все вокругъ меня было мутное, грязное, безпокойное. Пристать мнѣ было не къ чему... Видѣлъ я вокругъ себя одно горе, несправедливость, грабежъ... и всякую пакость. И вотъ—бросило меня къ вамъ. Вижу—въ первый разъ въ жизни!—живутъ люди тихо, чисто, въ любви...

Онъ посмотрѣлъ на нихъ съ ясной улыбкой и низко поклонился имъ.

— Спасибо вамъ! У васъ я душу облегчилъ... ей-Богу! Вы мнѣ даете помощь сразу на всю жизнь! Теперь я пойду! Теперь ужъ я знаю, какъ жить! И мнѣ будетъ хорошо, и другимъ не плохо... Сколько несчастныхъ людей на землѣ! Сколько ихъ зря гибнетъ... Все это я видѣлъ, все знаю...

Татьяна Власьевна смотрѣла на него взглядомъ кошки на птицу, увлеченную своимъ пѣніемъ. Въ глазахъ у нея сверкалъ зеленый огонекъ, а губы вздрагивали. А Кирикъ возился съ бутылкой, сжимая ее

колѣнями и наклоняясь надъ ней. Шея у него налилась кровью, уши двигались...

— Товарищи мои... есть у меня два товарища... дѣвушка...

Пробка хлопнула, ударилась въ потолокъ и упала на столъ. Задребезжалъ стаканъ, задѣтый ею...

Кирикъ, чмокая губами, разлилъ вино въ стаканы и скомандовалъ:

— Берите!

А когда его жена и Луневъ взяли стаканы, онъ поднялъ высоко надъ головой свой стаканъ и крикнулъ:

— За преуспѣяніе фирмы „Татьяна Автономова и Луневъ"—ур-ра-а!

Нѣсколько дней кряду Луневъ обсуждалъ съ Татьяной Власьевной подробности затѣяннаго предпріятія. Она все знала и обо всемъ говорила съ такой увѣренностью, какъ будто всю жизнь вела торговлю галантерейнымъ товаромъ. Илья съ улыбкой слушалъ ее, молчалъ и удивлялся. Ему хотѣлось скорѣе искать помѣщеніе, скорѣе начать дѣло, и онъ соглашался на всѣ предложенія Автономовой, не вникая въ ихъ значеніе.

Наконецъ, все было выяснено,—оказалось даже, что Татьяна Власьевна имѣетъ въ виду и помѣщеніе. Оно было какъ разъ таково, о какомъ мечталъ Илья: на чистой улицѣ, маленькая лавочка съ комнатой для торговца. Илья зналъ эту лавочку,—раньше въ ней была молочная, и онъ часто заходилъ туда съ товаромъ. Все удавалось, все до мелочей, и Луневъ ликовалъ.

Бодрый и радостный, явился онъ въ больницу къ товарищамъ; тамъ его встрѣтилъ Павелъ, тоже веселый.

— Завтра выписываюсь!—возбужденно объявилъ онъ Ильѣ, прежде чѣмъ поздоровался съ нимъ.—Отъ Вѣр-



ки письмо получилъ... Ругается... обидѣлъ, говоритъ! Чертенокъ!

Глаза у него сіяли, на щекахъ горѣлъ румянецъ, онъ не могъ спокойно стоять на мѣстѣ, шаркалъ туфлями по полу, размахивалъ руками.

— Смотри!—сказалъ ему Илья.—Берегись теперь...

— Я? Кончено! Вопросъ: мамзель Вѣра Капитонова,—желаете вы вѣнчаться? Пожалуйте! Нѣтъ? Ножъ въ сердце!

По лицу и тѣлу Павла пробѣжала судорога.

— Ну-ну!—усмѣхаясь, сказалъ Илья.—Тоже—ножъ!.. горячка!

— Нѣтъ ужъ!.. будетъ! Я безъ нея жить не могу... да и ей безъ меня дѣлать нечего! Пакостей довольно съ нея... должна быть сыта... я же—по горло сытъ! Завтра у насъ все и произойдетъ... такъ или эдакъ...

Луневъ всмотрѣлся въ лицо товарища и вдругъ въ головѣ его блеснула простая, ясная мысль. Онъ покраснѣлъ, а потомъ улыбнулся...

— Пашутка! Знаешь, я свое счастье нашелъ!

И онъ кратко разсказалъ товарищу, въ чемъ дѣло. Павелъ выслушалъ его, опустилъ голову и вздохнулъ, сказавъ:

— Да-а, везетъ тебѣ...

— Завидуешь?

— Еще бы... чортъ!

— Такъ повезло, что мнѣ предъ тобой теперь даже стыдно... право! По совѣсти говорю.

— И на томъ спасибо!—хмуро усмѣхнулся Павелъ.

— Знаешь что?—тихо заговорилъ Илья.—Я вѣдь это не хвастаясь, а серьезно говорю, что стыдно мнѣ... ей-Богу!

Павелъ молча взглянулъ на него и вновь задумчиво опустилъ голову.

— И я хочу тебѣ сказать... въ горѣ вмѣстѣ жили, давай и радость подѣлимъ.

— Мм...—промычалъ Павелъ.—Я слышалъ, что радость, какъ бабу, дѣлить нельзя...

— Можно! Ты разузнай, что надо для водопроводной мастерской, какіе инструменты, матеріалъ и все... и сколько стоитъ... А я тебѣ дамъ денегъ...

— Н-н-ну-у?—протянулъ Павелъ недовѣрчиво. Луневъ горячо и крѣпко схватилъ его руку и сжалъ ее.

— Вотъ... чудакъ! Дамъ!

Но ему еще долго пришлось убѣждать Павла въ серьезности своего намѣренія. Тотъ все покачивалъ головой, мычалъ и говорилъ:

— Не бываетъ такъ...

Луневъ, наконецъ, убѣдилъ его. Тогда онъ, въ свою очередь, обнялъ его и сказалъ дрогнувшимъ, глухимъ голосомъ:

— Спасибо, братъ! Изъ ямы тащишь... Только... вотъ что: мастерскую я не хочу,—ну ихъ къ чорту, мастерскія! Знаю я ихъ... Ты денегъ—дай, а я Вѣрку возьму и уѣду отсюда. Такъ и тебѣ легче,—меньше денегъ возьму,—и мнѣ удобнѣе. Уѣду куда-нибудь и поступлю самъ въ мастерскую...

— Это ерунда!—сказалъ Илья. —Лучше хозяиномъ быть...

— Какой я хозяинъ?—весело воскликнулъ Павелъ.— Я не умѣю съ рабочими обращаться. Нѣтъ, хозяйство и все эдакое... не по душѣ мнѣ... Я, братъ, знаю, что такое хозяинъ! Не гожусь! Козла свиньей не нарядишь...

Луневъ не совсѣмъ ясно понималъ отношеніе Павла къ хозяйству, но оно нравилось ему и еще болѣе располагало въ пользу товарища. Онъ ласково и весело смотрѣлъ на него и говорилъ:

— А вѣрно вѣдь,—похожъ ты на козла: такой же сухопарый. Знаешь,—ты на сапожника Перфишку похожъ... право! Ну, такъ ты завтра приходи и возьми денегъ на первое время, пока безъ мѣста будешь... А я—къ Якову схожу теперь...



— Ладно! Спасибо, братъ!..

— Ты какъ съ Яковомъ-то?

— Да все... такъ какъ-то... не наладимся...—усмѣхнулся Грачевъ.

— Несчастный онъ... Тяжко ему жить,—задумчиво сказалъ Илья.

— Ну, этого всѣмъ намъ слишкомъ дадено...—отвѣтилъ Павелъ, пожавъ плечами.—Мнѣ все думается, что онъ не въ своемъ умѣ... Такъ, пошехонецъ какой-то...

— Ну, я иду...

— Иди...

И когда Илья отошелъ отъ него, онъ, стоя среди коридора, еще разъ крикнулъ ему:

— Спасибо, братъ!

Илья улыбнулся и съ улыбкой кивнулъ ему головой.

А Якова онъ засталъ грустнымъ и убитымъ. Лежа на койкѣ лицомъ къ потолку, онъ смотрѣлъ широко-открытыми глазами вверхъ и не замѣтилъ, какъ подошелъ къ нему Илья.

— Никиту-то Егорыча унесли въ другую палату,—уныло сказалъ онъ Ильѣ.

— Ну и хорошо! – одобрительно замѣтилъ Луневъ.—А то больно онъ страшенъ... И рѣчи у него все эдакія... Богъ съ нимъ!..

Яковъ укоризненно взглянулъ на него и промолчалъ.

— Поправляешься?—спросилъ Илья.

— Да-а...—со вздохомъ отвѣтилъ Яковъ.—И похворать не удастся мнѣ, сколько хочется... Вчера опять отецъ былъ. Домъ, говоритъ, купилъ. Еще трактиръ хочетъ открыть. И все это—на мою голову...

Ильѣ хотѣлось порадовать товарища своей радостью, но что-то мѣшало ему говорить.

Веселое солнце весны ласково смотрѣло въ окна, но желтыя стѣны больницы казались еще желтѣе. При свѣтѣ солнца на штукатуркѣ выступали какія-то пят-

на, трещины. Двое больныхъ, сидя на койкѣ, сосредоточенно играли въ карты, молча шлепая ими. Высокій и худой мужчина безшумно расхаживалъ по палатѣ, низко опустивъ забинтованную голову. Было тихо, хотя откуда-то доносился удушливый кашель, а въ коридорѣ шаркали туфли больныхъ. Желтое лицо Якова было безжизненно, мутные глаза его смотрѣли тоскливо.

— Эхъ, умереть бы!—говорилъ онъ своимъ сухимъ скрипящимъ голосомъ. Лежу вотъ и думую: интересно умереть. Должно быть, тамъ все иное... особенное эдакое, никѣмъ не виданное... Шуму нѣтъ... Все понятно, все ясно, свѣтло...— Голосъ у него упалъ, зазвучалъ тише.

— Ангелы ласковые... На все могутъ отвѣтить тебѣ... все объяснятъ... ангелы...—Онъ замолчалъ мигнувъ глазами, и сталъ слѣдить, какъ на потолкѣ играетъ блѣдный солнечный лучъ, отраженный чѣмъ-то.

— А знаешь...—сказалъ Луневъ.

Но Яковъ перебилъ его рѣчь:

— Машутку-то не видалъ?..

— Н-нѣтъ...

— Эхъ ты!.. повидалъ бы!..

— Какъ-то все въ умъ не входитъ...

— Надо, чтобы въ сердце вошло...

Луневъ сконфузился и замолчалъ. Изъ коридора вошелъ на костыляхъ низенькій человѣкъ съ закрученными въ стрѣлку усами и шипящимъ голосомъ сказалъ кому-то:

— Шурка опять не пришла, шельма...

Яковъ вздохнулъ и безпокойно заворочалъ головой по подушкѣ:

— Вотъ Никита Егорычъ не хочетъ, а умретъ... Мнѣ фельдшеръ сказалъ... умретъ! А я хочу—не умирается... Выздоровлю,—опять въ трактиръ... И пропаду... зря... безполезный всему...

Губы его медленно растянулись въ грустную улыбку.

нъ какъ-то особенно поглядѣлъ на товарища и загорилъ снова:

— Чтобы жить въ этой жизни, надо имѣть бока елѣзные, сердце желѣзное... а то жить, какъ всѣ... езъ думъ, безъ совѣсти...

Илья почувствовалъ въ словахъ Якова что-то неріязненное, сухое и нахмурился.

— А я—какъ стекло въ камняхъ: повернусь и—рещина...

— Любишь ты жаловаться!—неопредѣленно сказалъ уневъ.

— А ты?—спросилъ Яковъ.

Илья отвернулся и промолчалъ. Потомъ, чувствуя, то Яковъ не собирается говорить, онъ задумчиво молилъ:

— Всѣмъ тяжко. Взять хотя бы Павла...

— Не люблю я его,—сказалъ Яковъ, сморщивъ лицо.

— За что?

— Такъ... не люблю...

— А я—люблю...

— Ну, и... ладно...

— Эхъ!.. надо мнѣ идти...

Яковъ молча протянулъ ему руку и вдругъ жаобно, голосомъ нищаго, попросилъ:

— Узнай ты про... Машутку, а? Христа ради!..

— Ладно!—сказалъ Илья.

Ему было тяжело и неудобно слушать тоскливыя ѣчи Якова, и, уходя, онъ облегченно вздохнулъ. А росьба Якова узнать о Машѣ возбудила въ немъ то-то вродѣ стыда за свое отношеніе къ Перфишкиой дочери, и онъ рѣшилъ сходить къ Матицѣ, котоая навѣрное знаетъ, какъ устроилась Машутка. Ему, акъ и всѣмъ въ улицѣ, было извѣстно, что раньше Іатица ходила къ лавочнику Хрѣнову по субботамъ ыть полы, за что онъ платилъ ей по четвертаку, счиая въ этой же суммѣ и ея ласки...

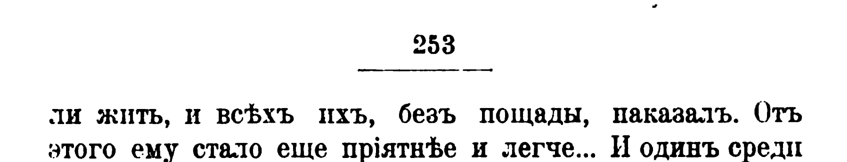
Онъ шелъ по направленію къ трактиру Филимонова, а въ душѣ его одна за другой возникали мечты о будущемъ. Оно улыбалось ему, и, охваченный думами о немъ, онъ незамѣтно для себя прошелъ мимо трактира, а когда увидалъ это, то уже не захотѣлъ воротиться назадъ. Онъ вышелъ за городъ: передъ нимъ широко развернулось поле, огражденное вдали темной стѣной лѣса. Заходило солнце, на молодой зелени дерна лежалъ розоватый отблескъ. Илья шелъ, поднявъ голову кверху, и смотрѣлъ въ небо, въ даль, гдѣ красноватыя облака, неподвижно стоя надъ землей, пылали въ солнечныхъ лучахъ. Ему было пріятно идти: каждый шагъ впередъ и каждый глотокъ воздуха родилъ въ душѣ его новую мечту. Онъ представлялъ себя богатымъ, властнымъ и разоряющимъ Петруху Филимонова. Онъ разорилъ уже его, и вотъ Петруха стоитъ и плачется на него, а онъ, Илья Луневъ, говоритъ ему:

— Пожалѣть тебя? А ты—жалѣлъ кого-нибудь? Ты сына мучилъ? Дядю моего въ грѣхъ втянулъ? Надо мной издѣвался? Въ твоемъ проклятомъ домѣ никто счастливъ не былъ, никто радости не видалъ. Гнилой твой домъ—всѣмъ ловушка, тюрьма онъ для людей.

Петруха дрожитъ и стонетъ въ страхѣ передъ нимъ,—жалкій, подобно нищему. А Илья громитъ его:

— Сожгу твой домъ, потому что онъ—бѣда для всѣхъ. А ты—ходи по міру, проси жалости у обиженныхъ тобой; до смерти ходи и сдохни съ голоду, какъ собака!..

Вечерній сумракъ окуталъ поле; лѣсъ вдали сталъ плотно-черенъ, какъ гора. Летучая мышь маленькимъ, темнымъ пятномъ безшумно мелькала въ воздухѣ, и точно это она сѣяла тьму. Далеко на рѣкѣ былъ слышенъ стукъ колесъ парохода по водѣ: казалось, что гдѣ-то далеко летитъ огромная птица, и это ея широкія крылья колеблютъ воздухъ могучими взмахами. Луневъ припомнилъ всѣхъ людей, которые ему мѣша-



ли жить, и всѣхъ ихъ, безъ пощады, наказалъ. Отъ этого ему стало еще пріятнѣе и легче... И одинъ среди поля, отовсюду стиснутый тьмою, онъ тихо запѣлъ...

Но вотъ въ воздухѣ запахло гнилью, прѣлымъ навозомъ. Илья пересталъ пѣть: этотъ запахъ пробудилъ въ немъ хорошія воспоминанія. Онъ пришелъ къ мѣсту городскихъ свалокъ, къ оврагу, въ которомъ, бывало, рылся съ дѣдушкой Еремѣемъ. Теперь запахъ гніенія показался Луневу болѣе сильнымъ и ѣдкимъ, чѣмъ въ дѣтствѣ. Образъ стараго тряпичника всталъ въ памяти Ильи, и онъ оглянулся вокругъ, стараясь узнать во тьмѣ то мѣсто, гдѣ старикъ любилъ отдыхать съ нимъ. Но этого мѣста не было: должно быть, его завалили мусоромъ. Илья вздохнулъ, чувствуя, что и въ его душѣ чего-то нѣтъ уже, тоже что-то завалено мусоромъ...

„Кабы я не удушилъ купца... было бы мнѣ теперь совсѣмъ хорошо жить...“—вдругъ подумалось ему. Но вслѣдъ за этимъ въ его сердцѣ какъ будто откликнулся кто-то другой:

— „Что купецъ? Онъ—несчастіе мое, а не грѣхъ...“

Раздался шумъ: небольшая собака шмыгнула изъ-подъ ногъ Ильи и съ тихимъ визгомъ скрылась. Онъ вздрогнулъ: предъ нимъ какъ будто ожила часть ночной тьмы и, застонавъ, исчезла.

„Все равно,—думалось ему,—и безъ купца покоя въ сердцѣ не было бы. Сколько обидъ видѣлъ я и себѣ, и другимъ. Коли оцарапано сердце, то ужъ всегда будетъ болѣть...“

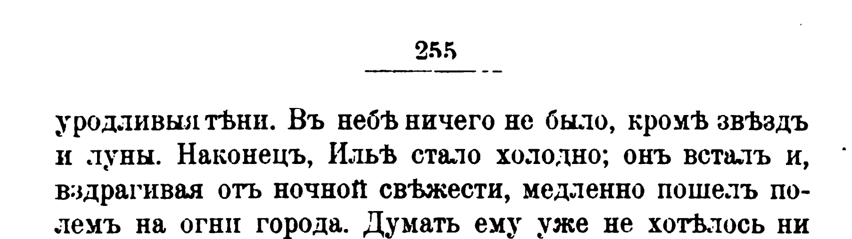
Онъ медленно шагалъ по краю оврага, ноги его вязли въ сору, подъ ними потрескивали щепки, шуршала бумага. Вотъ передъ нимъ кусокъ незасоренной земли узкимъ мысомъ врѣзался въ оврагъ; онъ пошелъ по этому мысу и, дойдя до остраго конца его, сѣлъ тамъ, свѣсивъ ноги съ обрыва. Воздухъ здѣсь былъ свѣжѣе, и, посмотрѣвъ вдоль оврага, Илья увидалъ

вдали стальное пятно рѣки. На водѣ, неподвижной, какъ ледъ, тихо вздрагивали огни невидимыхъ судовъ, и одинъ изъ нихъ двигался въ воздухѣ, точно красная птица. А еще одинъ, зеленый, зловѣщій, горѣлъ неподвижно, безъ лучей... А у ногъ Ильи широкая пасть оврага была наполнена густой тьмой, и оврагъ былъ— какъ рѣка, въ которой безмолвно текли волны чернаго воздуха. Тяжелая грусть окутывала сердце Лунева; онъ смотрѣлъ внизъ и думалъ:

„Было мнѣ хорошо сейчасъ... легко было... улыбнулось и—нѣтъ... Все въ жизни тяжко, несправедливо и непонятно. Можетъ, Яковъ и вѣрно говорилъ: сначала надо понять себя... а можетъ прежде-то людей понять надо? Какъ они живутъ, по какимъ законамъ?“ Онъ вспомнилъ, какъ непріязненно говорилъ съ нимъ сегодня Яковъ,—ему стало еще грустнѣе отъ этого... Въ оврагѣ что-то зашумѣло: должно быть, комъ земли оторвался отъ обрыва. Илья вытянулъ шею и посмотрѣлъ внизъ, во тьму... Ночная сырость пахнула въ лицо его... Онъ взглянулъ въ небо. Тамъ несмѣло разгорались звѣзды, а изъ-за лѣса медленно поднимался большой красноватый шаръ луны, точно огромный, безчувственный глазъ. И какъ незадолго передъ тѣмъ летучая мышь носилась въ сумракѣ,—въ душѣ Ильи быстро замелькали темныя мысли и воспоминанія: онѣ являлись и исчезали безъ отвѣта, и все гуще, тяжелѣе становилась тьма въ душѣ.

„Люди грабятъ, мучаютъ, душатъ другъ друга, и никто никому не помогаетъ жить, а всякій норовитъ, какъ бы отойти въ сторонку, гдѣ спокойнѣе... Вотъ и я тоже въ уголокъ лѣзу... Гдѣ же настоящее, неоспоримое?“

Онъ долго сидѣлъ и думалъ, поглядывая то внизъ, въ оврагъ, то въ небо. Въ полѣ было тихо. Свѣтъ луны, заглянувъ во тьму оврага, обнажилъ на склонѣ его глубокія трещины и кусты. Отъ кустовъ на землю легли



уродливыя тѣни. Въ небѣ ничего не было, кромѣ звѣздъ и луны. Наконецъ, Ильѣ стало холодно; онъ всталъ и, вздрагивая отъ ночной свѣжести, медленно пошелъ полемъ на огни города. Думать ему уже не хотѣлось ни о чемъ: грудь его была полна въ этотъ часъ холодной безпечностью и тоскливой пустотой, которую онъ видѣлъ въ небѣ, тамъ, гдѣ раньше чувствовалъ Бога.

Онъ поздно пришелъ домой и, въ раздумьи стоя предъ дверью, стѣснялся позвонить. Въ окнахъ не было огня,—значитъ, хозяева спали. Ему было совѣстно безпокоить Татьяну Власьевну: она всегда сама отпирала дверь... Но все же нужно было войти въ домъ. Луневъ тихонько дернулъ ручку звонка. Почти тотчасъ же дверь отворилась, и предъ Ильей встала тоненькая фигурка хозяйки, одѣтая во все бѣлое.

— Затворяйте скорѣе!—сказала она какимъ-то незнакомымъ Ильѣ голосомъ.—Холодно... я раздѣта... мужа нѣтъ...

— Простите,—пробормоталъ Луневъ.

— Какъ вы поздно!—Откуда это, а?

Илья заперъ дверь, обернулся, чтобы отвѣтить,—встрѣтилъ передъ собой грудь женщины. Она не отступала передъ нимъ, а какъ будто все плотнѣе прижималась къ нему. Онъ тоже не могъ отступить: за спиной его была дверь. А она вдругъ стала смѣяться... тихонько такъ, вздрагивающимъ смѣхомъ. Луневъ поднялъ руки, осторожно положилъ ихъ ладонями на ея плечи, и руки у него дрожали отъ смущенія предъ этой женщиной и желанія обнять ее. Тогда она сама вдругъ какъ-то вытянулась кверху, цѣпко охватила его шею тонкими, горячими руками и сказала звенящимъ голосомъ:

— Ты куда шляешься по ночамъ? Зачѣмъ? а? Это есть для тебя ближе... давно уже... милый!... красавецъ!.. силачъ!..

Илья, какъ во снѣ, ловилъ ея поцѣлуи и пошаты-

вался отъ судорожныхъ движеній ея гибкаго тѣла. А она, вцѣпившись въ грудь ему, какъ кошка, все цѣловала его. Онъ схватилъ ее крѣпкими руками и понесъ къ себѣ въ комнату, и шелъ съ нею легко, какъ по воздуху...

Наутро Илья проснулся со страхомъ въ душѣ.

„Какъ я теперь Кирику-то въ глаза глядѣть буду?"— подумалъ онъ, едва открывъ глаза. Кромѣ страха предъ околоточнымъ, онъ чувствовалъ и стыдъ предъ нимъ.

„Хоть бы золъ я былъ на этого человѣка или не нравился бы онъ мнѣ... А то такъ просто... ни за что обидѣлъ я его, да еще какъ обидѣлъ... кровно..."—съ тревогой въ сердцѣ подумалъ онъ, и въ душѣ его шевелилось что-то нехорошее къ Татьянѣ Власьевнѣ. Ему казалось, что Кирикъ непремѣнно догадается объ измѣнѣ жены, и онъ не могъ себѣ представить, что тогда будетъ.

„И чего она бросилась на меня, какъ голодная?"— съ тяжелымъ недоумѣніемъ спрашивалъ онъ себя и тутъ же почувствовалъ въ сердцѣ пріятное щекотаніе самолюбія. На него обратила вниманіе настоящая женщина,—чистая, образованная и мужняя жена.

„Значитъ, есть во мнѣ что-то особое,—родилась въ немъ самодовольная мысль.—Стыдно—стыдно... но вѣдь я не каменный... Не гнать же было мнѣ ее..."

Онъ былъ молодъ: ему вспоминались ласки этой женщины, какія-то особенныя, еще незнакомыя ему ласки. И онъ былъ практикъ: ему невольно думалось, что эта связь можетъ дать ему множество различныхъ удобствъ. А вслѣдъ за этими мыслями на него темной тучей надвигались другія:

„Опять я въ уголъ затискался... Хотѣлъ я этого? Уважалъ вѣдь бабенку... никогда дурной мысли о ней не было у меня... анъ вышло вонъ что"...

А потомъ всю смуту въ его душѣ, всѣ противорѣчія

покрывала собою радостная дума о томъ, что теперь настоящая, чистая жизнь скоро начнется для него. И снова вторгалась острая мысль:

„А все лучше бы безъ этого...“

Онъ нарочно не вставалъ съ постели до поры, пока Автономовъ не ушелъ на службу, и слышалъ, какъ околоточный, вкусно причмокивая губами, говорилъ женѣ:

— Такъ ты на обѣдъ сострой пельмешки, Таня. Побольше свининки положи и, знаешь, поджарь ихъ чуточку. Чтобы онѣ, мамочка, смотрѣли на меня изъ тарелки эдакими поросятками розовыми... мм-а! И, голубчикъ, перчику побольше въ мясо подсыпь. А я тебѣ за это мармеладцу куплю, да?

— Ну-ну, иди! Точно я не знаю твоихъ вкусовъ...— ласково говорила ему жена.

— Голубчикъ, Татьянчикъ, позволь поцѣлуйчикъ!

Услыхавъ звукъ поцѣлуя, Луневъ вздрогнулъ. Ему было и непріятно, и смѣшно.

— Чикъ! чикъ! чикъ!—проговорилъ Автономовъ, цѣлуя жену. А она смѣялась. Заперевъ дверь за мужемъ, она тотчасъ же вскочила въ комнату Ильи и прыгнула къ нему на кровать, весело крикнувъ:

— Цѣлуй скорѣй,—мнѣ некогда!

Илья угрюмо сказалъ ей:

— Да вѣдь вы сейчасъ мужа цѣловали...

— Что-о? Вы? Да онъ ревнивый!.. — съ удовольствіемъ воскликнула женщина и, со смѣхомъ вскочивъ съ кровати, стала занавѣшивать окно, говоря:

— Ревнивый,—это хорошо! Ревнивые любятъ страстно...

— Я это не отъ ревности сказалъ...

— Молчать!—шаловливо скомандовала она, закрывая ему ротъ рукой...

Потомъ, когда они нацѣловались, Илья, съ улыбкой глядя на нее, не утерпѣвъ, сказалъ:

— Ну, и храбрая ты... настоящая сорви-голова. Подъ носомъ у мужа эдакую штуку затѣять!..

Ея зеленоватые глаза задорно блеснули, и она воскликнула:

— Очень даже обыкновенно, и совсѣмъ ничего нѣтъ особеннаго! Ты думаешь—много есть женщинъ, которыя интрижекъ не заводятъ? Только однѣ некрасивыя да больныя... А хорошенькой женщинѣ всегда хочется романъ разыграть...

Цѣлое утро она просвѣщала Илью, весело разсказывая ему разныя исторіи о томъ, какъ женщины обманываютъ мужей. Въ передникѣ и красной кофточкѣ, съ засученными рукавами, ловкая и легонькая, она птичкой порхала по кухнѣ, приготовляя мужу пельмени, и ея звонкій голосъ почти непрерывно лился въ комнату Ильи.

— Ты думаешь—мужъ!—и этого вполнѣ достаточно для женщины? Мужъ иногда можетъ очень не нравиться, если даже и любишь его. И потомъ,—онъ вѣдь тоже никогда не стѣсняется измѣнить женѣ, только бы нашелся подходящій сюжетъ... И женщинѣ тоже скучно всю жизнь помнить одно—мужъ, мужъ, мужъ! Пошалить съ другимъ мужчиной—забавно: хотя узнаешь, какіе мужчины бываютъ, и какая между ними разница. Вѣдь и квасъ разный: просто квасъ, баварскій квасъ, можжевеловый, клюковный... И это даже глупо всегда пить просто квасъ...

Илья слушалъ, пилъ чай, и почему-то ему казалось, что чай горьковатъ. Въ рѣчахъ этой женщины было что-то непріятное, взвизгивающее, новое для него. Онъ невольно вспомнилъ Олимпіаду, ея густой голосъ, спокойные жесты, ея горячія слова, въ которыхъ звучала какая-то сила, порою трогавшая за сердце. Конечно, Олимпіада была женщина необразованная, жена какого-то мелкаго приказчика, простая женщина. Оттого, должно быть, она и въ безстыдствѣ своемъ была



проще... Отвѣчая на слова Татьяны Власьевны негромкимъ смѣхомъ, Илья принуждалъ себя смѣяться. Ему было не весело, и смѣялся онъ лишь потому, что не зналъ, о чемъ говорить съ хозяйкой. Ему даже грустно становилось отъ ея рѣчей, но онъ слушалъ ихъ съ глубокимъ интересомъ и, наконецъ, задумчиво сказалъ:

— Не ждалъ я, что въ вашей чистой жизни такіе порядки...

— Порядки, милый мой, вездѣ одни. Порядки дѣлаютъ люди, а люди всѣ одного хотятъ—хорошо жить. Человѣкъ хочетъ жить по-человѣчески: спокойно, сытно и удобно, а для этого нужно имѣть деньги. Деньги достаются по наслѣдству, или по счастью, или трудомъ. Кто имѣетъ выигрышные билеты, тотъ можетъ надѣяться на счастье. Красивая женщина имѣетъ выигрышный билетъ отъ природы—свою красоту. Красотой можно много взять—о! А кто не имѣетъ богатыхъ родственниковъ, выигрышныхъ билетовъ и красоты, долженъ трудиться. Трудиться всю жизнь,—это обидно... А вотъ я тружусь, хотя у меня есть два билета. Но я рѣшила заложить ихъ для тебя на магазинъ... Два билета—мало! Стряпать пельмени и цѣловать околоточнаго въ угряхъ—скучно!.. Вотъ я и захотѣла цѣловать тебя...

Она взглянула на Илью и шаловливо спросила:

— Тебѣ это не противно?.. Почему ты смотришь на меня такъ сердито?

Илья стоялъ въ двери своей комнаты и смотрѣлъ на нее, сдвинувъ брови. Она подошла къ нему, положила руки на плечи его и съ любопытствомъ заглядывала въ лицо ему.

— Я не сержусь,—сказалъ Илья.

Она расхохоталась, вскрикивая сквозь смѣхъ:

— Да? Ахъ, спасибо тебѣ!.. какой ты добрый!..

— Я вотъ думаю,—медленно выговаривая слова,

[redacted]

продолжалъ Илья,—говоришь ты какъ будто и вѣрно... но какъ-то нехорошо...

— Ого-о, какой... ежъ! Что нехорошо? Ну-ка, объясни?

Но онъ ничего не могъ объяснить ей. Онъ самъ не понималъ, чѣмъ недоволенъ онъ въ ея словахъ. Олимпіада говорила гораздо хуже, грубѣе, но она никогда не задѣвала душу такъ непріятно, какъ эта маленькая, чистенькая птичка. Весь этотъ день онъ упорно думалъ о странномъ недовольствѣ, рожденномъ въ его сердцѣ этой новой, лестной ему связью, и не могъ понять, откуда оно?..

А когда онъ воротился домой,—въ кухнѣ его встрѣтилъ Кирикъ и весело объявилъ:

— Ну-ну, Илья, и настряпала сегодня Танюша! Такія пельмени,—ѣсть жалко! Жалко и совѣстно, какъ совѣстно было бы живыхъ соловьевъ ѣсть... Я, братъ, даже тебѣ тарелку оставилъ. Снимай съ шеи свой магазинъ, садись, ѣшь и—знай нашихъ!

Илья виновато посмотрѣлъ на него и тихо засмѣялся, сказавъ:

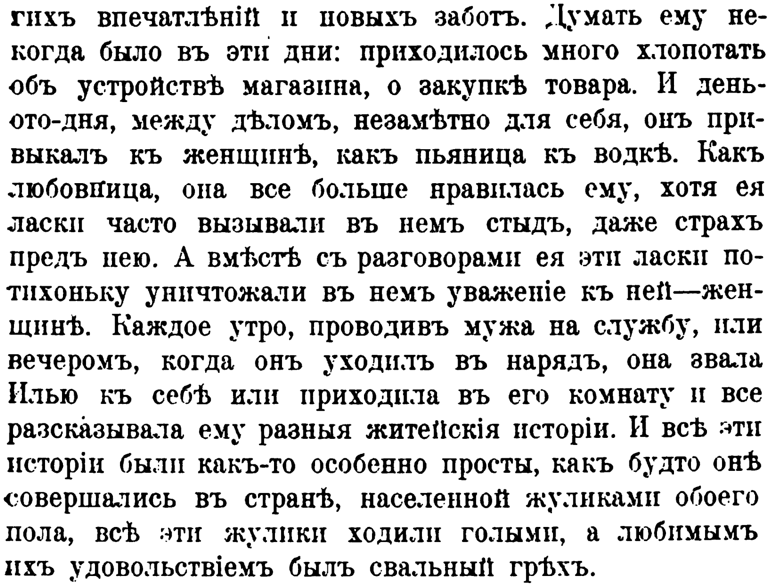
— Спасибо, Кирикъ Никодимовичъ!

Потомъ, вздохнувъ, добавилъ:

— Хорошій вы человѣкъ... ей-Богу!

— Э, что тамъ?—отмахиваясь отъ него рукой, воскликнулъ Кирикъ.—Тарелка пельменей—пустякъ! Нѣтъ, братецъ, будь я полиціймейстеромъ—гм!—вотъ тогда бы ты могъ сказать мнѣ спасибо... о, да! Но полиціймейстеромъ я не буду... и службу въ полиціи брошу... Я, кажется, поступлю довѣреннымъ къ одному купцу... это получше! Довѣренный? Это—шишка! Должность солидная... Занимая ее, я скоро сумѣю капиталишко скопить...

Татьяна Власьевна, тихо напѣвая, хлопотала у печки. Илья посмотрѣлъ на нее и снова почувствовалъ въ груди какую-то неловкость и стѣсненье. Но постепенно это чувство исчезало въ немъ подъ наплывомъ дру-



гихъ впечатлѣній и новыхъ заботъ. Думать ему некогда было въ эти дни: приходилось много хлопотать объ устройствѣ магазина, о закупкѣ товара. И день-ото-дня, между дѣломъ, незамѣтно для себя, онъ привыкалъ къ женщинѣ, какъ пьяница къ водкѣ. Какъ любовница, она все больше нравилась ему, хотя ея ласки часто вызывали въ немъ стыдъ, даже страхъ предъ нею. А вмѣстѣ съ разговорами ея эти ласки потихоньку уничтожали въ немъ уваженіе къ ней—женщинѣ. Каждое утро, проводивъ мужа на службу, или вечеромъ, когда онъ уходилъ въ нарядъ, она звала Илью къ себѣ или приходила въ его комнату и все разсказывала ему разныя житейскія исторіи. И всѣ эти исторіи были какъ-то особенно просты, какъ будто онѣ совершались въ странѣ, населенной жуликами обоего пола, всѣ эти жулики ходили голыми, а любимымъ ихъ удовольствіемъ былъ свальный грѣхъ.

— Неужто все это правда?—угрюмо спрашивалъ Илья. Ему не хотѣлось вѣрить ея словамъ, но онъ чувствовалъ себя безпомощнымъ противъ нихъ, не могъ ихъ опровергнуть. А она хохотала и, цѣлуя его, убѣдительно доказывала:

— Начнемъ сверху: губернаторъ живетъ съ женой управляющаго казенной палатой, а управляющій—недавно отнялъ жену у одного изъ своихъ чиновниковъ, снялъ ей квартиру въ Собачьемъ переулкѣ и ѣздитъ къ ней два раза въ недѣлю совсѣмъ открыто. Я ее знаю: совсѣмъ дѣвчонка, году нѣтъ, какъ замужъ вышла. А мужа ея въ уѣздъ послали податнымъ инспекторомъ. Я и его знаю,—какой онъ инспекторъ? Недоучка, дурачокъ, лакеишка...

Она разсказывала ему о купцахъ, покупающихъ дѣвочекъ-подростковъ для разврата, о купчихахъ, которыя держатъ любовниковъ, о томъ, какъ барышни изъ свѣтскаго общества, забеременѣвъ, вытравляютъ плодъ.

Илья слушалъ, и жизнь казалась ему чѣмъ-то вродѣ помойной ямы, въ которой люди возятся, какъ черви.

— Ф-фу!—устало говорилъ онъ.—Да чистое-то, настоящее-то есть гдѣ-нибудь, скажи?

— Какое настоящее? Что такое?—удивленно спрашивала Татьяна Власьевна.

— Ну, настоящее что-нибудь!..—съ досадой воскликнулъ Луневъ.

— Да я же и говорю о настоящемъ... Вотъ чудакъ! Не выдумала же я сама все это!

— Я—не про то! Вѣдь гдѣ-нибудь, что-нибудь настоящее... т. е. чистое, есть или нѣтъ.

Она не понимала его и смѣялась надъ нимъ. Иногда разговоръ ея принималъ иной характеръ. Заглядывая въ лицо ему сверкающими жуткимъ огнемъ зеленоватыми глазами, она спрашивала:

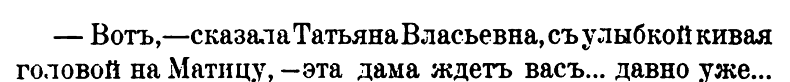
— Скажи мнѣ, какъ ты въ первый разъ узналъ, что такое женщина?

Этого воспоминанія Илья стыдился, оно было противно ему. Онъ отвертывался въ сторону отъ клейкаго взгляда своей любовницы и глухо, съ упрекомъ говорилъ:

— Экія пакости спрашиваешь ты... чай, постыдилась бы... Объ этомъ и парни другъ другу не разсказываютъ...

Но она, весело смѣясь, снова приставала къ нему и, порою, рядомъ съ ней Луневъ чувствовалъ себя обмазаннымъ ея зазорными словами, какъ смолой. А когда она видѣла на лицѣ Ильи непріязнь къ ней, недовольство ею, усталость и тоску въ глазахъ его, она смѣло будила въ немъ чувство самца и ласками своими заглаживала въ немъ все враждебное ей...

Какъ-то разъ придя домой изъ магазина, въ которомъ столяры устраивали полки, Илья съ удивленіемъ увидалъ въ кухнѣ Матицу. Она сидѣла у стола, положивъ на него свои большія руки, и разговаривала съ хозяйкой, стоявшей у печки.



— Вотъ,—сказала Татьяна Власьевна, съ улыбкой кивая головой на Матицу,—эта дама ждетъ васъ... давно уже...

— Добрый вичеръ!—сказала дама, тяжело поднимаясь со скамьи.

— Ба!—вскричалъ Илья.—Жива еще?

— Гнилу колоду и свиня не зъистъ...—густо отвѣтила Матица.

Илья давно уже не видѣлъ ея и теперь смотрѣлъ на Матицу со смѣсью удовольствія и жалости въ душѣ. Она была одѣта въ дырявое платье изъ бумазеи, ея голову покрывалъ рыжій отъ старости платокъ, а ноги были босы. Едва передвигая ихъ по полу, упираясь руками въ стѣны, она медленно ввалилась въ комнату Ильи и грузно сѣла на стулъ, говоря сиплымъ, деревяннымъ голосомъ:

— Уже скоро и околѣю... Ноги вотъ отнимаются... а отнимутся онѣ, нельзя буде корму искать... тогда мнѣ и смерть...

Лицо у нея страшно распухло, сплошь было покрыто темными пятнами, огромные глаза затекли въ опухоляхъ и стали узенькими.

— Что на рожу мою смотришь?—сказала она Ильѣ.— Думаешь, бита? Ни, то болѣзнь меня ѣстъ...

— Какъ живешь?—спросилъ Илья.

— На папертяхъ церковныхъ живу... грошики собираю...—гудѣла Матица равнодушно, какъ труба.— За дѣломъ къ тебѣ пришла... Узнала отъ Перфишки, что у чиновника живешь ты, и пришла...

— Чаемъ тебя напоить?—предложилъ Луневъ. Ему непріятно было слушать голосъ Матицы и смотрѣть на ея заживо гніющее, большое, дряблое тѣло.

— Пускай черти хвосты себѣ моютъ тѣмъ твоимъ чаемъ... Ты пятакъ дай мнѣ... вотъ! А пришла я до тебя... зачѣмъ, спроси?

Говорить ей было трудно, дышала она коротко, и отъ нея удушливо пахло.

— Ну, зачѣмъ?—спросилъ Илья, отвернувшись отъ нея въ сторону и вспоминая, какъ онъ обидѣлъ ее однажды...

— Марильку помнишь? А-а! Заѣлъ свою память!.. Богачъ сталъ...

— Помню я, помню!—торопливо сказалъ Илья.—Что она... какъ живетъ?

Матица медленно закачала головой и кратко сказала:

— Еще не задавилась...

— Да ты говори прямо!—сердито крикнулъ Илья.—Чего меня укоряешь? Сама же за трешницу продала ее...

— Я не тебя,—я себя корю...—спокойно возразила женщина, и медленно, пространно, задыхаясь отъ усилій, она начала разсказывать о Машѣ.

Старикъ-мужъ ревнуетъ и мучаетъ Машу. Онъ никуда, даже въ лавку, не выпускаетъ ея: она сидитъ въ комнатѣ съ дѣтьми и, не спросясь у старика, не можетъ выйти даже и на дворъ. Дѣтей старикъ куда-то сбылъ, кому-то отдалъ, и живетъ одинъ съ Машей. Онъ щиплетъ ее, связываетъ ей руки. Такъ издѣвается онъ надъ нею за то, что первая жена обманывала его... и дѣти—оба—не отъ него, отъ старика. Маша уже дважды убѣгала отъ него, но полиція оба раза ловила ее и возвращала къ мужу, а онъ ее щипалъ за это и голодомъ морилъ. Вотъ какая жизнь!

— Да, устроила ты съ Перфишкой дѣльце!—хмуро сказалъ Илья.

— Я думала—такъ лучше,—деревяннымъ своимъ голосомъ проговорила баба. Ея неподвижное, какъ изъ камня, лицо и этотъ мертвый голосъ давили Илью.

— Я думала—такъ чище!.. А надо было сдѣлать, какъ хуже... Надо бы ее тогда, какъ и думала я, богатому продать... Онъ далъ бы ей квартиру и одежу, и все... Она потомъ прогнала бы его и жила... какъ всѣ живутъ. Многія живутъ такъ... отъ старика...



— Ну... а пришла ты зачѣмъ?—спросилъ Илья.

— А живешь ты у полицейскаго... Вотъ они все ловятъ ее... Скажи ему, чтобъ не ловили... Пусть бѣжитъ! Можетъ, она и убѣжитъ куда... Развѣ ужъ некуда бѣжать человѣку?

— Ты въ самомъ дѣлѣ за этимъ пришла?

— А какъ же? Пусть не мѣшаютъ,—попроси ихъ...

— Эхъ... народъ!—воскликнулъ Илья и задумался. Что онъ можетъ сдѣлать для Маши?..

А Матица поднималась со стула, осторожно двигая по полу ногами. Она вздыхала, кряхтѣла, и казалось, что это не человѣкъ идетъ, а падаетъ медленно на землю старое, трухлявое дерево.

— Прощай!.. ужъ не увидимся... скоро я и подохну...—бормотала она.—Спасибо тебѣ... чистякъ! богачъ!.. Спасибо, спасибо!..

Когда она вывалилась изъ двери кухни, въ комнату Ильи вбѣжала хозяйка и, обнявъ его, спросила, смѣясь:

— Это она,—твоя первая любовь, да?

— Кто-о?—медленно спросилъ Илья, охваченный воспоминаніями о Машѣ.

— Эта бабища?

Илья развелъ руки своей любовницы, крѣпко охватившія его шею, и угрюмо проговорилъ:

— Едва ноги таскаетъ, а тоже... хлопочетъ о томъ, кого любитъ...

— Кого она любитъ?—спрашивала женщина, съ удивленіемъ и любопытствомъ разглядывая озабоченное лицо Ильи.

— Погоди, Татьяна,—сказалъ Илья,—погоди! Не шути...

Онъ кратко разсказалъ ей о Машѣ и спросилъ:

— Что тутъ дѣлать?

— Дѣлать тутъ нечего!—передернувъ плечиками, отвѣтила Татьяна Власьевна.—По закону жена принад-

лежитъ мужу, и никто не имѣетъ права отнимать ее у него...

И съ важнымъ видомъ человѣка, которому хорошо извѣстны законы, и который убѣжденъ въ ихъ незыблемости, Автономова долго говорила Ильѣ о томъ, что Машѣ нужно подчиниться требованіямъ мужа.

— Ей нужно терпѣть пока. Пусть подождетъ. Онъ — старый, скоро умретъ, вотъ тогда она будетъ свободна все его имущество отойдетъ къ ней... И ты женишься, на молодой вдовушкѣ съ состояніемъ... да?

Она засмѣялась и снова серьезно продолжала поучать Илью:

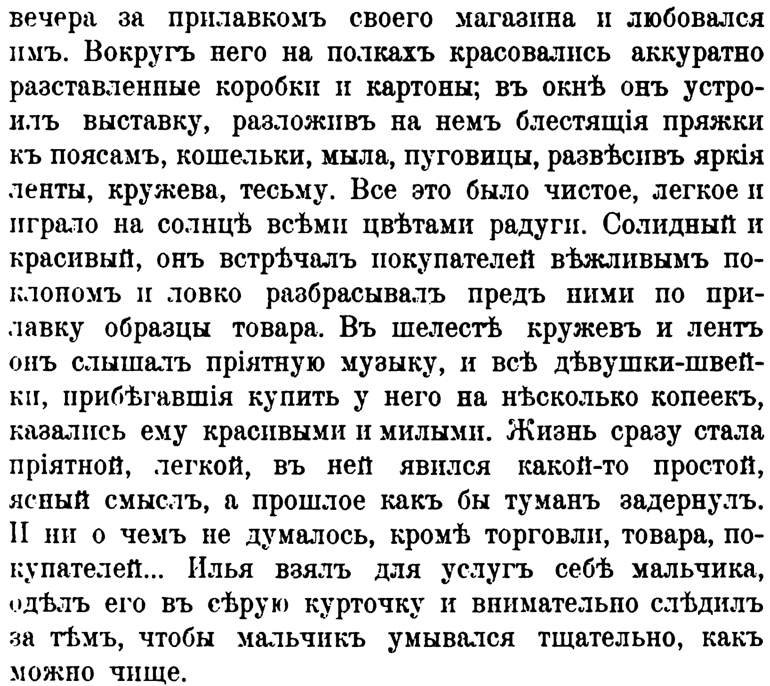
— Но будетъ лучше всего, если ты прекратишь сношенія съ твоими старыми знакомыми. Теперь они уже не пара тебѣ... и даже могутъ сконфузить тебя. Всѣ они—грязные, грубые... напримѣръ, этотъ, который занималъ денегъ у тебя? Худой такой?.. Злые глаза?..

— Грачевъ...

— Ну, да... Какія у простолюдиновъ смѣшныя птичьи фамиліи: Грачевъ, Луневъ, Пѣтуховъ, Скворцовъ. Въ нашемъ кругу и фамиліи лучше, красивѣе: Автономовъ! Корсаковъ! Мой отецъ—Флоріановъ! А когда я была дѣвушкой, за мной ухаживалъ кандидатъ на судебныя должности Глоріантовъ... Однажды, на каткѣ, онъ снялъ съ ноги у меня подвязку и пригрозилъ, что устроитъ мнѣ скандалъ, если я сама не приду къ нему за ней...

Илья слушалъ ея разсказы и тоже вспоминалъ о своемъ прошломъ, ощущая въ душѣ своей какъ бы невидимыя нити, крѣпко связывавшія ее съ домомъ Петрухи Филимонова. И ему казалось, что этотъ домъ всегда будетъ мѣшать ему жить спокойно...

Вотъ, наконецъ, мечта Ильи Лунева осуществилась. Полный спокойной радости, онъ стоялъ съ утра до



вечера за прилавкомъ своего магазина и любовался имъ. Вокругъ него на полкахъ красовались аккуратно разставленные коробки и картоны; въ окнѣ онъ устроилъ выставку, разложивъ на немъ блестящія пряжки къ поясамъ, кошельки, мыла, пуговицы, развѣсивъ яркія ленты, кружева, тесьму. Все это было чистое, легкое и играло на солнцѣ всѣми цвѣтами радуги. Солидный и красивый, онъ встрѣчалъ покупателей вѣжливымъ поклономъ и ловко разбрасывалъ предъ ними по прилавку образцы товара. Въ шелестѣ кружевъ и лентъ онъ слышалъ пріятную музыку, и всѣ дѣвушки-швейки, прибѣгавшія купить у него на нѣсколько копеекъ, казались ему красивыми и милыми. Жизнь сразу стала пріятной, легкой, въ ней явился какой-то простой, ясный смыслъ, а прошлое какъ бы туманъ задернулъ. И ни о чемъ не думалось, кромѣ торговли, товара, покупателей... Илья взялъ для услугъ себѣ мальчика, одѣлъ его въ сѣрую курточку и внимательно слѣдилъ за тѣмъ, чтобы мальчикъ умывался тщательно, какъ можно чище.

— Мы съ тобой, Гаврикъ, торгуемъ товаромъ нѣжнымъ,—говорилъ онъ ему,—и должны быть чистыми...

Гаврикъ былъ человѣкъ лѣтъ двѣнадцати отъ роду, полный, немножко рябой, курносый, съ маленькими сѣрыми глазами и подвижнымъ личикомъ. Онъ только-что кончилъ учиться въ городской школѣ и считалъ себя человѣкомъ взрослымъ, серьезнымъ. Его тоже занимала служба въ маленькомъ, чистомъ магазинѣ; онъ съ удовольствіемъ возился съ коробками и картонками и старался относиться къ покупателямъ такъ же вѣжливо, какъ хозяинъ.

Илья смотрѣлъ на него и вспоминалъ себя служащимъ въ рыбной лавкѣ купца Строганаго. И чувствуя къ мальчику какое-то особенное расположеніе, онъ покровительственно и ласково шутилъ и разговаривалъ съ нимъ, когда въ лавкѣ не было покупателей.

— Чтобы тебѣ не скучно было, ты, Гаврикъ, когда свободно, книжки читай,—совѣтовалъ онъ своему сотруднику.—За книжкой время незамѣтно идетъ, а читать пріятно...

Теперь Луневъ ко всѣмъ людямъ сталъ относиться мягко, внимательно и улыбался улыбкой, которая какъ бы говорила:

— Повезло мнѣ, знаете... Но вы потерпите! Навѣрное, и вамъ въ скорости повезетъ...

Открывая свой магазинъ въ семь часовъ утра, онъ запиралъ его въ десять. Покупателей было немного, и Луневъ, сидя у двери на стулѣ, грѣлся въ лучахъ весенняго солнца и отдыхалъ, ни о чемъ не думая, ничего не желая. Гаврикъ сидѣлъ тутъ же въ двери, наблюдалъ за прохожими, передразнивая ихъ, подманивалъ къ себѣ собакъ, лукалъ камнями въ голубей и воробьевъ или, возбужденно шмыгая носомъ, читалъ книжку. Иногда хозяинъ заставлялъ его читать вслухъ, но чтеніе не интересовало его: онъ прислушивался къ тишинѣ и покою въ своей душѣ. Эту тишину онъ слушалъ съ наслажденіемъ, упивался ею, она была нова для него и невыразимо пріятна. Но порою сладостная полнота чѣмъ-то нарушалась. Это было странное, едва уловимое ощущеніе, предчувствіе тревоги; это ощущеніе не колебало покоя души, а только касалось его легко, какъ тѣнь.

Тогда Илья начиналъ разговаривать съ мальчикомъ.

— Гаврикъ! У тебя отецъ чѣмъ занимается?

— Почтальонъ... письма носитъ...

— А семья большая у васъ?

— Больша-ая! Насъ множество. Которые—большіе, а которые еще маленькіе.

— Маленькихъ сколько!

— Пять. Да большихъ—трое... Большіе уже всѣ на мѣстахъ: я—у васъ, Василій—въ Сибири, на телеграфѣ



служитъ,—а Сонька—уроки даетъ. Она—здорово! Рублей по двѣнадцати въ мѣсяцъ приноситъ. А то есть еще Мишка... Онъ такъ себѣ... Онъ старше меня... но тоже учится въ гимназіи...

— Стало быть, большихъ-то не трое, а четверо...

— Ну, какъ-же?—воскликнулъ Гаврикъ и поучительно добавилъ:—Мишка только учится еще... А большой,—который ужъ работаетъ.

— Бѣдно живете?

— А конечно!—спокойно отвѣтилъ Гаврикъ и громко втянулъ носомъ воздухъ. Потомъ онъ начиналъ разсказывать Ильѣ о своихъ планахъ въ будущемъ.

— Выросту,—въ солдаты пойду. Тогда будетъ война... Вотъ я на войну и закачу. Я—храбрый... Сейчасъ, это, впереди всѣхъ на непріятеля брошусь и отниму знамя... Дядя мой отнялъ этакъ-то,—такъ ему генералъ Гурко крестъ далъ и пять цѣлковыхъ...

Илья слушалъ мечты Гаврика и улыбался, глядя на его рябое лицо и широкій, постоянно вздрагивающій носъ. Вечеромъ, закрывъ магазинъ, Илья уходилъ въ маленькую комнатку за прилавкомъ. Тамъ на столѣ уже кипѣлъ самоваръ, приготовленный мальчикомъ, лежалъ хлѣбъ, колбаса. Гаврикъ выпивалъ стаканъ чаю съ хлѣбомъ и уходилъ въ магазинъ спать, а Илья сидѣлъ за самоваромъ долго, иногда часа два кряду.

Два стула, столъ, постель и шкафъ съ посудой составляли все убранство новаго жилища Ильи. Комната была узкая, низенькая, съ квадратнымъ окномъ, изъ котораго было видно ноги людей, проходившихъ мимо него, крышу дома на противоположной сторонѣ улицы и небо надъ крышей. На окно онъ повѣсилъ бѣлую занавѣску изъ кисеи. Съ улицы окно заграждала желѣзная рѣшетка, и она очень не нравилась Ильѣ. А надъ постелью онъ повѣсилъ картину „Ступени человѣческаго вѣка“. Эта картина нравилась Ильѣ, и онъ

давно хотѣлъ купить ее, но почему-то до открытія магазина не покупалъ, хотя она стоила всего гривенникъ.

„Ступени человѣческаго вѣка“ были расположены по аркѣ, а подъ нею былъ изображенъ рай. Въ немъ Саваоѳъ, окруженный сіяніемъ и цвѣтами, разговаривалъ съ Адамомъ и Евой. Всѣхъ ступеней было семнадцать. На первой изъ нихъ стоялъ ребенокъ, поддерживаемый матерью, и было подписано красными буквами: „Первые шаги“. На второй — ребенокъ, приплясывая, билъ въ барабанъ, а подпись подъ нимъ гласила: „5 лѣтъ,—играетъ“. Семи лѣтъ его „начали учить“, десяти—онъ „ходитъ въ школу“, двадцати одного года—онъ стоитъ на ступенькѣ съ ружьемъ въ рукахъ и съ улыбкой на лицѣ,—подписано: „Отбываетъ воинскую повинность“. На слѣдующей ступени ему двадцать пять лѣтъ: онъ во фракѣ, со складной шляпой въ рукѣ и съ букетомъ цвѣтовъ въ другой,—„женихъ“. Потомъ у него выросла борода, онъ надѣлъ длинный сюртукъ съ розовымъ галстухомъ и, стоя рядомъ съ толстой женщиной въ желтомъ платьѣ, крѣпко жметъ ей руки. Дальше, человѣку исполнилось тридцать пять лѣтъ: въ рубахѣ, съ засученными рукавами, онъ, стоя у наковальни, куетъ желѣзо. На вершинѣ лѣстницы онъ сидитъ въ красномъ креслѣ, читаетъ газету, а четверо дѣтей и жена слушаютъ его. И самъ онъ, и его семья одѣты прилично и чисто, лица у всѣхъ здоровыя, довольныя. Въ эту пору человѣку пятьдесятъ лѣтъ. Но вотъ ступеньки опускаются книзу: борода у человѣка уже сѣдая, онъ одѣтъ въ длинный желтый кафтанъ, въ рукахъ у него кулекъ съ рыбой и кувшинъ съ чѣмъ-то. Подъ этой ступенькой подписано: „Домашній трудъ“; на слѣдующей — человѣкъ нянчитъ своего внука: ниже—его „водятъ“, ибо ему уже восемьдесятъ лѣтъ, а на послѣдней ступенькѣ,—девяноста пяти лѣтъ отъ роду,—онъ сидитъ въ креслѣ, поставивъ ноги въ



гробъ, и за кресломъ его стоитъ смерть съ косой въ рукахъ...

Сидя за самоваромъ, Илья поглядывалъ на картину, и ему было пріятно видѣть жизнь человѣка, размѣренную такъ аккуратно и просто. Отъ картины вѣяло спокойствіемъ, яркія краски ея какъ бы улыбались ему, и онъ былъ увѣренъ, что на картинѣ мудро и понятно написана, для примѣра людямъ, настоящая жизнь, именно такъ написана, какъ она и должна идти. Разсматривая это изображеніе человѣческой жизни, онъ думалъ о томъ, что вотъ достигъ онъ, чего желалъ, и теперь жизнь его должна пойти такъ же аккуратно, какъ на картинѣ. Будетъ она подниматься вверхъ, и на самомъ верху, когда онъ накопитъ достаточно денегъ, онъ женится на скромной, грамотной дѣвушкѣ...

Самоваръ уныло курлыкалъ и посвистывалъ. Сквозь стекло окна и кисею занавѣски въ лицо Ильи тускло смотрѣло небо, и звѣзды на немъ были едва видны. Въ блескѣ звѣздъ небесныхъ всегда есть что-то безпокойное...

Самоваръ свиститъ все тише, но какъ-то пронзительнѣе. Этотъ тонкій звукъ надоѣдливо лѣзетъ въ уши,—онъ похожъ на пискъ комара и безпокоитъ, путаетъ мысли. Но закрыть трубу самовара крышкой Ильѣ не хочется: когда самоваръ перестаетъ свистѣть, въ комнатѣ становится слишкомъ тихо... На новой квартирѣ у Лунева появились новыя, неизвѣданныя до этой поры имъ ощущенія. Раньше онъ жилъ всегда рядомъ съ людьми,—его отдѣляли отъ нихъ тонкія деревянныя переборки,—а теперь онъ отгородился каменными стѣнами и не чувствовалъ за ними людей.

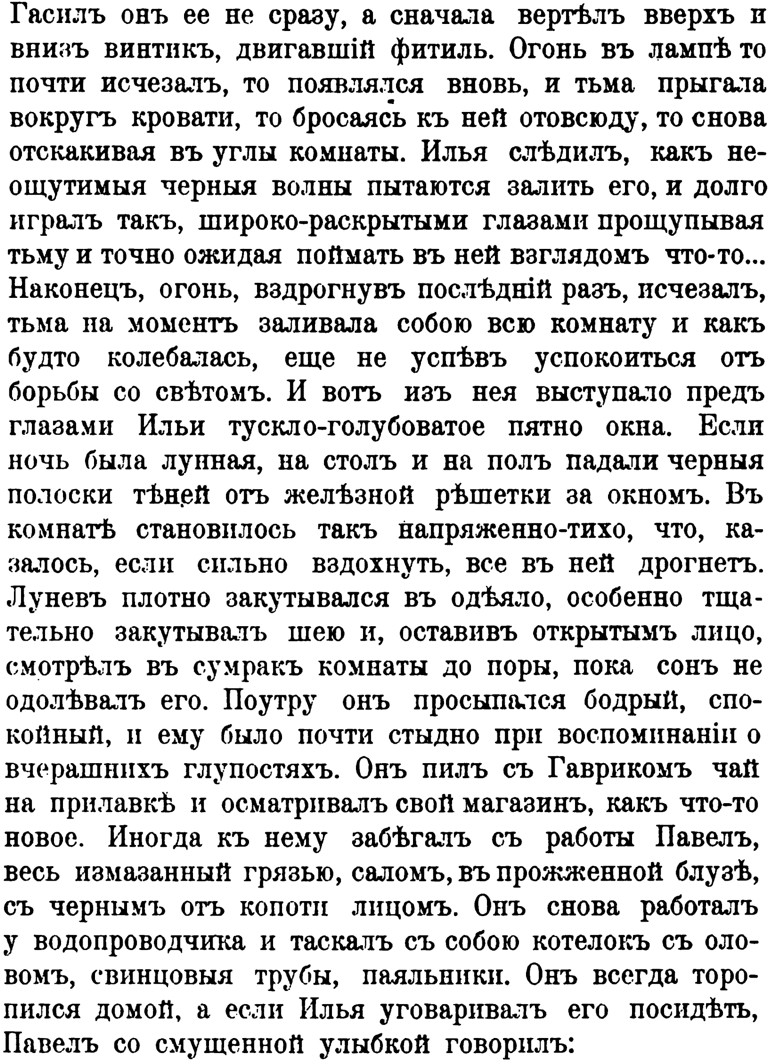
„Зачѣмъ надо умирать?"—вдругъ спрашиваетъ себя Луневъ, глядя на человѣка, нисходящаго съ вершины благополучія въ могилу... И ему вспоминается Яковъ Филимоновъ, постоянно думающій о смерти, и слова Якова: „Интересно умереть"...

Илья непріязненно отталкиваетъ отъ себя эти воспоминанія, старается отвернуться отъ нихъ куда-нибудь въ сторону.

„Какъ-то поживаетъ Павелъ съ Вѣрой?"—возникаетъ у него новый ненужный ему вопросъ.

По улицѣ ѣдетъ извозчикъ. Стекла въ окнахъ вздрагиваютъ отъ шума колесъ о камни мостовой, лампа на стѣнѣ трясется. Потомъ въ магазинѣ раздаются какіе-то странные звуки... Это Гаврикъ бормочетъ во снѣ. Густая тьма въ углу комнаты тоже какъ будто колеблется. Илья сидитъ, облокотясь на столъ, и, сжимая виски ладонями, разглядываетъ картину. Рядомъ съ Господомъ Саваоѳомъ стоитъ благообразный левъ, по землѣ ползетъ черепаха, идетъ барсукъ, прыгаетъ лягушка, а дерево познанія добра и зла украшено огромными цвѣтами, красными, какъ кровь. Старикъ, съ ногами въ гробу, похожъ на купца Полуэктова,—такой же лысый и худенькій, и шея у него такая же тонкая... Глухой звукъ шаговъ раздается на улицѣ: мимо магазина по тротуару кто-то идетъ, не торопясь. Самоваръ погасъ, и теперь въ комнатѣ такъ тихо, что, кажется, и воздухъ въ ней застылъ, сгустился до плотности ея стѣнъ...

Воспоминаніе о купцѣ не тревожило Илью, и вообще думы не безпокоили его,—онѣ мягко, осторожно стѣсняли его душу, окутывая ее, какъ облако луну. Отъ нихъ краски на картинѣ „Ступени человѣческаго вѣка" немного блекли: на ней какъ бы являлось пятно, и тишина вокругъ Ильи становилась полнѣе... И всегда вслѣдъ за мыслью объ убійствѣ Полуэктова Луневъ со спокойной безпечностью думалъ, что вѣдь въ жизни должна быть справедливость,—значитъ, рано или поздно, а человѣкъ будетъ наказанъ за грѣхи свои. Но, подумавъ такъ, онъ зорко присматривался въ темный уголъ комнаты, гдѣ было особенно тихо, и тьма какъ будто хотѣла принять нѣкую опредѣленную форму... Потомъ Илья раздѣвался, ложился въ постель и гасилъ лампу.



Гасилъ онъ ее не сразу, а сначала вертѣлъ вверхъ и внизъ винтикъ, двигавшій фитиль. Огонь въ лампѣ то почти исчезалъ, то появлялся вновь, и тьма прыгала вокругъ кровати, то бросаясь къ ней отовсюду, то снова отскакивая въ углы комнаты. Илья слѣдилъ, какъ неощутимыя черныя волны пытаются залить его, и долго игралъ такъ, широко-раскрытыми глазами прощупывая тьму и точно ожидая поймать въ ней взглядомъ что-то... Наконецъ, огонь, вздрогнувъ послѣдній разъ, исчезалъ, тьма на моментъ заливала собою всю комнату и какъ будто колебалась, еще не успѣвъ успокоиться отъ борьбы со свѣтомъ. И вотъ изъ нея выступало предъ глазами Ильи тускло-голубоватое пятно окна. Если ночь была лунная, на столъ и на полъ падали черныя полоски тѣней отъ желѣзной рѣшетки за окномъ. Въ комнатѣ становилось такъ напряженно-тихо, что, казалось, если сильно вздохнуть, все въ ней дрогнетъ. Луневъ плотно закутывался въ одѣяло, особенно тщательно закутывалъ шею и, оставивъ открытымъ лицо, смотрѣлъ въ сумракъ комнаты до поры, пока сонъ не одолѣвалъ его. Поутру онъ просыпался бодрый, спокойный, и ему было почти стыдно при воспоминаніи о вчерашнихъ глупостяхъ. Онъ пилъ съ Гаврикомъ чай на прилавкѣ и осматривалъ свой магазинъ, какъ что-то новое. Иногда къ нему забѣгалъ съ работы Павелъ, весь измазанный грязью, саломъ, въ прожженной блузѣ, съ чернымъ отъ копоти лицомъ. Онъ снова работалъ у водопроводчика и таскалъ съ собою котелокъ съ оловомъ, свинцовыя трубы, паяльники. Онъ всегда торопился домой, а если Илья уговаривалъ его посидѣть, Павелъ со смущенной улыбкой говорилъ:

— Не могу! Я, братъ, такъ себя чувствую, какъ будто у меня дома Жаръ-птица... а клѣтка-то для нея слаба. Цѣлые дни одна она тамъ сидитъ... и кто ее знаетъ, о чемъ думаетъ? Житье ей сѣрое наступило... я это очень хорошо понимаю... Если-бъ ребенокъ былъ...

И Грачевъ тяжело вздыхалъ... Однажды онъ сумрачно сказалъ товарищу:

— Отвелъ я всю воду своему огороду, да не потопила бы, боюсь.

Другой разъ на вопросъ Ильи, — пишетъ ли онъ стихи?—Грачевъ, усмѣхаясь, молвилъ:

— Пальцемъ въ небѣ... Э, ну ихъ ко всѣмъ чертямъ! Куда ужъ намъ лаптемъ щи хлебать!.. Я, братъ, теперь всѣмъ корпусомъ сѣлъ на мель. Ни искры въ головѣ... ни искорки! Все про нее думаю... Работаю,— паять начну или что другое,—все льются въ голову, подобно олову, мечты о ней... Вотъ тебѣ и стихи... ха, ха!.. Положимъ,—тому и честь, кто во всемъ—весь... Да, видишь, это—я такъ... а она иначе... Н-да, тяжело ей...

— А тебѣ?—спросилъ Илья.

— И мнѣ... оттого тяжело... Кабы ей жилось свѣтлѣе! Къ веселью она привыкла... вотъ что! Все о деньгахъ мечтаетъ. Если-бъ, говоритъ, денегъ хватить гдѣ-нибудь,—сразу бы все перевернулось... Дура, говоритъ, я: надо бы мнѣ какого-нибудь купчика обворовать... Вообще ерунду говоритъ. Изъ жалости ко мнѣ все... я понимаю... Тяжело ей...

Павелъ вдругъ обезпокоился и убѣжалъ.

Часто заходилъ къ Ильѣ оборванный, полуголый сапожникъ съ неразлучной гармоніей подъ-мышкой. Онъ разсказывалъ о событіяхъ въ домѣ Филимонова, о Яковѣ. Тощій, грязный и растрепанный, Перфишка жался въ двери магазина и, улыбаясь всѣмъ лицомъ, сыпалъ свои прибаутки.

— Женился Петруха, жена его—какъ свекла, а пасынокъ—морковь! Цѣлый огородъ, ей-Богу! Жена—толстая, коротенькая, красная, а рожа у нея трехэтажная. Три подбородка человѣкъ имѣетъ, а ротъ—все-таки одинъ. Глазенки у нея, какъ у благородной свиньи: маленькіе и вверхъ не видятъ. Сынъ у нея—желтый,

длинный и въ очкахъ. Листократъ! Зовутъ его Савва, говоритъ онъ гнусаво, при матери—блаженъ мужъ, а безъ нея—вскую шаташася языцы... Ка-ампанія—мое почтеніе! Яшутка теперь такой видъ имѣетъ, словно въ щель забиться хочетъ, на манеръ испуганнаго таракана. Пьетъ, сердяга, потихоньку да кашляетъ во всю мочь. Видно, папенька печенки-то ему повредилъ, какъ слѣдуетъ! Ѣдятъ его. Парень мягкій,—не подавятся, сожрутъ... Дядя твой письмо прислалъ изъ Кіева... По-моему—напрасно онъ старается: горбатаго въ рай не пустятъ, я думаю!.. А у Матицы ноги совсѣмъ отвалились: въ телѣжкѣ ѣздитъ. Наняла слѣпого изъ половины, впрягла его и правитъ имъ, какъ лошадью,—смѣхота! Кормится все-таки. Хорошая она баба, я скажу! То есть, ежели бы у меня не такая удивительная жена была, я бы на этой самой Матицѣ необходимо женился! Я прямо скажу: на всей землѣ только и есть двѣ бабы настоящія,—съ сердцемъ, значитъ!—моя жена да Матица... Конечно, она пьянствуетъ, но хорошему человѣку—почему не пить? Хорошій человѣкъ всегда пьяница...

— А Машутка?—напомнилъ ему Илья.

При напоминаніи о дочери прибаутки и улыбки исчезали у сапожника,—точно вѣтеръ осенній сухіе листья съ дерева срывалъ. Губы у Перфишки вздрагивали, желтое лицо вытягивалось, и онъ сконфуженнымъ, тихимъ голосомъ говорилъ:

— Мнѣ про нее ничего неизвѣстно... Хрѣновъ прямо сказалъ мнѣ: и мимо не ходи, а то я ее изувѣчу... Пожертвуй, Илья Яковлевичъ, на построеніе косушки или шкалика сооруженіе!..

— Пропадаешь ты, Перфилій,—сказалъ Илья съ сожалѣніемъ.

— Окончательно пропадаю,—спокойно согласился сапожникъ.—Многіе обо мнѣ, когда помру, пожалѣть должны!—увѣренно продолжалъ онъ.—Потому—весе-

лый я человѣкъ и люблю людей смѣшить! Всѣ они: ахъ да охъ, грѣхъ да Богъ... а я имъ пѣсенки пою да посмѣиваюсь. И на грошъ согрѣши—помрешь, и на тысячи—издохнешь, а черти всѣхъ одинаково мучить будутъ... Надо и веселому человѣку жить на землѣ...

Смѣясь и балагуря, задорный, похожій на стараго ощипаннаго чижа, онъ, наконецъ, исчезалъ, а Илья, проводивъ его, съ улыбкой покачивалъ головой. Чувствуя, что ему жалко Перфишку, онъ понималъ ненужность этой жалости и видѣлъ, что она мѣшаетъ ему. Прошлое было недалеко сзади Лунева, и все, напоминавшее ему о прошломъ, будило въ немъ безпокойное чувство. Теперь онъ былъ похожъ на человѣка, который усталъ и, отдыхая, сладко дремлетъ, а осеннія мухи назойливо гудятъ надъ его ухомъ и мѣшаютъ ему отдохнуть. Разговаривая съ Павломъ или слушая разсказы Перфишки, Илья сочувственно улыбался, покачивалъ головой и ждалъ, когда они уйдутъ. Иногда ему становилось грустно и неловко слушать рѣчи Павла: въ такіе моменты онъ торопливо и упрямо предлагалъ ему денегъ и, разводя руками, говорилъ:

— Чѣмъ инымъ помочь могу?.. Посовѣтовалъ бы: брось Вѣру...

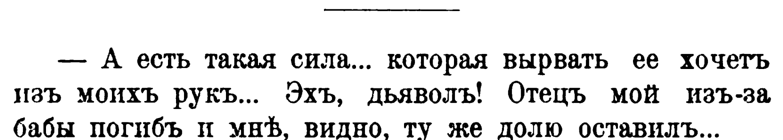
— Бросить ее нельзя,—тихо говорилъ Павелъ.— Бросаютъ то, что ненужно. А она мнѣ нужна... Ее у меня вырываютъ,—вотъ въ чемъ дѣло... И, можетъ, я не душой люблю ее, а злостью, обидой люблю. Она въ моей жизни—самое лучшее,—весь мой кусокъ счастья. Неужто отдать ее? Что же мнѣ-то останется?.. Не уступлю,—врутъ! Убью, а не отдамъ.

Сухое лицо Грачева покрывалось красными пятнами, и онъ крѣпко стискивалъ кулаки.

— Развѣ замѣчаешь, что похаживаютъ около нея?— задумчиво спросилъ Илья.

— Этого не видно...

— Про кого же говоришь: вырываютъ?



— А есть такая сила... которая вырвать ее хочетъ изъ моихъ рукъ... Эхъ, дьяволъ! Отецъ мой изъ-за бабы погибъ и мнѣ, видно, ту же долю оставилъ...

— Никакъ нельзя тебѣ помочь!—сказалъ Луневъ и почувствовалъ при этомъ какое-то удовлетвореніе. Павла ему было жалко еще болѣе, чѣмъ Перфишку, и когда Грачевъ говорилъ злобно, въ груди Ильи тоже закипала злоба противъ кого-то. Но врага, наносящаго обиду, врага, который комкалъ жизнь Павла, на-лицо не было,—онъ былъ невидимъ. И Луневъ снова чувствовалъ, что его злоба такъ же не нужна, какъ и жалость, какъ почти всѣ его чувства къ другимъ людямъ. Все это были лишнія, безполезныя чувства, казалось ему. А Павелъ, сурово хмурясь, говорилъ:

— Я знаю... помочь мнѣ нельзя... Чѣмъ поможешь? Кто поможетъ? Мы, братъ, одни въ жизни. Намъ судьбой приказано: работай, терпи, молчи... А потомъ издыхай,—чортъ тебя возьми!

И пристально глядя въ лицо товарища, онъ съ твердой и зловѣщей увѣренностью продолжалъ:

— Вотъ ты забрался въ уголокъ и—сиди смирно... Но я тебѣ скажу—ужъ кто-нибудь ночей не спитъ, соображаетъ, какъ бы тебя отсюда вонъ швырнуть...

— Ну, нѣтъ, сказалъ Луневъ съ усмѣшкой,—я за себя постою! Меня одолѣть не легко...

— Э, полно-ка! Ты думаешь—такъ всю жизнь и будешь торговать?

— А что же?

— Вышибутъ!.. А то—самъ бросишь...

— Какъ же брошу, дожидайся!—смѣясь, сказалъ Илья.

Но Грачевъ стоялъ на своемъ. Онъ, зорко посматривая въ лицо товарища, настойчиво убѣждалъ его:

— А я тебѣ говорю—бросишь. Не такой у тебя характеръ, чтобы всю жизнь смирно въ темной дырѣ просидѣть. И ужъ навѣрно—или запьянствуешь ты, или разоришься... что-нибудь должно произойти съ тобой...

— Да почему?—съ удивленіемъ воскликнулъ Луневъ.

— Такъ ужъ. Нейдетъ тебѣ спокойно жить... Ты парень хорошій, съ душой... Есть такіе люди: всю жизнь живутъ крѣпко, никогда не хвораютъ и вдругъ сразу—хлопъ!

— Что—хлопъ?

— Упалъ да и умеръ...

Илья засмѣялся, потянувшись, расправилъ крѣпкіе мускулы и глубоко, во всю силу груди, вздохнулъ.

— Чепуха все это!—сказалъ онъ.

Но вечеромъ, сидя за самоваромъ, онъ невольно вспомнилъ слова Грачева и задумался о дѣловыхъ отношеніяхъ съ Автономовой. Обрадованный ея предложеніемъ открыть магазинъ, онъ соглашался на все, что ему предлагали. И теперь ему вдругъ стало ясно, что хотя онъ вложилъ въ дѣло около четырехъ сотъ рублей изъ денегъ Полуэктова, однако, онъ скорѣе приказчикъ на отчетѣ у Татьяны Власьевны, чѣмъ компаньонъ ея. Это открытіе и поразило, и взбѣсило его.

— Ага! Такъ ты меня затѣмъ крѣпко обнимаешь, чтобы въ карманъ мнѣ незамѣтно залѣзть?—мысленно говорилъ онъ Татьянѣ Власьевнѣ. И онъ тутъ же рѣшилъ, пустивъ въ оборотъ остальныя деньги, выкупить магазинъ у своей сожительницы и порвать связь съ нею. Рѣшить это ему было легко. Татьяна Власьевна и раньше казалась ему лишней въ его жизни, а за послѣднее время она становилась даже тяжела ему. Онъ не могъ привыкнуть къ ея ласкамъ и однажды прямо въ глаза сказалъ ей:

— Экая ты, Танька, безстыдница...

Но она только расхохоталась въ отвѣтъ ему.

Она попрежнему все разсказывала ему о жизни людей ея круга, и однажды Илья съ недоумѣніемъ замѣтилъ:

— Коли все это ты правду говоришь, Татьяна, такъ ваша порядочная жизнь ни къ чорту не годится!



— Почему это? Весело!—сказала Автономова, пожавъ плечиками.

— Велико веселье! Днемъ — одно крохоборство, а ночью—развратъ... Нѣтъ, тутъ что-нибудь не такъ...

— Какой ты наивный!—смѣясь, воскликнула Татьяна Власьевна.—Ну, слушай...

И она вновь начинала расхваливать предъ нимъ эту чистую, мѣщански-приличную, удобную жизнь и, расхваливая, вскрывала ея жестокость и грязь.

— Да развѣ это хорошо?—спрашивалъ Илья.

— Вотъ забавный человѣкъ! Я не говорю, что это хорошо, но если бы этого не было,—было бы скучно.

Иногда она учила его:

— Тебѣ пора бросить эти ситцевыя рубашки: порядочный человѣкъ долженъ носить полотняное бѣлье... Ты, пожалуйста, слушай, какъ я произношу слова, и учись. Нельзя говорить—тыща, надо—тысяча! И не говори—коли, надо говорить—если. Коли, теперя, седни—это все мужицкія выраженія, а ты уже не мужикъ, хотя еще и недостаточно отшлифованъ.

Все чаще она указывала ему разницу между нимъ, мужикомъ, и ею, женщиной образованной, и нерѣдко эти указанія обижали Илью. Живя съ Олимпіадой, онъ иногда чувствовалъ, что эта женщина близка ему, какъ хорошій товарищъ, а иногда ему казалось, что онъ любитъ ее спокойной любовью. Татьяна Власьевна никогда не вызывала въ немъ товарищескаго чувства къ ней; онъ видѣлъ, что она интереснѣе Олимпіады, присматривался къ ней съ любопытствомъ, но совершенно утратилъ уваженіе къ ней. Живя на квартирѣ у Автономовыхъ, онъ иногда слышалъ, какъ Татьяна Власьевна передъ тѣмъ, какъ лечь спать, молилась Богу:

— „Отче нашъ, иже еси на небесѣхъ...—раздавался за переборкой ея громкій, торопливый шопотъ.—Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь и остави намъ дол-

ги наша...“ Киря! встань и притвори дверь въ кухню: мнѣ дуетъ въ ноги...

— Зачѣмъ ты становишься колѣнами на голый полъ?— лѣниво спрашивалъ Кирикъ.

— Оставь, не мѣшай мнѣ!..—И снова Илья слышалъ быстрый, озабоченный шопотъ:

— Упокой, Господи, раба твоего Власа, Николая, схимонаха Мардарія... рабу твою Евдокію, Марію, помяни, Господи, о здравіи Татіану, Кирика, Серафиму...

Торопливость ея молитвы не нравилась Ильѣ: онъ ясно понималъ, что человѣкъ молится не по желанію, а по привычкѣ.

— Ты, Татьяна, вѣришь въ Бога?—спросилъ онъ ее однажды.

— Вотъ вопросъ!—воскликнула она съ удивленіемъ.— Разумѣется, вѣрю! Почему ты спрашиваешь?

— Такъ... Больно ты всегда торопишься отдѣлаться отъ Него...—сказалъ Илья съ улыбкой.

— Во-первыхъ: не нужно говорить—больно, когда можно сказать—очень! А во-вторыхъ: я такъ устаю за день, что Богъ не можетъ не простить мнѣ моей небрежности...

И, мечтательно поднявъ глаза кверху, она добавила съ увѣренностью:

— Онъ—все проститъ. Онъ—милостивъ...

„Только затѣмъ Онъ вамъ и нуженъ, чтобы было у кого прощенья за пакости ваши просить“,—зло подумалъ Илья и вспомнилъ, что Олимпіада молилась долго и молча. Она вставала предъ образами на колѣни, опускала голову и такъ стояла неподвижно, точно окаменѣвшая... Лицо у нея въ эти минуты было убитое, строгое, на вопросы она ужъ не отвѣчала...

Теперь, когда Луневъ понялъ, что въ дѣлѣ съ магазиномъ Татьяна Власьевна ловко обошла его, онъ почувствовалъ что-то похожее на отвращеніе къ ней.

„Кабы она была мнѣ чужой человѣкъ,—ну, пускай!—

думалось ему.—Всѣ стараются другъ друга обманывать... Но вѣдь она—вродѣ жены мнѣ... цѣлуетъ, ласкаетъ... Кошка поганая! Эдакъ-то только гулящія дѣвки дѣлаютъ... да и то не всѣ...“ Онъ сталъ относиться къ ней сухо, подозрительно и началъ подъ разными предлогами отказываться отъ свиданій съ нею. Какъ разъ въ это время предъ нимъ явилась еще одна женщина. Это была сестра Гаврика, иногда забѣгавшая въ лавочку посмотрѣть на брата. Высокая, тонкая и стройная, она была некрасива, и, хотя Гаврикъ сообщилъ, что ей девятнадцать лѣтъ, Ильѣ она казалась гораздо старше. Лицо у нея было длинное и какое-то желтое, истощенное; высокій лобъ прорѣзывали тонкія морщины. Широкія ноздри ея утинаго носа казались гнѣвно раздутыми, тонкія губы маленькаго рта всегда были плотно сложены. Говорила она отчетливо, но какъ будто сквозь зубы, неохотно; походка у нея была быстрая и ходила она, высоко поднявъ голову, точно хвасталась предъ всѣми своимъ некрасивымъ лицомъ. А можетъ быть, голову ей оттягивала назадъ толстая и длинная коса темныхъ волосъ... Большіе, черные глаза этой дѣвушки смотрѣли строго и серьезно, и всѣ черты лица, сливаясь вмѣстѣ, придавали ея высокой фигурѣ что-то особенное, прямое и непреклонное. Луневъ чувствовалъ предъ нею робость; она казалась ему гордой и внушала почтеніе къ себѣ. Всякій разъ, когда она являлась въ лавкѣ, онъ вѣжливо подавалъ ей стулъ, приглашая:

— Присядьте, пожалуйста!

— Благодарю!—кратко говорила она и, кивая ему головой, садилась. Луневъ украдкой разсматривалъ ея лицо, рѣзко отличное отъ всѣхъ женскихъ лицъ, которыя онъ видѣлъ до сей поры, ея коричневое платье, очень поношенное, ея башмаки съ заплатками и желтую соломенную шляпу. Она сидѣла, разговаривая съ братомъ, и длинные пальцы ея правой руки всегда вы-

бивали на ея колѣнѣ быструю, но неслышную дробь. А лѣвой рукой она раскачивала въ воздухѣ ремни съ книгами. Ильѣ было странно видѣть гордой дѣвушку, такъ плохо одѣтую. Просидѣвъ въ лавкѣ двѣ-три минуты, она говорила брату:

— Ну, прощай! Не очень шали...

И, молча кивнувъ головой хозяину лавки, уходила походкой храбраго солдата, идущаго на приступъ.

— Какая у тебя сестра-то... строгая!—сказалъ однажды Луневъ Гаврику.

Гаврикъ наморщилъ носъ, дико вытаращилъ глаза, оттопырилъ губы, и отъ этого лицо его приняло каррикатурно-стремительное выраженіе, очень удачно напоминавшее лицо его сестры. Потомъ онъ съ улыбкой объяснилъ Ильѣ:

— Вотъ она какая... Только она это притворяется...

— Зачѣмъ же ей притворяться?

— Такъ ужъ... любитъ! Я тоже—какую захочу скорчить рожицу, такую и скорчу...

Дѣвушка сильно заинтересовала Илью, и, какъ раньше о Татьянѣ Власьевнѣ, онъ думалъ о ней:

„Вотъ на такой бы жениться... Ужъ эта, навѣрное, съ душой...

Однажды она принесла съ собой толстую книгу и сказала брату:

— На, читай... Это очень интересно...

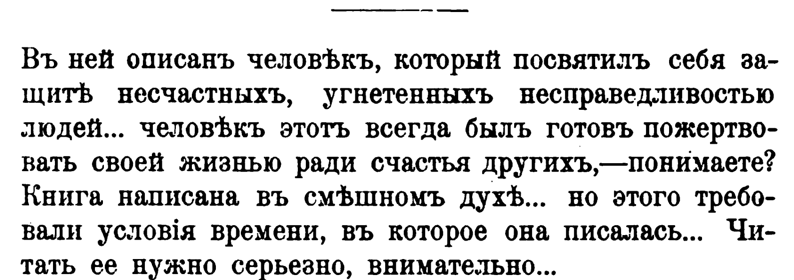
— Что такое, позвольте взглянуть?—вѣжливо спросилъ Илья.

Она взяла книгу изъ рукъ брата и подала Луневу, говоря:

— Донъ-Кихотъ... Исторія одного добраго рыцаря...

— А! Про рыцарей я много читалъ,—съ любезной улыбкой сказалъ Илья, взглянувъ ей въ лицо. У нея дрогнули брови, и она торопливо, сухимъ голосомъ заговорила:

— Вы читали сказки, а это прекрасная, умная книга



Въ ней описанъ человѣкъ, который посвятилъ себя защитѣ несчастныхъ, угнетенныхъ несправедливостью людей... человѣкъ этотъ всегда былъ готовъ пожертвовать своей жизнью ради счастья другихъ,—понимаете? Книга написана въ смѣшномъ духѣ... но этого требовали условія времени, въ которое она писалась... Читать ее нужно серьезно, внимательно...

— Такъ мы и почитаемъ,—сказалъ Илья.

Еще первый разъ дѣвушка говорила съ нимъ; онъ чувствовалъ отъ этого какое-то особенное удовольствіе и улыбался. Но она, взглянувъ на его лицо, сухо проговорила:

— Не думаю, что это понравится вамъ...

И ушла. Ильѣ показалось, что слово „вамъ" она произнесла какъ-то особенно ясно. Это задѣло его, и онъ сердито сказалъ Гаврику, разглядывавшему картинки въ книгѣ:

— Ну, теперь читать не время...

— Да вѣдь покупателей нѣтъ?—возразилъ Гаврикъ, не закрывая книги. Илья посмотрѣлъ на него и промолчалъ. Въ памяти его звучали слова дѣвушки о книгѣ. А о самой дѣвушкѣ онъ съ неудовольствіемъ въ сердцѣ думалъ:

„Какая... фря!"

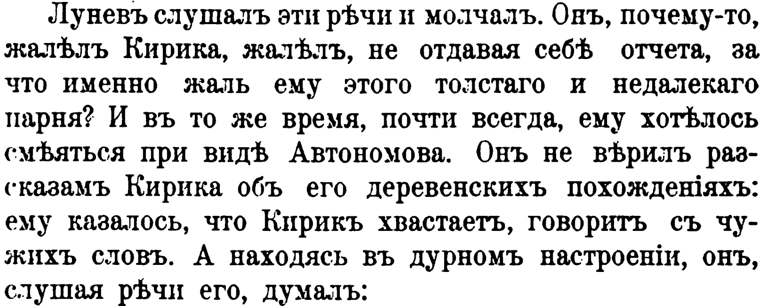
Время шло. Илья стоялъ за прилавкомъ, и, покручивая усы, торговалъ, но ему стало казаться, что дни идутъ медленно. Иногда у него возникало желаніе запереть лавку и пойти куда-нибудь гулять, но онъ зналъ, что это отразилось бы на торговлѣ, и не ходилъ. Уходить вечеромъ тоже было неудобно: Гаврикъ боялся оставаться одинъ въ магазинѣ, да и опасно было оставлять магазинъ на него: онъ могъ нечаянно поджечь или пустить какого-нибудь жулика. Торговля шла недурно; Илья подумывалъ о томъ, что, пожалуй, придется нанять помощника. Связь съ Автономовой по-

степенно ослабѣвала сама собой, и Татьяна Власьевна тоже какъ будто не имѣла ничего противъ этого. Она весело посмѣивалась и очень тщательно провѣряла книгу дневного оборота. И когда она, сидя въ комнатѣ Ильи, щелкала косточками счетовъ, онъ чувствовалъ, что эта женщина съ птичьимъ лицомъ противна ему. Но иногда она являлась къ нему веселая, бойкая, шутила и, задорно играя глазами, называла Илью компаньономъ. Онъ увлекался, и возобновлялось то, что онъ называлъ про себя поганой канителью. Заходилъ Кирикъ, разваливался на стулѣ у прилавка и балагурилъ со швейками, если онѣ приходили при немъ купить что-либо. Онъ уже снялъ съ себя полицейскую форму, носилъ костюмъ изъ чечунчи и хвастался своими успѣхами на службѣ у купца.

— Шестьдесятъ рублей жалованья и, даже при скромныхъ желаніяхъ, столько же наживаю,—не дурно, а? Наживаю осторожно, законно... хо, хо! Квартиру мы перемѣнили,—слышалъ? Теперь у насъ миленькая квартирка. Наняли кухарку, — велика-а-лѣпно готовитъ, бестія! Съ осени начнемъ принимать много знакомыхъ, будемъ играть въ карты... пріятно, чортъ возьми! Весело проведешь время и можно выиграть... насъ двое играютъ, я и жена, кто-нибудь одинъ всегда выигрываетъ! А выигрышъ окупаетъ пріемъ гостей,—хо-хо, душа моя! Вотъ что называется дешевая и пріятная жизнь!..

Онъ расплывался на стулѣ еще больше, закуривалъ папиросу и, попыхивая дымомъ, продолжалъ, понизивъ голосъ:

— Ѣздилъ я, братецъ, въ деревню недавно,—слышалъ? И я тебѣ скажу: дѣвочки тамъ—такія—фью! Знаешь,—дочери природы эдакія... ядреныя, знаешь, не уколупнешь ее, шельму... И все это дешево, чортъ, меня побери! Скляницу наливки, фунтъ пряниковъ, и—твоя.



Луневъ слушалъ эти рѣчи и молчалъ. Онъ, почему-то, жалѣлъ Кирика, жалѣлъ, не отдавая себѣ отчета, за что именно жаль ему этого толстаго и недалекаго парня? И въ то же время, почти всегда, ему хотѣлось смѣяться при видѣ Автономова. Онъ не вѣрилъ разсказамъ Кирика объ его деревенскихъ похожденіяхъ: ему казалось, что Кирикъ хвастаетъ, говоритъ съ чужихъ словъ. А находясь въ дурномъ настроеніи, онъ, слушая рѣчи его, думалъ:

„Крохоборъ!“

— Да-а, братецъ, великолѣпно это—заняться амуромъ на лонѣ природы, подъ сѣнью кущъ, какъ выражаются въ книжкахъ.

— А если Татьяна Власьевна узнаетъ?—спросилъ Илья.

— Она этого не захочетъ узнать, братецъ,—лукаво подмигивая ему, отвѣтилъ Кирикъ.—Она знаетъ, что ей это не нужно знать, хо-хо! Мужчина есть пѣтухъ по природѣ своей... Ну, а ты, братецъ, какъ — имѣешь даму сердца?

— Грѣшенъ!—усмѣхаясь, сказалъ Илья.

— Швеичку? Да? Эдакую брюнеточку...

— Нѣтъ, не швейку...

— Кухарку? Кухарка—это тоже хорошо, она теплая, сдобная...

Илья хохоталъ, какъ сумасшедшій, и этотъ смѣхъ убѣждалъ Кирика въ существованіи кухарки.

— Почаще мѣняй ихъ, почаще мѣняй,—тономъ знатока дѣла совѣтовалъ онъ Ильѣ.

— Да почему вы думаете, что кухарка или швейка? Развѣ другой какой-нибудь недостоинъ я?—спросилъ Луневъ сквозь смѣхъ.

— Онѣ тебѣ, братецъ, подходятъ по твоему положенію въ обществѣ больше другихъ... Вѣдь не можешь ты завести романъ съ дамой или дѣвушкой приличнаго общества, согласись?

— Да почему?

— Ахъ, это такъ понятно... Я не хочу тебя обижать, но ты, мой другъ, все-таки, знаешь... простой человѣкъ... мужичокъ, такъ сказать...

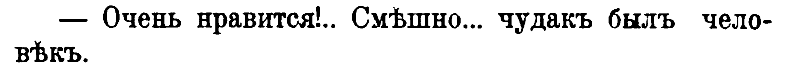
— А... а я завелъ съ дамой...—задыхаясь отъ смѣха, сказалъ Илья.

— Шутникъ!—воскликнулъ Кирикъ и тоже захохоталъ.

Но когда Автономовъ уходилъ, Луневъ, думая надъ его словами, испытывалъ чувство обиды. Ему было ясно, что хотя Кирикъ добрый и смѣшной парень, однако, онъ считаетъ себя какимъ-то особеннымъ человѣкомъ, неравнымъ ему, Ильѣ, выше его, лучше. Въ то же время онъ съ женой многимъ пользуется отъ него. Перфишка сообщилъ ему, что Петруха посмѣивается надъ его торговлей и называетъ его жуликомъ... А Яковъ говорилъ сапожнику, что раньше онъ, Илья, былъ лучше, душевнѣе, не зазнавался, какъ теперь. И сестра Гаврика тоже постоянно убѣждала Илью въ томъ, что она не ровня ему. Дочь почтальона, одѣтая едва не въ лохмотья, она смотрѣла на него такъ, точно сердилась на то, что онъ живетъ на одной землѣ съ нею. Самолюбіе Ильи, съ той поры, какъ онъ открылъ магазинъ, выросло и стало еще болѣе чуткимъ, чѣмъ прежде. Его интересъ къ этой некрасивой, но какой-то особенной дѣвушкѣ все развивался; ему хотѣлось понять, откуда въ ней, бѣдной, плохо одѣтой, эта гордость, предъ которой онъ все болѣе робѣлъ. Она никогда не хотѣла заговорить съ нимъ первая, и это больно задѣвало его. Вѣдь ея братъ служитъ у него въ мальчикахъ, и уже поэтому она бы должна смотрѣть на него, хозяина, поласковѣе. Онъ сказалъ ей однажды.

— Читаю вашу книгу о донъ-Кихотѣ...

— Ну, и что же? Нравится?—спросила она, не взглянувъ на него.



— Очень нравится!.. Смѣшно... чудакъ былъ человѣкъ.

Тутъ она на него посмотрѣла. Ильѣ показалось, что ея черные, гордые глаза воткнулись въ лицо ему съ ненавистью.

— Я такъ и знала, что вы скажете что-нибудь въ этомъ родѣ,—проговорила она медленно и внятно.

Ильѣ почудилось что-то обидное, укоризненное, враждебное ему въ этихъ словахъ.

— Человѣкъ я темный,—сказалъ онъ, пожавъ плечами.

Она промолчала въ отвѣтъ, точно не слышала его голоса.

И вновь въ душу Ильи стало вторгаться давно уже не владѣвшее ею настроеніе,—вновь онъ злился на людей, крѣпко и по-долгу думалъ о справедливости, о своемъ грѣхѣ и о томъ, что ждетъ его впереди. Ему нравился магазинъ, и нравился почти весь укладъ его жизни въ эти дни. По сравненію съ прежней, эта жизнь была чище, спокойнѣй, свободнѣй. Но неужели онъ всегда будетъ жить вотъ такъ: съ утра до вечера торчать въ магазинѣ, потомъ наединѣ со своими думами сидѣть за самоваромъ и спать потомъ, а проснувшись, вновь идти въ магазинъ. Онъ зналъ, что многіе торговцы, а можетъ быть, и всѣ, живутъ именно такъ. Но они, навѣрное, всѣ женаты, у нихъ есть дѣти, они пьютъ водку, играютъ въ карты, и едва-ли среди нихъ есть такіе, какъ онъ... У него и во внѣшней жизни, и во внутренней было много причинъ считать себя человѣкомъ особеннымъ, непохожимъ на другихъ. Торговцы не нравились ему: одни были похожи на Кирика, всѣмъ хвастались и кромѣ торговли не говорили ни о чемъ, другіе явно мошенничали. Какъ-то разъ, думая надо всѣмъ этимъ, онъ вспомнилъ слова Якова:

— Не дай Богъ тебѣ удачи... жаденъ ты...

И эти слова казались ему глубоко обидными. Нѣтъ,

онъ не жаденъ,—онъ просто хочетъ жить чисто, спокойно, и чтобы люди уважали его, чтобы никто не показывалъ ему на каждомъ шагу:

— Я выше тебя, Илья Луневъ, я тебя лучше...

И снова онъ думалъ, что ждетъ его впереди? Будетъ ему возмездіе за убійство, или нѣтъ? Иногда ему думалось, что, если возмездіе за грѣхъ будетъ ему,—оно будетъ несправедливо. Въ городѣ живетъ много человѣкоубійцъ, развратниковъ, грабителей; всѣ знаютъ, что они по своей волѣ убійцы, развратники и мошенники, а вотъ живутъ они, пользуются благами жизни, и наказанія нѣтъ имъ до сей поры. А по справедливости—всякая обида, человѣку нанесенная, должна быть возмещена обидчику. И въ Библіи сказано: „Пусть Богъ воздастъ ему самому, чтобы онъ зналъ“. Эти мысли бередили всѣ старыя царапины въ его сердцѣ, и сердце вспыхивало буйнымъ чувствомъ жажды отомстить за свою надломленную жизнь. Порой ему приходило на умъ сдѣлать еще что-нибудь дерзкое: пойти поджечь домъ Петрухи Филимонова, а когда домъ загорится, и прибѣгутъ люди, то крикнуть имъ:

— Это я поджогъ! Это я задавилъ купца Полуэктова!

Люди схватятъ его, будутъ судить и сошлютъ въ Сибирь, какъ сослали его отца... Это возмущало его, и онъ суживалъ свою жажду мести до желанія разсказать Кирику о своей связи съ его женой или пойти къ старику Хрѣнову и избить его за то, что онъ мучаетъ Машу...

Иногда, лежа въ темнотѣ на своей кровати, онъ вслушивался въ глубокую тишину, и ему казалось, что вотъ сейчасъ все задрожитъ вокругъ него, повалится, закружится въ дикомъ вихрѣ, съ шумомъ, съ дребезгомъ. Этотъ вихрь завертитъ и его силою своей, какъ сорванный съ дерева листъ, завертитъ и—погубитъ... И Луневъ вздрагивалъ отъ предчувствія чего-то необычайнаго...

Какъ-то вечеромъ, когда Луневъ уже собирался запирать магазинъ, явился Павелъ и, не здороваясь, спокойнымъ голосомъ сказалъ:

— Вѣрка убѣжала...

Онъ сѣлъ на стулъ, облокотился о прилавокъ и тихо засвисталъ, глядя на улицу. Лицо у него было какое-то окаменѣвшее, но маленькіе русые усики шевелились, какъ у кота.

— Одна или съ кѣмъ-нибудь?—спросилъ Илья.

— Не знаю... Третій день нѣтъ ея...

Илья смотрѣлъ на него и молчалъ. Спокойное лицо и голосъ Павла не позволяли ему понять, какъ относится Грачевъ къ бѣгству своей подруги. Но онъ чувствовалъ въ этомъ спокойствіи какое-то безповоротное рѣшеніе...

— Что же ты думаешь дѣлать?—тихо спросилъ онъ, видя, что Павелъ не собирается говорить. Тогда Грачевъ пересталъ свистать и, не оборачиваясь къ товарищу, кратко объявилъ:

— Зарѣжу...

— Ну, опять за свое!—воскликнулъ Илья, досадливо махнувъ рукой.

— Я объ нее все сердце обломалъ,—вполголоса заговорилъ Павелъ.—Вотъ ножикъ.

Онъ вынулъ изъ-за пазухи небольшой хлѣбный ножъ и повертѣлъ его предъ своимъ лицомъ.

— Хвачу ее разокъ по горлу...

Но Илья схватилъ его руку, вырвалъ кожъ и бросилъ за прилавокъ, сердито говоря:

— Вооружился быкъ на муху...

Павелъ вскочилъ со стула и повернулся лицомъ къ нему. Глаза у него яростно горѣли, лицо исказилось, онъ весь вздрагивалъ. Но тотчасъ же снова опустился на стулъ и презрительно сказалъ:

— Дуракъ ты...

— Ты уменъ!..

— Сила не въ ножѣ, а въ рукѣ...

— Говори!..

— И если-бъ руки у меня отвалились, — зубами глотку ей перерву...

— Ишь какъ страшно!..

— Ты со мной не говори, Илья...—вновь спокойно и негромко сказалъ Павелъ.—Вѣрь, не вѣрь, но меня не дразни... Меня судьба довольно дразнитъ...

— Да ты, чудакъ, подумай,—убѣдительно и мягко заговорилъ Илья.

— Я думалъ два года слишкомъ... Все ужъ передумано... Впрочемъ, я уйду... Что съ тобой говорить? Ты—сытъ... стало быть, мнѣ не товарищъ...

— А ты брось безумство-то!—съ укоромъ крикнулъ Луневъ.

— Я же—и душой, и тѣломъ голоденъ...

— Дивлюсь я, какъ люди разсуждаютъ!—пожавъ плечами, насмѣшливо заговорилъ Илья.—Баба для человѣка вродѣ скота... вродѣ лошади! Везешь меня? Ну, старайся, бить не буду. Не хошь везти? Трахъ ее по башкѣ!.. Да, черти, вѣдь и баба—человѣкъ, и у нея свой характеръ есть...

Павелъ взглянулъ на него и хрипло засмѣялся.

— А я кто? Не человѣкъ?..

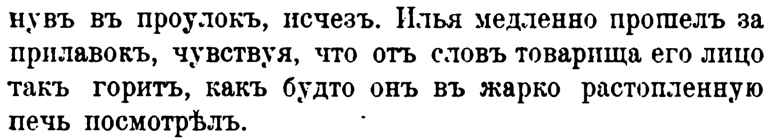
— Да ты долженъ быть справедливымъ, или нѣтъ?

— А поди ты ко всѣмъ чертямъ съ этой самой справедливостью!—бѣшено закричалъ Грачевъ, вскакивая со стула.—Будь ты справедливъ: сытому это не мѣшаетъ... Слыхалъ? Ну, и прощай...

Онъ быстро пошелъ вонъ изъ магазина и въ двери зачѣмъ-то снялъ съ головы картузъ. Илья выскочилъ изъ-за прилавка вслѣдъ за нимъ, но Грачевъ уже шелъ по улицѣ, держа картузъ въ рукѣ и возбужденно размахивая имъ.

— Павелъ!—крикнулъ Луневъ.—Постой...

Онъ не остановился, даже не оглянулся и, повер-



нувъ въ проулокъ, исчезъ. Илья медленно прошелъ за прилавокъ, чувствуя, что отъ словъ товарища его лицо такъ горитъ, какъ будто онъ въ жарко растопленную печь посмотрѣлъ.

— Ка-акой злой!—раздался голосъ Гаврика.

Илья усмѣхнулся.

— Кого это онъ рѣзать собрался?—спросилъ Гаврикъ, подходя къ прилавку. Руки у него были заложены за спину, голова поднята вверхъ, и шероховатое лицо покраснѣло.

— Жену свою,—сказалъ Илья, глядя на мальчика.

Гаврикъ помолчалъ, потомъ какъ-то принатужился и тихо, вдумчиво сообщилъ хозяину:

— А у насъ сосѣдка на Рождествѣ мужа мышьякомъ отравила... Портного... За то, что онъ все пьянствовалъ.

— Бываетъ... — медленно проговорилъ Луневъ, думая о Павлѣ.

— А этотъ,—онъ вправду зарѣжетъ?

— Отстань, Гаврикъ!..

Мальчикъ повернулся, пошелъ къ двери и по дорогѣ пробормоталъ:

— А женятся, черти!..

Уже вечерній сумракъ влился въ улицу, и въ окнахъ дома напротивъ лавочки Лунева зажгли огонь.

— Запирать пора...—тихо сказалъ Гаврикъ.

Илья смотрѣлъ на освѣщенныя окна. Снизу ихъ закрывали цвѣты, сверху бѣлыя шторы. Сквозь листву цвѣтовъ было видно золотую раму на стѣнѣ. Когда окна были открыты, изъ нихъ на улицу вылетали звуки гитары, пѣніе и громкій смѣхъ. Въ этомъ домѣ почти каждый вечеръ пѣли, играли и смѣялись. Луневъ зналъ, что тамъ живетъ членъ окружнаго суда Громовъ, человѣкъ полный, румяный, съ большими черными усами. Жена у него была тоже полная, бѣлокурая, съ ласковыми голубыми глазками; она ходила по улицѣ важно, какъ сказочная королева, а когда раз-

говаривала, то все улыбалась. Еще у Громова была сестра-невѣста, высокая, черноволосая и смуглая дѣвица; около нея увивалось множество молодыхъ чиновниковъ; всѣ они смѣялись, пѣли, собирались у Громова чуть не каждый вечеръ. Кухарка Громовыхъ, покупая у Лунева нитки, жаловалась на хозяевъ, говоря, что они плохо кормятъ прислугу и задерживаютъ жалованье. И Луневъ думалъ:

„Вѣдь вотъ, живутъ люди хорошо...“

— Право, запирать пора,—настойчиво проговорилъ Гаврикъ...

— Запирай...

Мальчикъ затворилъ дверь, и въ магазинѣ стало темно. Потомъ загремѣло желѣзо замка.

„Какъ въ тюрьмѣ“,—подумалъ Илья.

Обидныя слова товарища о сытости воткнулись ему въ сердце, какъ заноза. Сидя за самоваромъ, онъ думалъ о Павлѣ съ непріязнью, ему не вѣрилось, что Грачевъ можетъ зарѣзать Вѣру.

„Напрасно я за нее заступился, все-таки... Песъ съ ними, со всѣми... Сами не умѣютъ жить, другимъ мѣшаютъ...“—съ ожесточеніемъ подумалъ онъ.

Гаврикъ громко схлебывалъ чай съ блюдечка и двигалъ подъ столомъ ногами.

— Зарѣзалъ или нѣтъ еще?—вдругъ спросилъ онъ хозяина.

Луневъ сумрачно посмотрѣлъ на него и сказалъ:

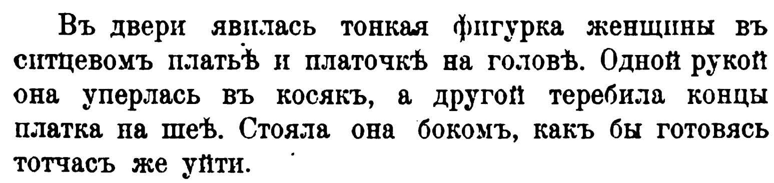
— А ты пей... да спать иди...

Самоваръ шипѣлъ и гудѣлъ такъ, точно готовился спрыгнуть со стола.

Вдругъ предъ окномъ встала темная фигура, и робкій, дрожащій голосъ спросилъ:

— Не здѣсь ли живетъ Илья Яковлевичъ?..

— Здѣсь,—крикнулъ Гаврикъ и, вскочивъ со стула, бросился къ двери на дворъ такъ быстро, что Илья не успѣлъ ничего сказать ему.



Въ двери явилась тонкая фигурка женщины въ ситцевомъ платьѣ и платочкѣ на головѣ. Одной рукой она уперлась въ косякъ, а другой теребила концы платка на шеѣ. Стояла она бокомъ, какъ бы готовясь тотчасъ же уйти.

— Входите,—недовольно сказалъ Луневъ, глядя на нее и не узнавая.

Вздрогнувъ отъ его голоса, она подняла голову, и блѣдное, маленькое лицо ея улыбнулось...

— Маша!—крикнулъ Илья, вскочивъ со стула.

Она тихонько засмѣялась и, заперевъ дверь на крюкъ, шагнула къ нему.

— Не узналъ... не узнали даже...—проговорила она, останавливаясь среди комнаты.

— Господи Боже! Да развѣ узнаешь! Какая ты... какая стала!..

Съ преувеличенной вѣжливостью Илья взялъ ее за руку, велъ къ столу, наклоняясь и заглядывая ей въ лицо и не умѣя сказать, какая она именно стала. А она была невѣроятно худая и шагала такъ, точно ноги у нея подламывались.

— Откуда ты? Устала? Ахъ ты... какая!—бормоталъ онъ, бережно усаживая ее на стулъ и все заглядывая въ лицо ей.

— Вотъ какъ меня...—сказала она, съ улыбкой взглянувъ въ глаза Ильи.

Теперь, когда она сѣла противъ свѣта лампы, онъ хорошо видѣлъ ея фигуру. Она оперлась на спинку стула, свѣсивъ тонкія руки, и, склонивъ голову на бокъ, учащенно дышала своей плоской грудью. Была она какая-то безплотная, казалась составленной изъ однѣхъ костей. Ситецъ ея платья обрисовывалъ угловатыя плечи, локти, колѣни, и лицо у нея было страшно отъ худобы. Синеватая кожа туго натянулась на вискахъ, скулахъ и подбородкѣ, отъ этого ротъ ея былъ болѣзненно полуоткрытъ, тонкія губы не скрывали зубовъ,

и на ея маленькомъ, удлиненномъ лицѣ застыло выраженіе тупой боли, испуга. А глаза смотрѣли тускло и мертво.

— Хворала ты?—тихо спросилъ Илья.

— Нѣ-ѣтъ, — отвѣтила она. — Я совсѣмъ здоровая... это онъ меня отдѣлалъ...

— Мужъ?

— Му-ужъ...

Ея протяжныя, негромкія слова звучали, какъ стоны, оскаленные зубы придавали лицу что-то рыбье и мертвое...

Гаврикъ, стоя около Маши, смотрѣлъ на нее, сжавъ губы, съ боязнью въ глазахъ.

— Иди, спи!—сказалъ ему Луневъ.

Мальчикъ ушелъ въ магазинъ, повозился тамъ съ минуту, и потомъ изъ-за косяка двери высунулась его голова.

Маша сидѣла неподвижно, только глаза ея, тяжело вращаясь въ орбитахъ, передвигались съ предмета на предметъ. Луневъ наливалъ ей чай, смотрѣлъ на нее и не могъ ни о чемъ спросить подругу.

— Да-а... очень онъ мучаетъ меня... — заговорила она. Губы у ней вздрогнули, и глаза закрылись на секунду. А когда она открыла ихъ,—изъ-подъ рѣсницъ выкатились двѣ большія и тяжелыя слезы.

— Не плачь... — сказалъ Илья, отвернувшись отъ нея.—Ты лучше... пей чай, вотъ... и разсказывай мнѣ все... легче будетъ...

— Боюсь—придетъ онъ...—покачавъ головой, сказала Маша.

— Ты ушла отъ него?..

— Да-а... Я ужъ четвертый разъ... Когда не могу больше терпѣть и... убѣгаю... Прошлый разъ я въ колодецъ было хотѣла... а онъ поймалъ... и такъ билъ, такъ мучилъ...

Глаза у нея стали огромные отъ ужаса воспомина-



ній, нижняя челюсть задрожала; опустивъ голову, она шопотомъ договорила:

— Ноги онъ мнѣ все ломаетъ...

— Эхъ!—воскликнулъ Илья.—Да что же ты? Безъ языка живешь? Въ полицію заяви... истязуетъ, молъ! За это судятъ... въ острогъ сажаютъ...

— Н-ну-у, онъ самъ и судья,—безнадежно сказала Маша.

— Хрѣновъ? Какой онъ судья,—что ты?

— Ужъ я знаю! Онъ въ судѣ недавно сидѣлъ двѣ недѣли кряду... все судилъ... Приходилъ оттуда злой, голодный... Взялъ да щипцами самоварными грудь мнѣ ущемилъ и вертитъ, и крутитъ... какъ тряпку... гляди-ка!

Она дрожащими пальцами разстегнула платье и показала Ильѣ маленькія, дряблыя груди, покрытыя темными пятнами, точно изжеванныя.

— Застегнись,—угрюмо сказалъ Илья. Ему было непріятно видѣть это избитое, жалкое тѣло и даже не вѣрилось, что предъ нимъ сидитъ подруга дѣтскихъ дней, славная дѣвочка Маша. А она, обнаживъ плечо, говорила ровнымъ голосомъ:

— А плечи-то какъ исколотилъ, гляди-ка! И всю какъ есть... животъ изщипалъ весь, волосы подъ мышками выщипалъ...

— Да за что?—спросилъ Луневъ.

— Злой онъ... Говоритъ—ты меня не любишь? И щиплетъ...

— Можетъ, ты... не дѣвушка ужъ была, какъ за него вышла?

— Ну-у, какъ же это? Съ тобой да съ Яшей жила я... никто меня не трогалъ никогда... Да и теперь я... къ тому неспособна... больно мнѣ и противно... тошнитъ всегда...

— Молчи, Маша,—тихонько попросилъ ее Илья.

Она замолчала и снова окаменѣла, сидя на стулѣ съ обнаженной грудью.

Илья взглянулъ изъ-за самовара на ея худое, избитое тѣло и повторилъ:

— Застегнись...

— Мнѣ тебя не стыдно,—беззвучно отвѣтила она, принимаясь застегивать кофту дрожащими пальцами.

Стало тихо. Потомъ изъ магазина донеслись громкія всхлипыванья. Илья всталъ, подошелъ къ двери и притворилъ ее, сказавъ угрюмо:

— Перестань, Гаврюшка... спи, знай!

— Это—мальчикъ?—спросила Маша.

— Онъ...

— Плачетъ...

— Да...

— Боится?

— Н-нѣтъ... жалѣетъ, должно быть.

— Кого?

— Тебя...

— Ишь какой,—равнодушно сказала Маша, но ея безжизненное лицо осталось неподвижнымъ. Потомъ она стала пить чай, а руки у нея тряслись, и блюдечко стучало о зубы ея. Илья смотрѣлъ на нее изъ-за самовара и не зналъ—жалко ему Машу, или не жалко? Ему было тяжело съ ней, и онъ думалъ о ея мужѣ съ ненавистью.

— Что ты будешь дѣлать?—спросилъ онъ послѣ долгаго молчанія.

— Не знаю,—отвѣтила она и вздохнула.—Что мнѣ дѣлать?.. Отдохну... опять поймаютъ...

— Жаловаться надо,—рѣшительно сказалъ Луневъ.—За что онъ тебя мучаетъ? И кто имѣетъ право мучить человѣка?

— Онъ и ту жену тоже такъ...—заговорила Маша.—И за косу къ кровати привязывалъ, и щипалъ... все такъ же... И вотъ разъ спала я, и только вдругъ стало больно мнѣ... проснулась и кричу. А это онъ зажегъ спичку да на животъ мнѣ и положилъ...

Луневъ вскочилъ со стула и громко, съ бѣшенствомъ заговорилъ о томъ, что она должна завтра же идти въ полицію, показать тамъ всѣ свои синяки и требовать, чтобъ мужа ея судили. Она же, слушая его рѣчь, безпокойно задвигалась на стулѣ и, пугливо озираясь, сказала:

— Ты не кричи... не кричи, пожалуйста! Услышатъ...

Его слова только пугали ее. Онъ скоро понялъ это, и ему стало ясно, что эта дѣвочка замучена и забита до полной утраты человѣческаго облика.

— Ну, ладно,—сказалъ онъ, снова усаживаясь на стулъ,—я самъ возьмусь за это... Я найду пути!.. Ты, Машутка, ночуешь у меня... слышишь?

— Слышу...—тихо отвѣтила она, оглядывая комнату.

— Ляжешь на моей постели... а я въ магазинъ уйду... А завтра я...

— Мнѣ бы теперь вотъ лечь... устала я...

Онъ молча отодвинулъ столъ отъ кровати; Маша свалилась на нее, попробовала завернуться въ одѣяло, но не сумѣла и тихонько улыбнулась, говоря:

— Смѣшная я какая... ровно пьяная...

Илья бросилъ на нее одѣяло, поправилъ подушку подъ головой ея и хотѣлъ уйти въ магазинъ, но она безпокойно заговорила:

— Не уходи... посиди со мной! Я боюсь одна... мерещится мнѣ что-то...

Онъ сѣлъ на стулъ рядомъ съ нею и, взглянувъ на ея блѣдное лицо, осыпанное кудрями, отвернулся. Какъ-то сразу, вдругъ, стало совѣстно видѣть ее едва живой. Вспомнилъ онъ просьбы Якова, разсказы Матицы о жизни Маши и низко наклонилъ голову.

— И Яшу тоже, слышь, отецъ бьетъ... Матица говорила... Судьба-то какая...—заговорила она.

— Отцы!—сквозь зубы сказалъ Луневъ, прерывая ея тихую, безжизненную рѣчь.—Такихъ отцовъ въ каторгу надо... и твоего, и Петрушку Филимонова...

— Ну, мой отецъ—слабый... онъ ни въ чемъ не виноватъ...

— Не можешь выходить своихъ дѣтей—не роди ихъ...

Въ домѣ напротивъ лавочки пѣли въ два голоса, и слова пѣсни влетали черезъ открытое окно въ комнату Ильи. Крѣпкій, здоровый басъ усердно выговаривалъ:

«Ра-ззо-очарован-ному чу-у-ужды...»

— Вотъ я ужъ и засыпаю,—пробормотала Маша.— Хорошо какъ у тебя... тихо-тихо... поютъ... хорошо они поютъ.

— Н-да, распѣваютъ...—угрюмо усмѣхаясь, сказалъ Луневъ.—Съ однихъ шкуры дерутъ, а другіе воютъ...

«И-н-не м-мог-гу пре-да-ть-ся вновь...»

„Р-разъ и-и-и-и...“—Высокая нота красиво зазвенѣла въ тишинѣ ночи, взлетая къ высотѣ легко и свободно...

Луневъ всталъ и съ досадой закрылъ окно: пѣсня казалась ему неумѣстной,—она какъ-то обижала его. Стукъ рамы заставилъ Машу вздрогнуть. Она открыла глаза и, съ испугомъ приподнявъ голову, спросила:

— Кто это?

— Я... окно закрылъ...

— Господи Исусе!.. Ты уходишь?

— Нѣтъ, нѣтъ... не бойся...

Она поворочала головой по подушкѣ и снова задремала. Малѣйшее движеніе Ильи, звукъ шаговъ на улицѣ—все безпокоило ее: она тотчасъ же открывала глаза и сквозь сонъ вскрикивала:

— Сейчасъ... охъ!.. сейчасъ...

Или спрашивала Илью, протягивая къ нему руку:

— Стучатъ?

Стараясь сидѣть неподвижно и глядя въ окно, снова открытое имъ, Луневъ соображалъ, какъ бы помочь Машѣ, и угрюмо рѣшилъ не отпускать ее отъ себя до поры, пока въ дѣло не вмѣшается полиція...



„Нужно черезъ Кирика дѣйствовать...“

— Просимъ, просимъ!—вырвались изъ оконъ квартиры Громова оживленные крики. Кто-то хлопалъ въ ладоши. Маша застонала, а у Громова опять запѣли:

«Пар-ра гнѣдыхъ, запр-ряж-женныхъ съ зар-рею...»

Луневъ почти съ отчаяніемъ замоталъ головой... Это пѣніе, веселые крики, смѣхъ—мѣшали ему. Облокотясь на подоконникъ, онъ смотрѣлъ на освѣщенныя окна противъ себя со злобой, съ буйнымъ негодованіемъ и думалъ, что хорошо бы выйти на улицу и запустить въ одно изъ оконъ булыжникомъ съ мостовой. Или, имѣя ружье, выстрѣлить туда, въ этихъ веселыхъ людей, дробью. Дробь долетитъ. Онъ представилъ себѣ испуганныя, окровавленныя морды, смятеніе, визгъ и— улыбнулся со злой радостью въ сердцѣ. Но слова пѣсни невольно лѣзли въ уши, онъ повторялъ ихъ про себя и съ удивленіемъ понялъ, что эти веселые люди распѣваютъ о томъ, какъ хоронили гулящую женщину. Это поразило его. Онъ сталъ слушать съ большимъ вниманіемъ и, слушая, думалъ:

„Зачѣмъ это они поютъ? Какое веселье въ эдакой пѣснѣ? Вотъ выдумали, дураки! Про похороны да еще про чьи... А тутъ, въ пяти саженяхъ отъ нихъ, живой замученный человѣкъ лежитъ... и никому о мукахъ его неизвѣстно... сволочи!“

— Браво! Бра-во-о!—разнеслось по улицѣ.

Луневъ улыбался, поглядывая то на Машу, то на улицу. Ему уже казалось смѣшнымъ то, что люди веселятся, распѣвая пѣсню про похороны распутницы.

— Василій... Василичъ... — бормотала Маша... — Не буду... Господи...

Она заметалась на постели, какъ обожженная, сбросила одѣяло на полъ и, широко раскинувъ руки, замерла. Ротъ у нея былъ полуоткрытъ, она хрипѣла.

Луневъ быстро наклонился надъ нею, боясь, что она помираетъ; потомъ, успокоенный ея дыханіемъ, онъ покрылъ ее одѣяломъ, влѣзъ на подоконникъ съ ногами и прислонился лицомъ къ желѣзу рѣшетки, разглядывая окна Громова. Тамъ все пѣли—то въ одинъ голосъ, то въ два, пѣли хоромъ. Звучала музыка, раздавался смѣхъ. Въ окнахъ мелькали женщины, одѣтыя въ бѣлое, розовое и голубое. Илья прислушивался къ пѣснямъ и съ недоумѣніемъ думалъ, какъ они, эти люди, могутъ пѣть протяжныя, тоскливыя пѣсни про Волгу, про похороны, про нераспаханную полосу и послѣ каждой пѣсни смѣяться, какъ ни въ чемъ ни бывало, точно это и не они пѣли... Неужто они и тоской забавляются?

А каждый разъ, когда Маша напоминала ему о себѣ, онъ тупо смотрѣлъ на нее и думалъ, что будетъ съ нею. Вдругъ зайдетъ Татьяна и увидитъ ее... Что ему дѣлать съ Машей? Онъ чувствовалъ себя такъ, точно угорѣлъ. Ему было тошно отъ пѣсенъ, стоновъ Маши и тяжелыхъ, безсвязныхъ думъ. Когда онъ захотѣлъ спать, то слѣзъ съ подоконника и растянулся на полу, рядомъ съ кроватью, положивъ подъ голову себѣ пальто свое. Во снѣ онъ видѣлъ, что Маша умерла и лежитъ среди большого сарая на землѣ, а вокругъ нея стоятъ бѣлыя, голубыя и розовыя барыни и поютъ надъ ней. И когда онѣ поютъ грустныя пѣсни, то всѣ хохочутъ не въ ладъ пѣнію, а запѣвая веселое, горько плачутъ, грустно кивая головами и вытирая слезы бѣлыми платочками. Въ сараѣ темно, сыро, въ углу его стоитъ кузнецъ Савелъ и куетъ желѣзную рѣшетку, громко ударяя молотомъ по раскаленнымъ прутьямъ. По крышѣ сарая кто-то ходитъ и кричитъ:

— И-лья, И-лья!..

А онъ, Илья, лежитъ тутъ же въ сараѣ, туго связанный чѣмъ-то, ему трудно поворотиться, и онъ не можетъ говорить...



— Илья! Встань, пожалуйста...

Онъ открылъ глаза и узналъ Павла Грачева. Сидя на стулѣ, Павелъ толкалъ ногой его ноги. Яркій лучъ солнца смотрѣлъ въ комнату, освѣщая кипѣвшій на столѣ самоваръ. Луневъ прищурился, ослѣпленный.

— Слушай, Илья!..

Голосъ у Павла хрипѣлъ, какъ послѣ долгаго похмелья, лицо было желтое, волосы растрепаны. Луневъ взглянулъ на него и вскочилъ съ пола, крикнувъ вполголоса:

— Что?

— Попалась!..—тряхнувъ головой, сказалъ Павелъ.

— Что... такое? Гдѣ она?—спросилъ Луневъ, наклоняясь къ нему и схвативъ его за плечо. Грачевъ пошатнулся и растерянно проговорилъ:

— По-осадили въ тюрьму... Вчера, слышь, утромъ... отвели въ острогъ...

— За что?—громкимъ шопотомъ спросилъ Илья.

Проснулась Маша и, вздрогнувъ при видѣ Павла, уставилась въ лицо ему испуганными глазами. Изъ двери магазина смотрѣлъ Гаврикъ, неодобрительно скрививъ губы.

— Говорятъ... будто она у какого-то купца... украла шестьсотъ рублей... бумажникъ цѣлый... векселя, дескать.

Илья толкнулъ товарища въ плечо и молча отошелъ отъ него.

— При обыскѣ нашли у нея...—глухо говорилъ Грачевъ.—Помощника частнаго... по рожѣ, слышь, ударила...

— Н-ну, конечно,—сурово усмѣхнувшись, сказалъ Илья.—Коли ужъ въ острогъ, такъ обѣими ногами...

Понявъ, что все это ея не касается, Маша улыбнулась и тихо сказала:

— Меня бы вотъ въ острогъ...

Павелъ взглянулъ на нее, потомъ на Илью.

[redacted]

— Не узнаешь?—спросилъ Илья.—Машу, Перфишки дочь, помнишь?

— А-а,—равнодушно протянулъ Павелъ и отвернулся отъ Маши, хотя она, узнавъ его, улыбалась ему.

— Илья!—угрюмо сказалъ Грачевъ.—А что, если это она для меня постаралась? Говорила вѣдь она про это...

— Ну, я не знаю, для кого она... для тебя, для себя... все равно теперь! Ея пѣсня спѣта...

Луневъ еще не успѣлъ придти въ себя. Невыспавшійся, не мытый и растрепанный, онъ сѣлъ на кровать въ ногахъ Маши и, поглядывая то на нее, то на Павла, чувствовалъ себя ошеломленнымъ.

— Я зналъ,—медленно говорилъ онъ, что вся эта... исторія добромъ не кончится.

— Не слушала меня,—убитымъ голосомъ сказалъ Павелъ.

— Во-отъ!—насмѣшливо воскликнулъ Луневъ.—Въ томъ все и дѣло, что она тебя не слушалась! А что ты сказать ей могъ?

— Я ее любилъ...

— А на кой чортъ она нужна, твоя любовь?

Луневъ почему-то началъ горячиться. Онъ чувствовалъ, что всѣ эти исторіи—Павлова, Машина—возбуждаютъ въ немъ злобу, возмущаютъ его. И не зная, куда направить это чувство, онъ направилъ его на товарища...

— Всякому хочется жить чисто, весело... ей тоже... А ты ей: я тебя люблю, стало быть, живи со мной и терпи во всемъ недостатокъ... Думаешь, это такъ и слѣдуетъ?

— А какъ бы мнѣ надо поступать?—спросилъ Павелъ кротко и тихо.

Этотъ вопросъ нѣсколько охладилъ Лунева. Онъ невольно задумался.

— Легче было бы для меня убить ее своей рукой,—проговорилъ Павелъ.



Изъ магазина выглянулъ Гаврикъ.

— Илья Яковлевичъ! Отпирать магазинъ?

— Ну его къ чорту!—съ раздраженіемъ крикнулъ Луневъ.—Какая тутъ торговля?

— Мѣшаю я тебѣ?—сказалъ Павелъ.

Онъ сидѣлъ на стулѣ, согнувшись, положивъ локти на колѣни и глядя въ полъ. На вискѣ у него напряженно билась какая-то жилка, туго налившаяся кровью.

— Ты?—воскликнулъ Луневъ, посмотрѣвъ на него.— Ты мнѣ не мѣшаешь... и Маша не мѣшаетъ... тутъ— другое! Тутъ, я тебѣ не разъ это говорилъ,—что-то другое всѣмъ намъ мѣшаетъ... тебѣ, мнѣ, Машѣ... всѣмъ! Глупость наша или что—не знаю... но только жить по-человѣчески нѣтъ никакой возможности!

Луневъ оглянулъ свою тѣсную комнату, Машу, лежавшую на кровати неподвижно, съ уныніемъ на лицѣ, заглянулъ въ магазинъ, гдѣ Гаврикъ пилъ чай, посмотрѣлъ въ окно съ рѣшеткой на улицу и съ отчаяніемъ въ душѣ продолжалъ говорить раздраженнымъ и хриплымъ голосомъ:

— Жить нельзя... Тѣсно, глухо и непонятно... Найдетъ человѣкъ себѣ чистый уголъ... и тутъ ему нѣтъ покою! Все какое-то не настоящее... тяжелое, непріятное... Обидно все... Слышишь—пѣсни люди поютъ, значитъ—весело имъ. Но и пѣсни обидно слушать, когда душа болитъ...

— Про что ты говоришь?—спросилъ Павелъ, не глядя на него.

— Про все!—крикнулъ Луневъ.—Я теперь такъ чувствую, что все ни къ чорту не годится! Я не понимаю ничего... можетъ быть... Ну, хорошо, не понимаю! Но я понялъ, чего мнѣ надо: мнѣ жить надо по-человѣчески,—чисто, честно, весело! Я не хочу видѣть никакого горя, никакихъ безобразій... грѣховъ и всякой мерзости... не хочу! А самъ...

Онъ замолчалъ и поблѣднѣлъ.

— Ну?—сказалъ Павелъ.

— Нѣтъ... не въ томъ дѣло!.. я вѣдь не нарочно...— понизивъ голосъ, продолжалъ Луневъ.

— Ты все про себя...—замѣтилъ ему Павелъ.

— А ты про кого?—насмѣшливо спросилъ Илья.— Ты про нее? А она кому—тебѣ нужна, или мнѣ? Всякъ человѣкъ своей язвой язвленъ, своимъ голосомъ и стонетъ... Я не про себя, а про всѣхъ... потому всѣ меня безпокоятъ...

— Уйду,—сказалъ Грачевъ и тяжело поднялся со стула.

— Эхъ!—крикнулъ Илья.—Пойми ты, а не обижайся... Вѣдь и я обиженъ! Обиженнымъ понимать другъ друга надо... тогда и ясно будетъ, кто обидчикъ...

— Меня, братъ, какъ кирпичомъ по головѣ ударило... Вѣрку жаль... вотъ тутъ и весь я... Что дѣлать? Не знаю...

— Ничего не подѣлаешь! — рѣшительно сказалъ Илья.—О ней пиши—пропала! Засудятъ ее... взята съ поличнымъ...

Грачевъ опять сѣлъ на стулъ.

— А ежели я объявлю, что она для меня это?— спросилъ онъ.

— Ты—принцъ? Скажи, тогда и тебя въ тюрьму сунутъ... Вотъ что... надо все-таки привести себя въ порядокъ. Умылся бы ты... И ты, Маша, тоже... мы уйдемъ въ магазинъ, а ты встань, приберись... чаю намъ налей... Дѣйствуй, какъ дома...

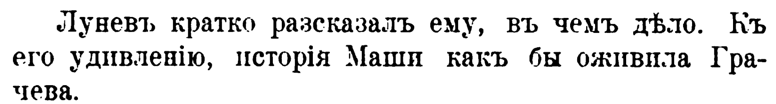
Маша вздрогнула и, приподнявъ голову съ подушки, спросила Илью:

— А какъ же... домой идти мнѣ?..

— Не надо!.. Домъ у человѣка тамъ... гдѣ его хоть не мучаютъ... Идемъ, Паша!

Когда они вошли въ магазинъ, Павелъ сумрачно спросилъ:

— Зачѣмъ она у тебя? Дохлая какая...



Луневъ кратко разсказалъ ему, въ чемъ дѣло. Къ его удивленію, исторія Маши какъ бы оживила Грачева.

— Ишь, старый чортъ!—обругалъ онъ лавочника и даже улыбнулся.

Илья стоялъ рядомъ съ нимъ и осматривалъ свой магазинъ, говоря:

— Грабежъ, разбой, воровство, пьянство... всякая грязища и безпорядокъ... вотъ и вся жизнь! Иной ничего этого не желаетъ, но—все равно!—по одной со всѣми рѣкѣ плывешь, и тебя та же вода мочитъ... Живи, какъ установлено для всѣхъ. Скрыться некуда. Въ лѣсъ, что ли, бѣжать? Въ монастырь?.. Ты вотъ однажды, недавно еще, сказалъ мнѣ, что меня вся эта музыка не успокоитъ...

Онъ повелъ по магазину широкимъ жестомъ и съ непріятной усмѣшкой кивнулъ головой.

— Вѣрно! Не успокаиваетъ... Какой мнѣ выигрышъ въ томъ, что я, на одномъ мѣстѣ стоя, торгую? Много заботъ, но свободы я лишился. Выйти нельзя. Бывало, ходишь по улицамъ... куда хочешь... Найдешь хорошее, уютное мѣстечко, посидишь, полюбуешься... А теперь торчу здѣсь изо-дня-въ-день и—больше ничего...

— Вотъ бы тебѣ Вѣру въ приказчицы взять,—сказалъ Павелъ.

Илья взглянулъ на него и замолчалъ.

— Идите!—позвала ихъ Маша.

За чаемъ они всѣ трое почти не разговаривали. На улицѣ свѣтило солнце, по тротуару шлепали босыя ноги ребятишекъ, мимо оконъ проходили продавцы овощей.

— Луку зеленаго, луку!—звонко кричала женщина.

Все говорило о веснѣ, о хорошихъ, теплыхъ и ясныхъ дняхъ, а въ тѣсной комнатѣ пахло сыростью, порою раздавалось унылое, негромкое слово, самоваръ пищалъ, отражая солнце...

— Сидимъ, какъ на поминкахъ,—сказалъ Илья.

— По Вѣркѣ,—добавилъ Грачевъ.

Онъ такъ и сидѣлъ, какъ ушибленный. Руки у него двигались вяло, лицо было унылое, говорилъ онъ медленно и глухо...

— Ты бы очнулся,—сухо сказалъ ему Илья.—Что ужъ раскисать-то?

— Совѣсть мучитъ...—покачавъ головой, проговорилъ Грачевъ.—Сижу и думаю: а ну, какъ это я ее въ тюрьму вогналъ?

— И даже очень это можетъ быть,—безжалостно подтвердилъ Илья.

Грачевъ поднялъ голову и съ укоромъ посмотрѣлъ на товарища.

— Чего глядишь?

— Злой ты...

— А съ чего бы это мнѣ быть доброму? И съ какой радости буду я ласковый?—закричалъ Илья.—Кто мнѣ добро дѣлалъ? Кто меня по головкѣ гладилъ?.. Былъ, можетъ быть, одинъ человѣкъ, который меня любилъ... Да и то была сволочь... распутная баба! А! Насъ всякъ будетъ бить, а мы должны смирненькими быть? Нѣтъ, покорно благодарю!

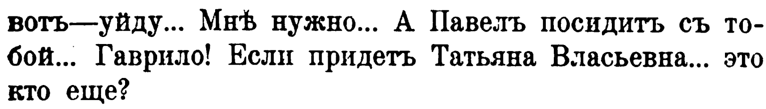
Отъ прилива жгучаго раздраженія лицо у него покраснѣло, глаза налились кровью; онъ вскочилъ со стула въ порывѣ злобы, охваченный желаніемъ кричать, ругаться, бить кулаками о столъ и стѣны.

Но Маша, испуганная имъ, громко и жалобно заплакала, какъ дитя.

— Я уйду... домой... пустите меня,—говорила она сквозь слезы дрожащимъ голосомъ и болтала головой, точно желая спрятать ее куда-то.

Луневъ замолчалъ. Онъ видѣлъ, что и Павелъ смотрѣлъ на него непріязненно.

— Ну, чего плакать?—сердито сказалъ онъ.—Вѣдь не на тебя я закричалъ... И некуда тебѣ идти... Я



вотъ—уйду... Мнѣ нужно... А Павелъ посидитъ съ тобой... Гаврило! Если придетъ Татьяна Власьевна... это кто еще?

Въ дверь со двора постучали. Гаврикъ вопросительно взглянулъ на хозяина.

— Отпирай!—сказалъ Илья.

На порогѣ двери явилась сестра Гаврика. Нѣсколько секундъ она стояла неподвижно, прямая, высоко закинувъ голову и оглядывая всѣхъ прищуренными глазами. Потомъ на ея некрасивомъ, сухомъ лицѣ явилась гримаса отвращенія, и, не отвѣтивъ на поклонъ Ильи, она сказала брату:

— Гаврикъ, выйди на минутку ко мнѣ...

Илья вспыхнулъ. Отъ обиды кровь съ такой силой бросилась ему въ лицо, что глазамъ стало горячо.

— А вы, барышня, кланяйтесь, когда вамъ кланяются,—сдержанно и внушительно сказалъ онъ.

Она еще выше подняла голову, брови у нея сдвинулись. Плотно сжавъ губы, она смѣрила Илью глазами и не сказала ни слова. Гаврикъ тоже сердито взглянулъ на хозяина.

— Вы не къ пьянымъ пришли, не къ жуликамъ,—продолжалъ Луневъ, вздрагивая отъ напряженія,—васъ встрѣчаютъ уважительно... и, какъ барышня образованная, вы должны отвѣтить тѣмъ же...

— Не фордыбачь, Сонька,—вдругъ сказалъ Гаврикъ примиряющимъ голосомъ и, подойдя къ ней, всталъ рядомъ, взявъ ее за руку.

Наступило неловкое молчаніе. Илья и дѣвушка смотрѣли другъ на друга съ вызовомъ и чего-то ждали. Маша тихонько отошла въ уголъ. Павелъ тупо мигалъ глазами.

— Ну, говори, Сонька,—нетерпѣливо сказалъ Гаврикъ.—Ты думаешь, они тебя обидѣть хотятъ?—спросилъ онъ. И, неожиданно улыбнувшись, добавилъ:

— Они—чудаки!

Сестра дернула его за руку и спросила Лунева сухо и рѣзко:

— Что вамъ отъ меня угодно?

— Ничего, только...

Но тутъ въ головѣ его родилась хорошая, свѣтлая мысль. Онъ шагнулъ къ дѣвушкѣ и, какъ могъ, вѣжливо заговорилъ:

— Позвольте вамъ предложить... т. е., видите ли, насъ здѣсь—трое... люди темные, невѣжи... вы—человѣкъ образованный.

Онъ торопился изложить свою мысль и не могъ. Его смущалъ прямой, строгій взглядъ ея глазъ; они неподвижно остановились на немъ и какъ будто отталкивали его отъ себя. Илья опустилъ глаза и смущенно, съ досадой пробормоталъ:

— Я не умѣю сразу это сказать... если время у васъ есть... пройдите, присядьте...

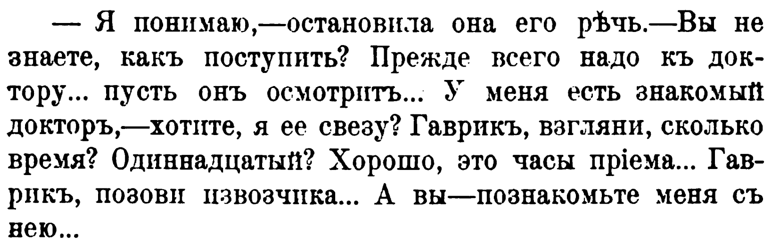
И отступилъ передъ нею.

— Постой тутъ, Гаврикъ,—сказала дѣвушка и, оставивъ брата у двери, прошла въ комнату. Луневъ толкнулъ къ ней табуретъ. Она сѣла. Павелъ ушелъ въ магазинъ, Маша пугливо жалась въ углу около печи, а Луневъ неподвижно стоялъ въ двухъ шагахъ предъ дѣвушкой и все не могъ начать разговора.

— Ну-съ?—сказала она.

— Вотъ... въ чемъ дѣло,—тяжело вздохнувъ, заговорилъ Илья.—Видите,—дѣвушка, т. е. она—не дѣвушка, а замужняя... за старикомъ... Онъ ее—тиранитъ... вся избитая, исщипанная убѣжала она... пришла ко мнѣ... Вы, можетъ, что худое думаете? Ничего нѣтъ...

Путаясь въ словахъ, онъ сбивчиво говорилъ и двоился между желаніемъ разсказать исторію Маши и выложить предъ дѣвушкой свои мысли по поводу этой исторіи. Ему особенно хотѣлось передать слушательницѣ именно свои мысли. Она смотрѣла на него, и взглядъ ея становился мягче.



— Я понимаю,—остановила она его рѣчь.—Вы не знаете, какъ поступить? Прежде всего надо къ доктору... пусть онъ осмотритъ... У меня есть знакомый докторъ,—хотите, я ее свезу? Гаврикъ, взгляни, сколько время? Одиннадцатый? Хорошо, это часы пріема... Гаврикъ, позови извозчика... А вы—познакомьте меня съ нею...

Но Илья не тронулся съ мѣста. Онъ не ожидалъ, что эта серьезная, строгая дѣвушка умѣетъ говорить такимъ мягкимъ голосомъ. Его изумило и лицо ея: всегда гордое, теперь оно стало только озабоченнымъ, и хотя ноздри на немъ раздулись еще шире, въ немъ было что-то очень хорошее, простое, сердечное, раньше невиданное Ильей. Онъ разсматривалъ дѣвушку и молча, смущенно улыбался.

А она уже отвернулась отъ него, подошла къ Машѣ и тихо говорила съ нею:

— Вы не плачьте, голубчикъ, не бойтесь... Докторъ—славный человѣкъ, онъ васъ осмотритъ и выдастъ бумагу такую... только и всего! Я васъ привезу сюда... Ну, милая, не плачьте же...

Она положила свои руки на плечи Маши и хотѣла привлечь ее къ себѣ.

— Ой... больно,—тихонько застонала Маша.

— Что тутъ у васъ?

Луневъ слушалъ и все улыбался.

— Это... чортъ знаетъ, что такое!—возмущенно вскрикнула дѣвушка, отходя отъ Маши. Лицо у нея поблѣднѣло, въ глазахъ сверкалъ ужасъ, негодованіе.

— Какъ она избита... о!

— Вотъ какъ живемъ!—воскликнулъ Луневъ, снова вспыхивая.—Видѣли? А то еще могу другого показать,—вонъ стоитъ! Позвольте познакомить: товарищъ мой Павелъ Савельичъ Грачевъ...

Павелъ медленно вышелъ изъ магазина и протянулъ руку дѣвушкѣ, не глядя на нее.

— Медвѣдева, Софья Никоновна,—сказала она, разглядывая унылое лицо Павла.—А васъ зовутъ—Илья Яковлевичъ?—обратилась она къ Луневу.

— Точно такъ,—оживленно подтвердилъ Илья, крѣпко стиснувъ ея руку, и, не выпуская руки, продолжалъ:

— Вотъ что... ужъ коли вы такая... т. е., если вы взялись за одно,—не побрезгуйте и другимъ! Тутъ тоже петля.

Она внимательно и серьезно смотрѣла на его красивое, взволнованное лицо, потихоньку пытаясь освободить свою руку изъ его. Но онъ разсказывалъ ей о Вѣрѣ, о Павлѣ, разсказывалъ горячо, съ увлеченіемъ, чувствуя, что освобождается отъ тяжести на сердцѣ. Онъ сильно встряхивалъ ея руку и говорилъ:

— Сочинялъ стихи, да какіе еще! Но въ этомъ дѣлѣ—весь сгорѣлъ... И она тоже... вы думаете, если она... такая, то тутъ и все? Нѣтъ, вы не думайте этого! Ни въ добромъ, ни въ худомъ никогда человѣкъ не весь!

— Какъ?—переспросила дѣвушка.

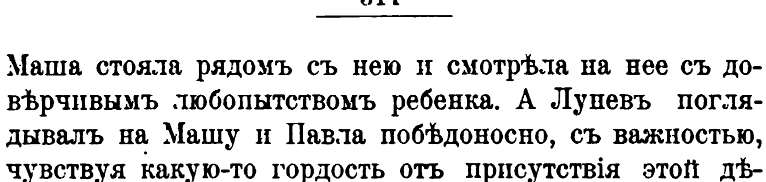
— Т. е., ежели и плохъ человѣкъ—есть въ немъ свое хорошее, ежели и хорошъ—имѣетъ въ себѣ плохое... Души у насъ у всѣхъ одинаково пестрыя... у всѣхъ!

— Это вы хорошо говорите!—одобряла его дѣвушка, съ важнымъ видомъ качнувъ головой.—Но, пожалуйста, пустите мою руку,—больно!

Илья сталъ просить у нея прощенія. А она уже не слушала его, убѣдительно поучая Павла:

— Это же стыдно, Грачевъ, такъ нельзя! Нужно дѣйствовать! Всегда нужно дѣйствовать: защищаться, нападать! Нужно искать ей защитника, адвоката, понимаете? Я вамъ найду, слышите? И ничего ей не будетъ, потому что оправдаютъ... Даю вамъ честное слово,—оправдаютъ!

Лицо ея раскраснѣлось, волосы на вискахъ растрепались, и глаза горѣли какой-то особенной радостью.



Маша стояла рядомъ съ нею и смотрѣла на нее съ довѣрчивымъ любопытствомъ ребенка. А Луневъ поглядывалъ на Машу и Павла побѣдоносно, съ важностью, чувствуя какую-то гордость отъ присутствія этой дѣвушки въ его комнатѣ.

— Если вы въ самомъ дѣлѣ можете помочь,—дрогнувшимъ голосомъ заговорилъ Павелъ,—помогите! Я вамъ этого во вѣки не забуду... Хоть и не вѣрится мнѣ въ хорошій конецъ, а хочется повѣрить!..

— Вы приходите ко мнѣ въ семь часовъ, хорошо? Вотъ Гаврикъ скажетъ, гдѣ...

— Я приду... Словъ у меня для благодарности нѣтъ...

— Зачѣмъ благодарить?

— Но я понимаю...

— Оставимъ это, слушайте! Люди должны помогать другъ другу.

— Помогутъ они!—съ ироніей вскричалъ Илья.

Дѣвушка быстро обернулась къ нему. Но Гаврикъ, чувствовавшій себя въ этой сумятицѣ единственнымъ солиднымъ и здравомыслящимъ человѣкомъ, дернулъ сестру за руку и сказалъ:

— Да уѣзжай ты, говорунья!

— Да! Маша, одѣвайтесь!

— Мнѣ не во что,—робко заявила Маша.

— Ахъ... Ну, все равно! Идемте... Вы придете, Грачевъ, да? До свиданія, Илья Яковлевичъ!

Товарищи почтительно и молча пожали ей руку, и она пошла, ведя за руку Машу. Но у двери дѣвушка снова обернулась и, высоко вскинувъ голову, сказала Ильѣ:

— Я забыла... а это важно! Я не поздоровалась съ вами... когда пришла... Это—свинство, я извиняюсь, слышите?

Лицо ея вспыхнуло румянцемъ, глаза конфузливо опустились. Илья смотрѣлъ на нее, и въ сердцѣ у него играла музыка.

— Извиняюсь... очень! Мнѣ показалось, у васъ тутъ... кутежъ... это было глупо, но...

· Она остановилась, какъ бы проглотивъ какое-то слово.

— А когда вы... упрекнули меня за то, что я не кланяюсь... я думала—это говоритъ хозяинъ... и—ошиблась! Очень рада! Это было чувство человѣческаго достоинства.

Она вдругъ вся засвѣтилась хорошей, ясной улыбкой и сердечно, съ наслажденіемъ, какъ бы смакуя слова, выговорила:

— Ахъ, какъ это хорошо, когда видишь въ человѣкѣ чувство собственнаго достоинства!.. Я—очень рада, очень... все вышло такъ... ужасно хорошо! Ужасно хорошо!

И исчезла, улыбаясь, точно маленькая сѣрая тучка, освѣщенная лучами утренней зари. Товарищи смотрѣли вслѣдъ ей. Рожи у обоихъ были торжественныя, хотя немножко смѣшныя. Потомъ Луневъ оглянулъ комнату и сказалъ, толкнувъ Пашку:

— Чисто?

Тотъ тихонько засмѣялся.

— Н-ну... фигура!—легко вздыхая, продолжалъ Луневъ.—Какъ она... а?

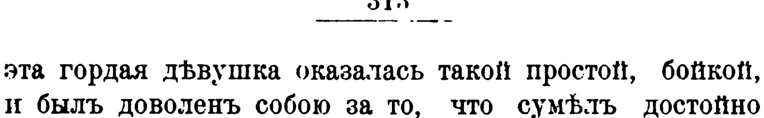
— Какъ вѣтромъ все смела!..

— Вотъ—видалъ?—съ торжествомъ говорилъ Илья, взбивая жестомъ руки свои курчавые волосы.—Извинялась какъ, а? Вотъ что значитъ настоящій образованный человѣкъ, который всякаго можетъ уважать... но никому самъ первый не поклонится! Понимаешь?

— Личность хорошая,—улыбаясь, подтвердилъ Грачевъ.—Сколько время пробыла она? Почти часъ... а какъ минута.

— Звѣздой сверкнула, ха, ха!

— Н-да. И сразу все разобрала—кому куда и какъ... Луневъ возбужденно смѣялся. Онъ былъ радъ, что



эта гордая дѣвушка оказалась такой простой, бойкой, и былъ доволенъ собою за то, что сумѣлъ достойно держаться передъ нею.

Гаврикъ вертѣлся около нихъ и скучалъ.

— Ну, Гаврилка!—поймавъ его за плечо, сказалъ Илья.—Сестра у тебя—молодчина!

— Ничего, она добрая!—подтвердилъ мальчикъ снисходительно.—Торговать сегодня будемъ? А то—пусть будетъ вродѣ праздника... я бы въ поле пошелъ тогда!

— Нѣтъ сегодня торговли! Павелъ, идемъ, братъ, и мы съ тобой гулять!

— Я пойду въ полицію,—сказалъ Грачевъ, снова хмурясь,—можетъ, свиданіе дадутъ...

— А я—гулять!

Бодрый и радостный, онъ не спѣша шелъ по улицѣ, думая о дѣвушкѣ и сравнивая ее съ людьми, которые ему встрѣчались до сей поры. Ему было ясно, что она лучше всѣхъ и всѣхъ лучше отнеслась къ нему. Въ памяти его звучали слова ея извиненія предъ нимъ, онъ представлялъ себѣ ея лицо, выражавшее каждой чертою своей непреклонное стремленіе къ чему-то...

„А какъ она сначала-то обрывала меня?“—съ улыбкой вспомнилъ онъ и крѣпко задумался, почему она, не зная его, ни слова не сказавъ съ нимъ по душѣ, начала относиться къ нему такъ гордо, сердито?

Вокругъ него кипѣла жизнь. Шли гимназисты и смѣялись, ѣхали телѣги съ товарами, катились пролетки, впереди его ковылялъ нищій, громко стукая деревянной ногой по камнямъ тротуара. Двое арестантовъ въ сопровожденіи конвойнаго несли на рычагѣ ушатъ съ чѣмъ-то. Ѣхалъ грушникъ и звонко кричалъ:

— Са-адова-ай, сла-адка-ай... па-ареныя груш-ши-и!..

А сзади грушника лѣниво шла, высунувъ языкъ, маленькая собака... Грохотъ, трескъ, крики, топотъ ногъ—все сливалось въ живой, возбуждающій гулъ.

Въ воздухѣ носилась теплая пыль и щекотала ноздри. Въ небѣ, чистомъ и глубокомъ, ярко горѣло солнце, обливая все на землѣ жаркимъ блескомъ. Луневъ смотрѣлъ на все съ удовольствіемъ, какого не испытывалъ давно уже. Все на улицѣ было какое-то особенное, интересное. Вотъ быстро, чуть не припрыгивая на ходу, идетъ куда-то красивая дѣвушка съ бойкимъ, румянымъ лицомъ и смотритъ на Илью такъ ясно и хорошо, точно хочетъ сказать ему:

— Какой ты славный!..

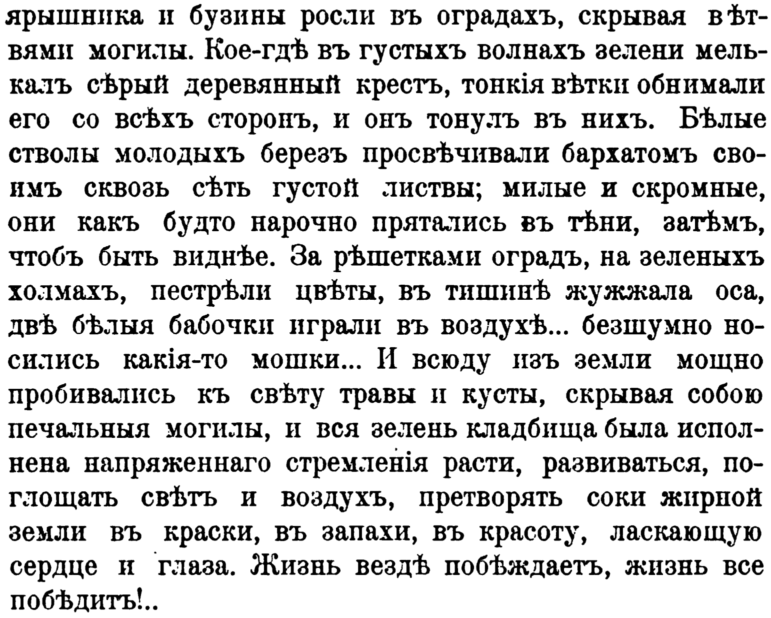
Луневъ улыбнулся ей.

Извозчикъ, приподнявъ шляпу, изогнулся на козлахъ, оскаливъ зубы, и говоритъ толстой барынѣ, стоящей на тротуарѣ:

— Маловато, сударыня, прибавьте пятачокъ...

И по рожѣ его Илья видитъ, что вретъ онъ, шельма,—барыня настоящую цѣну даетъ ему. Мальчикъ изъ магазина бѣжитъ съ мѣднымъ чайникомъ въ рукахъ, льетъ холодную воду, обрызгивая ею ноги встрѣчныхъ людей, а крышка чайника весело гремитъ. Жарко, душно, шумно на улицѣ, и густая зелень старыхъ липъ на городскомъ кладбищѣ манитъ къ себѣ, въ тишину и прохладную тѣнь. Окруженная бѣлой каменной оградой, пышная растительность стараго кладбища могучей волной поднимается къ небу, а вершина волны увѣнчана, какъ пѣной, зеленымъ кружевомъ листьевъ. Тамъ, высоко, каждый листъ четко рисуется въ синевѣ небесъ и, тихо вздрагивая, онъ какъ будто таетъ...

Вступивъ въ ограду кладбища, Луневъ медленно пошелъ по широкой аллеѣ, вдыхая глубоко въ грудь душистый запахъ цвѣтущихъ липъ. Между деревьевъ, подъ тѣнью ихъ вѣтвей, стояли памятники изъ мрамора и гранита, неуклюжіе, тяжелые, и плѣсень покрывала ихъ бока. Кое-гдѣ въ таинственномъ полумракѣ тускло блестѣли золоченые кресты, полустертыя временемъ буквы надписей. Кусты жимолости, акаціи, бо-



ярышника и бузины росли въ оградахъ, скрывая вѣтвями могилы. Кое-гдѣ въ густыхъ волнахъ зелени мелькалъ сѣрый деревянный крестъ, тонкія вѣтки обнимали его со всѣхъ сторонъ, и онъ тонулъ въ нихъ. Бѣлые стволы молодыхъ березъ просвѣчивали бархатомъ своимъ сквозь сѣть густой листвы; милые и скромные, они какъ будто нарочно прятались въ тѣни, затѣмъ, чтобъ быть виднѣе. За рѣшетками оградъ, на зеленыхъ холмахъ, пестрѣли цвѣты, въ тишинѣ жужжала оса, двѣ бѣлыя бабочки играли въ воздухѣ... безшумно носились какія-то мошки... И всюду изъ земли мощно пробивались къ свѣту травы и кусты, скрывая собою печальныя могилы, и вся зелень кладбища была исполнена напряженнаго стремленія расти, развиваться, поглощать свѣтъ и воздухъ, претворять соки жирной земли въ краски, въ запахи, въ красоту, ласкающую сердце и глаза. Жизнь вездѣ побѣждаетъ, жизнь все побѣдитъ!..

Луневу было пріятно гулять среди тишины, вдыхая полной грудью сладкіе запахи липъ и цвѣтовъ. Въ немъ тоже все было тихо, спокойно,—онъ отдыхалъ душой и ни о чемъ не думалъ, испытывая удовольствіе одиночества, давно уже невѣдомое ему.

Онъ свернулъ съ аллеи влѣво на узкую тропу и пошелъ по ней, читая надписи на крестахъ и памятникахъ. Его тѣсно обступили ограды могилъ, все богатыя вычурныя ограды, кованныя и литыя.

„Подъ симъ крестомъ покоится прахъ раба Божія Вонифантія",—прочиталъ онъ и улыбнулся: имя показалось ему смѣшнымъ. Надъ прахомъ Вонифантія былъ поставленъ огромный камень изъ сѣраго гранита. А рядомъ съ нимъ въ другой оградѣ покоился Петръ Бабушкинъ, двадцати восьми лѣтъ...

„Молодой",—подумалъ Илья.

На скромномъ бѣломъ мраморѣ, въ видѣ колонны, онъ прочиталъ:

«Однимъ цвѣткомъ земли бѣднѣе стала...
Одной звѣздой—богаче небеса!»

Луневъ задумался надъ этимъ двустишіемъ, чувствуя въ немъ что-то трогательное. Но вдругъ его какъ будто толкнуло чѣмъ-то прямо въ сердце, и онъ, пошатнувшись, крѣпко закрылъ глаза. Но и закрытыми глазами онъ ясно видѣлъ надпись, поразившую его. Блестящія золотыя буквы съ коричневаго огромнаго камня какъ бы врѣзались въ его мозгъ:

„Здѣсь покоится тѣло второй гильдіи купца Василія Гавриловича Полуэктова“...

Черезъ нѣсколько секундъ онъ уже испугался своего испуга и, быстро открывъ глаза, подозрительно началъ всматриваться въ кусты вокругъ себя... Никого не было видно, только гдѣ-то далеко служили панихиду. Въ тишинѣ расплывался тенорокъ церковнослужителя, возглашавшій:

— По-омоли-имсі-а-а...

Густой, какъ бы чѣмъ-то недовольный, голосъ отвѣчалъ:

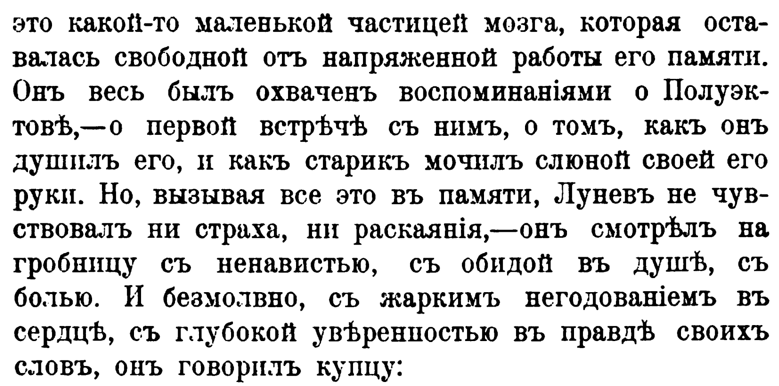
— По-ми-луй!

И чуть слышно доносилось звяканье кадила.

Прислонясь спиной къ стволу клена, Луневъ стоялъ, высоко закинувъ голову, и смотрѣлъ на могилу убитаго имъ человѣка. Онъ прижалъ свою фуражку затылкомъ къ дереву, и она поднялась у него со лба. Брови его нахмурились, верхняя губа вздрагивала, обнажая зубы. Руки онъ засунулъ въ карманъ пиджака, а ногами уперся въ землю.

Памятникъ Полуэктова изображалъ гробницу, на крышѣ была высѣчена развернутая книга, черепъ и кости голеней, положенныя крестомъ. Рядомъ, въ этой же оградѣ, помѣщалась другая гробница поменьше; надпись гласила, что подъ нею покоится раба Божія Евпраксія Полуэктова, двадцати двухъ лѣтъ.

„Первая жена“,—подумалъ Луневъ. Онъ подумалъ



это какой-то маленькой частицей мозга, которая оставалась свободной отъ напряженной работы его памяти. Онъ весь былъ охваченъ воспоминаніями о Полуэктовѣ,—о первой встрѣчѣ съ нимъ, о томъ, какъ онъ душилъ его, и какъ старикъ мочилъ слюной своей его руки. Но, вызывая все это въ памяти, Луневъ не чувствовалъ ни страха, ни раскаянія,—онъ смотрѣлъ на гробницу съ ненавистью, съ обидой въ душѣ, съ болью. И безмолвно, съ жаркимъ негодованіемъ въ сердцѣ, съ глубокой увѣренностью въ правдѣ своихъ словъ, онъ говорилъ купцу:

— Изъ-за тебя, проклятый, всю свою жизнь изломалъ я, изъ-за тебя!.. Старый демонъ ты! Какъ буду жить... изъ-за тебя? Навсегда я объ тебя испачкался...

Въ немъ, какъ молотомъ, стучало это „изъ-за тебя"!

Ему хотѣлось громко, во всю силу кричать три слова, чтобы всѣ слышали ихъ, и онъ едва могъ сдерживать въ себѣ это бѣшеное желаніе. Стиснувъ зубы до боли крѣпко, онъ все смотрѣлъ, и мысли о жизни своей охватили его душу, подобно огню. Предъ нимъ вставало маленькое, ехидное лицо Полуэктова и почему-то рядомъ съ нимъ сердитая лысая голова Строганаго съ рыжими бровями, самодовольная рожа Петрухи, глупый Кирикъ, сѣдой Хрѣновъ, курносый съ маленькими глазками,—цѣлая вереница знакомыхъ. Въ ушахъ у него шумѣло, и казалось ему, что всѣ эти люди окружаютъ, тѣснятъ его, лѣзутъ на него непоколебимо прямо.

Онъ оттолкнулся отъ дерева,—фуражка съ головы его упала. Наклоняясь, чтобъ поднять ее, онъ не могъ отвести глазъ съ памятника мѣнялѣ и пріемщику краденаго. Ему было душно, нехорошо, лицо налилось кровью, глаза болѣли отъ напряженія. Съ большимъ усиліемъ онъ оторвалъ ихъ отъ камня, подошелъ къ самой оградѣ, схватился руками за прутья и, вздрог-

нувъ отъ ненависти, плюнулъ на могилу... Уходя прочь отъ нея, онъ такъ крѣпко ударялъ въ землю ногами, точно хотѣлъ сдѣлать больно ей!..

Домой идти ему не хотѣлось,—на душѣ было тяжко, и какая-то немощная скука давила его. Онъ шелъ медленно, не глядя ни на кого, ничѣмъ не интересуясь и не думая. Прошелъ одну улицу, механически свернулъ за уголъ, прошелъ еще немного, понялъ, что находится неподалеку отъ трактира Петрухи Филимонова и вспомнилъ о Яковѣ. А когда поровнялся съ воротами дома Петрухи, то ему показалось, что зайти сюда нужно, хотя и нѣтъ желанія заходить. Поднимаясь по лѣстницѣ чернаго крыльца, онъ услыхалъ голосъ Перфишки:

— Эхъ-ма, люди добры, пожалѣйте ваши ручки, не ломайте мои ребры...

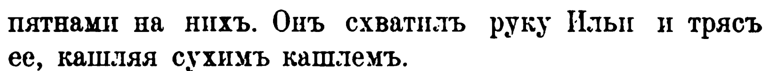
Луневъ всталъ въ открытой двери; сквозь тучу пыли и табачнаго дыма онъ видѣлъ Якова за буфетомъ. Гладко причесанный, въ куцомъ сюртукѣ съ короткими рукавами, Яковъ суетился, насыпая въ чайники чай, отсчитывалъ куски сахару, наливалъ водку, шумно двигалъ ящикомъ конторки. Половые подбѣгали къ нему и кричали, бросая на буфетъ марки:

— Полбутылки! Пару пива! Поджарку за гривенникъ!

— Наловчился!—съ какимъ-то злорадствомъ подумалъ Луневъ, видя, какъ быстро мелькаютъ въ воздухѣ красныя руки товарища.

— Ну, полтину эту я ему попомню!—громко и свирѣпо заоралъ кто-то.

— Эхъ! — съ удовольствіемъ воскликнулъ Яковъ, когда Луневъ подошелъ къ буфету, и тотчасъ безпокойно оглянулся на дверь сзади себя. Лобъ у него былъ мокръ отъ пота, щеки желтыя, съ красными



пятнами на нихъ. Онъ схватилъ руку Ильи и трясъ ее, кашляя сухимъ кашлемъ.

— Какъ живешь? — спросилъ Луневъ, заставивъ себя улыбнуться.

— А вотъ... торгую...

— Впрягли?

— Что подѣлаешь?

Плечи у Якова опустились, и онъ какъ будто сталъ ниже ростомъ.

— Да-авно мы не видались!—говорилъ онъ, глядя въ лицо Ильи добрыми и грустными глазами.—Поговорить бы... отца, кстати, нѣтъ... Вотъ что: ты проходи-ка сюда... а я мачеху попрошу поторговать...

Онъ пріотворилъ дверь въ комнату отца и почтительно крикнулъ:

— Мамаша!.. Пожалуйте на минутку...

Илья прошелъ въ ту комнату, гдѣ когда-то жилъ съ дядей, и пристально осмотрѣлъ ее: въ ней только обои почернѣли, да вмѣсто двухъ кроватей стояла одна, и надъ ней висѣла полка съ книгами. На томъ мѣстѣ, гдѣ спалъ Илья, помѣщался какой-то высокій неуклюжій ящикъ.

— Ну, вотъ я освободился на часокъ! — радостно объявилъ Яковъ, входя и запирая дверь на крючокъ.— Чаю хочешь? Хорошо... Ива-анъ,—чаю! Онъ крикнулъ, закашлялся и кашлялъ долго, упираясь рукой въ стѣну, наклонивъ голову и такъ выгибая спину, точно хотѣлъ извергнуть изъ груди своей что-то.

— Здорово ты бухаешь!—сказалъ Луневъ.

— Чахну... Радъ же я, что опять вижу тебя... Вонъ ты сталъ какой... чистый, важный... Ну, каково живешь?

— Я—что?—не сразу отвѣтилъ Луневъ.—Живу... ты, вотъ, интересно знать...

Луневъ не чувствовалъ желанія разсказывать о себѣ, да и вообще ему не хотѣлось говорить. Онъ раз-

глядывалъ Якова и, видя его такимъ испитымъ, жалѣлъ товарища. Но это была холодная жалость,—какое-то безсодержательное чувство, пустое.

— Я, братъ... терплю мою жизнь кое-какъ...—вполголоса сказалъ Яковъ.

— Высосалъ изъ тебя отецъ кровь-то...

— Ну и самъ онъ тоже въ такія тиски попалъ...

— Подѣломъ!

— Теперь у насъ въ домѣ вся сила—мачеха! Скажетъ слово—законъ!

«Н-на что тебѣ рупь?
А ты даромъ приголубь!»

отчеканивалъ за стѣной Перфишка, подыгрывая на гармоніи.

— Что это за ящикъ?—спросилъ Илья.

— Это? Это — фисгармонія. Отецъ купилъ за четвертную, для меня... Вотъ, говоритъ, учись. А потомъ хорошую, рублей въ триста, куплю, говоритъ, поставимъ въ трактирѣ, и будешь ты для гостей играть... А то-де никакой отъ тебя пользы нѣтъ... Это онъ ловко разсчиталъ—теперь въ каждомъ трактирѣ органъ есть, а у насъ нѣтъ. И мнѣ пріятно играть-то...

— Экій онъ подлецъ!—сказалъ Луневъ, усмѣхаясь.

— Нѣтъ, что же? Пускай его... Вѣдь я и въ самомъ дѣлѣ безполезный для него человѣкъ...

Илья сурово взглянулъ на товарища и сказалъ со злобой:

— Посовѣтуй-ка ты ему: когда, молъ, я, дорогой папаша, помирать буду, такъ ты меня въ трактиръ вытащи и за посмотрѣніе на смерть мою хоть по пятаку съ рыла возьми, съ желающихъ... Вотъ и принесешь ты ему пользу...

Яковъ сконфуженно засмѣялся и снова сталъ кашлять, хватая руками то грудь, то горло.



А Перфишка разсказывалъ про кого-то бойкимъ говоркомъ:

«Посты строго соблюдалъ,
Каждый день не доѣдалъ.
Въ пустомъ брюхѣ кишки ныли,
Зато чистенькія были...»

— И-эхъ-ты... Святость!—И его звучная гармонія осыпала веселыя слова пѣсенки отчаянно задорными трелями.

— Какъ ты съ названнымъ братомъ живешь?—спросилъ Илья, когда Яковъ прокашлялся. Тотъ, задыхаясь, поднялъ свое синее съ натуги лицо и отвѣтилъ:

— Онъ съ нами не живетъ: начальство не велитъ ему... Дескать —трактиръ... Онъ... ничего! Важный только... бариномъ держится... Приходитъ, однако... больше все за деньгами къ матери... очень нуждается въ деньгахъ!

Яковъ понизилъ голосъ и съ грустью продолжалъ:

— Книгу-то эту помнишь? Ту?.. Да-а... отнялъ онъ ее у меня... Говоритъ,—рѣдкая, большихъ, дескать, денегъ стоитъ. Унесъ... Просилъ я его: оставь—нѣтъ! Не согласился...

Илья громко захохоталъ. Потомъ товарищи начали пить чай. Обои въ комнатѣ потрескались, и сквозь щели переборки изъ трактира въ комнату свободно текли и звуки, и запахи. Все заглушая, въ трактирѣ раздавался чей-то звонкій, возбужденный голосъ:

— Митрь Николаичъ! Не перетолковывай ты мои честныя слова на жульническій маперъ!

— Читаю я теперь, братъ, одну исторію,—говорилъ Яковъ,—называется „Юлія или подземелье замка Мадзини“... Очень интересно!.. А ты какъ по этой части?

— Наплевать мнѣ въ это подземелье! Самъ не высоко живу надъ землей-то...—угрюмо отвѣтилъ Луневъ

Яковъ участливо взглянулъ на него и спросилъ:

— Али тоже что-нибудь не ладно?

Луневъ не отвѣтилъ. Онъ думалъ,—разсказать Якову про Машу, или не надо? Но Яковъ самъ заговорилъ кроткимъ голосомъ:

— Ты, вотъ, все тово, Илья... ершишься, злобишься... Ну, напрасно это, по-моему. Потому, видишь ли, что люди... никто ни въ чемъ не виноватъ! Такъ ужъ устроено... не они дѣлали... до нихъ еще установилось и стоитъ...

Луневъ пилъ чай и молчалъ.

— И вѣдь „коемуждо воздастся по дѣломъ его" — это вѣрно! Примѣрно, отецъ мой... Надо прямо говорить—мучитель человѣческій! Но явилась Ѳекла Тимофѣевна и—хопъ его подъ свою пяту! Теперь ему такъ живется—ой-ой-ой! Даже выпивать съ горя началъ... А давно ли обвѣнчались? И каждаго человѣка за его... нехорошіе поступки какая-нибудь Ѳекла Тимофѣевна впереди ждетъ...

Ильѣ стало скучно слушать,—онъ нетерпѣливо двинулъ свою чашку по подносу и вдругъ неожиданно для самого себя спросилъ товарища:

— Ты теперь чего ждешь?

— Т. е. откуда?—широко раскрывъ глаза, тихимъ голосомъ молвилъ Яковъ.

— Ну изъ... отъ... впереди—чего ждешь!—рѣзко и строго повторилъ Илья свой вопросъ.

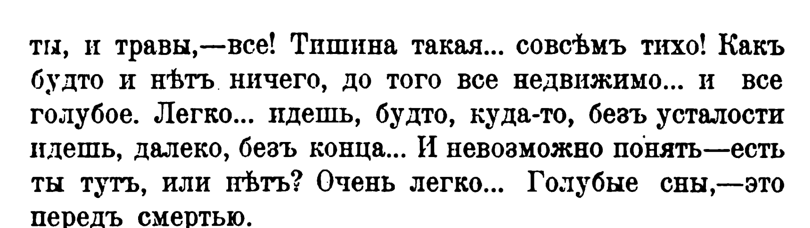
Яковъ молча опустилъ голову и задумался.

— Ну?—вполголоса сказалъ Илья, ощущая въ сердцѣ жгучее безпокойство и желаніе уйти скорѣе изъ трактира.

— Что мнѣ ждать?—тихонько и не глядя на него, заговорилъ Яковъ.—Ждать... ужъ нечего! Помру... вотъ и все. А что я помру скоро... это вѣрно...

Онъ вскинулъ голову и съ тихой, довольной улыбкой на измученномъ лицѣ продолжалъ:

— Голубые сны вижу я... Понимаешь—все, будто, голубое... Не только небо, а и земля, и деревья, и цвѣ-



ты, и травы,—все! Тишина такая... совсѣмъ тихо! Какъ будто и нѣтъ ничего, до того все недвижимо... и все голубое. Легко... идешь, будто, куда-то, безъ усталости идешь, далеко, безъ конца... И невозможно понять—есть ты тутъ, или нѣтъ? Очень легко... Голубые сны,—это передъ смертью.

— Прощай—сказалъ Луневъ, вставая, со стула.

— Куда ты? Посиди!

— Нѣтъ, прощай!

Яковъ тоже всталъ.

— Ну... иди!..

Луневъ стиснулъ его горячую руку и молча уставился въ лицо ему, не зная, что сказать товарищу на прощанье. А сказать что-то такое хотѣлось, такъ хотѣлось, что даже сердце щемило отъ этого желанія.

— А Машутка-то? Тоже... слышь, пло-охо живетъ...—грустно сказалъ Яковъ.

— Да...

— Видно, всѣмъ намъ—одна судьба... Тебѣ тоже,—чувствую я,—тяжело, а?

Яковъ говорилъ и улыбался слабой улыбкой. И звукъ его голоса, и слова рѣчей—все въ немъ было какое-то безкровное, безцвѣтное... Луневъ разжалъ свою руку,—рука Якова слабо опустилась.

— Ну, Яша, прости...

— Богъ проститъ! Заходи?

Илья вышелъ, не отвѣтивъ.

На улицѣ ему сразу стало легче и свободнѣе. Онъ ясно понималъ, что скоро Яковъ умретъ, и это возбуждало въ немъ чувство раздраженія противъ кого-то. Якова онъ не жалѣлъ, потому что не могъ представить, какъ сталъ бы жить между людей этотъ прямой, тихій парень? Онъ давно смотрѣлъ на товарища, какъ на обреченнаго къ исчезновенію изъ жизни. Но его возмущала мысль: за что измучили такого безобиднаго человѣка, за что прежде времени согнали его со свѣ-

та? И отъ этой мысли его злоба противъ жизни,—теперь уже основа души,—все росла и крѣпла въ немъ.

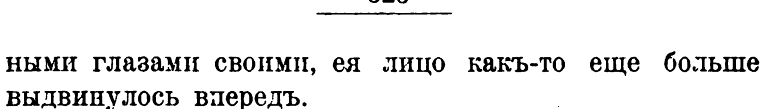
Ночью ему не спалось. Въ комнатѣ, несмотря на открытое окно, было душно. Онъ вышелъ на дворъ и легъ на землю подъ вязомъ, у забора. Лежа на спинѣ, онъ смотрѣлъ въ ясное небо и чѣмъ пристальнѣе смотрѣлъ, тѣмъ больше видѣлъ въ немъ звѣздъ. Млечный путь серебристой тканью разостлался по небу отъ края до края,—смотрѣть на него сквозь вѣтви дерева было пріятно и грустно. Въ небѣ, гдѣ нѣтъ никого, сверкаютъ звѣзды, а земля... чѣмъ украшена? Илья прищуривалъ глаза—тогда казалось, что вѣтви поднимаются выше и выше. На голубомъ, усѣянномъ яркими звѣздами бархатѣ небесъ черные узоры листвы были похожи на чьи-то руки, простертыя къ небу, въ попыткѣ достичь его высотъ. Ильѣ вспоминались голубые сны товарища, и предъ нимъ вставалъ образъ Якова, тоже весь голубой, легкій, прозрачный, съ яркими и добрыми, какъ звѣзды, глазами... Вотъ: жилъ человѣкъ, и его замучили за то, что онъ смирно жилъ... А мучители живутъ, какъ хотятъ...

Но вотъ въ его жизни явилось нѣчто особенное, хотя тоже безпокойное. Сестра Гаврика стала ходить въ лавочку Лунева почти каждый день. Она являлась постоянно озабоченная чѣмъ-то, здороваясь съ Ильей, крѣпко встряхивала его руку и, перекинувшись съ нимъ нѣсколькими словами, исчезала, всегда оставляя послѣ себя что-то новое въ мысляхъ Ильи. Однажды она спросила его:

— Вамъ нравится торговать?

— Не такъ, чтобы очень,—пожимая плечами, отвѣтилъ Луневъ,—однако, надо чѣмъ-нибудь жить...

Она внимательно посмотрѣла въ его лицо серьез-



ными глазами своими, ея лицо какъ-то еще больше выдвинулось впередъ.

— Надо жить...—повторилъ Илья, вздохнувъ.

— А вы не пробовали жить какимъ-нибудь трудомъ?—спросила дѣвушка.

Илья не понялъ ея вопроса:

— Какъ вы сказали?

— Вы работали когда-нибудь?

— Всегда. Всю жизнь. Вотъ—торгую...—съ недоумѣніемъ отвѣтилъ Луневъ.

А она улыбнулась,—и въ улыбкѣ ея было что-то обидное для Ильи.

— Вы думаете—торговля трудъ? Вы думаете—это все равно?—быстро спросила она.

— А какъ же? Вѣдь я устаю?

Глядя на ея лицо, Луневъ чувствовалъ, что она говоритъ серьезно, не шутитъ.

— О, нѣтъ,—снисходительно улыбаясь, продолжала дѣвушка.—Трудъ, это когда человѣкъ создаетъ что-нибудь затратой своей силы... когда онъ дѣлаетъ... тесемки, ленты, стулья, шкафы... понимаете?

Луневъ молча кивнулъ головой и покраснѣлъ: ему было стыдно сказать, что онъ не понимаетъ.

— А торговля—какой же трудъ? Она ничего не даетъ людямъ!—съ убѣжденіемъ сказала дѣвушка, пытливо разглядывая лицо Ильи.

— Конечно,—медленно и осторожно заговорилъ онъ,—это вы вѣрно... Торговать не очень трудно... кто привыкъ... Но только и торговля даетъ... не давала бы барыша, зачѣмъ и торговать?

Она замолчала, отвернулась отъ него и заговорила съ братомъ и скоро ушла, простившись съ Ильей только кивкомъ головы. Лицо у нея было такое, какъ раньше, до исторіи съ Машей,—сухое, гордое. Илья задумался: не обидѣлъ ли онъ ее неосторожнымъ словомъ? Онъ спомнилъ все, что сказалъ ей, и не нашелъ ничего

обиднаго. Потомъ задумался надъ ея словами и чѣмъ больше думалъ, тѣмъ болѣе они занимали его. Какую разницу видитъ она между торговлей и трудомъ?

Она все больше интересовала его, но онъ не могъ понять, отчего у нея такое сердитое, задорное лицо, когда она добрая и умѣетъ не только жалѣть людей, но даже помогать имъ. Павелъ ходилъ къ ней въ домъ и съ восторгомъ нахваливалъ ее и всѣ порядки въ ея домѣ.

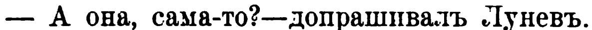
— Придешь, это, къ нимъ... сейчасъ: А, здравствуйте! Обѣдаютъ—садись обѣдать, чай пьютъ—пей чай! Простота! Народищу всякаго—уйма! Весело... поютъ, кричатъ, спорятъ про книжки. Книжекъ этихъ вездѣ навалено, какъ въ лавкѣ. Тѣсно, толкаются, смѣются. Народъ все образованный—адвокатъ, тамъ, одинъ, другой скоро докторомъ будетъ, гимназисты и всякія эдакія фигуры. Совсѣмъ забудешь, кто ты есть и тоже за одно съ ними и хохочешь, и куришь, и все. Хорошій народъ! Веселый, а сурьезный...

— Меня, вотъ, не бойсь, не позоветъ...—сумрачно сказалъ Луневъ.—Гордячка...

— Она?—воскликнулъ Павелъ.—Я тебѣ говорю—простота! Ты зову не жди, а вали прямо... Придешь и—кончено! У нихъ все равно, какъ въ трактирѣ,—ей-Богу! Свободно... Я тебѣ говорю—что я противъ ихъ? Но съ двухъ разъ—свой человѣкъ... Интересно! Шумъ это, гамъ... словами такъ и брыжжутся... Играючи живутъ...

— Ну, а Машутка какъ?—спросилъ Илья.

— Ничего, отдышалась немного... Сидитъ, улыбается. Лѣчатъ ее чѣмъ-то... молокомъ поятъ... Хрѣнову-то попадетъ за нее... Адвокатъ говоритъ—здорово влѣпятъ старому чорту... Возятъ Машку къ слѣдователю... Насчетъ моей тоже хлопочутъ, чтобы скорѣе судъ... Нѣтъ, хорошо у нихъ!.. Квартира маленькая, людей, какъ дровъ въ печи, и всѣ такъ и пылаютъ...



— А она, сама-то?—допрашивалъ Луневъ.

О ней Павелъ разсказывалъ, какъ въ дѣтствѣ объ арестантахъ, научившихъ его грамотѣ. Онъ весь напрягался и внушительно сообщалъ, пересыпая рѣчь междометіями:

— Она, братъ, ого-го! Она всѣмъ командуетъ, а чуть кто не такъ сказалъ, или что—она фрр!.. Какъ кошка...

— Это мнѣ извѣстно...—сказалъ Илья и усмѣхнулся.

Онъ завидовалъ Павлу: ему очень хотѣлось побывать у строгой гимназистки, но самолюбіе не позволяло ему дѣйствовать прямо.

Стоя за прилавкомъ, онъ упорно думалъ:

— Людей много, и каждый норовитъ пользоваться чѣмъ-нибудь отъ другого. А ей—какая польза брать подъ свою защиту Машутку, Вѣру?.. Она—бѣдная. Чай, каждый кусокъ въ домѣ-то на счету... Значитъ, очень ужъ добрая... А со мной говоритъ эдакъ... Чѣмъ я хуже Павла?

Эти думы такъ крѣпко охватили его, что онъ сталъ относиться ко всему остальному почти равнодушно. Въ темнотѣ его жизни какъ бы открылась нѣкая щель, и сквозь нее онъ скорѣе чувствовалъ, чѣмъ видѣлъ, вдали мерцаніе чего-то такого, съ чѣмъ онъ еще не сталкивался.

— Мой другъ,—суховато и внушительно говорила ему Татьяна Власьевна,—тесьмы шерстяной узкой надо бы прикупить. Гипюръ тоже на исходѣ... Мало и нитокъ черныхъ номеръ пятидесятый... Пуговицы перламутровыя предлагаетъ одна фирма,—комиссіонеръ у меня былъ... Я послала сюда. Приходилъ онъ?

— Нѣтъ, — кратко отвѣтилъ Илья. Эта женщина стала для него противной. Онъ подозрѣвалъ, что Татьяна Власьевна взяла къ себѣ въ любовники Корсакова, недавно произведеннаго въ пристава. Ему она назначала свиданія все рѣже, хотя относилась такъ же

ласково и шутливо, какъ и раньше. Но и отъ этихъ свиданій Луневъ, подъ разными предлогами, отказывался. Видя, что она не сердится на него за это, онъ ругалъ ее про себя.

— Блудня... гадина...

Она особенно гадка была ему, когда приходила въ магазинъ провѣрять товаръ. Вертясь по лавочкѣ, какъ волчокъ, она вскакивала на прилавокъ, доставала съ верхнихъ полокъ картонки, чихала отъ пыли, встряхивала головой и пилила Гаврика.

— Мальчикъ при магазинѣ долженъ быть ловокъ и услужливъ. Его не за то кормятъ хлѣбомъ, что онъ сидитъ цѣлый день у двери и чиститъ себѣ пальцемъ въ носу. А когда говоритъ хозяйка, онъ долженъ слушать внимательно и не смотрѣть букой...

Но у Гаврика былъ свой характеръ. Слушая щебетанье хозяйки, онъ пребывалъ въ полномъ равнодушіи. Разговаривалъ онъ съ нею грубо, безъ признаковъ почтенія къ ея сану—хозяйки. А когда она уходила, онъ замѣчалъ хозяину:

— Ускакала пигалица...

— Такъ нельзя говорить про хозяйку,—внушалъ ему Илья, стараясь не улыбаться.

— Какая она хозяйка? — протестовалъ Гаврикъ.— Придетъ, натрещитъ и ускачетъ... Хозяинъ—вы.

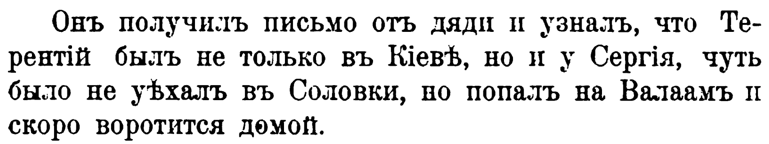
— И она...—слабо возражалъ Илья, любившій солиднаго и прямодушнаго мальчонку.

— А она—пигалица...—не уступалъ Гаврикъ.

— Вы не учите мальчика, — говорила Автономова Ильѣ,—и вообще... я должна сказать, что за послѣднее время все у насъ идетъ какъ-то... безъ увлеченія, безъ любви къ дѣлу...

Луневъ молчалъ и, ненавидя ее всей душой, думалъ:

„Хоть бы ты, анафема, ногу себѣ вывихнула, прыгая тутъ...“



Онъ получилъ письмо отъ дяди и узналъ, что Терентій былъ не только въ Кіевѣ, но и у Сергія, чуть было не уѣхалъ въ Соловки, но попалъ на Валаамъ и скоро воротится домой.

„Вотъ еще удовольствіе, — съ досадой подумалъ Илья.—Навѣрное, со мной захочетъ жить...“

И онъ крѣпко задумался о томъ, какъ бы устроить, чтобъ дядя жилъ отдѣльно. Но долго думать объ этомъ ему не удалось,—явились покупатели, а когда онъ занимался съ ними, вошла сестра Гаврика. Устало, едва переводя дыханіе, она поздоровалась съ нимъ и спросила, кивая головой на дверь въ комнату:

— Тамъ... вода есть?

— Сейчасъ подамъ!—сказалъ Илья.

— Я сама...

Она прошла въ комнату и осталась тамъ до поры, пока Луневъ, отпустивъ покупателей, не вошелъ къ ней. Онъ засталъ ее стоящей предъ „Ступенями человѣческой жизни“. Повернувъ голову навстрѣчу Ильѣ, дѣвушка указала глазами на картину и проговорила:

— Какая пошлость...

Луневъ почувствовалъ себя сконфуженнымъ ея замѣчаніемъ и улыбнулся, чувствуя себя въ чемъ-то виноватымъ.

— Брр!—Мѣщанство какое!—съ отвращеніемъ повторила она, и прежде, чѣмъ онъ успѣлъ спросить у нея объясненія, она ушла...

Черезъ нѣсколько дней она брату принесла бѣлье и сдѣлала ему выговоръ за то, что онъ слишкомъ небрежно относится къ одеждѣ,—рветъ, пачкаетъ.

— Ну-ну, — строптиво сказалъ Гаврикъ,—поѣхала. Меня хозяйка всегда кусаетъ, да ты еще будешь теперь!..

— Что онъ,—очень шалитъ?—спросила гимназистка Илью.

— Н-нѣтъ... не больше, сколько умѣетъ...—любезно отвѣтилъ Луневъ.

— Я—совсѣмъ смирный, — отрекомендовался мальчикъ.

— Язычокъ у него длинноватъ,—сказалъ Илья.

— Слышишь?—спросила Гаврика сестра, нахмуривъ брови.

— Ну и слышу,—сердито отозвался тотъ.

— Это ничего...—снисходительно заговорилъ Илья.— Человѣкъ, который хоть огрызнуться умѣетъ, все же въ выигрышѣ противъ другихъ... Другого бьютъ, а онъ молчитъ... и забиваютъ его, безсловеснаго, въ гробъ...

Дѣвушка слушала его слова, а на лицѣ ея явилось что-то вродѣ удовольствія. Илья замѣтилъ это.

— Что я васъ хочу спросить,—сказалъ онъ и немножко смутился.

— Что?

Она подошла почти вплоть къ нему, глядя прямо въ его глаза. Взгляда ея онъ не могъ выносить, опустилъ голову и продолжалъ:

— Вы, понялъ я, торговцевъ не любите?

— Да!..

— За что?

— Они живутъ чужимъ трудомъ...—отчетливо объяснила дѣвушка.

Илья высоко вскинулъ голову и поднялъ брови. Эти слова не только удивляли, но уже прямо обижали его. А она сказала ихъ такъ просто, внятно...

— Это... неправда-съ, — громко объявилъ Луневъ, помолчавъ.

Теперь ея лицо вздрогнуло, покраснѣло.

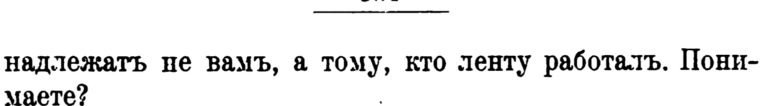
— Сколько стоитъ вамъ вонъ та лента?—сухо и строго спросила она.

— Лента? эта?.. Семнадцать копеекъ аршинъ...

— Почемъ продаете?

— Двадцать...

— Ну, вотъ... Три копейки, которыя берете вы, при-



надлежатъ не вамъ, а тому, кто ленту работалъ. Понимаете?

— Нѣтъ!—откровенно сознался Луневъ.

Тогда въ глазахъ дѣвушки вспыхнуло что-то враждебное ему. Онъ ясно видѣлъ это и оробѣлъ предъ нею, но тотчасъ же разсердился на себя за эту робость.

— Да, я думаю, вамъ не легко понять такую простую мысль,—говорила она, отступивъ отъ прилавка къ двери.—Видите ли... представьте себѣ, что вы—рабочій, вы дѣлаете все это...

Широкимъ жестомъ руки она повела по магазину и продолжала разсказывать ему о томъ, какъ трудъ обогащаетъ всѣхъ, кромѣ того, кто трудится. Сначала она говорила такъ, какъ всегда—сухо, отчетливо, и некрасивое лицо ея было неподвижно, а потомъ брови у ней дрогнули, нахмурились, ноздри раздулись и, высоко вскинувъ голову, она въ упоръ кидала Ильѣ крѣпкія слова, пропитанныя молодой, непоколебимой вѣрой въ ихъ правду.

— Торгашъ стоитъ между рабочимъ и покупателемъ... онъ ничего не дѣлаетъ, но увеличиваетъ цѣну вещи... торговля—узаконенное воровство.

Илья чувствовалъ себя оскорбленнымъ, но не находилъ словъ, чтобъ возразить этой дерзкой дѣвушкѣ, прямо въ глаза ему говорившей, что онъ бездѣльникъ и воръ. Онъ стиснулъ зубы, слушалъ и не вѣрилъ ея словамъ, не могъ вѣрить. И отыскивая въ себѣ такое слово, которое сразу бы опрокинуло всѣ ея рѣчи, заставило бы замолчать ее,—онъ въ то же время любовался ея дерзостью... а обидныя слова, удивляя его, вызывали въ немъ тревожный вопросъ:—За что?

— Все это... не такъ-съ!—громкимъ голосомъ прервалъ онъ ее наконецъ, ибо почувствовалъ, что больше уже не можетъ безотвѣтно слушать ея рѣчь.—Нѣтъ... я не согласенъ!

Въ груди его вскипало бурное раздраженіе, лицо покрылось красными пятнами.

— Возражайте!—спокойно сказала дѣвушка, садясь на табуретъ, и, перебросивъ свою длинную косу на колѣни себѣ, она стала играть ею.

Луневъ вертѣлъ головой, чтобъ не встрѣчаться съ ея недружелюбнымъ взглядомъ.

— И возражу! — не сдерживаясь больше, крикнулъ онъ. — Я... всей жизнью возражу!! Я... можетъ быть, великій грѣхъ сдѣлалъ, прежде, чѣмъ до этого дошелъ...

— Тѣмъ хуже... Но это не возраженіе...—сказала дѣвушка и точно холодной водой плеснула въ лицо Ильи. Онъ оперся руками о прилавокъ, нагнулся, точно хотѣлъ перепрыгнуть черезъ него и, встряхивая курчавой головой, обиженный ею, удивленный ея спокойствіемъ, смотрѣлъ на нее нѣсколько секундъ молча. Ея взглядъ и неподвижное, увѣренное лицо сдерживали его гнѣвъ, смущали его. Онъ чувствовалъ въ ней что-то твердое, безстрашное. И слова, нужныя для возраженія, не шли ему на языкъ.

— Ну, что же вы?—хладнокровно вызывая его, спросила она. Потомъ усмѣхнулась и съ торжествомъ сказала:

— Возражать мнѣ нельзя, потому что я сказала истину!

— Нельзя?—глухо переспросилъ Луневъ.

— Да, нельзя! Что вы можете возражать?

Она снова улыбнулась снисходительной улыбкой.

— До свиданья!

И ушла, поднявъ голову еще выше, чѣмъ всегда.

— Это пустяки! Не вѣрно-съ!—крикнулъ Луневъ вслѣдъ ей. Но она не обернулась на его крикъ.

Илья опустился на табуретъ. Гаврикъ, стоя у двери, смотрѣлъ на него и, должно быть, былъ очень доволенъ поведеніемъ сестры,—лицо у него было важное, побѣдоносное.



— Что смотришь?—сердито крикнулъ Луневъ, чувствуя, что этотъ взглядъ непріятенъ ему.

— Ничего!—отвѣтилъ мальчикъ.

— То-то!..—угрожающимъ голосомъ произнесъ Луневъ и, помолчавъ, добавилъ:

— Иди-ка... гуляй!

Ему нужно было остаться наединѣ съ собою. Но и оставшись, онъ не могъ собраться съ мыслями. Онъ не вдумывался въ смыслъ того, что сказала ему дѣвушка, ея слова прежде всего были обидны. Облокотясь о прилавокъ, возмущенный, онъ думалъ:

— За что она меня изругала?.. Что я ей сдѣлалъ?.. Пришла, осудила и ушла... Безо всякой справедливости... не спросивъ ни про что... Образованная... Ну-ка, приди-ка еще? Я тебѣ отвѣчу...

Онъ грозилъ ей, а самъ искалъ въ себѣ ту вину, за которую она обидѣла его. Ему вспоминалось, какъ Павелъ разсказывалъ о ея умѣ, простотѣ.

— Пашку, не бойсь, не обижаетъ...

И приподнявъ голову, онъ увидалъ себя въ зеркалѣ. Вглядываясь въ свое отраженіе, онъ какъ бы спрашивалъ его о чемъ-то. Черные усики шевелились надъ его губой, большіе глаза смотрѣли устало, на скулахъ горѣлъ румянецъ. Но даже и теперь его лицо—обезпокоенное, немного угрюмое отъ обиды и все-таки красивое грубоватой мужицкой красотой, было лучше болѣзненно желтаго, костляваго лица Павла Грачева.

— Неужто Пашка ей больше меня нравится?—подумалъ онъ. И тотчасъ же возразилъ самъ себѣ:

— А что ей за дѣло до моей рожи? Не женихъ... Она за доктора какого-нибудь выйдетъ... за адвоката, чиновника... Какой интересъ для нея мы можемъ составить?

Онъ съ горечью усмѣхнулся и снова сталъ спрашивать у себя:

— А зачѣмъ она Пашку приводила къ себѣ? За-

чѣмъ меня словами обижаетъ? Торговецъ—все равно, что воръ... не трудится, видишь ли! Я живу отъ чужихъ трудовъ? А кто тутъ торчитъ съ утра до вечера безвыходно?

Теперь онъ началъ ей возражать и находилъ много словъ для оправданія своей жизни. Но ея не было, и эти слова только раздражали, а не успокаивали обиду, кипѣвшую въ его груди. Онъ всталъ, пошелъ въ комнату, выпилъ стаканъ воды и оглянулся. Сумрачно и тѣсно было въ этой низенькой комнатѣ съ желѣзной рѣшеткой въ окнѣ. Яркое пятно картины бросилось въ глаза ему. Стоя въ двери магазина, онъ уставился глазами на аккуратно размѣренныя „Ступени человѣческаго вѣка“ и подумалъ:

— Обманъ это... Развѣ такъ живутъ?

Онъ смотрѣлъ долго на картину, мысленно прикидывая свою жизнь на мѣру, изображенную такими яркими красками.

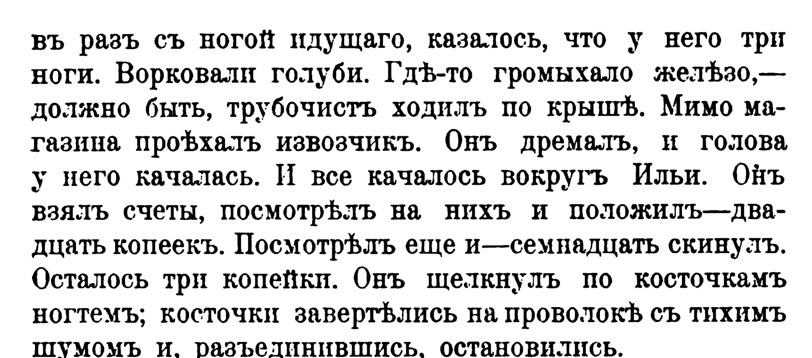
— Развѣ такъ?—твердилъ онъ про себя. И вдругъ добавилъ безнадежно:

— Да и такъ если—тоже скука... Чисто, да не весело...

Медленно подойдя къ стѣнѣ, онъ сорвалъ съ нея картину и унесъ въ магазинъ. Тамъ, разложивъ ее на прилавкѣ, онъ снова началъ разсматривать превращенія человѣка, написанныя на ней, и смотрѣлъ теперь съ насмѣшкой. Смотрѣлъ и все думалъ о сестрѣ Гаврика.

Мысли ворочались въ его головѣ медленно, тяжело, а отъ картины зарябило въ глазахъ. Тогда онъ смялъ ее, скомкалъ и бросилъ подъ прилавокъ; но она выкатилась оттуда подъ ноги ему. Раздраженный этимъ, онъ снова поднялъ ее, смялъ крѣпче и швырнулъ въ дверь, на улицу...

На улицѣ было шумно. По той сторонѣ, тротуаромъ, кто-то шелъ съ палкой. Палка стукала по камнямъ не



въ разъ съ ногой идущаго, казалось, что у него три ноги. Ворковали голуби. Гдѣ-то громыхало желѣзо,— должно быть, трубочистъ ходилъ по крышѣ. Мимо магазина проѣхалъ извозчикъ. Онъ дремалъ, и голова у него качалась. И все качалось вокругъ Ильи. Онъ взялъ счеты, посмотрѣлъ на нихъ и положилъ—двадцать копеекъ. Посмотрѣлъ еще и—семнадцать скинулъ. Осталось три копейки. Онъ щелкнулъ по косточкамъ ногтемъ; косточки завертѣлись на проволокѣ съ тихимъ шумомъ и, разъединившись, остановились.

Илья вздохнулъ, отодвинулъ счеты прочь, навалился грудью на прилавокъ и замеръ, слушая, какъ бьется его сердце.

На другой день сестра Гаврика опять пришла. Она была такая же, какъ всегда: въ томъ же старенькомъ платьѣ, съ тѣмъ же лицомъ.

— Ишь ты,—непріязненно подумалъ Луневъ, наблюдая ее изъ комнаты.

На поклонъ дѣвушки онъ неохотно склонилъ предъ ней голову. А она вдругъ улыбнулась доброй улыбкой и ласково спросила его:

— Вы что какой блѣдный? Нездоровы, да?

— Здоровъ,—кратко отвѣтилъ Илья, стараясь не выдавать предъ нею чувства, возбужденнаго ея вниманіемъ. А чувство было хорошее, радостное: улыбка и слова дѣвушки коснулись его сердца такъ мягко и тепло, но онъ рѣшилъ показать ей, что обиженъ, тайно надѣясь, что дѣвушка скажетъ ему еще ласковое слово, еще улыбнется. Рѣшилъ—и ждалъ, надутый, не глядя на нее.

— Вы... кажется, обидѣлись на меня?—раздался ея твердый голосъ. Онъ такъ рѣзко отличался отъ тѣхъ звуковъ, которыми она сказала свои первыя слова, что Илья тревожно взглянулъ на нее, а она ужъ вновь была такая, какъ всегда, гордая, и что-то заносчивое, задорное было въ ея темныхъ глазахъ.

— Я къ обидамъ привыкъ, — сказалъ Луневъ и усмѣхнулся въ лицо ей вызывающей улыбкой, чувствуя холодъ разочарованія въ груди.

„А, ты играешь!—думалось ему. — Погладишь, да прибьешь? Ну, нѣтъ...“

— Я не хотѣла обижать васъ...

— Вамъ меня обидѣть трудно!—дерзко и громко заговорилъ онъ.—Я вѣдь вамъ цѣну знаю-съ: птица вы не высокаго полета!

Она выпрямилась при этихъ словахъ, удивленная, широко открывъ глаза. Но Илья уже не видѣлъ ничего: буйное желаніе отплатить ей охватило его, какъ огнемъ, и, намѣренно не торопясь, онъ обкладывалъ ее тяжелыми и грубыми словами:

— Барство ваше, гордость эта—вамъ недорого обходятся... въ гимназіяхъ всякъ можетъ этого набраться... А безъ гимназій—швея вы, горничная... По бѣдности вашей ничѣмъ другимъ быть не можете... вѣрно-съ?

— Что вы говорите?—тихо воскликнула она.

Илья смотрѣлъ ей въ лицо и съ удовольствіемъ видѣлъ, какъ раздуваются ея ноздри, краснѣютъ щеки.

— Говорю, что думаю! А думаю я такъ, что дешевому вашему барству—грошъ цѣна!

— Во мнѣ нѣтъ барства! — звенящимъ голосомъ крикнула дѣвушка. Братишка подбѣжалъ къ ней, схватилъ ее за руку и, злыми глазами глядя на хозяина, тоже закричалъ:

— Уйдемъ, Сонька!

Луневъ окинулъ ихъ взглядомъ и уже съ ненавистью, хладнокровно сказалъ:

— Да-съ... уйдите-ка! Ни я вамъ, ни вы мнѣ... не нужны.

Они оба какъ-то странно мелькнули въ его глазахъ и исчезли. Онъ засмѣялся вслѣдъ имъ. Потомъ, оставшись одинъ въ магазинѣ, онъ нѣсколько минутъ стоялъ неподвижно, упиваясь острой сладостью удавшейся



мести. Возмущенное, недоумѣвающее, немного испуганное лицо дѣвушки хорошо запечатлѣлось въ его памяти, и онъ былъ доволенъ собой.

„Мальчишка-то... какой...“—вертѣлась у него въ головѣ безсвязная мысль: поступокъ Гаврика немножко мѣшалъ ему, нарушая его настроеніе.

„Вотъ тебѣ и спесь!..—внутренно усмѣхаясь, думалъ онъ—Таничка бы пришла теперь... я бы и ей... заодно...“

Онъ ощущалъ въ себѣ желаніе растолкать всѣхъ людей прочь отъ себя, растолкать ихъ грубо, обидно, безъ пощады...

Но Таничка не пришла, весь день онъ пробылъ одинъ, и день этотъ былъ странно длиненъ. Ложась спать, Илья чувствовалъ себя одинокимъ и обиженнымъ этимъ одиночествомъ еще болѣе, чѣмъ словами дѣвушки. Ему вспоминалась Олимпіада, и теперь онъ думалъ, что эта женщина была для него лучше всѣхъ людей. Закрывъ глаза, онъ вслушивался въ тишину ночи и ждалъ звуковъ, а когда звукъ раздавался, Илья вздрагивалъ и, пугливо приподнявъ голову съ подушки, смотрѣлъ широко-открытыми глазами во тьму. И вплоть до утра онъ не могъ уснуть, чего-то ожидая, чувствуя себя точно запертымъ въ погребѣ, задыхаясь отъ жары и неуклюжихъ, безсвязныхъ мыслей. Онъ всталъ съ тяжелой головой, хотѣлъ поставить самоваръ, но не поставилъ, а, умывшись, выпилъ ковшъ воды и открылъ магазинъ.

Около полудня явился Павелъ, сердитый, съ нахмуренными бровями. Не здороваясь съ товарищемъ, онъ прямо спросилъ его:

— Ты что это зазнаешься?

Илья понялъ, о чемъ онъ говоритъ, и, безнадежно тряхнувъ головой, промолчалъ, думая:

„И этотъ противъ меня...“

— За что ты Софью Никоновну обидѣлъ? — строго допрашивалъ Павелъ, стоя передъ нимъ. Въ надутомъ

лицѣ Грачева и въ укоряющихъ его глазахъ Илья видѣлъ осужденіе себѣ, но отнесся къ нему равнодушно.

Медленно, усталымъ голосомъ онъ сказалъ:

— Ты бы прежде поздоровался, что ли... да и шапку сними,—здѣсь икона...

Но Павелъ схватилъ фуражку за козырекъ, надвинулъ ее на голову плотнѣе, задорно скривилъ губы и заговорилъ торопливо, горячо, вздрагивающимъ голосомъ:

— Форси! Разбогатѣлъ! Наѣлся! Вспомнилъ бы, какъ говорилъ: нѣтъ человѣка для насъ! А вотъ онъ нашелся,—гонишь его... Эхъ ты, купецъ!

Тупое чувство какой-то лѣни мѣшало Луневу отвѣчать на слова товарища. Безразличнымъ взглядомъ онъ разсматривалъ возбужденное и насмѣшливое лицо Павла и чувствовалъ, что укоры не задѣваютъ его души. Желтые волоски въ усахъ и на подбородкѣ Грачева были какъ плѣсень на его худомъ лицѣ, и Луневъ смотрѣлъ на нихъ, равнодушно соображая:

„Это она ему нажаловалась... Развѣ я ее очень обидѣлъ? Могъ хуже...“

— Она все понимаетъ, все можетъ объяснить... а ты съ ней... эхъ!—говорилъ Павелъ, по обыкновенію, густо пересыпая свою рѣчь междометіями.—Они всѣ люди хорошіе... они умные... они всякое право знаютъ наизусть... да! Тебѣ бы держаться за нее... а ты...

— Перестань, Пашка!—медленно сказалъ Луневъ.—Что ты меня учишь? Какъ хочу, такъ и дѣлаю...

— Что ты дѣлаешь? Скандалишь ты...

— Какъ хочу, такъ и живу... Надоѣли вы мнѣ всѣ... Ходите, говорите...

И, тяжело прислоняясь къ полкамъ съ товаромъ, Луневъ задумчиво, какъ бы спрашивая самъ себя, выговорилъ:

— А что вы можете сказать?



— Она все можетъ!—съ глубокимъ убѣжденіемъ воскликнулъ Павелъ и даже руку поднялъ кверху, точно готовясь принять присягу.—Они знаютъ все!

— Ну, и ступай къ нимъ!—равнодушно посовѣтовалъ ему Илья. И слова и возбужденіе Павла были непріятны ему, но возражать товарищу онъ не искалъ въ себѣ желанія. Скука, тяжелая и липкая, мѣшала ему говорить и думать, связывала его движенія. Онъ хотѣлъ остаться одинъ, ничего не слышать и не смотрѣть ни на что.

— И уйду!—угрожая, говорилъ Павелъ.—Уйду, потому что понимаю: мнѣ только около нихъ и можно жить... около нихъ можно все для себя найти, да! Они правду знаютъ!.. Никогда мнѣ такъ не жилось, какъ теперь... по-человѣчески... Кто меня уважалъ?

— Не ори!—сказалъ ему Луневъ негромко и безсильно..

— Идолъ ты деревянный!—крикнулъ Павелъ.

Но тутъ въ лавочку пришла дѣвочка и спросила дюжину пуговицъ рубашечныхъ. Илья, не торопясь, далъ ей просимое, взялъ изъ ея руки двугривенный, потеръ его между пальцами и возвратилъ покупательницѣ, сказавъ:

— Сдачи нѣтъ,—послѣ принесешь...

Сдача была въ конторкѣ, но ключъ лежалъ въ комнатѣ, и Луневу не хотѣлось пойти за нимъ. Когда дѣвочка ушла, Павелъ не возобновлялъ разговора. Стоя у прилавка, онъ хлопалъ себя по колѣну снятымъ съ головы картузомъ и смотрѣлъ на товарища, какъ бы ожидая отъ него чего-то. Но Луневъ, отвернувшись въ сторону отъ него, тихо свистѣлъ сквозь зубы. Съ улицы въ магазинъ врывался грохотъ телѣгъ, торопливые шаги прохожихъ, влетала пыль...

— Ну, что же ты?—вызывающе спросилъ Павелъ.

— Ничего,—не сразу отвѣтилъ Луневъ.

— Такъ-таки—ничего?

— Отстань Христа ради!—воскликнулъ Илья нетерпѣливо.

Грачевъ кинулъ картузъ на голову себѣ и ушелъ быстрыми шагами, не сказавъ ни слова. Илья проводилъ его, медленно поворачивая глаза и не двигая головой.

„Нездоровится мнѣ, что ли?“—спросилъ онъ себя.

Большая рыжая собака заглянула въ дверь, помахала хвостомъ и исчезла. Потомъ явилась въ двери старушка-нищая, сѣдая, съ большимъ носомъ. Она кланялась и говорила вполголоса:

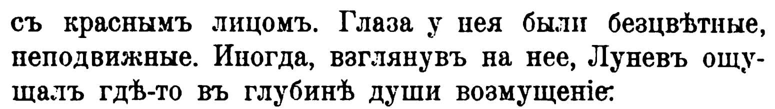
— Подайте, батюшка, милостыньку!.. благодѣтель!..

Луневъ молча кивнулъ ей головой, отказывая въ милостынѣ. По улицѣ въ жаркомъ воздухѣ колебался шумъ трудового дня. Казалось, топится огромная печь, трещатъ дрова, пожираемыя огнемъ, и дышатъ знойнымъ пламенемъ. Гремитъ желѣзо,—это ѣдутъ ломовики: длинныя полосы, свѣшиваясь съ телѣгъ, задѣваютъ за камни мостовой, взвизгиваютъ, какъ отъ боли, ревутъ, гудятъ. Точильщикъ точитъ ножи,—злой, шипящій звукъ рѣжетъ воздухъ...

Каждая минута рождаетъ что-нибудь новое, неожиданное, и жизнь поражаетъ слухъ разнообразіемъ своихъ криковъ, неутомимостью движенія, силой неустаннаго творчества. Но въ душѣ Лунева тихо и мертво: въ ней все какъ будто остановилось, — нѣтъ ни думъ, ни желаній, а только тяжелая усталость. Въ такомъ состояніи онъ провелъ весь день и потомъ ночь, полную кошмаровъ... и много такихъ дней и ночей. Приходили люди, покупали, что надо было имъ, и уходили, а онъ ихъ провожалъ холодной мыслью:

„Я имъ не нуженъ, и они мнѣ не нужны... Это только сначала такъ... а потомъ привыкну... Буду жить одинъ... буду жить!“

Вмѣсто Гаврика ему ставила самоваръ и носила обѣдъ кухарка домохозяина, женщина угрюмая, худая,



съ краснымъ лицомъ. Глаза у нея были безцвѣтные, неподвижные. Иногда, взглянувъ на нее, Луневъ ощущалъ гдѣ-то въ глубинѣ души возмущеніе:

„Неужто ничего хорошаго такъ и не увижу я никогда?“

И угрюмо, безнадежно онъ говорилъ себѣ:

„Зря жизнь идетъ...“

Онъ ужъ привыкъ къ разнороднымъ впечатлѣніямъ, и хотя они волновали, злили его, но онъ чувствовалъ—съ ними все же лучше было жить. Ихъ приносили люди. А теперь люди исчезли куда-то,—остались одни покупатели. Потомъ ощущеніе одиночества и тоска о хорошей жизни снова утопали въ равнодушіи ко всему, и снова дни тянулись медленно, въ какой-то давящей духотѣ.

Однажды поутру Илья только что проснулся и сидѣлъ на постели, думая, что вотъ опять день пришелъ,—нужно его прожить...

„Живешь, какъ осенью по болоту шагаешь... Холодно, вязко... устаешь сильно, а впередъ уходишь мало...“

Въ дверь со двора постучали дробнымъ, частымъ стукомъ.

Илья всталъ, думая, что это кухарка за самоваромъ пришла, отперъ дверь и очутился лицомъ къ лицу съ горбуномъ.

— Эге-ге!—насмѣшливо качая головой и улыбаясь, заговорилъ Терентій. — Девятый часъ, а у тебя, торговецъ, лавка не отперта!

Илья стоялъ предъ нимъ, мѣшая ему войти въ дверь, и тоже улыбался. Лицо у Терентія загорѣло, но какъ-то обновилось; глаза смотрѣли радостно и бойко. У ногъ его лежали мѣшки, узлы, и онъ самъ среди нихъ казался узломъ.

— Здорово, племянничекъ! Пускай, что ли, въ жилье-то!

Илья посторонился и молча началъ втаскивать узлы, а Терентій отыскалъ глазами образъ, осѣнилъ себя крестомъ и, поклонясь, сказалъ:

— Слава Тебѣ, Господи,—вотъ я и дома! Ну, здравствуй, Илья!

Обнимая дядю, Луневъ почувствовалъ, что тѣло горбуна стало крѣпкимъ, сильнымъ.

— Умыться бы мнѣ,—громко говорилъ Терентій, оглядывая комнату. Онъ уже не гнулся, какъ прежде: хожденіе съ котомкой за плечами какъ будто оттянуло его горбъ книзу,—Терентій выпрямился и высоко поднялъ голову.

— Какъ поживаешь?—спрашивалъ онъ племянника, бросая пригоршнями воду на свое лицо.

Ильѣ было пріятно видѣть дядю такимъ обновленнымъ. Онъ хлопоталъ около стола, приготовляя чай, и отзывался на вопросы горбуна охотно, хотя сдержанно, съ осторожностью.

— Ты—какъ?

— Я? Хорошо!—Терентій закрылъ глаза и съ довольной улыбкой покачалъ головой.—Такъ-то ли хорошо я сходилъ,—лучше не надо! Живой водицы испилъ, словомъ сказать...

Онъ усѣлся за столъ, намоталъ свою бородку на палецъ и, склонивъ голову на бокъ, сталъ разсказывать:

— Былъ я у Афанасья Сидящаго и у переяславльскихъ чудотворцевъ, и у Митрофанія Воронежскаго, и у Тихона Задонскаго... ѣздилъ на Валаамъ островъ... множество земли исходилъ. Многіимъ угодникамъ молился, а сейчасъ я у послѣднихъ былъ: у Петра—Февроньи въ Муромѣ...

Должно быть, онъ испытывалъ большое удовольствіе, перечисляя имена угодниковъ и города,—лицо у него было сладкое, глаза увлажились и смотрѣли гордо. Слова своей рѣчи онъ произносилъ на тотъ пѣвучій



ладъ, которымъ умѣлые разсказчики сказываютъ сказки или житія святыхъ.

— Въ пещерахъ святой лавры тишь стоитъ непоколебимая, тьма въ нихъ страховитая, а во тьмѣ дѣтскими глазыньками лампадочки блещутъ, и святымъ мvромъ пахнетъ...—монотонно говорилъ Терентій. Вдругъ хлынулъ дождь, за окномъ раздался вой, визгъ, желѣзо крышъ гудѣло, вода, стекая съ нихъ, всхлипывала, и въ воздухѣ какъ бы дрожала сѣть изъ толстыхъ нитей стали.

— Мvро это источаютъ собою богоугодныя главы...

— Та-акъ, — медленно протянулъ Илья. — Ну, а... облегчился?

Терентій замолчалъ на минуту, потомъ приподнялся на стулѣ и, наклонясь къ Ильѣ, пониженнымъ голосомъ сказалъ ему:

— Т. е... примѣромъ скажу: какъ сапогъ ногу, жалъ мнѣ сердце грѣхъ этотъ, невольный мой... Невольный,— потому, не послушалъ бы я, въ ту пору, Петра, онъ бы меня—швырь вонъ! Вышвырнулъ бы... Вѣрно?

— Вѣрно!—согласился Илья.

— Ну вотъ... а какъ я пошелъ... сразу эдакая легкость на душѣ явилась... Иду и говорю: Господи, видишь? Иду ко угодникамъ Твоимъ... Знаю—грѣшенъ...

— Значитъ — разсчитался? — спросилъ Луневъ съ улыбкой.

— Его воля! Какъ Онъ приметъ мою молитву—не вѣдаю!—сказалъ горбунъ, поднявъ глаза кверху.

— Да совѣсть-то какъ?

— Что—какъ?

— Спокойна?

Терентій подумалъ, какъ бы прислушиваясь къ чему-то, и сказалъ:

— Молчитъ...

Луневъ усмѣхнулся.

— Молитва, — ежели отъ чистаго сердца, — всегда

[redacted]

принесетъ человѣку облегченіе, — тихо, внушающимъ тономъ говорилъ горбунъ.

Илья всталъ со стула и подошелъ къ окну. Широкіе ручьи мутной воды бѣжали около тротуара; на мостовой, среди камней ея, стояли маленькія лужи; дождь сыпался на нихъ, онѣ вздрагивали: казалось, что вся мостовая дрожитъ. Домъ противъ магазина Ильи нахмурился, весь мокрый, стекла въ окнахъ его потускнѣли, и цвѣтовъ за ними не было видно. На улицѣ было пусто и тихо,—только дождь шумѣлъ, и журчали ручьи. Одинокій голубь прятался подъ карнизомъ, усѣвшись на наличникѣ окна, и отовсюду съ улицы вѣяло сырой, тяжелой скукой.

„Осень начинается“,—мелькнуло въ головѣ Лунева.

— Чѣмъ инымъ оправдаться можно, какъ не молитвой?—говорилъ Терентій, развязывая одинъ изъ своихъ мѣшковъ.

— Просто очень,—хмуро замѣтилъ Илья, не оборачиваясь къ дядѣ. — Согрѣшилъ, помолился — чистъ! Валяй опять—грѣши...

— За-ачѣмъ? Живи строго...

— Чего ради?

— Какъ?

— Такъ...

— А совѣсть чистая?

— А что въ ней толку?

— Н-ну-у...—неодобрительно протянулъ Терентій.— Какъ ты это говоришь...

— Такъ и говорю,—настойчиво и твердо продолжалъ Илья, стоя спиной къ дядѣ.

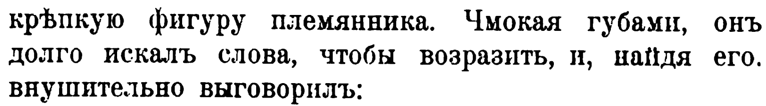
— Грѣхъ!

— Ну и грѣхъ...

— Наказанъ будешь!

— Нѣтъ...

Теперь онъ отвернулся отъ окна и смотрѣлъ въ лицо Терентія. Горбунъ тоже пытливо щупалъ глазами



крѣпкую фигуру племянника. Чмокая губами, онъ долго искалъ слова, чтобы возразить, и, найдя его. внушительно выговорилъ:

— Какъ нѣтъ? Будешь!.. Вотъ я — согрѣшилъ и былъ за то наказанъ...

— Чѣмъ это?—угрюмо спросилъ Илья.

— А страхомъ? Жилъ и все боялся—вдругъ узнаютъ, вдругъ...

— А я вотъ согрѣшилъ, а не боюсь, — объявилъ Илья, дерзко усмѣхаясь.

— Дуришь ты,—сказалъ Терентій строгимъ голосомъ.

— Да, не боюсь! Жить мнѣ трудно, однако...

— А-а! — воскликнулъ Терентій, съ торжествомъ поднимаясь съ пола.—Трудно, говоришь?

— Да! Всѣ бросили... какъ паршиваго...

— Вотъ и наказаніе! Ага?!

— За что?—крикнулъ Илья почти съ бѣшенствомъ. Челюсть у него тряслась, и пальцы рукъ, сложенныхъ за спиной, царапали стѣну. Терентій смотрѣлъ на него съ испугомъ, помахивая въ воздухѣ какой-то веревочкой.

— Не кричи, не кричи!—говорилъ онъ вполголоса.

Но Илья кричалъ. Давно уже онъ не говорилъ съ людьми и теперь выбрасывалъ изъ души все, что накопилось въ ней за эти дни одиночества. Страстно, со злобой, онъ говорилъ дядѣ:

— И напрасно ты ходилъ... все равно, ничего тебѣ не было бы! Не только грабь,—убивай: ничего не будетъ! Некому наказывать... Наказываютъ неумѣющихъ, а кто умѣетъ,—тотъ все можетъ дѣлать, все!

— Илья!—говорилъ Терентій, осторожно подвигаясь къ нему.—Ты погоди, ты не горячись!.. Сядь!.. Давай смирно разберемъ все.

Вдругъ за дверью что-то грохнуло, покатилось, затрещало и остановилось гдѣ-то близко, у самой двери.

Они оба вздрогнули и замолчали. Но тишина настала вновь, только дождь лилъ...

— Что это?—тихонько и пугливо сказалъ горбунъ.

Илья молча подошелъ къ двери, отворилъ ее и выглянулъ на дворъ. Въ комнату влетѣлъ тихій свистъ, хрипъ, шопотъ, цѣлый вихрь звуковъ, слившихся въ однообразный тяжкій гулъ.

— Ящики развалились,—сказалъ Луневъ, затворяя дверь и снова проходя на прежнее мѣсто къ окну.

Терентій опять присѣлъ на полъ разбирать свои мѣшки. Помолчавъ, онъ заговорилъ:

— Нѣтъ, ты тово... подумай! Ты такія слова кричишь, ой-ой, братъ! Безбожіемъ Бога не прогнѣваешь, но себя погубишь... Ты это пойми... слова мудрыя,—я дорогой слыхалъ ихъ отъ одного человѣка... Сколько мудрости слышалъ я!

Онъ снова началъ разсказывать о своемъ путешествіи, искоса поглядывая на Илью. А Илья слушалъ его рѣчь, какъ шумъ дождя, и уже думалъ о томъ, какъ онъ будетъ жить съ дядей?..

Они зажили недурно. Терентій сдѣлалъ себѣ изъ ящиковъ кровать, поставилъ ее между печью и дверью, въ углу, гдѣ по ночамъ тьма сгущалась плотнѣе, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ комнаты. Присмотрѣвшись къ жизни Лунева, онъ взялъ на себя обязанности Гаврика,—ставилъ самовары, убиралъ магазинъ и комнату, ходилъ въ трактиръ за обѣдомъ и всегда мурлыкалъ себѣ подъ носъ акафисты. Вечерами онъ разсказывалъ племяннику о томъ, какъ Аллилуіева жена спасла Христа отъ враговъ, бросивъ въ горящую печь своего ребенка, а Христа взявъ на руки вмѣсто него. Разсказывалъ о томъ, какъ монахъ триста лѣтъ слушалъ пѣніе птички; о Кирикѣ и Улитѣ и о многомъ другомъ. Луневъ, слушая его, все думалъ свои думы... Теперь, по вечерамъ, онъ уходилъ гулять, и всегда его манило куда-нибудь за городъ. Тамъ, въ полѣ,

ночью было тихо, темно и пустынно, какъ въ его душѣ.

Чрезъ недѣлю послѣ его возвращенія, Терентій ходилъ къ Петрухѣ Филимонову и вернулся отъ него обезкураженный, обиженный. Но когда Илья спросилъ, что съ нимъ?—онъ отвѣтилъ торопливо:

— Ничего, ничего! Такъ... былъ, значитъ, видѣлъ все, стало быть... поговорили... м-да!

— Что Яковъ?—спросилъ Илья.

— Яковъ? Онъ, Яковъ-то, того... помирать хочетъ... Говорилъ про тебя... Желтый... кашляетъ...

Терентій замолчалъ и, глядя въ уголъ, сталъ жевать губами, грустный и жалкій.

Жизнь шла ровно, однообразно: всѣ дни походили одинъ на другой, какъ мѣдные пятаки чеканки одного года. Угрюмая злоба хоронилась въ глубинѣ души Лунева, какъ большая змѣя, и пожирала всѣ впечатлѣнія этихъ дней. Никто изъ старыхъ знакомыхъ не приходилъ къ нему: Павелъ и Маша какъ будто нашли себѣ другую дорогу въ жизни; Матицу сшибла лошадь, и баба умерла въ больницѣ; Перфишка исчезъ, точно провалился сквозь землю. Луневъ все собирался пойти къ Якову и не могъ собраться, чувствуя, что ему не о чемъ говорить съ умирающимъ товарищемъ. Утромъ онъ читалъ газету, а днемъ сидѣлъ въ магазинѣ, глядя, какъ осенній вѣтеръ гоняетъ по улицѣ желтые листья, сорванные съ деревьевъ. Иногда и въ магазинъ залеталъ такой листъ...

— Преподобне отче Тихоне, моли Бога о на-асъ...— хрустѣвшимъ, какъ сухіе листья, голосомъ напѣвалъ Терентій, возясь въ комнатѣ.

Однажды въ воскресенье, развернувъ газету, Илья увидалъ на первой ея страницѣ стихотвореніе: „Прежде и теперь. Посвящается С. Н. М—ой“, подписанное „П. Грачевъ“.

«Въ недугѣ тяжкомъ и въ бреду
Я годы молодости прожилъ.
Вопросъ—куда, слѣпой, иду?—
Ума и сердца не тревожилъ.
Мракъ мою душу оковалъ
И ослѣпилъ мнѣ умъ и очи...
Но я всегда—и дни, и ночи—
О чемъ-то свѣтломъ тосковалъ!..
Вдругъ—свѣтомъ внутреннимъ полна,
Ты предо мною гордо встала—
И, дрогнувъ, мрака пелена
Съ души и глазъ моихъ упала!
Да будетъ проклятъ этотъ мракъ!
Свободный отъ его недуга,
Я чувствую—нашелъ я друга!
И ясно вижу—кто мой врагъ!..»

Луневъ прочиталъ и съ сердцемъ отодвинулъ газету отъ себя.

„Сочиняй! Выдумывай! Другъ... врагъ!.. Кто—дуракъ, тому всякій врагъ... да!“—онъ криво усмѣхнулся. И какъ-то вдругъ, точно другимъ сердцемъ, подумалъ:

„А что ежели я туда махну? Приду и скажу... вотъ пришелъ! Извините...“

„За что?“—тотчасъ же спросилъ онъ себя. И закончилъ все это рѣшительнымъ и угрюмымъ словомъ:

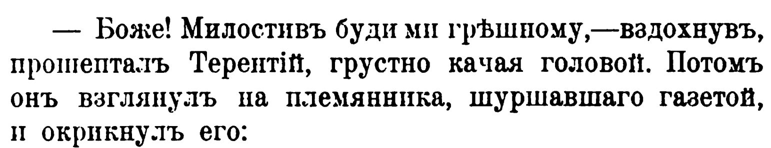
„Прогонитъ...“

Потомъ онъ, съ обидой и завистью въ сердцѣ, снова прочиталъ стихи и снова задумался о дѣвушкѣ...

„Гордая... Посмотритъ эдакъ... ну и—уйдешь, съ чѣмъ пришелъ...“

Въ этой же газетѣ, въ справочномъ отдѣлѣ онъ прочиталъ, что на двадцать третье сентября въ окружномъ судѣ назначено къ слушанію дѣло по обвиненію Вѣры Капитановой въ кражѣ. Злорадное чувство вспыхнуло въ немъ, и, мысленно обращаясь къ Павлу, онъ сказалъ:

— Стихи сочиняешь? А она—въ тюрьмѣ все сидитъ?..



— Боже! Милостивъ буди ми грѣшному,—вздохнувъ, прошепталъ Терентій, грустно качая головой. Потомъ онъ взглянулъ на племянника, шуршавшаго газетой, и окрикнулъ его:

— Илья...

— Ну?

— Петруха-то...

Горбунъ жалобно улыбнулся и замолчалъ.

— Что?—спросилъ Луневъ.

— О-ограбилъ онъ меня,—тихо, виноватымъ голосомъ сообщилъ Терентій и уныло хихикнулъ. Илья равнодушно поглядѣлъ на лицо дяди и не сказалъ ни слова, но подумалъ:

— „Такъ и надо...“

— Эхе-хе! Обобралъ...

— Сколько всего-то украли вы?—спокойно спросилъ Илья. Его дядя отодвинулся отъ стола вмѣстѣ со стуломъ, наклонилъ голову и, держа руки на колѣняхъ, сталъ шевелить пальцами, то сгибая, то разгибая ихъ.

— Тысячъ десять, что ли?—вновь спросилъ Луневъ.

Горбунъ вскинулъ голову и съ удивленіемъ протянулъ:

— Деся-ать?

Потомъ махнулъ рукой на Илью, говоря:

— Что ты, Господь съ тобой! Всего-на-всего три тыщи шесть сотъ съ мелочью, а ты—десять! Хватилъ!..

— У дѣдушки больше десяти было,—сказалъ Илья, усмѣхаясь.

— Вре-е?

— Ну, вотъ еще... онъ самъ мнѣ говорилъ...

— Да онъ считать-то умѣлъ ли?

— Не хуже васъ съ Петромъ...

Терентій задумался, и вновь голова его низко опустилась.

— Сколько Петруха не додалъ?—спросилъ Илья.

— Около семисоть...—со вздохомъ сказалъ Терентій.—Такъ больше десяти?

Луневъ промолчалъ. Ему было непріятно видѣть озабоченное, разочарованное лицо дяди.

— Гдѣ же такая уйма деньжищъ спрятана была?— вдумчиво и съ удивленіемъ спросилъ горбунъ.—Мы, кажись бы, всѣ забрали... А, можетъ, Петруха-то еще въ ту пору надулъ меня... а?

— Помолчалъ бы ты про это! — сурово сказалъ Луневъ.

— Да ужъ теперь... не стоитъ говорить!—согласился Терентій и тяжело вздохнулъ.

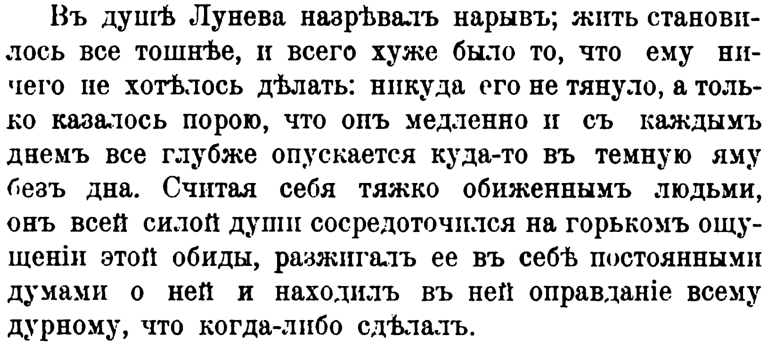
А Луневъ задумался о жадности человѣка и о томъ, какъ много пакостей дѣлаютъ люди ради денегъ. Но вскорѣ онъ уже думалъ о томъ, кабы у него этихъ денегъ было много,—десятки, сотни тысячъ, онъ бы показалъ себя людямъ! Онъ заставилъ бы ихъ на четвереинькахъ ходить предъ собой, онъ бы... Увлеченный мстительнымъ чувствомъ, онъ съ ненавистью ударилъ кулакомъ по столу,—вздрогнулъ отъ удара, взглянулъ на дядю и увидалъ, что дядя тоже смотритъ на него, полуоткрывъ ротъ и со страхомъ въ глазахъ.

— Задумался я,—хмуро сказалъ онъ Терентію, вставая изъ-за стола.

— Бываетъ,—недовѣрчиво согласился тотъ.

Когда Илья пошелъ въ магазинъ, онъ пытливо смотрѣлъ вслѣдъ ему, и губы горбуна беззвучно шевелились... Хотя Илья не видѣлъ, но онъ чувствовалъ этотъ подозрительный взглядъ за своей спиной: онъ уже давно замѣтилъ, что дядя слѣдитъ за каждымъ его шагомъ и хочетъ что-то понять, о чемъ-то спросить. Это заставляло Лунева избѣгать разговоровъ съ дядей. Съ каждымъ днемъ онъ все болѣе ясно чувствовалъ, что горбатый мѣшаетъ ему жить, и все чаще ставилъ предъ собою вопросъ:

„Долго это будетъ тянуться?“



Въ душѣ Лунева назрѣвалъ нарывъ; жить становилось все тошнѣе, и всего хуже было то, что ему ничего не хотѣлось дѣлать: никуда его не тянуло, а только казалось порою, что онъ медленно и съ каждымъ днемъ все глубже опускается куда-то въ темную яму безъ дна. Считая себя тяжко обиженнымъ людьми, онъ всей силой души сосредоточился на горькомъ ощущеніи этой обиды, разжигалъ ее въ себѣ постоянными думами о ней и находилъ въ ней оправданіе всему дурному, что когда-либо сдѣлалъ.

Вскорѣ послѣ того, какъ пріѣхалъ Терентій, явилась и Татьяна Власьевна, уѣзжавшая куда-то изъ города. При видѣ горбатаго мужичка, въ коричневой рубахѣ изъ бумазеи, она брезгливо поджала губы и спросила Илью:

— Это вашъ дядя?

— Да,—коротко отвѣтилъ Луневъ.

— Съ вами будетъ жить?

— Обязательно...

Татьяна Власьевна почувствовала что-то непріятное, вызывающее въ отвѣтахъ компаньона и перестала обращать вниманіе на горбуна; а Терентій, стоя у двери, на мѣстѣ Гаврика, покручивалъ свою желтую бородку и любопытными глазами слѣдилъ за тоненькой, одѣтой въ сѣрое, фигуркой женщины. Луневъ тоже смотрѣлъ, какъ она воробушкомъ прыгаетъ по магазину, и молча ждалъ, что она еще спроситъ, готовый закидать ее тяжелыми обидными словами. Но она, искоса поглядывая на его злое, холодное лицо, не спрашивала ни о чемъ. Стоя за конторкой, она перелистывала книгу дневной выручки и говорила о томъ, какъ пріятно пожить недѣльку, двѣ въ деревнѣ, какъ это дешево стоитъ и хорошо дѣйствуетъ на здоровье.

— Тамъ была маленькая рѣчушка,—тихая такая! И веселая компанія... одинъ телеграфистъ превосходно игралъ на скрипкѣ... Я выучилась грести... Но—му-

жицкія дѣти! Это наказаніе! Вродѣ комаровъ,—ноютъ, клянчатъ... Дай, дай! Это ихъ отцы учатъ и матери... ужасно непріятно...

— Никто не учитъ,—сухо заговорилъ Илья.—Отцы и матери работаютъ. А дѣти—безъ призора живутъ... Неправду вы говорите...

Татьяна Власьевна удивленно взглянула на него, открыла ротъ, желая что-то сказать, но въ это время Терентій почтительно улыбнулся и заявилъ:

— Господа въ деревнѣ теперь—диковина... Допрежде въ каждой деревнѣ баринъ весь вѣкъ свой былъ... а теперь наѣздомъ бываютъ...

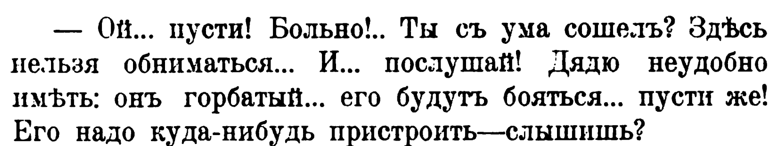
Автономова перевела глаза на него, потомъ снова на Илью и, не сказавъ ни слова, уставилась въ книгу. Терентій сконфузился и сталъ одергивать рубашку. Съ минуту въ магазинѣ всѣ молчали,—былъ слышенъ только шелестъ листовъ книги, да шорохъ,—это Терентій терся горбомъ о косякъ двери...

— А ты,—вдругъ раздался сухой и спокойный голосъ Ильи,—прежде чѣмъ съ господами въ разговоръ вступать, спроси: позвольте, молъ, поговорить, сдѣлайте милость... Да на колѣни встань...

Книга вырвалась изъ-подъ руки Татьяны Власьевны и поѣхала по конторкѣ, но женщина поймала ее, громко хлопнула по ней рукой и засмѣялась. Терентій, наклонивъ голову, вышелъ на улицу... Тогда Татьяна Власьевна исподлобья съ улыбкой взглянула на угрюмое лицо Лунева и вполголоса спросила:

— Сердишься? На меня? За что?

Лицо у нея было плутоватое, ласковое, глаза блестѣли задорно... Луневъ, протянувъ руку, взялъ ее за плечо... Въ немъ вспыхнула ненависть къ ней, дикое, звѣрское желаніе обнять ее, давить на своей груди и слушать трескъ ея тонкихъ костей. Оскаливъ зубы, онъ притягивалъ ее къ себѣ, а она, схвативъ его руку, старалась оторвать ее отъ своего плеча и шептала:



— Ой... пусти! Больно!.. Ты съ ума сошелъ? Здѣсь нельзя обниматься... И... послушай! Дядю неудобно имѣть: онъ горбатый... его будутъ бояться... пусти же! Его надо куда-нибудь пристроить—слышишь?

Но онъ уже обнялъ ее и медленно наклонялъ голову надъ ея лицомъ, съ расширенными глазами.

— Что ты? Здѣсь нельзя... оставь!

Она вдругъ опустилась къ землѣ и выскользнула изъ его рукъ, гибкая, какъ рыба. Луневъ сквозь горячій туманъ въ глазахъ видѣлъ ее у двери на улицу. Оправляя кофточку дрожащими руками, она говорила:

— Ахъ, какой ты грубый! Развѣ не можешь подождать?

У него въ головѣ шумѣло, точно тамъ ручьи текли. Неподвижно, сцѣпивши крѣпко пальцы рукъ, онъ стоялъ за прилавкомъ и смотрѣлъ на нее такъ, точно въ ней одной видѣлъ все зло, всю тяжесть своей жизни.

— Это хорошо, что ты страстный, но, голубчикъ, надо же быть сдержаннымъ...

— Уйди!—сказалъ Илья.

— Ухожу... Сегодня я не могу принять тебя... но послѣ завтра,—двадцать третьяго,—день моего рожденья... придешь?

Говоря, она ощупывала пальцами брошь и не смотрѣла на Илью.

— Уйди!—повторилъ онъ, вздрагивая отъ желанія поймать ее и мучить.

Она ушла. Тотчасъ же явился Терентій и почтительно спросилъ:

— Это вотъ и есть—компаньонка?

Луневъ кивнулъ головой, облегченно вздыхая.

— Ва-ажная барыня!.. Какая... ишь ты! Маленькая, а...

— Поганая!—сказалъ Илья густымъ голосомъ.

— Мм...—недовѣрчиво промычалъ Терентій. Илья

почувствовалъ на своемъ лицѣ пытливый, догадывающiйся взглядъ дяди и съ сердцемъ спросилъ:

— Ну, что смотришь?

— Я? Господи, помилуй! Ничего...

— Я знаю, что говорю... Сказалъ поганая и—кончено! Хуже скажу—и то правда будетъ...

— А-а? Вонъ оно что-о...—протянулъ горбунъ соболѣзнующимъ голосомъ.

— Что?—сурово крикнулъ Илья.

— Стало быть...

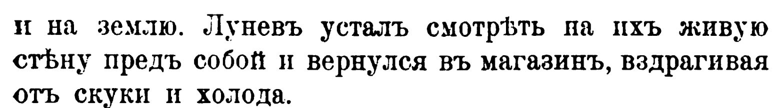
— Что—стало быть?

Терентiй стоялъ предъ нимъ, переступая съ ноги на ногу, испуганный и оскорбленный криками: лицо у него было жалкое, глаза часто мигали.

— Стало быть... ты лучше знаешь...—сказалъ онъ помолчавъ:

— Только и всего!—воскликнулъ Илья.—Я ихъ очень знаю,—чистенькiе... снаружи... Ты, дядя, поторгуй!.. я ухожу...

На улицѣ было невесело. Нѣсколько дней кряду шелъ дождь. Сѣрые чистенькiе камни мостовой неподвижно и скучно смотрѣли въ сѣрое небо надъ ними, и были они похожи на лица людей. Во впадинахъ между ними лежала грязь, оттѣняя собою ихъ холодную чистоту... Желтый листъ на деревьяхъ вздрагивалъ предсмертной дрожью. Гдѣ-то частыми ударами палокъ выбивали пыль изъ ковровъ или мѣховой одежды,—дробные звуки сыпались въ воздухъ и исчезали въ немъ, какъ камни въ водѣ. А въ концѣ улицы, предъ глазами Ильи, изъ-за крышъ домовъ на небо поднимались густыя, сизыя и бѣлыя облака. Тяжело, огромными клубами они лѣзли одно на другое, все выше и выше, постоянно мѣняя формы, то похожiя на дымъ пожара, то—какъ горы или какъ мутныя волны рѣки. Казалось, что всѣ они только за тѣмъ поднимаются въ сѣрую высоту, чтобы сильнѣе упасть оттуда на дома, деревья



и на землю. Луневъ усталъ смотрѣть на ихъ живую стѣну предъ собой и вернулся въ магазинъ, вздрагивая отъ скуки и холода.

— Надо бросить все... магазинъ и все... Пусть дядя торгуетъ... съ Танькой... а я—пойду...

Ему представилось огромное, мокрое поле, покрытое сѣрыми облаками небо, широкая дорога съ березами по бокамъ ея. Онъ идетъ съ котомкой за плечами, его ноги вязнутъ въ грязи, холодный дождь бьетъ въ лицо. А въ полѣ, на дорогѣ, нѣтъ ни души... даже галокъ на деревьяхъ нѣтъ и надъ головой безмолвно двигаются синеватыя тучи...

— Удавлюсь,—равнодушно подумалъ онъ, видя, что идти ему некуда, и не можетъ онъ идти никуда...

Проснувшись утромъ черезъ день, онъ увидалъ на отрывномъ календарѣ черную цифру двадцать три и... вспомнилъ, что въ этотъ день судятъ Вѣру. Онъ обрадовался возможности уйти изъ магазина и почувствовалъ горячее любопытство къ судьбѣ дѣвушки. Спѣшно одѣвшись, наскоро выпивъ чаю, почти бѣгомъ онъ пошелъ въ судъ и—явился прежде времени. Въ зданіе не пускали,—кучка народа жалась у крыльца, ожидая, когда отворятъ двери, Луневъ тоже всталъ у дверей, прислонясь спиной къ стѣнѣ дома. Широкая площадь развертывалась предъ судомъ, среди нея стояла большая церковь. Тѣни двигались по землѣ. Ликъ солнца, блѣдный и усталый, то появлялся, то исчезалъ за облаками. Почти каждую минуту вдали на площадь ложилась тѣнь, ползла по камнямъ, лѣзла на деревья, и такая она была тяжелая, что вѣтви деревьевъ качались подъ нею; потомъ она окутывала церковь отъ подножія до креста, переваливалась черезъ нее и безъ шума двигалась дальше на зданіе суда, на людей у двери его...

Люди были все какіе-то сѣрые, съ голодными лицами; они смотрѣли другъ на друга усталыми глазами

и говорили медленно. Одинъ изъ нихъ—длинноволосый, въ легкомъ пальто, застегнутомъ до подбородка, въ измятой шляпѣ,—озябшими, красными пальцами крутилъ острую рыжую бороду и нетерпѣливо постукивалъ о землю ногами въ худыхъ башмакахъ. Другой, въ заплатанной поддевкѣ и картузѣ, нахлобученномъ на глаза, стоялъ, опустивъ голову на грудь, сунувши одну руку за пазуху, а другую въ карманъ. Онъ казался дремлющимъ. Черненькій человѣчекъ въ пиджакѣ и высокихъ сапогахъ, похожій на жука, безпокоился: онъ поднималъ острую блѣдную мордочку кверху, смотрѣлъ въ небо, свисталъ, морщилъ брови, ловилъ языкомъ усы и разговаривалъ больше всѣхъ.

— Отпираютъ?—восклицалъ онъ и, склонивъ голову на бокъ, прислушивался.

— Нѣтъ... гм!.. А времени много ужъ... Вы, моншеръ, въ библіотеку не заходили?

— Нѣтъ, рано...—въ два удара, но въ одинъ тонъ отвѣтилъ длинноволосый.

— Чортъ возьми... холодно, знаете!

Длинноволосый сочувственно крякнулъ и сказалъ задумчиво:

— А гдѣ бы мы грѣлись, если бы не было суда и библіотеки?

Черненькій молча передернулъ плечами. Илья разсматривалъ этихъ людей и вслушивался въ ихъ разговоръ. Онъ видѣлъ, что это—„шалыганы“, „стрѣлки“,—люди, которые живутъ темными дѣлами, обманываютъ мужиковъ, составляя имъ прошенія и разныя бумаги, или ходятъ по домамъ съ письмами, въ которыхъ просятъ милостыню.

Пара голубей опустилась на мостовую, неподалеку отъ крыльца. Толстый голубь съ отвисшимъ зобомъ, переваливаясь съ ноги на ногу, началъ ходить вокругъ голубки, громко воркуя.

— Фь-ю!—рѣзко свистнулъ черненькій человѣчекъ.



Человѣкъ въ поддевкѣ вздрогнулъ и поднялъ голову. Лицо у него было опухшее, синее, со стеклянными глазами.

— Терпѣть не могу голубей!—воскликнулъ черненькій, глядя вслѣдъ улетавшимъ птицамъ.—Жирные... вродѣ богатыхъ лавочниковъ... воркуютъ... пр-ротивно! Судитесь?—неожиданно спросилъ онъ Илью.

— Нѣтъ...

— Не обвиняемый?

— Нѣтъ...

Черненькій человѣкъ осмотрѣлъ Лунева съ ногъ до головы и въ носъ себѣ проговорилъ:

— Странно...

— Чего же страннаго?—спросилъ Илья, усмѣхнувшись.

— У васъ лицо обвиняемаго, — скороговоркой сказалъ человѣкъ.—А, отпираютъ...

Онъ первый нырнулъ въ открытую дверь суда. Задѣтый его словомъ, Илья пошелъ за нимъ и въ дверяхъ толкнулъ плечомъ длинноволосаго.

— Тише, невѣжа,—спокойно сказалъ длинноволосый и, въ свою очередь тоже толкнувъ Илью, опередилъ его.

Но этотъ толчокъ не обидѣлъ Илью, а только удивилъ его.

— Чудно! — подумалъ онъ. — Толкается такъ, какъ будто баринъ и вездѣ можетъ первымъ идти, а самъ вонъ какой... огарокъ...

Въ залѣ суда было сумрачно и тихо. Длинный столъ, крытый зеленымъ сукномъ, кресла съ высокими спинками, золото рамъ, огромные, въ ростъ человѣка, портреты, малиновые стулья для присяжныхъ, большая деревянная скамья за рѣшеткой,—все было тяжелое и внушало уваженіе. Окна глубоко уходили въ сѣрыя стѣны; парусиновыя занавѣски толстыми складками висѣли надъ окнами, а стекла въ нихъ были какія-то мутныя. Тяжелыя двери отворялись безшумно, и безъ

шума, быстро расхаживали люди въ мундирахъ. Каждый предметъ въ этой большой комнатѣ, казалось, безмолвно внушалъ человѣку вести себя тихо и смирно. Луневъ осматривался, и жуткое чувство щемило ему сердце, а когда чиновникъ объявилъ, что „судъ идетъ“, Илья вздрогнулъ и вскочилъ на ноги раньше всѣхъ, хотя и не зналъ, что нужно было встать. Одинъ изъ четырехъ людей, вошедшихъ въ залъ, былъ Громовъ,— тотъ человѣкъ, что жилъ въ домѣ противъ магазина Ильи. Онъ усѣлся въ среднее кресло, провелъ обѣими руками по волосамъ, взъерошилъ ихъ и поправилъ воротникъ, густо шитый золотомъ. Его лицо нѣсколько успокоило Илью: оно было такое же румяное и благодушное, какъ всегда, только концы усовъ Громовъ закрутилъ кверху. Справа отъ него сидѣлъ славный старичокъ съ маленькой сѣдой бородкой, курносый, въ очкахъ, а слѣва—человѣкъ лысый, съ раздвоенной рыжей бородой и желтымъ неподвижнымъ лицомъ. Потомъ еще у конторки стоялъ молодой судья, кругловый, гладко остриженный, съ черными глазами на выкатѣ. Всѣ они нѣкоторое время молчали, перебирая бумаги на столѣ, а Луневъ смотрѣлъ на нихъ съ уваженіемъ и ждалъ, что вотъ сейчасъ кто-нибудь изъ нихъ встанетъ и скажетъ нѣчто громко, важно...

Но вдругъ, повернувъ голову влѣво, Илья увидѣлъ знакомое ему толстое, блестящее, точно лакомъ покрытое, лицо Петрухи Филимонова. Петруха сидѣлъ въ первомъ ряду малиновыхъ стульевъ, опираясь затылкомъ о спинку стула, и спокойно поглядывалъ на публику. Раза два его глаза скользнули по лицу Ильи, и оба раза Луневъ ощущалъ въ себѣ желаніе встать на ноги, сказать что-то Петрухѣ или Громову, или всѣмъ людямъ въ судѣ.

— Вотъ!.. сына забилъ!.. — вспыхивало у него въ головѣ, и въ горлѣ у себя онъ чувствовалъ что-то похожее на изжогу...



— Вотъ, вы обвиняетесь въ томъ,—ласковымъ голосомъ говорилъ Громовъ, но Илья не видѣлъ, кому Громовъ говоритъ: онъ смотрѣлъ въ лицо Петрухи, подавленный тяжелымъ недоумѣніемъ, не умѣя примириться съ тѣмъ, что Филимоновъ—судья...

— Скажите, подсудимый,—лѣнивымъ голосомъ спрашивалъ прокуроръ, потирая себѣ лобъ,—вы говорили... лавочнику Анисимову: „Погоди! я тебѣ отплачу!“

Гдѣ-то вертѣлась форточка и взвизгивала.

— Й-у... й-у... й-у...

Среди присяжныхъ Илья увидалъ еще два знакомыхъ лица. Выше Петрухи и сзади него сидѣлъ штукатуръ—подрядчикъ Силачевъ,—мужикъ большой, съ длинными руками и маленькимъ, сердитымъ лицомъ, пріятель Филимонова, всегда игравшій съ нимъ въ шашки. Про Силачева говорили, что однажды на работѣ поссорившись съ мастеромъ, онъ столкнулъ его съ лѣсовъ, отчего мастеръ захворалъ и померъ. А въ первомъ ряду, черезъ человѣка отъ Петрухи, сидѣлъ Додоновъ, владѣлецъ большого галантерейнаго магазина. Илья покупалъ у него товаръ и зналъ, что это человѣкъ жестокій, скупой, дважды платившій по гривеннику за рубль...

— Свидѣтель! Когда вы увидали, что изба Анисимова горитъ...

— Й-у... ію-ю-ю,—ныла форточка, и въ груди Лунева тоже ныло.

— Дуракъ!—раздался рядомъ съ нимъ тихій шопотъ Онъ взглянулъ—съ нимъ рядомъ сидѣлъ черненькій человѣчекъ, презрительно скрививъ губы.

— Дуракъ!—повторилъ онъ, кивая головой Ильѣ.

— Кто?—шепнулъ Илья, тупо взглянувъ на него.

— Арестантъ... Имѣлъ прекрасный случай опрокинуть свидѣтеля... пропустилъ! Я бы... эхъ!

Илья взглянулъ на арестанта. Это былъ высокій мужикъ, костлявый, съ угловатой головой. Лицо у него

было темное, испуганное, онъ оскалилъ зубы, какъ усталая, забитая собака скалитъ ихъ, прижавшись въ уголъ, окруженная злыми врагами, не имѣя силы защищаться. Тупой, звѣриный страхъ выражало его темное лицо. А Петруха, Силачевъ, Додоновъ и другіе смотрѣли на него спокойно сытыми глазами. Луневу казалось, что всѣ они думаютъ о мужикѣ:

— Попался,—значитъ, виноватъ...

— Скучно!—шепнулъ ему сосѣдъ.—Совсѣмъ не интересное дѣло... Подсудимый—глупъ, прокуроръ—мямля, свидѣтели—болваны, какъ всегда... Будь я прокуроромъ,—я бы въ десять минутъ его скушалъ...

— Виноватъ? — шопотомъ спросилъ Луневъ, вздрагивая отъ какого-то озноба.

— Едва ли... Но осудить можно... Не умѣетъ защищаться. Мужики вообще не умѣютъ защищаться... Дрянь народъ! Кость и мясо, — а ума, ловкости — ни капли!

— Это вѣрно... Да-а...

— У васъ есть двугривенный? — вдругъ спросилъ человѣчекъ.

— Есть...

— Дайте мнѣ...

Илья вынулъ кошелекъ и далъ монету раньше, чѣмъ успѣлъ сообразить, слѣдуетъ ли дать? А когда уже далъ, то съ невольнымъ уваженіемъ подумалъ, искоса поглядывая на сосѣда:

— Ловокъ... вотъ какъ живутъ люди,—нахрапомъ...

— Тупое рыло, не болѣе!—вновь зашепталъ черненькій, указывая глазами на подсудимаго.

— Ш-ш-ш!..—зашипѣлъ судебный приставъ.

— Господа присяжные!—мягко и внушительно говорилъ прокуроръ.—Взгляните на лицо этого человѣка,— оно краснорѣчивѣе показаній свидѣтелей, безусловно установившихъ виновность подсудимаго... оно не можетъ... не убѣдить васъ въ томъ, что предъ вами



стоитъ типичный преступникъ, врагъ законо-порядка, врагъ общества... предъ вами стоитъ...

Врагъ общества сидѣлъ, но, должно быть, ему неловко стало сидѣть, когда про него говорили, что онъ стоитъ,— онъ медленно поднялся на ноги, низко опустивъ голову. Его руки безсильно повисли вдоль туловища, и вся сѣрая длинная фигура изогнулась, какъ бы приготовляясь нырнуть въ пасть правосудія...

Луневъ тоже опустилъ голову. Ему было неловко, нехорошо, въ головѣ его тяжело и медленно ворочались неуклюжія думы, онъ не находилъ словъ для нихъ, и онѣ, поглощая одна другую, давили его.

Когда Громовъ объявилъ перерывъ засѣданія, Илья вышелъ въ коридоръ вмѣстѣ съ черненькимъ человѣчкомъ. Человѣчекъ досталъ изъ кармана пиджака смятую папироску и, расправляя ее пальцами, заговорилъ:

— Божится, чудакъ, не поджигалъ, говоритъ. Тутъ не божись, а прямо—снимай штаны да ложись... ха, ха! Дѣло строгое! Обидѣли лавочника... ты или не ты обидѣлъ—не важно! Но важно, чтобъ наказать за это... попался ты—тебя и накажутъ...

— Виноватъ онъ, мужикъ-то, по вашему?—задумчиво спросилъ Илья.

— Должно быть, виноватъ, потому что глупъ. Умные люди виноватыми не бываютъ...—спокойной скороговоркой отрѣзалъ человѣчекъ, форсисто покуривая свою папироску.

— Тутъ, въ присяжныхъ,—тихо и съ напряженіемъ заговорилъ Илья,—сидятъ люди...

— Купцы, больше,—спокойно поправилъ его черненькій. Илья взглянулъ на него и повторилъ:

— Купцы. Нѣкоторыхъ я знаю...

— Ага!..

— Народъ аховый... т. е. ежели прямо говорить...

— Тоже воры,—подсказалъ ему собесѣдникъ.

Говорилъ онъ громко, безъ стѣсненія. Бросивъ свою

папиросу, онъ то и дѣло складывалъ губы трубой, густо свисталъ, смотрѣлъ на всѣхъ до наглости смѣлыми глазами, и все въ немъ,—каждая косточка,—такъ ходуномъ и ходила отъ голоднаго безпокойства.

— Это бываетъ. Вообще, такъ называемое правосудіе есть въ большинствѣ случаевъ легонькая комедія, комедійка,—говорилъ онъ, передергивая плечами.—Сытые люди упражняются въ исправленіи порочныхъ наклонностей въ голодныхъ людяхъ... Въ судѣ бываю часто, но не видалъ, чтобы голодные сытаго судили... если же сытые сытаго и судятъ,—это они его за жадность. Дескать—не все сразу хватай, намъ оставляй.

— Говорится: сытый голоднаго не разумѣетъ,—сказалъ Илья.

— Пустяки!—возразилъ ему собесѣдникъ.—Великолѣпно разумѣетъ... оттого и строгъ...

— Ну, если сытый, да честный—ничего еще!—вполголоса говорилъ Илья—а когда сытый, да и подлый,—какъ можетъ онъ судить человѣка?

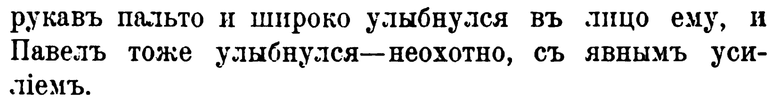
— Подлецы — самые строгіе судьи, — спокойно заявилъ черненькій человѣкъ.—Ну-съ, будемъ слушать дѣло о кражѣ.

— Знакомая моя...—тихо сказалъ Луневъ.

— А!—воскликнулъ человѣчекъ, мелькомъ взглянувъ на него.—Па-асмотримъ вашу знакомую...

Въ головѣ Ильи все путалось. Онъ хотѣлъ бы о многомъ спросить этого бойкаго человѣчка, сыпавшаго слова, какъ горохъ изъ лукошка, но въ человѣчкѣ было что-то непріятное, опасное, пугавшее Лунева. Въ то же время неподвижная мысль о Петрухѣ—судьѣ давила собою все въ немъ. Она какъ бы желѣзнымъ кольцомъ обвилась вокругъ его сердца, и всему остальному въ сердцѣ его стало тѣсно...

Когда онъ подошелъ къ двери зала, въ толпѣ предъ нею онъ увидалъ крутой затылокъ и маленькія уши Павла Грачева. Онъ обрадовался, дернулъ Павла за



рукавъ пальто и широко улыбнулся въ лицо ему, и Павелъ тоже улыбнулся—неохотно, съ явнымъ усиліемъ.

— Здравствуй!

— Здравствуй!

Они нѣсколько секундъ стояли другъ предъ другомъ молча и, должно быть, оба почувствовали въ эти секунды что-то, заставившее ихъ заговорить обоихъ сразу.

— Смотрѣть пришелъ? — спросилъ Павелъ, криво усмѣхаясь.

— А эта... здѣсь?—спросилъ Илья смущенно.

— Кто?

— А—твоя Софья Ник...

— Она не моя,—сухо отвѣтилъ Павелъ, перебивая его рѣчь.

Снова молча они вошли въ залъ.

— Садись рядомъ?—предложилъ Луневъ.

Павелъ замялся и отвѣтилъ:

— Видишь ли... я—въ компаніи...

— Ну... ладно...

— Ты—вотъ что,—оживленно заговорилъ Павелъ,—ты послушай, что будетъ защитникъ говорить...

— Послушаю...—тихо сказалъ Илья и еще тише добавилъ:—Ну, прощай, братъ...

— До свиданья! Увидимся!

Грачевъ повернулся и быстро отошелъ въ сторону. Илья смотрѣлъ вслѣдъ ему съ такимъ чувствомъ, какъ будто Павелъ крѣпко потеръ ему рукой своей ссадину на тѣлѣ. Горячая боль охватила его. И ему было завидно, непріятно видѣть на товарищѣ крѣпкое, новое пальто, видѣть, что лицо Павла за эти мѣсяцы стало здоровѣе, чище. На той скамьѣ, гдѣ сидѣлъ Павелъ, сидѣла и сестра Гаврика. Вотъ онъ сказалъ что-то, она быстро повернула голову къ Луневу. Увидавъ ея стремительное, подавшееся впередъ лицо, онъ отвернулся въ сторону,

и душа его еще болѣе плотно и густо окуталась темными чувствами обиды, злобы, недоумѣнія...

А уже привели Вѣру: она стояла за рѣшоткой въ сѣромъ халатѣ до пятъ, въ бѣломъ платочкѣ. Золотая прядь волосъ лежала на ея лѣвомъ вискѣ, щека была блѣдная, губы плотно сжаты, и лѣвый глазъ ея, широко раскрытый, неподвижно и серьезно смотрѣлъ на Громова.

— Да... да... нѣтъ, да...—тускло звучалъ ея голосъ въ ушахъ Ильи.

Громовъ смотрѣлъ на нее ласково, говорилъ съ ней не громко, мягко, точно котъ мурлыкалъ.

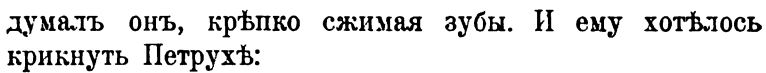
— А признаете вы, Капитанова, виновной себя въ томъ, что въ ночь...—подползалъ къ Вѣрѣ его гибкій и сочный голосъ.

Луневъ взглянулъ на Павла, тотъ сидѣлъ согнувшись, низко опустивъ голову, и мялъ въ рукахъ шапку. А его сосѣдка держалась прямо и смотрѣла такъ, точно она сама судила всѣхъ,—и Вѣру, и судей, и публику. Голова ея то и дѣло повертывалась изъ стороны въ сторону, губы были брезгливо поджаты, а гордые глаза блестѣли изъ-подъ нахмуренныхъ бровей холодно и строго...

— Признаю,—сказала Вѣра. Голосъ ея задребезжалъ, и звукъ его былъ похожъ на ударъ по тонкой чашкѣ, въ которой есть трещина.

Двое присяжныхъ, Додоновъ и его сосѣдъ, рыжій, бритый человѣкъ,—наклонивъ другъ къ другу головы, беззвучно шевелили губами, а глаза ихъ, разсматривая дѣвушку, улыбались. Петруха Филимоновъ подался всѣмъ тѣломъ впередъ, держась руками за свое кресло: лицо у него еще болѣе покраснѣло, усы шевелились. Еще многіе изъ присяжныхъ смотрѣли на Вѣру и всѣ— съ тѣмъ особеннымъ вниманіемъ, которое было понятно Луневу, противно ему и возбуждало въ немъ негодованіе.

— Судятъ, а сами щупаютъ ее глазищами-то,—



думалъ онъ, крѣпко сжимая зубы. И ему хотѣлось крикнуть Петрухѣ:

— Ты, жуликъ! О чемъ думаешь? Гдѣ сидишь? Что дѣлать долженъ?..

Къ горлу его подкатывалось что-то удушливое, тяжелый шаръ, затруднявшій дыханіе...

— Скажите мнѣ... э, Капитанова,—лѣниво двигая языкомъ и выкативъ глаза, какъ баранъ, страдающій отъ жары, говорилъ прокуроръ—да-авно вы... занимаетесь проституціей?

Вѣра провела рукой по лицу, точно этотъ вопросъ приклеился къ ея покраснѣвшимъ щекамъ.

— Давно.

Она отвѣтила твердо. Въ публикѣ раздался шопотъ, какъ будто змѣи поползли. Грачевъ наклонился еще ниже, точно хотѣлъ спрятаться, и все мялъ картузъ.

— Какъ именно давно?

Вѣра молчала, глядя въ лицо Громова широко раскрытыми глазами серьезно, строго...

— Годъ? Два? Пять? — настойчиво допрашивалъ прокуроръ.

Она все молчала. Сѣрая, какъ изъ камня вырубленная, дѣвушка стояла неподвижно, только концы платка на груди ея вздрагивали.

— Вы имѣете право не отвѣчать, если не хотите,— сказалъ Громовъ, поглаживая усы.

Тутъ вскочилъ адвокатъ, худенькій человѣкъ съ острой бородкой и продолговатыми глазами. Носъ у него былъ тонкій и длинный, а затылокъ широкій, отчего лицо его похоже было на топоръ.

— Скажите, Капитанова, что заставляло васъ заниматься... этимъ ремесломъ?—спросилъ онъ звонко и рѣзко.

— Ничто не заставляло,—отвѣтила Вѣра, глядя на судей.

— Мм... это не совсѣмъ такъ... Видите ли... мнѣ извѣстно... вы разсказывали мнѣ...

— Ничего вамъ неизвѣстно,—сказала Вѣра. Она повернула къ нему голову и, строго взглянувъ на него, продолжала сердито, съ неудовольствіемъ въ голосѣ:

— Ничего я вамъ не разсказывала...

Быстро окинувъ публику однимъ взглядомъ, она обернулась къ судьямъ и спросила, кивая головой на защитника:

— Можно не разговаривать съ нимъ?

Снова въ залѣ поползли змѣи, теперь уже громче и явственнѣе.

Илья дрожалъ отъ напряженія и смотрѣлъ на Грачева.

Онъ ждалъ отъ него чего-то, увѣренно ждалъ. Но Павелъ, выглядывая изъ-за плеча человѣка, сидѣвшаго впереди его, молчалъ, не шевелился. Громовъ, улыбаясь, говорилъ что-то скользкими масляными словами... Потомъ негромко и твердо стала говорить Вѣра...

— Просто,—разбогатѣть захотѣла... и взяла, вотъ и все... А больше ничего не было... и всегда была такая...

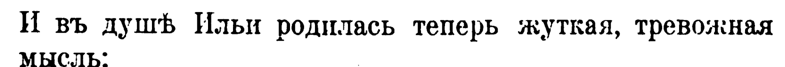
Присяжные стали перешептываться другъ съ другомъ: лица у нихъ нахмурились, и на лицахъ судей тоже явилось что-то недовольное. Въ залѣ стало тихо; съ улицы донесся мѣрный и тупой шумъ шаговъ по камнямъ,—шли солдаты.

— Въ виду сознанія подсудимой, полагалъ бы...— говорилъ прокуроръ.

Илья чувствовалъ, что не можетъ больше сидѣть тутъ. Онъ всталъ, шагнулъ...

— Тиш-ше!—громко замѣтилъ приставъ.

Тогда онъ снова сѣлъ и, какъ Павелъ, тоже низко наклонилъ голову. Онъ не могъ видѣть красное лицо Петрухи, теперь важно надутое, точно обиженное чѣмъ-то, а въ неизмѣнно ласковомъ Громовѣ, за благодушіемъ судьи, онъ чувствовалъ холодное сердце и понималъ, что этотъ веселый человѣкъ привыкъ судить людей, какъ столяръ привыкаетъ деревяшки строгать.



И въ душѣ Ильи родилась теперь жуткая, тревожная мысль:

— Сознайся я—и меня такъ же вотъ будутъ... Петруха будетъ судить... меня—въ каторгу, а самъ останется...

Онъ остановился на этихъ думахъ и сидѣлъ, ни на кого не глядя, ничего не слушая.

— Н...не хочу я, чтобы говорили объ этомъ!—раздался дрожащій, обиженный крикъ Вѣры, и она завыла, завизжала, хватая руками грудь свою, сорвавъ съ головы платокъ.

Мутный шумъ наполнилъ залу. Все въ ней засуетилось отъ криковъ дѣвушки, а она, какъ обожженная, металась за рѣшоткой и рыдала, надрывая душу.

Илья вскочилъ и бросился впередъ, но публика шла навстрѣчу ему, и какъ-то незамѣтно для себя онъ очутился въ коридорѣ.

— Обнажили душу,—услыхалъ онъ голосъ черненькаго человѣка.

Павелъ Грачевъ, блѣдный и растрепанный, стоялъ у стѣны, челюсть у него тряслась. Илья подошелъ къ нему и угрюмо, злыми глазами, заглянулъ въ лицо товарища.

— Что? Каково?—спросилъ онъ.

Павелъ взглянулъ на него, открылъ ротъ и не сказалъ ни слова.

— Погубилъ человѣка?—продолжалъ Луневъ. Тогда Павелъ вздрогнулъ, будто его кнутомъ ударили, поднялъ руку, положилъ ее на плечо Лунева и возбужденно заговорилъ:

— Развѣ я? Мы еще подадимъ жалобу...

Илья стряхнулъ съ плеча его руку и хотѣлъ сказать ему:

— Ты! Не закричалъ, небойсь, что для тебя она украла, но вмѣсто этого онъ сказалъ: — а судитъ Филимоновъ Петрушка... Правильно это, а?—и усмѣхнулся.

Павелъ выпрямился, лицо его вспыхнуло и онъ торопливо началъ говорить что-то, но Луневъ, не слушая, кивнулъ головой и отошелъ прочь. Такъ, съ усмѣшкой на лицѣ, онъ вышелъ на улицу и медленно зашагалъ куда-то, чувствуя себя туго связаннымъ какими-то невидимыми веревками. Тоска тяжелымъ камнемъ лежала въ его груди: отъ нея ему было холодно,—она мѣшала думать; и вплоть до вечера безцѣльно, какъ бродячая собака, онъ шлялся изъ улицы въ улицу, усталый и голодный. Не зарождалось въ немъ никакихъ желаній, и ничего онъ не замѣчалъ до поры, пока не почувствовалъ, что его тошнитъ отъ голода.

Было уже темно. Въ окнахъ домовъ зажигались огни, на улицу падали широкія, желтыя полосы свѣта, а въ нихъ лежали тѣни цвѣтовъ, стоявшихъ на окнахъ Луневъ остановился и, глядя на узоры этихъ тѣней, вспомнилъ о цвѣтахъ въ квартирѣ Громова, о его женѣ, похожей на королеву изъ сказки, о печальныхъ пѣсняхъ, которыя не мѣшаютъ смѣяться... Кошка, осторожными шагами, отряхивая лапки, перешла улицу.

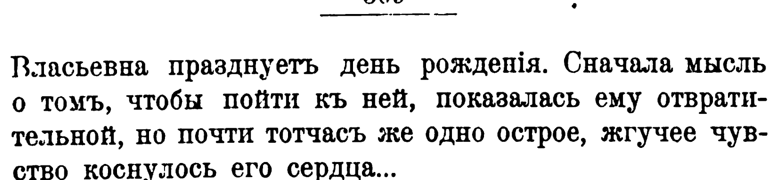
Онъ тоже пошелъ и, дойдя до перекрестка, снова остановился. Одинъ изъ домовъ на углахъ былъ ярко освѣщенъ, и въ немъ играла музыка.

— Пойду въ трактиръ, — рѣшилъ Илья и вышелъ на средину мостовой.

— Берегись!—крикнули ему. Черная морда лошади мелькнула у его лица и обдала его теплымъ дыханіемъ... Онъ прыгнулъ въ сторону, прислушался къ ругани извозчика и пошелъ прочь отъ трактира.

„Легковой извозчикъ до смерти не задавитъ,—спокойно подумалъ онъ. — Надо поѣсть... А Вѣра теперь ужъ совсѣмъ пропадетъ... Тоже гордая... Про Пашку не захотѣла сказать... видитъ, что некому сказать-то... Она лучше всѣхъ... Олимпіада бы... Нѣтъ, Олимпіада тоже ничего... а, вотъ Танька...“

Тутъ ему вспомнилось, что именно сегодня Татьяна



Власьевна празднуетъ день рожденія. Сначала мысль о томъ, чтобы пойти къ ней, показалась ему отвратительной, но почти тотчасъ же одно острое, жгучее чувство коснулось его сердца...

Крикнувъ извозчика, онъ поѣхалъ и черезъ нѣсколько минутъ, прищуривая глаза отъ свѣта, стоялъ въ двери столовой Автономовыхъ, тупо улыбался и смотрѣлъ на людей, тѣсно сидѣвшихъ вокругъ стола въ большой комнатѣ.

— А-а! Явился еси...—воскликнулъ Кирикъ.—Конфектъ принесъ? Подарокъ новорожденной, а? Что жъ ты, братецъ мой?

— Откуда вы?—спросила хозяйка.

Но Кирикъ схватилъ его за рукавъ и повелъ вокругъ стола, знакомя съ гостями. Луневъ пожималъ чьи-то теплыя руки, а лица гостей слились въ его глазахъ въ одно длинное, холодно и вѣжливо улыбающееся лицо съ большими зубами. Запахъ жаренаго щекоталъ ему ноздри, трескучій разговоръ женщинъ звучалъ въ его ушахъ, какъ шумъ дождя, а глазамъ было жарко: тупая боль мѣшала ему двигать ими, и какой-то пестрый туманъ застилалъ ихъ. Когда онъ сѣлъ, то почувствовалъ, что у него отъ усталости ломитъ ноги, и голодъ сосетъ его внутренности. Онъ молча взялъ кусокъ хлѣба и сталъ ѣсть. Кто-то изъ гостей громко фыркнулъ, въ то же время Татьяна Власьевна замѣтила ему:

— Вы не хотите меня поздравить? Хорошъ! Пришелъ, не сказалъ ни слова, усѣлся и ѣстъ...

Подъ столомъ она сильно толкнула ногой его ногу и наклонила лицо надъ чайникомъ, доливая его. Вмѣстѣ со звукомъ льющейся воды Илья услыхалъ ея тихій шопотъ:

— Веди себя прилично...

Тогда онъ положилъ кусокъ хлѣба на столъ, крѣпко потеръ себѣ руки и громко сказалъ:

— А я цѣлый день въ судѣ просидѣлъ...

Его голосъ покрылъ шумъ разговора. Гости замолчали. Луневъ сконфузился, чувствуя ихъ взгляды на лицѣ своемъ, и тоже исподлобья оглядѣлъ ихъ. На него смотрѣли недовѣрчиво, точно каждый сомнѣвался въ томъ, что этотъ широкоплечій, курчавый парень можетъ сказать что-нибудь интересное. Неловкое молчаніе наступило въ комнатѣ. Обрывки какихъ-то мыслей кружились въ головѣ Ильи,—безсвязныя, сѣрыя, онѣ вдругъ точно провалились куда-то, исчезая во тьмѣ его души.

— Въ судѣ иногда очень любопытно,—кислымъ голосомъ замѣтила Фелицата Егоровна Грызлова и, взявъ коробку съ мармеладомъ, стала ковырять въ ней щипчиками.

На щекахъ Татьяны Власьевны вспыхнули красныя пятна, а Кирикъ громко высморкался и сказалъ:

— Что жъ ты, братецъ, замахнулся, а не бьешь? Ну, былъ въ судѣ...

— Конфужу я ихъ,—сообразилъ Илья, и губы его медленно раздвинулись въ улыбку. Гости снова заговорили сразу въ нѣсколько голосовъ.

— Я однажды слушалъ въ судѣ дѣло объ убійствѣ,—разсказывалъ молодой телеграфистъ, блѣдный, черноглазый, съ маленькими усиками.

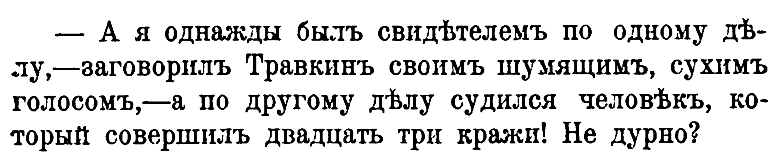
— Я ужасно люблю читать и слушать про убійства!—воскликнула Травкина. А ея мужъ посмотрѣлъ на всѣхъ и сказалъ:

— Гласный судъ—благодѣтельное учрежденіе...

— Судился мой товарищъ Евгеніевъ... Онъ, видите ли, стоя на дежурствѣ у денежнаго ящика, шутилъ съ мальчикомъ да вдругъ и застрѣлилъ его...

— Ахъ, ужасъ какой! — вскричала Татьяна Власьевна.

— Наповалъ!—съ какимъ-то удовольствіемъ добавилъ телеграфистъ.



— А я однажды былъ свидѣтелемъ по одному дѣлу,—заговорилъ Травкинъ своимъ шумящимъ, сухимъ голосомъ,—а по другому дѣлу судился человѣкъ, который совершилъ двадцать три кражи! Не дурно?

Кирикъ громко захохоталъ. Публика раздѣлилась на двѣ группы: одни слушали разсказъ телеграфиста объ убійствѣ мальчика, другіе—скучное сообщеніе Травкина о человѣкѣ, совершившемъ двадцать три кражи. Илья наблюдалъ за хозяйкой, чувствуя, что въ немъ тихо разгорается какой-то огонекъ,—онъ еще ничего не освѣщаетъ, но уже настойчиво жжетъ сердце. Съ той минуты, когда Луневъ понялъ, что Автономовы опасаются, какъ бы онъ не сконфузилъ ихъ предъ гостями, его мысли становились стройнѣе, какъ будто онъ нашелъ нѣчто объединявшее ихъ.

Татьяна Власьевна хлопотала въ другой комнатѣ около стола, уставленнаго бутылками. Алая шелковая кофточка яркимъ пятномъ рисовалась на бѣлыхъ обояхъ стѣны, маленькая, туго затянутая въ корсетъ, женщина носилась по комнатѣ, подобно бабочкѣ, и на лицѣ у нея сіяла гордость домовитой хозяйки, у которой все идетъ прекрасно. Раза два Илья видѣлъ, что она ловкими, едва замѣтными знаками зоветъ его къ себѣ, но онъ не шелъ къ ней и чувствовалъ удовольствіе отъ сознанія, что это безпокоитъ ее.

— Что, братъ, сидишь, какъ сычъ? — вдругъ обратился къ нему Кирикъ.—Говори что-нибудь... не стѣсняйся... здѣсь люди образованные, они, въ случаѣ чего, не взыщутъ съ тебя.

— Судили сегодня,—сразу началъ Илья громкимъ голосомъ,—дѣвушку одну, знакомую мнѣ... она изъ гулящихъ, но хорошая дѣвушка...

Онъ снова обратилъ на себя общее вниманіе, снова всѣ гости уставились на него. Большіе зубы Фелицаты Егоровны обнажились отъ широкой и насмѣшливой улыбки, телеграфистъ, закрывъ ротъ рукою, началъ по-

кручивать усики, почти всѣ старались казаться серьезными, внимательно слушающими. Шумъ ножей и вилокъ, вдругъ разсыпанныхъ Татьяной Власьевной, отозвался въ сердцѣ Ильи громкой, боевой музыкой... Онъ спокойно обвелъ лица гостей широко раскрытыми глазами и продолжалъ:

— Вы что улыбаетесь? Среди нихъ есть очень хорошія...

— Есть-то есть,—перебилъ его Кирикъ,—только ты не тово... не очень откровенно...

— Вы люди образованные,—сказалъ Илья,—обмолвлюсь, не взыщите.

Въ немъ вдругъ точно вспыхнулъ цѣлый снопъ яркихъ искръ. Онъ улыбался острой улыбочкой, и сердце его замирало въ живой игрѣ словъ, внезапно рожденныхъ его умомъ.

— Украла эта дѣвушка деньги у одного купца...

— Часъ отъ часу не легче,—воскликнулъ Кирикъ, комически сморщивши лицо, и уныло покачалъ головой.

— Сами понимаете, когда и какъ могла она украсть... а можетъ, еще и не украла, а подарокъ взяла...

— Таничка!—вскричалъ Кирикъ.—Иди сюда! Тутъ Илья такіе анекдоты разводитъ...

Но Татьяна Власьевна уже стояла рядомъ съ Ильей. Натянуто улыбаясь, она проговорила, пожимая плечиками:

— Что жъ такое? Очень обыкновенно все... ты знаешь такихъ исторій сотни... барышень здѣсь нѣтъ... Но—это послѣ... а пока—пожалуйте закусить, господа!

— Прошу!—закричалъ Кирикъ.—И я съ вами закушу, хе-хе! Не фигуренъ каламбурчикъ, а веселенькій...

— Аппетитъ возбуждаетъ...—сказалъ Травкинъ и погладилъ себѣ горло.

Всѣ отвернулись отъ Ильи. Онъ понялъ, что гости

не желаютъ его слушать, потому что хозяева этого не хотятъ, и это еще болѣе возбудило его. Вставши со стула и обращаясь ко всѣмъ, онъ продолжалъ:

— И вотъ судятъ эту дѣвицу люди, которые, можетъ, сами не разъ пользовались ею... а нѣкоторые изъ нихъ извѣстны мнѣ... И жуликами назвать ихъ—мало...

— Позвольте!—строго сказалъ Травкинъ, поднимая палецъ кверху.—Такъ нельзя-съ! Это—присяжные засѣдатели... и я самъ...

— Вотъ—присяжные!—воскликнулъ Илья.—Но могутъ ли они справедливы быть, ежели...

— Па-азвольте-съ! Судъ присяжныхъ есть, такъ сказать, великая реформа, введенная на всеобщую пользу императоромъ Александромъ Вторымъ-съ! Какъ можете вы подвергать поношенію учрежденіе государственное-съ?

Онъ хрипѣлъ въ лицо Ильѣ, и его жирныя бритыя щеки вздрагивали, а глаза вращались справа налѣво и обратно. Всѣ окружили ихъ тѣсной толпой и стояли въ дверяхъ, охваченные пріятнымъ предчувствіемъ скандала. Филицата Егоровна снисходительно, сверху внизъ, смотрѣла на хозяйку, а хозяйка, блѣдная и встревоженная, дергала гостей за рукава, торопливо восклицая:

— Ахъ, господа, оставимъ это! Право же не интересно!—Кирикъ, да попроси же...

Кирикъ растерянно хлопалъ глазами и просилъ:

— Пожалуйста!.. ну ихъ къ Богу, реформы, проформы и всю эту философію...

— Это не философія, а по-ли-ти-ка-съ!—хрипѣлъ Травкинъ,—и люди, разсуждающіе подобнымъ образомъ, именуются по-ли-ти-че-ски не-благо-надежными-съ!

Горячій вихрь охватилъ Илью. Любо ему было стоять противъ толстенькаго человѣчка съ мокрыми губами на бритомъ лицѣ и смотрѣть, какъ онъ сердится. Сознаніе, что Автономовы сконфужены предъ гостями

глубоко, пріятно радовало его. Онъ становился все спокойнѣе, стремленіе идти въ разрѣзъ съ этими людьми, говорить имъ дерзкія слова, злить ихъ до бѣшенства, это стремленіе расправлялось въ немъ, какъ стальная пружина, и поднимало его на какую-то пріятную и страшную высоту. Онъ становился все спокойнѣе, все тверже звучалъ его голосъ.

— Называйте меня, какъ желательно вамъ,—вы, человѣкъ образованный, но я отъ своего не отступлюсь!.. Разумѣетъ ли сытый голоднаго?.. Пусть голодный—воръ, но и сытый—воръ...

— Кирикъ Никодимовичъ?—захрипѣлъ Травкинъ.—Я... что такое? Это-съ...

Но въ это время Татьяна Власьевна просунула свою руку подъ его и, увлекая за собой возмущеннаго человѣка, стала громко говорить ему:

— Любимыя ваши тартинки,—селедка, яйца въ крутую и зеленый лукъ, растертый со сливочнымъ масломъ...

— М-да! Это... я знаю-съ!—обиженно воскликнулъ Травкинъ, громко чмокнувъ губами. Его жена уничтожающе посмотрѣла на Илью и, подхвативъ мужа подъ другую руку, сказала ему:

— Не волнуйся, Антонъ, изъ-за пустяковъ...

А Татьяна Власьевна продолжала успокаивать дорогого гостя:

— Стерлядки маринованныя съ помидорами...

— Не хорошо, молодой вы человѣкъ!—вдругъ обернувши голову къ Ильѣ и упираясь ногами въ полъ, заговорилъ Травкинъ укоризненно и великодушно.—Надо умѣть цѣнить... надо понимать, да-съ!

— А я не понимаю!—воскликнулъ Илья.—Оттого и говорю... Почему Петрушка Филимоновъ хозяинъ жизни?...

Гости проходили мимо Лунева, стараясь не коснуться его платьемъ и не глядя на него. А Кирикъ подошелъ вплоть къ нему и сказалъ грубо, обиженно:

— Чортъ тебя дери, болванъ ты — и больше ничего.

Илья вздрогнулъ, у него потемнѣло въ глазахъ, какъ отъ удара по головѣ, и, крѣпко сжимая кулаки, онъ шагнулъ къ Автономову. Но Кирикъ быстро отвернулся отъ него, не замѣтивъ его движенія, и прошелъ къ закускѣ. Илья тяжело вздохнулъ... .

Стоя въ двери, онъ видѣлъ спины людей, тѣсно стоявшихъ у стола, слышалъ, какъ они чавкаютъ. У нихъ двигались скулы. Алая кофточка хозяйки окрашивала все вокругъ Ильи въ цвѣтъ красный, тусклый, застилавшій глаза туманомъ.

— Мм!.. — мычалъ Травкинъ. — Это удивительно вкусно... удивительно...

— Хотите перцу?—спросила хозяйка нѣжнымъ голосомъ.

— Я тебѣ задамъ перцу!—съ холодной злобой рѣшилъ Луневъ и, высоко вскинувъ голову, въ два шага стоялъ у стола. Схвативъ чей-то стаканчикъ краснаго вина, онъ протянулъ его Татьянѣ Власьевнѣ и внятно, точно желая ударить словами, сказалъ ей:

— Выпьемъ, Танька!..

Это подѣйствовало на всѣхъ такъ, какъ будто что-то оглушительно треснуло, или огонь въ комнатѣ погасъ; и всѣхъ сразу охватила густая тьма—и люди замерли въ этой тьмѣ, кто какъ стоялъ. Открытые рты, съ кусками пищи въ нихъ, были какъ гнойныя раны на испуганныхъ, недоумѣвающихъ лицахъ этихъ людей.

— Выпьемъ, ну! Кирикъ Никодимовичъ, скажи моей любовницѣ, чтобы пила она со мной! Пила бы не стѣсняясь... Что тамъ?.. Зачѣмъ все втихомолку пакостничать? Будемъ открыто! Вотъ я рѣшилъ—открыто, чтобы...

— Негодяй!—рѣзкимъ, визгливымъ голосомъ крикнула женщина.

Илья видѣлъ, какъ она взмахнула рукой, и отбилъ

кулакомъ въ сторону тарелку, брошенную сю. Трескъ разбитой тарелки какъ будто еще болѣе оглушилъ гостей. Медленно, беззвучно они отодвигались въ стороны, оставляя Илью лицомъ къ лицу съ Автономовыми. Кирикъ держалъ въ рукѣ какую-то рыбку за хвостъ и мигалъ глазами, блѣдный, жалкій и тупой. Татьяна Власьевна дрожала, грозя Ильѣ кулаками; лицо ея сдѣлалось такого же цвѣта, какъ кофточка, и языкъ не выговаривалъ словъ:

— Ты-ы... вреш-шь... вреш-шь...—шипѣла она, вытягивая шею къ Ильѣ.

— А хочешь—я скажу, какова ты нагая?—спокойно говорилъ Илья.—Сама же ты всѣ родинки твои мнѣ показала... Мужъ узнаетъ, вру я, или нѣтъ...

Раздался чей-то подавленный смѣхъ и тихое восклицаніе. Автономова взмахнула руками, схватила себя за шею и безъ звука упала на стулъ.

— Полицію!—крикнулъ телеграфистъ. Кирикъ обернулся къ нему и вдругъ, наклонивъ голову, пошелъ, какъ быкъ, на Лунева.

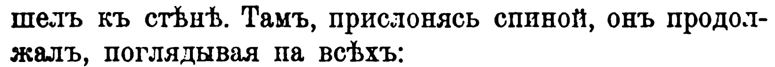
Илья вытянулъ руку, толкнулъ его въ голову и сурово сказалъ:

— Куда? Ты сырой... я ударю тебя—свалишься... Ты—слушай... И вы всѣ тоже—слушайте... Вамъ правды негдѣ услыхать.

Но, отшатнувшись отъ Ильи, Кирикъ снова нагнулъ голову и пошелъ на него. Гости молча смотрѣли. Никто не двинулся съ мѣста, только Травкинъ, ступая на носки сапогъ, тихо отошелъ въ уголъ, сѣлъ тамъ на лежанку и, сложивъ руки ладонями, сунулъ ихъ между колѣнъ.

— Смотри, ударю!—угрюмо предупреждалъ Илья Кирика. — Мнѣ обижать тебя не за что! Ты — глупый... безвредный... Я не видалъ худого отъ тебя... отойди!

Онъ снова оттолкнулъ его уже сильнѣе и самъ ото-



шелъ къ стѣнѣ. Тамъ, прислонясь спиной, онъ продолжалъ, поглядывая на всѣхъ:

— Твоя жена сама на шею мнѣ бросилась. Она вотъ умная... Подлѣе ея женщины на свѣтѣ нѣтъ! Но и вы тоже—всѣ подлецы. Я въ судѣ былъ... научился судить...

Онъ такъ много хотѣлъ сказать, что не могъ привести въ порядокъ мыслей своихъ и кидалъ ими, какъ обломками камней.

— Я вѣдь не Таньку обличаю... Это такъ вышло... само собой... у меня всю жизнь все само собой выходило... Я даже человѣка удушилъ нечаянно... Не хотѣлъ, а удушилъ. Танька! На тѣ самыя деньги, которыя я у человѣка убитаго взялъ, мы съ тобой и торгуемъ...

— Онъ сумасшедшій!—радостно крикнулъ Кирикъ и, прыгая по комнатѣ отъ одного къ другому, онъ кричалъ тревожно и радостно:

— Видите? Слышите? Сошелъ съ ума!.. Ахъ, Илья!.. ахъ ты! А-ахъ, жалко, братецъ!

Илья громко захохоталъ. Ему стало еще легче и спокойнѣе, когда онъ сказалъ про убійство. Онъ стоялъ, не чувствуя подъ собою пола, какъ на воздухѣ, и ему казалось, что онъ тихо поднимается все выше. Плотный, крѣпкій, онъ выгнулъ грудь впередъ и высоко вскинулъ голову. Курчавые волосы осыпали его большой блѣдный лобъ и виски, глаза смотрѣли насмѣшливо и зло..

Татьяна встала, пошатываясь подошла къ Фелицатѣ Егоровнѣ и вздрагивающимъ голосомъ говорила ей:

— Я видѣла давно... онъ давно уже... дикіе глаза... страшный...

— Если сошелъ съ ума, нужно позвать полицію,—внушительно сказала Фелицата, присматриваясь къ лицу Лунева.

— Сошелъ, сошелъ!—кричалъ Кирикъ.

— Перебьетъ всѣхъ еще...—прошепталъ Грызловъ, безпокойно оглядываясь. Они боялись выйти изъ комнаты.

Луневъ стоялъ рядомъ съ дверью, и нужно было идти мимо него. Онъ все смѣялся. Ему пріятно было видѣть, что эти люди боятся его; глядя на нихъ, онъ замѣчалъ и то, что гостямъ не жалко Автономовыхъ, что они съ удовольствіемъ стали бы всю ночь слушать его издѣвательства надъ любовницей, еслибъ не боялись его.

— Я не сумасшедшій,—заговорилъ онъ, сурово сдвигая брови, — только вы погодите, постойте. Я васъ не пущу никуда... а броситесь на меня, — бить буду... на смерть... Я сильный...

Протянувъ свою длинную руку съ большимъ крѣпкимъ кулакомъ на концѣ, онъ потрясъ имъ въ воздухѣ и опустилъ руку.

— Скажите мнѣ—что вы за люди? Зачѣмъ живете? Крохоборы вы... сволочь какая-то...

— Ты!—крикнулъ Кирикъ.—Молчать!..

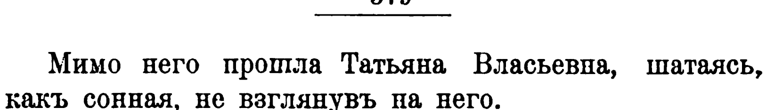
— Самъ молчи! А я поговорю... Я вотъ смотрю на васъ,—жрете вы, пьете, обманываете другъ друга... никого не любите... чего вамъ надо? Я—порядочной жизни искалъ, чистой... нигдѣ ея нѣтъ! Только самъ испортился... Хорошему человѣку нельзя съ вами жить—сгніетъ. Вы хорошихъ людей до смерти забиваете... Я вотъ—злой, сильный, да и то среди васъ, какъ слабая кошка среди тысячи крысъ въ темномъ погребѣ... Вы—вездѣ... и судите, и рядите, и законы ставите... Гады, однако, вы...

Въ это время телеграфистъ отскочилъ отъ стѣны, какъ мячъ, и бросился вонъ изъ комнаты, проскользнувъ мимо Лунева.

— Эхъ! упустилъ одного!—сказалъ Илья, усмѣхаясь.

— За полиціей!—крикнулъ телеграфистъ.

— Ну, зови! Все равно...—сказалъ Илья.



Мимо него прошла Татьяна Власьевна, шатаясь, какъ сонная, не взглянувъ на него.

— Ушибъ! — продолжалъ Луневъ, кивая на нее головой.—Она стоитъ того... гадина...

— Молчать!—крикнулъ Автономовъ изъ угла. Тамъ онъ стоялъ на колѣняхъ и рылся въ какомъ-то сундукѣ.

— Не кричи, дурачокъ! — отвѣтилъ ему Илья, усаживаясь на стулъ и скрестивъ руки на груди. — Что кричишь? Вѣдь я жилъ съ ней, знаю ее... И человѣка я убилъ... Купца Полуэктова... Помнишь, я съ тобой не одинъ разъ про Полуэктова заговаривалъ? Это потому, что я его удушилъ... А, ей-Богу, на его деньги магазинъ-то открытъ...

— Илья оглядѣлъ комнату. У стѣнъ ея молча стояли испуганные жалкіе люди. Онъ почувствовалъ въ груди презрѣніе къ нимъ, обидѣлся на себя за то, что сказалъ имъ объ убійствѣ и крикнулъ:

— Вы думаете—каюсь я передъ вами? Дожидайтесь. Смѣюсь я надъ вами, вотъ что.

Изъ угла выскочилъ Кирикъ, красный, растрепанный. Онъ размахивалъ какимъ-то револьверомъ и, дико вращая глазами, кричалъ:

— Теперь не уйдешь! Ага-а!.. Ты—убилъ?

Женщины ахнули. Травкинъ, сидя на лежанкѣ, заболталъ ногами и захрипѣлъ:

— Господа-а! Я больше... не могу! Отпустите... Это ваше семейное дѣло...

Но Автономовъ не слышалъ его голоса. Онъ прыгалъ предъ Ильей, совалъ въ него револьверомъ и оралъ:

— Каторга! Мы тебѣ покажемъ!..

— Да вѣдь и пистолетишко-то, чай, не заряженъ?— спросилъ его Илья, равнодушно, усталыми глазами глядя на него. — Что ты бѣсишься? Я не ухожу... Некуда мнѣ идти... Каторгой грозишь? Ну... каторга, такъ каторга...

— Антонъ, Антонъ! — раздавался громкій шопотъ жены Травкина,—иди...

— Я не могу, матушка...

Она взяла его подъ руку. Рядомъ другъ съ другомъ, они прошли мимо Ильи, наклонивъ головы. Въ сосѣдней комнатѣ рыдала Татьяна Власьевна, взвизгивая и захлебываясь.

Въ груди Лунева какъ-то вдругъ выросла пустота— темная, холодная, а въ ней, какъ тусклый мѣсяцъ на осеннемъ небѣ, всталъ холодный вопросъ:

— А дальше что?

— Вотъ и вся моя жизнь оборвалась!—сказалъ онъ задумчиво и негромко.—И пожалѣть не о чемъ... Кто меня изломалъ?

Автономовъ стоялъ предъ нимъ и торжествуя вскрикивалъ:

— Не разжалобишь!

— Да я и не пытаюсь... чортъ васъ всѣхъ возьми! Я самъ скорѣе собаку пожалѣю, чѣмъ васъ... Вотъ если бы могъ я... уничтожить васъ... всѣхъ! Ну, что еще не идетъ полиція? Скушно мнѣ стало... Ты бы, Кирикъ, прочь отошелъ, а то глядѣть на тебя противно...

Ему дѣйствительно было противно и тошно сидѣть противъ Автономова.

Гости вышли изъ комнаты,—тихонько выползли изъ нея, пугливо взглядывая на Илью. Онъ видѣлъ, какъ мимо него проплываютъ сѣрыя пятна, но они не возбуждали въ немъ ни мысли, ни чувства. Пустота въ душѣ его росла и проглатывала все. Онъ помолчалъ съ минуту, вслушиваясь въ крики Автономова, и вдругъ съ усмѣшкой предложилъ ему:

— Давай, Кирикъ, поборемся?

— Пулю въ башку!—заревѣлъ Кирикъ.

— Да нѣтъ у тебя пули! — насмѣшливо возразилъ Луневъ и увѣренно добавилъ:

— А какъ бы я тебя шлепнулъ!

Потомъ, оглянувъ публику, онъ просто, ровнымъ голосомъ сказалъ:

— Кабы зналъ я, какой силой раздавить васъ можно! Нашелъ бы я эту силу... нашелъ бы! Но не знаю ее...

И послѣ этихъ словъ уже не говорилъ ничего, сидя неподвижно и ничего не ожидая...

Наконецъ пришли двое полицейскихъ съ околоточнымъ.

А сзади нихъ явилась Татьяна Власьевна и, протянувъ къ Ильѣ руку, сказала задыхающимся голосомъ:

— Онъ сознался намъ... въ томъ, что убилъ мѣнялу Полуэктова... тогда, помните?

— Можете подтвердить? — быстро спросилъ околоточный.

— Что жъ? Можно и подтвердить...—отвѣтилъ Луневъ, спокойно и устало. — Прощай, Танька... не безпокойся... не бойся... а, впрочемъ... ну васъ всѣхъ къ чорту!

Околоточный сѣлъ за столъ и началъ что-то писать, полицейскіе стояли по бокамъ Лунева; онъ посмотрѣлъ на нихъ и, тяжело вздохнувъ, опустилъ голову. Стало тихо, скрипѣло перо на бумагѣ, за окнами ночь воздвигала непроницаемо черныя стѣны. У одного окна стоялъ Кирикъ и смотрѣлъ во тьму, вдругъ онъ бросилъ револьверъ въ уголъ комнаты и сказалъ околоточному:

— Савельевъ! Дай ему по шеѣ и отпусти, — онъ сумасшедшій.

Околоточный взглянулъ на Кирика, подумалъ и отвѣтилъ:

— Н-нельзя ужъ... эдакое заявленіе... помощникъ знаетъ...

— Эхъ...— вздохнулъ Автономовъ.

— Добрый ты, Кирикъ Никодимычъ!—презрительно

усмѣхаясь, сказалъ Илья.—Собаки вотъ есть такія—ее бьютъ, а она ласкается... А можетъ, ты не жалѣешь меня, а боишься, что я на судѣ про жену твою говорить буду? Не бойся... этого не будетъ! мнѣ и думать про нее стыдно, не то что говорить...

Автономовъ быстро вышелъ въ сосѣднюю комнату и тамъ шумно усѣлся на стулъ.

— Ну-съ, вотъ,—заговорилъ околоточный, обращаясь къ Ильѣ,—бумажку эту можете подписать?

— Могу...

Онъ взялъ перо и, не читая бумаги, вывелъ на ней крупными буквами: Илья Луневъ. А когда поднялъ голову, то увидалъ, что околоточный смотритъ на него съ удивленіемъ. Нѣсколько секундъ они молча разглядывали другъ друга,—одинъ, заинтересованный и чѣмъ-то довольный, другой, равнодушный, спокойный.

— Совѣсть замучила?—спросилъ околоточный вполголоса.

— Совѣсти нѣтъ,—твердо отвѣтилъ Илья.

Помолчали. Потомъ изъ сосѣдней комнаты раздался голосъ Кирика:

— Онъ съ ума сошелъ...

— Пойдемте! — предложилъ околоточный, передернувъ плечами.—Рукъ связывать вамъ не буду... только вы не тово... не убѣгайте! Часть не далеко, подъ горой.

— Куда бѣжать?—кратко спросилъ Илья.

— Ну, ужъ... я не знаю... Побожитесь, что не убѣжите... ей-Богу!

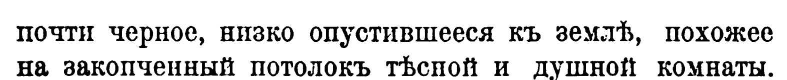
Луневъ взглянулъ на сморщенное, сожалѣющее лицо околоточнаго и угрюмо сказалъ:

— Въ Бога не вѣрю...

Околоточный махнулъ рукой.

— Идите, ребята!..

Когда ночная тьма и сырость охватили Лунева, онъ глубоко вздохнулъ, остановился и посмотрѣлъ въ небо,



почти черное, низко опустившееся къ землѣ, похожее на закопченный потолокъ тѣсной и душной комнаты.

— Иди!—сказалъ ему полицейскій.

Онъ пошелъ... Дома стояли по бокамъ улицы, какъ огромные камни, грязь всхлипывала подъ ногами, а дорога опускалась куда-то внизъ, гдѣ тьма была еще болѣе густа... Илья споткнулся о камень и чуть не упалъ. Въ пустотѣ его души вздрогнула надоѣдливая мысль:

„А дальше что будетъ? Петрухинъ судъ?“

И тотчасъ же предъ нимъ встала картина суда,— ласковый Громовъ, красная рожа Петрухи Филимонова...

Пальцы его ноги болѣли отъ удара о камень. Онъ пошелъ медленнѣе. Въ ушахъ его звучали бойкія слова черненькаго человѣчка о сытыхъ людяхъ.

— Прекрасно разумѣютъ, оттого и строги...

Потомъ онъ вспомнилъ благодушный звукъ голоса Громова:

— А признаете вы себя виновнымъ...

А прокуроръ тягуче говорилъ:

— Скажите намъ, обвиняемый...

Красная рожа Петрухи хмурилась, и толстыя губы на ней двигались...

Луневъ, прихрамывая, еще замедлилъ шагъ...

— Иди, иди!—сурово торопилъ его полицейскій.

Невыразимая словами и острая, какъ ножъ, тоска впилась въ сердце Ильи.

Онъ прыгнулъ впередъ и побѣжалъ подъ гору изо всей силы, отталкиваясь ногами отъ камней. Воздухъ свистѣлъ въ его ушахъ, онъ задыхался, махалъ руками, бросая свое тѣло все дальше впередъ, во тьму. Сзади него тяжело топали полицейскіе, тонкій, тревожный свистъ рѣзалъ воздухъ, и густой голосъ ревѣлъ:

— Держи-и!

Все вокругъ Ильи,—дома, мостовая, небо,—вздра-

гивало, прыгало, лѣзло на него черной, тяжелой массой. Онъ рвался впередъ и не чувствовалъ усталости, окрыленный стремленіемъ не видѣть Петруху. Что-то сѣрое, ровное выросло предъ нимъ изъ тьмы и повѣяло на него отчаяніемъ. Онъ вспомнилъ, что эта улица почти подъ прямымъ угломъ повертываетъ направо, на главную улицу города... Тамъ люди, тамъ схватятъ...

— Эхъ, вы, подлецы!.. ловите!—крикнулъ онъ во всю грудь и, наклонивъ голову впередъ, бросился еще быстрѣе... Холодная, сѣрая каменная стѣна встала предъ нимъ. Ударъ, похожій на всплескъ рѣчной волны, раздался во тьмѣ ночи, онъ прозвучалъ тупо, коротко и замеръ...

Потомъ еще двѣ темныя фигуры скатились къ стѣнѣ. Онѣ бросились на третью, упавшую у подножія стѣны, и скоро обѣ выпрямились... Съ горы еще бѣжали люди, раздавались удары ихъ ногъ, крики, пронзительный свистъ...

— Разбился?—задыхаясь, спросилъ одинъ полицейскій.

Другой зажегъ спичку, присѣлъ на землю. У ногъ его лежала рука Ильи Лунева и пальцы ея, крѣпко стиснутые въ кулакъ, тихо расправлялись:

— Совсѣмъ, кажись... башка лопнула...

— Гляди—мозгъ...

Черныя фигуры какихъ-то людей выскакивали изъ тьмы...

— Ахъ, лѣшій...—тихо выговорилъ полицейскій, стоявшій на ногахъ. Его товарищъ поднялся съ земли и, крестясь, устало, задыхающимся голосомъ сказалъ:

— Упокой, Господи... все-таки...

Конецъ.

ПѢСНЯ О БУРЕВѢСТНИКѢ.

Надъ сѣдой равниной моря вѣтеръ тучи собираетъ, Между тучами и моремъ гордо рѣетъ Буревѣстникъ. черной молніи подобный.

То волны крыломъ касаясь. то стрѣлой взмывая къ тучамъ, онъ кричитъ, и тучи слышатъ радость въ смѣломъ крикѣ птицы.

Въ этомъ крикѣ—жажда бури! Силу гнѣва, пламя страсти и увѣренность въ побѣдѣ слышатъ тучи въ этомъ крикѣ.

Чайки стонутъ передъ бурей,—стонутъ, мечутся надъ моремъ и на дно его готовы спрятать ужасъ свой предъ бурей.

И гагары тоже стонутъ,—имъ, гагарамъ, недоступно наслажденье битвой жизни: громъ ударовъ ихъ пугаетъ.

Глупый пингвинъ робко прячетъ тѣло жирное въ утесахъ... Только гордый Буревѣстникъ рѣетъ смѣло и свободно надъ сѣдымъ отъ пѣны моремъ!

Все мрачнѣй и ниже тучи опускаются надъ моремъ, и поютъ, и рвутся волны къ высотѣ навстрѣчу грому.

Громъ грохочетъ. Въ пѣнѣ гнѣва стонутъ волны, съ вѣтромъ споря. Вотъ охватываетъ вѣтеръ стаи волнъ объятьемъ крѣпкимъ и бросаетъ ихъ съ размаха въ дикой злобѣ на утесы, разбивая въ пыль и брызги изумрудныя громады.

Буревѣстникъ съ крикомъ рѣетъ, черной молніи подобный, какъ стрѣла пронзаетъ тучи, пѣну волнъ крыломъ срываетъ.

Вотъ онъ носится, какъ демонъ,—гордый, черный, демонъ бури,—и смѣется и рыдаетъ... Онъ надъ тучами смѣется, онъ отъ радости рыдаетъ!

Въ гнѣвѣ грома,—чуткій демонъ,—онъ давно усталость слышитъ, онъ увѣренъ, что не скроютъ тучи солнца,—нѣтъ, не скроютъ!

Вѣтеръ воетъ... Громъ грохочетъ...

Синимъ пламенемъ пылаютъ стаи тучъ надъ бездной моря. Море ловитъ стрѣлы молній и въ своей пучинѣ гаситъ. Точно огненныя змѣи, вьются въ морѣ, исчезая, отраженья этихъ молній.

— Буря! Скоро грянетъ буря!

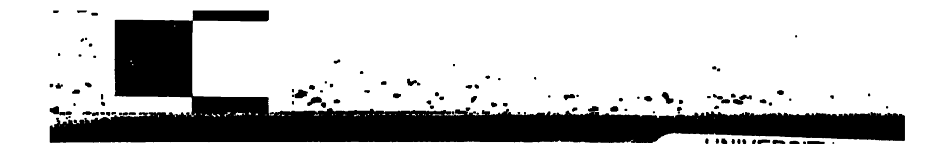
Это смѣлый Буревѣстникъ гордо рѣетъ между молній надъ ревущимъ гнѣвно моремъ; то кричитъ пророкъ побѣды:

— Пусть сильнѣе грянетъ буря!..

Конецъ пятаго тома.



Дозв. ценз. СПб., 18 декабря 19[illegible] г. Тип. П. П. Сойкина. Почтамтская, 13.



Изданія товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

Списокъ отъ 20 декабря 1902 г.

(Продолженіе).

	Цѣна.
Сеньобосъ. Полит. исторія соврем. Европы, 2 т. Изд. *третье печат.*	3 р. — к.
Гиббинсъ и Сатуринъ. Исторія современной Англіи	1 » 20 »
Инсаровъ. Современная Франція	2 » 50 »
Курти. Исторія народнаго законодательства и демократіи въ Швейцаріи	1 » — »
Зомбартъ. Идеалы соціальной политики	— » 40 »
Каутскій. Колоніальная политика въ прошломъ и настоящемъ	— » 40 »
Фальборкъ и Чарнолускій. Народное образованіе въ Россіи	1 » 50 »
Гюйо. Исторія и крит. совр. англ. ученій о нравственности	2 » — »
Гюйо. Происхожденіе идеи о времени. Мораль Эпикура	2 » — »
Гюйо. Задачи современной эстетики. Очеркъ морали	2 » — »
Гюйо. Воспитаніе и наслѣдственность	1 » 50 »
Гюйо. Искусство съ соціологической точки зрѣнія	2 » — »
Гюйо. Стихи философа	1 » — »
Левассеръ. Народное образованіе въ цивилизованныхъ странахъ	3 » — »
Справочныя изданія. — Учительскія семинаріи и школы	2 » — »
Справочныя изданія. — Испытанія на званія уѣздн., дом., город. и начальн. учителей, для зап. магом. духовн. должностей, на вольноопр. II разр. и на первый классный чинъ	1 » — »
Справочныя изданія. — Испыт. на званіе нач. учит.	— » 25 »
Справочныя изданія. — Учит общ. кассы, курсы и съѣзды	— » 50 »
Леклеркъ. Воспитаніе и общество въ Англіи	3 » — »
Паульсенъ. Общеобразовательная школа будущаго	— » 40 »
Мертваго. Не по торному пути	1 » 50 »
Майръ. Статистика и обществовѣдѣніе	6 » — »
Дрейфусъ. Пять лѣтъ моей жизни	1 » 20 »
Штраусъ. Вольтеръ	1 » — »
Бернштейнъ. Историческій матеріализмъ. Изд. *второе*	— » 80 »
Каутскій. Аграрный вопросъ	1 » 50 »
Гертцъ. Аграрные вопросы	— » 80 »
Вандервельде. Притягательная сила городовъ	— » 40 »
Вурмъ. Жизнь нѣмецкихъ рабочихъ	— » 80 »
Вигуру. Рабочіе союзы въ Сѣверной Америкѣ	1 » 50 »
Люксембургъ. Промышленное развитіе Польши	— » 50 »
Финляндія	3 » 50 »
Гуго. Новѣйшія теченія въ англійскомъ городскомъ хозяйствѣ	1 » 50 »
Гобсонъ. Общественные идеалы Дж. Рескина	1 » 50 »
Мутеръ. Исторія живописи отъ среднихъ вѣковъ до новѣйшихъ временъ. Часть I	2 » 50 »
Мутеръ. То же сочиненіе. Часть II	2 » 50 »
Мутеръ. Исторія живописи въ XIX вѣкѣ	17 » — »

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА:

	Цѣна: без. пер.	Цѣна: съ пер.
Клейнъ. Чудеса земного шара	3 р. — к.	3 р. 50 к.
Боммели. Исторія земли	4 » 50 »	5 » 50 »
Гетчинсонъ. Вымершія чудовища	4 » 50 »	5 » 50 »
Гетчинсонъ. Животныя прошлыхъ геологическихъ эпохъ	4 » 50 »	5 » 50 »
Настольная книга по народному образованію, 3 т.	5 » — »	6 » — »

Дозв. цензурою. Спб., 18-го Декабря 1902 г. Тип. Н. Н. Клобукова. Пряжка, 3.

[illegible]



[illegible]

